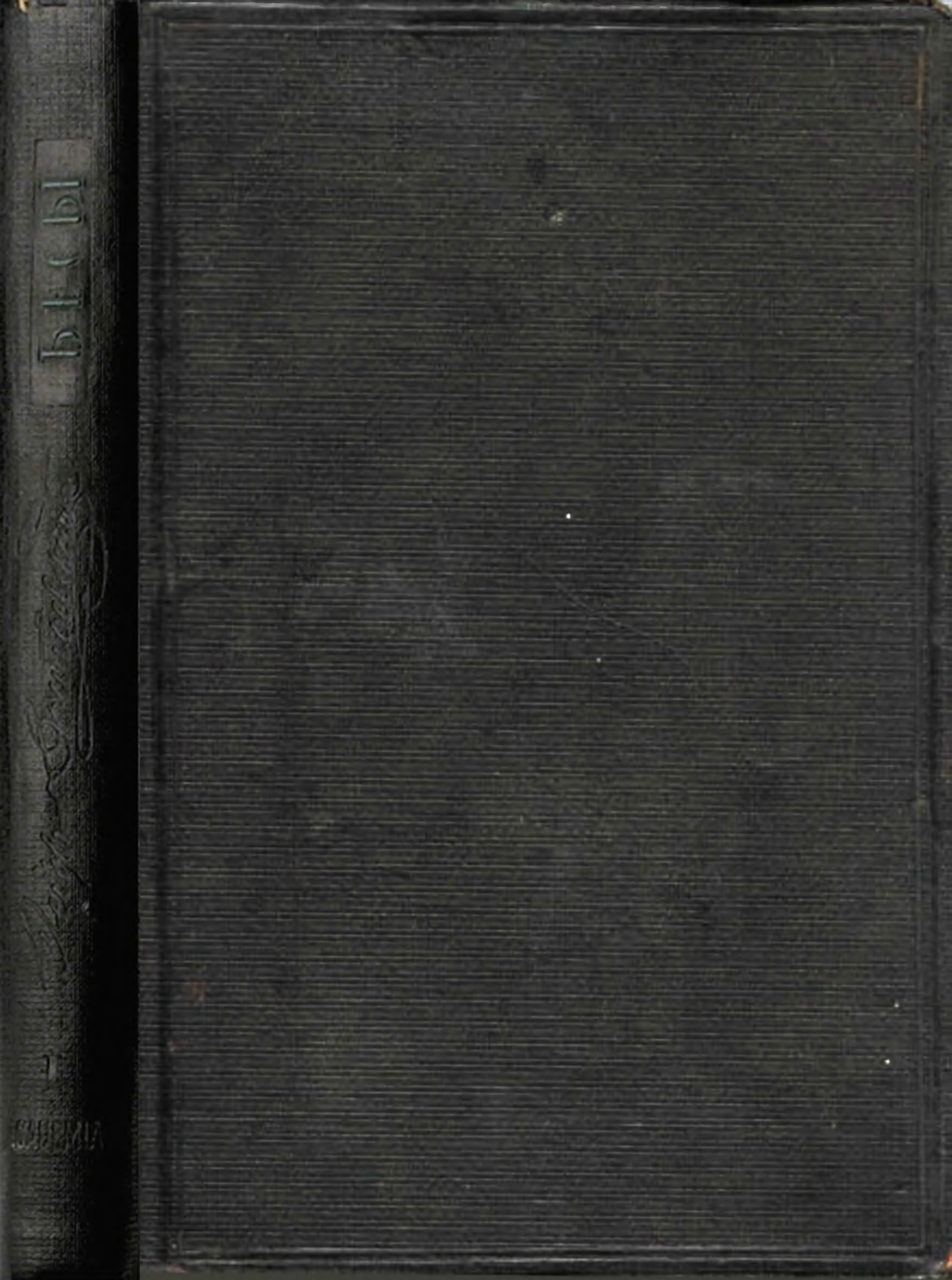



ACADEMIA

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

1821—1881

БЕСЫ

ДВА ТОМА

ACADEMIA
Москва — Ленинград

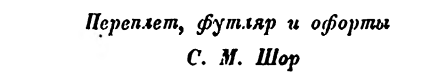
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

БЕСЫ

Редакция, вступительная статья
и комментарии
Л. П. Гроссмана
Предисловие П. П. Парадизова

ТОМ I

ACADEMIA
1935



Переплет, футляр и офорты
С. М. Шор

От издательства

В ряду русских „реакционных романов“ девятнадцатого века, изучение которых существенно дополняет картину общественного движения, идеологической борьбы и литераурной эволюции эпохи, на первом месте. по остроте тенденции и зрелости художественного выполнения, стоят несомненно „Бесы“ Ф. М. Достоевского. Это самое характерное и самое законченное из всех произведений указанной группы. Именно с него и надлежит начать изучение целого крыла русской романистики, без которого ряд крупнейших фактов литературной истории 60-х—80-х годов не может быть обследован с достаточной полнотой.

„Бесы“ не только не история, но, конечно, и не „исторический этюд“ в том смысле, какой придавал этому определению сам Достоевский, претендуя на то, что в его романе отразились подлинные черты определенной эпохи революционного движения в России. Этих подлинных исторических черт в его романе нет.

Зато роман Достоевского представляет собой художественную концентрацию всех тех аргументов, которые могли быть выдвинуты гениальным художником против революции и — одновременно — крушение этих аргументов. В этом и заключается интерес этого крупного художественного произведения XIX века.

Приступая к новому выпуску „Бесов“, издательство „Academia“ ставило себе задачей дать наиболее полный, критически сверенный с сохранившимися рукописями текст, дополнив его вариантами из автографа третьей части романа и всех материалов по так называемой „Исповеди Ставрогина“ (т. е. выпущенной в свое время главы „У Тихона“), а также сопроводить издание вступительными статьями и реальным комментарием по всем основным темам знаменитого романа-памфлета.

Этим заданием определились план и состав настоящего издания. Вступительные статьи выясняют социально-политическое значение романа, условия его возникновения, его связь с эпохой, идеологические

тенденции и художественное значение. Историко-литературный комментарий, отступая от обычного типа объяснительных примечаний к отдельным именам или терминам в порядке их упоминания в тексте, строится, в соответствии с масштабами политико-философского романа, монографически по крупным темам „Бесов“, его центральным образам, основным идеям и главным эпизодам. Серия больших и малых исторических, историко-литературных и текстологических этюдов (из которых некоторые, как например „Достоевский в работе над „Бесами“, „Нечаев и нечаевцы в современной печати“, „Бесы“ и реакционный роман“, представляют собой обстоятельные исследования) сопровождается алфавитным комментарием к именам, заглавиям, терминам, названиям и цитатам, в целях облегчения читателю ориентации как по тексту романа, так и по разъяснительным статьям и примечаниям к нему.

В выборе текста романа редакция отступила от традиции воспроизведения „Бесов“ по отдельному изданию 1873 года. Ставя себе задачей дать наиболее полный текст романа, ближе всего соответствующий воле автора в момент создания его произведения, мы остановились на „первом издании“ „Бесов“, т. е. на журнальной версии 1871—1872 гг. Выбор этой редакции возвращает нас к моменту, когда Достоевский еще был свободен от позднейшего воздействия на его творческую волю Каткова и других советчиков, убедивших автора отказаться от важнейшего эпизода его хроники, при отсутствии которого образ главного героя утрачивает уверенную отчетливость контуров, с какими он первоначально был дан художником. Одновременно автоматически восстанавливаются места, удаленные из романа только в силу выпадения из него „Исповеди Ставрогина“ и представляющие подчас исключительное значение (например диалог Ставрогина с Дашей о посещающем его „бесе“). Обращаясь к редакции 1871—1872 гг., мы воспроизводим текст „Бесов“ в той стадии творческого процесса, когда Достоевский считал покаяние Ставрогина неотъемлемой частью своей эпопеи, настаивал на его напечатании и даже боролся за опубликование этого важнейшего фрагмента, по его собственным словам, „забракованного *ими*“ (т. е. редакторами „Русского вестника“). Исключительное обогащение романа при таком возвращении к первоначальной творческой воле Достоевского, сломленной случайными и внешними причинами, убедило нас предпочесть более раннюю редакцию романа позднейшему „каноническому“ тексту. Не вступая на путь ломки утвержденного Достоевским в 1873 г. „канона“ и не внося в него опытов редакторской контаминации различных вариантов „Исповеди Ставрогина“, мы считаем правильным воспроизвести полный текст „Бесов“ по публикации 1871—1872 гг. с воспроизведением и гранок набора отвергнутой „Русским вестником“, вопреки воле автора, главы „У Тихона“. Весь дальнейший процесс работы Достоевского над этим

фрагментом дан в приложении к роману в транскрипции всего относящегося к этому месту материала.

Согласно традиции самого Достоевского, выпускавшего свои романы в нескольких книгах, настоящее издание публикует „Бесы" в двух томах, относя в первый том две части романа и вступительные статьи к нему, а во второй — третью часть, „Исповедь Ставрогина", рукописные варианты и весь комментарий.

Текст романа иллюстрирован гравюрами художницы Сары Шор, а комментарий — документальными, историческими и литературными материалами: видами местностей, снимками с рукописей и печатных публикаций, авторскими рисунками, политическими карикатурами и проч. Издательство стремилось восполнить обычный тип разъяснительных статей и заметок обширным графическим комментарием, помогающим читателю разобраться в многочисленных „реальных" темах и эпизодах романа Достоевского.

Academia

Классовое лицо Достоевского

I

Достоевский — один из общепризнанных художественных гениев истекшего столетия. По силе изобразительности — сказал недавно Горький — его талант равен, может быть, только Шекспиру. Этого не отрицает даже английская критика. В некоторых отношениях он, быть может, самый замечательный писатель во всей мировой литературе того периода истории, рубежами которого являются, с одной стороны, великая буржуазная революция конца XVIII века, с другой — революция Октябрьская.

Достоевский весь в этих хронологических пределах. Здесь все его вопросы и ответ на них; ответ окончательный и бесповоротный, не книжный, а жизненный, исторический. Здесь и великая победа того движения и тех идей, которые он считал „великой ложью", и окончательное разоблачение той лжи, которую он в ослеплении своем силился представить прекрасной, всепокоряющей истиной. Достоевский полемизировал с историей, призывая ее обратиться вспять и в сторону, и потому был обречен на поражение. История, как любил выражаться Маркс, самая неумолимая из всех богинь.

Судьба Достоевского несколько необычна, хотя и вовсе не случайна, в ряду судеб других, равных ему по силе художественного дара, писателей. Это едва ли не единственное большое имя в литературе, которым долгое время почти монопольно владела реакция всех оттенков. И реакция действовала с этим объектом, как ей было угодно и выгодно.

Но действительно ли Достоевский так уж непримиримо враждебен социализму и революции? Не печальное ли недоразумение это? Разве нельзя обнаружить в числе прочих образующих его творчество стихий и эти начала? И не они ли главные и решающие в нем, а все про-

чее наносное и случайное — гнилостный ил, мутящий светлый в истоках своих и могучий поток его творчества?

На вопросы эти можно ответить только отрицанием, если иметь в виду реально существовавшего Достоевского, то, чем он в конце концов стал, возвратившись из „мертвого дома“, а не то, чем он мог бы стать. К вопросу о революционной и социалистической „стихии“ в творчестве Достоевского мы еще вернемся. Теперь же подчеркнем, что, взятый как целое, Достоевский действительно враждебен революции, даже демократической, и в особенности коммунизму. Не пассивно, а воинственно враждебен. Он поднимает бунт против коммунизма, когда этот последний только еще превращался из „призрака, бродящего по Европе“ в реальную силу движения пролетарских масс, он создает такое произведение, как „Бесы“, откровенный и страстный антиреволюционный и антисоциалистический литературный манифест-памфлет.

Именно этой своеобразной активностью, кроме многого прочего, выделяется Достоевский среди крупнейших буржуазных и дворянских писателей прошлого столетия, таких, как Диккенс, Бальзак, Тургенев, Флобер, Толстой — тоже, как известно, не исповедывавших ни революции, ни коммунизма. И едва ли не в этом коренится главная или, по крайней мере, одна из главных причин того особенного, крайне настороженного отношения к Достоевскому, которое он всегда встречал в лагере революции. Прежде всего это относится к таким его произведениям, как „Бесы“, вокруг которых, на протяжении шестидесяти лет, истекших со времени их написания, не однажды разгоралась острая полемика. Одним из наиболее значительных и интересных эпизодов в истории этой полемики является эпизод, относящийся к 1913 г., вызванный протестом М. Горького против постановки „Бесов“ в Московском Художественном театре [1].

[1] Когда Художественный театр вознамерился инсценировать „Бесы“, Горький выступил в печати с протестом против этого замысла, указав на его объективный социальный смысл в тогдашней обстановке и бросив в лицо либеральной интеллигенции упрек в заигрывании с реакцией. В ответ на письмо Горького выступил ряд писателей и публицистов буржуазного лагеря, обвиняя его в цензорском покушении на „свободу творчества“, в недооценке значения художественного гения Достоевского в истории русской культуры и т. п., словом — лицемерия, тупости и пошлых поучений в этих выступлениях было немало. Горький ответил. В его ответе есть между прочим следующие строки: „Возражения, брошенные мне, брошены под заголовком: „Горький против Достоевского“, причем один литератор приписал мне намерения крайне свирепые. Он говорит, что если бы я был министром, то сжег бы Достоевского. Министром я не надеюсь быть, но все-таки считаю долгом моим заранее успокоить взволнованного писателя: если и буду, то не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литературу люблю и

Но безусловная вражда к мировоззрению Достоевского для тех, кто видит в нем гениального художника, значительное явление в истории культуры, еще не аргумент в пользу забвения его. Враг врагу — рознь. Есть враги, теряющие, по мизерности их влияния, ума и таланта, всякое значение и интерес даже прежде, чем пробьет час переселения их в „лучший" мир. Но есть и такие, творения которых переживают их самих на многие годы, в исключительных случаях даже на столетия.

Кант враждебен материализму, как и Гегель, и однакоже *такие* враги — при всех глубочайших их заблуждениях — проживут дольше, чем какой-нибудь Гартман или Мах. Но именно Кант и Гегель, а не бесчисленные, как песок морской, и столь же мелкие „кантианцы" и „гегельянцы".

Так и с Достоевским. Современному читателю, не подчиняющемуся буржуазной идеологии, он интересен не как мнимый носитель „истины", „учитель жизни" и „пророк", но как художник, в творчестве которого, как ни в чьем другом, отразилась трагедия мелкобуржуазного сознания.

II

Литература о Достоевском огромна. К сожалению, в подавляющем большинстве своем эти писания, в силу помянутого выше происхождения их, скорее затемняют предмет, чем уясняют его. Преобладают тут писания восторженно-умиленные, доходящие нередко до какого-то нечленораздельного мистического бормотания; встречается и хула. И то и другое, чаще всего, голо, догматично. Особенно бесцеремонны были здесь „ученики" Достоевского из породы назойливых претендентов на руководство русской интеллигенцией, предводительствуемые Мережковским, Булгаковым, Бердяевым и Струве и сопутствуемые тоже в свое время „учеником", литературным шакалом реакции—В. Розановым.

С конца прошлого века вплоть до Октября это направление было почти монополистом в области изучения, истолкования и критики До-

---

цену не менее почтенного литератора... Горький не против Достоевского, а против того, чтобы романы Достоевского ставились на сцене.

Я убежден, что одно дело — читать книги Достоевского, другое — видеть образы его на сцене, да еще в таком талантливом исполнении, как это умеют показать артисты Художественного театра. В книгах для внимательного читателя ясны и реакционные тенденции Достоевского, и все его противоречия, все те страшные натяжки, которых никому другому не простили бы". (*М. Горький*, Статьи 1905—1916 гг., 2-е изд. 1918 г., стр. 156—157). Подробно вся эта полемика вокруг попытки инсценировать „Бесы" изложена в „Красной нови" за 1931 г., № 5—6, в статье *Е. Красновской*, Максим Горький и Достоевский.

стоевского[1]. Да и после Октября эта школа некоторое время продолжала еще пифийствовать[2], а за рубежом пифийствует и поныне.

Далеко не всегда достаточно логичный и ясный и сам по себе, из духовной мастерской „учеников" Достоевский выходит совсем искаженным, превращенным — путем „очищений", „углублений" и „преображений" — в какой-то сплошной апокалипсис, начисто лишенным логики и плоти. Таким путем он превращался то в предтечу самого Мережковского с его „религией св. духа", то в „пророка" революции или контрреволюции, смотря по надобности[3], словом, во все, что угодно. Только в сфере чисто художественной критики у некоторых представителей этого направления встречаются тонкие и остроумные суждения.

Он был революцией, которая притворилась реакцией,— говорят одни. Он был революцией и реакцией вместе,— говорят другие. Он был реакцией, заигрывавшею по временам с революцией в целях уловления шатких душ под знамена самодержавия,— говорят третьи.

Он был просто „жестоким талантом", лишенным каких бы то ни было социальных идей, хотя и искренно любившим народ. Равно чуждый и равно близкий всем классам и партиям, он употреблял свой большой художественный дар для инквизиции — пилил нервы читателя ради чистого мучительства[4].

В краткую формулу невозможно загнать человека,— и притом так, чтобы эта формула выражала, по крайней мере, все важнейшие стороны его существа. Это в особенности верно по отношению к такому сложному и исполненному многих внутренних противоречий писателю, как Достоевский. „У меня все в вопросах",— говорил он сам про себя. „Разумеется, в каждом вопросе он колебался, но думал, что так и нужно",— сказал о нем Н. Страхов.

Но если уж пытаться кратко выразить характер социально-фило-

[1] См. например, *В. Розанов,* „Легенда о великом инквизиторе" Ф. М. Достоевского. „Русский вестник", 1891, №№ 1—4 (отд. изд. СПБ. 1902); *Д. С. Мережковский,* Л. Толстой и Достоевский, 2 тт., СПБ. 1902 и 1903 и статьи „Пророк русской революции" и „Грядущий Хам" — Соб. соч., т. XIII; *С. Н. Булгаков,* Два града, т. II, М. 1911; *А. Л. Волынский,* Ф. М. Достоевский, СПБ. 1906; *Н. Бердяев,* Миросозерцание Достоевского, М. 1920.

[2] Так, например, в 1922 г. вышел сборник „Достоевский, статьи и материалы под редакцией А. С. Долинина", в котором, в статьях С. Аскольдова, Л. Карсавина и Н. Лосского, повторяются и развиваются все те же идейки, что и у Мережковского с Бердяевым.

[3] В этом отношении небезынтересно сравнить писания, например, тех же Мережковского и Булгакова, вышедшие до революции 1905 г. и в период самой революции, с их же писаниями периода реакции.

[4] Такова в сущности точка зрения Н. К. Михайловского на Достоевского, выраженная в его известной статье 1882 г. „Жестокий талант".

софских идей Достоевского, с точки зрения той роли, которую они играли в истории, то вот к какому выводу нужно притти.

По своему положительному содержанию Достоевский, конечно, реакционен. Тот, кто, вольно или невольно, целиком или только частью приемлет то, что условно можно назвать „учением“ Достоевского,— вступает на мост, ведущий к реакции. Мост, по которому можно пройти только в одну и именно в эту сторону, как прошел сам Достоевский, начиная от „Зимних заметок о летних впечатлениях“ и, в особенности, „Записок из подполья“ и кончая предсмертным „Дневником писателя“. Движения по этому мосту в обратном направлении нет, его никто не совершал, да и чисто теоретически оно представляется невозможным. В действительной истории по этому мосту в направлении к реакции прошли довольно многие, идут и теперь. Достоевский — один из „властителей дум“ известной части современной буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции Запада. Она склонна видеть в нем теперь не только выразителя „сущности мистической славянской души“, изобретенной заезжими в Россию иностранцами, но и своего „пророка“.

Разложение, распад буржуазной цивилизации, приведший к исключительным страданиям десятки миллионов людей, к невиданной еще в человеческой истории остроте и обнаженности классовой борьбы; неизбежный на этом фоне духовный распад, необычайное шатание и смятение мысли,— в этом хаосе пока еще очень немногие из буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции капиталистического мира способны выбраться на твердый берег революционно-марксистского мировоззрения.

Многие из тех, кто изверился уже в буржуазной демократии или близок к тому; кто не верит в фашизм, но не верит еще и в коммунизм, многие из этих элементов в отчаянии хватаются то за всякого рода „конструктивные“ идеи и движения, то за проповедь в стиле Достоевского с его „гармонией“, мнимо всепокоряющей „любовью“ и „бунтом“, который не есть деяние. Не случайно, что послевоенный период стал для Достоевского временем своеобразного триумфального шествия по Западной Европе. И влияние его было наиболее значительным и глубоким в тех преимущественно странах Запада, которые вышли из войны наиболее разоренными и потрясенными.

Но Достоевский заводит в тупик, не указывая из него реального выхода. Действительный выход из всех противоречий, порожденных и порождаемых капитализмом, лежит на пути революционного его ниспровержения. Вступить на этот путь через Достоевского нельзя, ибо этот путь обозначает радикальный разрыв со всею совокупностью его идей. Когда смертный час капитализма пробьет и на Западе, когда и там люди выйдут на широкий путь подлинно человеческой

истории, наступит и там конец тому специфическому влиянию, которое Достоевский и аналогичные ему писатели теперь еще оказывают на известные круги интеллигенции. Достоевский — „пророк“ и „учитель жизни“ — умрет, Достоевский — гениальный художник — останется.

Достоевского читают и еще долго будут читать. И не одни только сумеречно настроенные люди, не только специалисты по истории литературы, но и просто читатели, не из тех, конечно, для которых джаз-бандовская какофония представляется вещью, не уступающей симфониям Бетховена, а похождения героев и героинь какого-нибудь Поля Бурже куда более интересными и поэтическими по сравнению с „Дон-Кихотом“ и „Божественной комедией“.

Чем интересен этот писатель, в чем его приковывающая сила не для ищущих „моста“, но для тех, кто никогда не ступал на него, кто органически враждебен всякой реакции, хотя бы в самых тончайших, завуалированных ее формах? [1]

Огромный художник, не превзойденный никем из своих современников, мастер в области „психологического анализа“? Да, и это конечно. Но не одно только это, а в сочетании с чем-то другим, что свойственно не всем большим художникам. Что же? А то, что у Достоевского составляет элемент *критический,* отрицательный по отношению к тому миру, под знаменем которого он шел во второй период своего творчества. Этот критический элемент в нем есть. И не только в до-каторжный период его литературной деятельности. В это время он как раз довольно слабо проступает в произведениях Достоевского, хотя и составляет несомненно их подоснову. Он одновременно и слабее и сильнее во второй период его жизни.

Именно этот критический элемент осложняет елейную философию жизни Мышкиных, Тихонов и Зосим. О нем в творчестве Достоевского свидетельствуют не одни только гениально написанные картины нищеты и унижения людей, опущенных на социальное дно буржуазного общества, придавленных и забитых настолько, что ни о каком протесте у них и мысли не возникает, что они только себя да семейных своих гложут от бессильной злобы, изредка прорывающейся несколькими тирадами на тему о „человеческом достоинстве“, да ищут, как Соня Мармеладова, дешевого и доступного утешения в Евангелии.

Это, конечно, тоже протест, но протест предельно пассивный, совершающийся в привычных идеологических формах, не вызывающий ни малейшей тревоги у социальных верхов и, уж во всяком случае, не угрожающий основам их благополучия, и если бы Достоевский создал

[1] Например, для Р. Люксембург. См. написанный ею в 1918 г., в Бреславльской тюрьме этюд „Душа русской литературы“ (см. сборник *Р. Люксембург,* О литературе, „Academia“, 1934), где есть несколько страниц, посвященных Достоевскому.

только образы „забитых людей“ да Зосим и Мышкиных — этих проповедников „любви“ и „кротости“ с оттенком христианского социализма,—то интерес к нему и значение его в мировой литературе было бы неизмеримо меньше того, которое он фактически получил.

Однако в его натуре было нечто, что не мирилось до конца с феодально-капиталистической культурой его времени, что питало скепсис к социальным принципам христианства, к „гармонии“, в которой затравленные борзыми дети и их матери сливаются в согласном хоре „любви“ с их истязателями. И он создал ряд своеобразных, огромной художественной силы образов „бунтарей“. Точнее не образов, а один образ, ибо Раскольников, Кириллов, Подросток есть различные варианты одного и того же развивающегося художественного образа, достигшего наибольшей завершенности в Иване Карамазове.

Этот именно образ, а не духовные и светские „иноки“ и даже не „забитые люди“, приковывает внимание читателя к Достоевскому.

Но и в бунтарях Достоевского есть органический порок. Это бунт чисто идеологический, созерцательный, тихий бунт, бунт под черепной коробкой.

„Бунтарь“ поднимается над всем временным и преходящим. Он подвергает сомнению и отрицанию все в этом мире — его религию, его социальный строй, его „правду“,— словом, весь мировой порядок. Казалось бы, эта страстная сила отрицания не может не перейти в действие, направленное к разрушению существующего, к радикальному изменению его. Ведь даже христианнейший, благостный Алеша не в силах был под натиском этого отрицания устоять на своих позициях, даже он — бледный и растерянный — произнес свое известное: „расстрелять“. И однакоже „бунтарь“ Достоевского *никогда* не переходит к действию, способному внести изменения в мир.

Да он и не может перейти к нему, ибо отрицает революционное действие принципиально, ибо скепсис, безграничный скепсис, шаткость и нетвердость во всем лишает его способности к деянию. Он отрицает революционное действие то во имя того, что оно все равно бессильно изменить мировой порядок, то во имя той, столь же ложной, как и первая, идеи, что ключ к изменению мира лежит не в нем самом, а исключительно в сознании человека. Люди „нехороши потому, что не знают, что они хороши. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши все до единого“, говорит Кириллов в „Бесах“. Ту же идею развивает Достоевский и в „Сне смешного человека“.

Не в революционном действии, не в разрушении старого и созидании нового мира изменяется и самый человек, сбрасывая с себя ветхого Адама. Изменение его должно предшествовать изменению мира. И как только первое произойдет, мир тотчас же без каких бы то ни было революций изменится сам собою и наступит „всемирная

гармония". Так рассуждал и сам Достоевский, такова логика и его „бунтарей".

Так, казалось бы готовая сокрушить все, волна отрицания существующего миропорядка поляризуется встречной волной сомнения в возможности и целесообразности самого отрицания. Воля к действию убита, и на месте, где сталкиваются эти волны, проходит только легкая зыбь.

В конечном счете этот „бунт" — не трагедия действия, где дрожит и колеблется реальный мир, а только трагедия „духа". Существующий миропорядок не терпит никакого ущерба, и с внешней стороны, если не всматриваться особенно пристально в это явление, можно даже не заметить, что здесь в человеке решаются судьбы мира, идет борьба на жизнь и смерть. Решаются, но не находят разрешения, если не принимать за него обычный конец его „бунтарей" — сумасшествие, самоубийство, убийство и покаяние. Социальные следствия этого „бунта в себе" ничтожны. И если бы мир даже наполовину был населен такими „бунтарями", в нем мало бы что изменилось.

Внешнее бессилие — как результат бесконечных внутренних колебаний, отсутствия „адамантова основания", которого искал сам Достоевский всю свою жизнь — такова характернейшая черта созданного им образа „бунтаря".

В силу этого его „бунтарь", отвергая все авторитеты подлунного мира, с прометеевской дерзостью бросая вызов богу, даже возвращая ему „билет",— в действительной жизни, в истории вовсе не революционер. Более того: он нередко становится объективным союзником тех, кто пропагандирует формулу Фомы Кемпийского, так излюбленного Победоносцевым,— „весьма полезно жить в повиновении властям, а не по своей воле; и безопаснее повиноваться, нежели повелевать". Из бунтующего Прометея он превращается в проповедника жалких христианских „истин".

„Своеволие" человека „Записок из подполья", своеволие прежде всего и во что бы то ни стало, практически граничит с рабством. А „бунт" — это только слабые зарницы протеста, вспыхивающие и потухающие в сознании.

До создания образа действительного бунтаря Достоевский не поднялся ни разу. Единственный раз, когда он попытался это сделать — „Бесы" — он впал в сатиру и потерпел поражение как художник.

Достоевский — великий мастер задавать вопросы, пусть в несколько метафизической форме; но он не умел, не мог отвечать на них. Задающие „проклятые" вопросы у него неизмеримо сильнее, чем отвечающие на них — Мышкин, старец Зосима, Тихон. Положительный герой — не революционер, прекрасна не революция, восклицал он и пытался создать свой образ положительного героя; такой образ, который,

как гигантская идейная плотина, преградил бы путь революции и коммунизму, приковал бы к себе людей своим духовным совершенством, покорил бы их реализацией в нем высшей „правды“. Пытался, но тщетно.

Он сам постоянно сомневался, хватит ли у него сил для создания идеального положительного образа, сам, как истинно гениальный художник, чувствовал слабость Мышкина, Тихона и Зосимы. Но он относил это к недостаткам исполнения, к ограниченности своих художественных средств, с отчаянным упорством отстаивая самую идею этого образа, как идею в высшей степени „поэтическую“ и безупречную. А в ней-то и коренился порок. Ибо создать образ, способный изменить неизбежный ход мировой истории, морально и идейно покорить революцию и коммунизм, не под силу всем гениям отживающего мира.

Потерпевший поражение на Мышкине и Тихоне, Достоевский поставил последнюю ставку на Алешу и фатально проиграл ее. Алеша вышел поразительно бледным. Некоторые „дружественные“ критики из лагеря реакции склонны были объяснять эти неудачи Достоевского в создании положительного образа тем, что в нем не было веры, что до конца своих дней он не сумел стать на „действительно религиозную почву“. Жалкий вздор. Он потерпел поражение потому, что искал „положительно прекрасного человека“ не там, где единственно мог бы его найти, не в стане действенно восстающих против самых основ миропорядка, построенного на эксплоатации человека человеком.

В заключение, чтобы покончить с вопросом о „бунтарях“ Достоевского, отметим, что в них есть нечто общее с „бунтарем“ М. Штирнера, „святого Макса“, как иронически называл его Маркс. В некоторых пунктах сходство это настолько значительно, что может порой показаться, будто Раскольников, Кириллов и Иван Карамазов есть гениальное художественное воплощение вовсе не гениальной штирнеровской теории „бунта“. И в критике феодального и буржуазного общества, и в критике коммунизма и революции некоторое сходство идей Достоевского с идеями Штирнера несомненно. Это тем более заслуживает внимания, что едва ли можно предполагать сколько-нибудь значительное влияние Штирнера на Достоевского. Не о влиянии, следовательно, может итти тут речь, а только о некотором, до известных пределов, конечно, параллелизме идей, сходстве идеологий [1].

[1] Ср. писания Достоевского с тем кругом идей, который составляет штирнеровское учение (см. русский перевод его книги „Единственный и его собственность“, СПБ. 1910, в частности стр. 68—93, 237—239).

Это сравнение становится особенно интересным в свете замечательно глубокой и блестящей критики Штирнера, данной Марксом и

III

Достоевский называл Толстого и Тургенева „выписавшимися помещиками“, сказавшими — „великолепно у Льва Толстого“ — „все, что имела сказать помещичья литература“ [1]. „Нового слова,— говорил Достоевский,— заменяющего помещичье, еще не было, да и некогда. Решетниковы ничего не сказали. Но все-таки Решетниковы выражают мысль необходимости чего-то нового в художественном слове, но уже не помещичьего — хотя и выражают в безобразном виде“.

Толстой весь либо в великосветском салоне, либо в деревне. Это — философствующий и живописующий дворянин-помещик с ног до головы, это все-таки деревенщина, хотя и в высшей степени гениальная, и все-таки „кающийся дворянин“. Не то Достоевский. Салон, барское поместье и деревня — не его родная стихия. Здесь его превосходит не только гениальный Толстой, но и весьма посредственный Б. Маркевич, бывший завсегдатаем „сих мест“, и даже совсем не беллетрист, а государственный муж П. А. Валуев с его „Лориным“ и „Княжной Татьяной“.

Еще менее, конечно, Достоевский дворянский писатель по сравнению с Тургеневым и Гончаровым.

Несмотря на все его успехи в „высшем обществе“ в последние годы жизни, он не был в нем „своим“ человеком. Там на него смотрели хоть и с умилением, но как на „мещанина“. Светские дамы с „высшими запросами“ интересовались им не более, чем вообще интересуется эта порода существ литературой и социальными вопросами — сегодня Редсток, завтра Достоевский. Политики — ценили в нем союзника, которого „положительно никто не заменит“. Сам он пробовал несколько раз заигрывать с „первенствующим в империи сословием“, но неудачно, чувствовалось, что это не его сфера, что выходит и фальшиво и посредственно [2].

Он не был, да и пожелав, не сумел бы стать художником поместного дворянства, а тем более высших его кругов. Кто сомневается

Энгельсом (см. их сочинения, т. IV, „Немецкая идеология“, раздел III. „Святой Макс“). Основоположники научного социализма, как известно, ничего не писали о Достоевском, да и едва ли были знакомы с его произведениями (впрочем, Энгельс, в последние годы его жизни, когда Достоевский стал уже известен на Западе, может быть и был знаком с некоторыми из них), но в их сочинениях, направленных против Штирнера, „истинных“ и „христианских социалистов“, заключен богатейший материал, помогающий вскрыть историческое происхождение и природу идеологии Достоевского.

[1] См. *Достоевский,* Письма, т. II, ГИЗ, 1930, №№ 360, 387.

[2] См. любопытные рассуждения К. Леонтьева об отношении Достоевского к дворянству. Соч., т. VII, стр. 438—448.

в этом, пусть попробует представить себе Раскольникова, Кириллова, Шатова и Ивана Карамазова философствующими в их манере в собственном „дворянском гнезде“ душ в тысячу, по дореформенному счету, или в собственных особняках дворянских кварталов Москвы и Петербурга.

Достоевский — продукт буржуазной культуры. Мир его идей зародился в городе и в тех его кварталах, где улицы плохо вымощены и тускло освещены, дома без гербов, и лестницы не устланы коврами, где господствует не французский с „сюсюканьем“, а совсем другой язык, в русском столичном городе той его поры, когда в России уже сделала кое-какие успехи социальная диференциация, свойственная буржуазному обществу, когда стало уже зарождаться сознание „несправедливости“ наличного строя жизни, сомнения в его „правде“ и вечности, но когда еще не было видно, откуда и как мог бы притти новый жизненный строй.

Медленное, но неуклонное разложение феодально-крепостного строя, подтачиваемого в его же недрах зародившимся капитализмом, не могло не отразиться и на литературе — публицистической и художественной.

Три линии выражения нашел этот процесс в русской литературе 40—50-х годов прошедшего века.

Дворяне-помещики консервативного и реакционного покроя положили начало так называемому славянофильству. Дворяне-помещики покроя либерально-реформистского склонялись к западничеству. Но у тех и других в центре внимания стоял помещик и его крепостная „душа“ — мужик. Появление этого последнего в литературе не в качестве только фона, на котором действуют герои из первенствующего сословия, едва ли не самое яркое свидетельство влияния названного выше процесса на общественное сознание дворянства[1].

Третья линия разложения феодальных и роста буржуазных отношений в России выразилась в том, что в литературу вошел средний и мелкий городской люд — буржуазный и специально мелкобуржуазный элемент, разночинный, как принято его называть, согласно тогдашней официальной терминологии,— и прочно занял в ней место.

И именно Достоевский почти впервые, а с таким успехом и впервые, вдвинул в литературу этот мир. И разве случайность только, что это произошло в 40-е годы, а не во времена, скажем, Грибоедова или Чехова? Одними литературными влияниями — Диккенс, Гюго, Гоголь,

[1] Мы имеем здесь в виду писателей типа Тургенева и Григоровича, а не Герцена, разумеется. Выступление на историческую сцену и развитие собственно народнической литературы относится к несколько более позднему времени. Происхождение и этой литературы теснейшим образом связано с развитием капитализма в России.

Санд — тут ничего не объяснишь, не приняв в расчет внутренних исторических условий.

И в после-каторжный период Достоевский сохранил в себе многие характерные черты художника и мыслителя именно этого мира, точнее — его интеллигенции [1].

Черты антикапиталистической идеологии в Достоевском несомненны, хотя они и сочетаются в нем с проповедью таких вещей, реализация которых неизбежно способствовала бы, как и было в действительности, росту и укреплению капитализма в России.

Наступление капитализма на Россию Достоевский встречает с тревогой и страхом. Развитой капитализм Запада, в особенности Англии, рисуется ему как „чюдовище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй“. Именно это — один из моментов, толкающих его на поиски пресловутой „почвы“, которые и приводят его в конце концов к некоторым заимствованиям у теории славянофилов, еще в 1861 г. им довольно метко и остроумно осмеянной [2].

Его критика капитализма и буржуазии это не критика с позиций феодального дворянства, любившего и в России потрясать нищенской сумой западного, да и туземного пролетариата.

Идеализация дореформенного строя красной нитью проходит через всю дворянски-помещичью критику капитализма, но она не характерна для Достоевского, хотя и встречается изредка и у него.

В русской художественной литературе едва ли есть что-нибудь

[1] Как он соединял это с поклонением самодержавию? А как Бальзак соединял свое творчество с легитимизмом? Да и на чем собственно зиждется ходкая в историко-литературных кругах идейка, что идеологи, писатели и художники мелкой буржуазии во что бы то ни стало, везде и всегда должны быть революционерами, радикалами или, по крайней мере, политическими либералами? На теории? — Но классики марксизма никогда не говорили этого. На истории? — Но кто это доказал? Народники? — Но они были идеологами не мелкой буржуазии вообще, а крестьянства и притом в определенных исторических условиях. Как только народничество выродилось в законченный реакционный мещанский социализм, оно очень было непрочь заигрывать с идеей социальной монархии. Мнение: мелкая буржуазия революционна или радикальна всегда и во всех своих слоях, — теоретически и исторически столь же несостоятельно, как и лассальянский тезис о „сплошной реакционной массе“.

[2] Славянофильство, говорил он тогда, выросло между прочим — „из панорамы Москвы с Воробьевых гор, из мечтательного представления московских бар половины XVII столетия, из осады Казани и Лавры и из прочих панорам, представленных во французском вкусе Карамзиным, из впечатления его же Марфы Посадницы, прочитанной когда-то в детстве, и, наконец, из мечтательной картины полного будущего торжества над немцами, несколько даже физического, — над немцами, непрощенными и даже, уже после торжества над ними, попрекаемыми“. См. *Достоевский*, Полн. соб. соч., изд. „Просвещение“, т. XIX, стр. 142.

более сильное из написанного против крепостного права, чем одна единственная страничка в „Братьях Карамазовых", где рассказывается случай с помещиком-генералом, затравившим борзыми собаками крепостного мальчика на глазах у его матери и специально собранной для созерцания этого зрелища толпы крепостных. Это не сантиментальное „Муму" и не сцены из „Записок охотника". Только в „делах" помещиков, отданных под опеку за сверхобычные зверства, можно найти документы такой силы. Написанные сухим канцелярским языком, они производят столь же жуткое впечатление. Не случайно Победоносцев выразил свое неудовольствие этими картинами в романе.

Отношение Достоевского к капитализму наиболее полно отразилось в его „Зимних заметках о летних впечатлениях" и в переписке.

В 1862 г. он впервые посетил Западную Европу, между прочим Англию и Францию. Он пробыл тогда в Лондоне всего восемь дней, но эти дни произвели на него неизгладимое впечатление на всю жизнь. Да и было отчего. Лондон тогда был индустриальной и торговой столицей мира, городом, по сравнению с которым не только Берлин и Петербург с их полумиллионным населением, но, в некоторых отношениях, и полуторамиллионный Париж представлялись только огромными провинциальными городами. На жителя полупатриархальной, полубуржуазной, только что ликвидировавшей крепостное право страны, этот всемирный капиталистический центр и должен был произвести грандиозное, подавляющее впечатление.

Гигантские размеры, бешеный, по-тогдашнему, темп жизни, несмолкаемый грохот машин и „чугунок", неприкрытая и нескрываемая классовая диференциация, нищета сотен тысяч пролетариев, обостренная кризисом, и рядом наглая и уверенная в себе роскошь, тысячи проституток и десятки тысяч рабочих на улицах Лондона ночью — все это напомнило Достоевскому сцены из Апокалипсиса. Капитализм — „Ваал", решил он.

„Вы чувствуете страшную силу, которая соединила тут всех этих бесчисленных людей, пришедших со всего мира в едино стадо; вы сознаете исполинскую мысль; вы чувствуете, что тут-то уже достигнуто, что тут победа, торжество. Вы даже как будто начинаете бояться чего-то. Как бы вы ни были независимы, но вам отчего-то становится страшно... Не придется ли принять это и в самом деле за полную правду и занеметь окончательно?.. Вы чувствуете,— пишет Достоевский,— что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то-есть не принять существующего за свой идеал..."

Положение пролетариата рисуется им красками полного отчаяния и безнадежности исхода из-под власти „Ваала", которому поклоняется

все и которому служит сама церковь. В Англии — „это религия богатых и уж без маски. По крайней мере — рационально и без обмана“

Если в Англии внимание Достоевского приковал к себе главным образом пролетариат, то во Франции оно сосредоточилось на буржуа Его „Опыт о буржуа“ несомненно должен быть отнесен к ряду самых блестящих памфлетов против буржуа, существующих в буржуазной же литературе.

Лондон — это трагедия. Париж — не трагедия, а трагикомедия. Он похож на Лондон, но в нем нет его величия. Французский буржуа исповедует ту же религию наживы, что и английский, но он труслив, в нем нет спокойной самоуверенности, с которой Лондон обнажает язвы капиталистической цивилизации — полярную противоположность буржуазии и пролетариата, господство и циническую роскошь ничтожного меньшинства над придавленным и полунищим огромным большинством. Французский буржуа, казалось бы, достиг господства — и тем не менее он трусит.

Кого же он боится? спрашивает Достоевский. Работников? Но ведь работники, по мнению Достоевского, „тоже все в душе собственники, весь их идеал в том, чтоб быть собственниками“. Земледельцев? „Да ведь французские земледельцы архисобственники, самые тупые собственники, т. е. самый лучший и самый полный идеал собственника, какой только можно себе представить“. „Коммунистов? Социалистов, наконец? Но ведь этот народ сильно в свое время профершпилился, и буржуа в душе глубоко его презирает; презирает, а между тем все-таки боится. Да, вот этого-то народа он до сих пор и боится“. „А чего бы, кажется, бояться. Ведь предрек же аббат Сийес в своем знаменитом памфлете, что буржуа — это все. Ну, так и случилось, как он сказал. Одни только эти слова и осуществились из всех слов, сказанных в то время [1]; они одни и остались. А буржуа все еще как-то не верит, несмотря на то, что все, что было сказано после слов Сийеса, сбрендило и лопнуло, как мыльный пузырь. В самом деле: провозгласили вскоре после него: liberté, égalité, fraternité! Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? — Одинаковая свобода всем делать все, что угодно, в пределах закона. Когда можно делать все, что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все, что угодно, а тот,

[1] Ср. с замечанием Достоевского о Бабефе — „первом человеке, сказавшем, еще 80 лет назад, пламенным первым революционерам, что вся их революция, без сущности дела, есть не обновление общества на новых началах, а лишь победа одного могучего класса общества над другим на основании „otes toi de là que je m'y mette“. Соб. соч., изд. „Просвещение“, т. XIX, стр. 382.

с которым делают все, что угодно. Что ж из этого следует? А следует то, что кроме свободы есть еще равенство, а именно равенство перед законом. Про это равенство перед законом можно только одно сказать, что в том виде, в каком оно теперь прилагается, каждый француз может и должен принять его за личную для себя обиду"[1].

На трактовке Достоевским вопроса о „братстве" мы остановимся ниже. Теперь же отметим, что на страницах его памфлета дана самая блестящая, какая только доступна мелкобуржуазному сознанию, критика французского буржуа, его пошлых идеалов, вкусов, нравов, наклонностей; принципов, на которых строится его брак и семья, его политических учреждений и церкви и, наконец, его холопства перед Наполеоном.

Что же все это? Не революционно-социалистическая ли критика? Конечно, нет. У буржуазных и специально мелкобуржуазных писателей Запада и католиков, и лютеран, и скептиков по части религии не трудно найти подобные же критические картины, исполненные только с меньшим талантом и без специфического русского колорита.

И антиреволюционное направление и специфически русский, отчасти даже славянофильский, колорит этой критики сразу же становятся очевидными, как только Достоевский переходит к трактовке третьей части формулы: liberté, égalité, fraternité.

Здесь он, подобно одному из персонажей „Бесов", Шигалеву, запутывается в собственных противоречиях. Социализм, „братство" — в данном случае Достоевский незаконно, с его же точки зрения, смешивает эти понятия[2] — „это закон природы; к этому тянет нормального человека". Но, оказывается, чтобы социализм мог осуществиться, он уже должен существовать. До тех пор, пока истинно „братские" отношения не сложатся между людьми, — „братства" не будет.

Стремление к „братству" не ради него самого, а во имя личных, групповых или классовых интересов, оказывается бесплодно. Таким

[1] Как бы иллюстрацией к этому утверждению звучит следующее место из того же памфлета: „Воровать гадко, подло, — за это на галеры; буржуа многое готов простить, но не простит воровства, хотя бы вы или дети ваши умирали с голоду. Но если вы украдете из добродетели, о, вам тогда совершенно все прощается. Вы, стало быть, хотите faire fortune и накопить много вещей, т. е. исполнить долг природы и человечества. Вот почему в кодексе совершенно ясно обозначены пункты воровства из низкой цели, т. е. из-за какого-нибудь куска хлеба, и воровство из высокой добродетели. Последнее в высшей степени обеспечено, поощряется и необыкновенно прочно организовано".

[2] Сам он их различает, но не столько по идеалу, сколько по способам его достижения. Социализм, мол, стремится устроить человечество на разумных основаниях, на заинтересованности и сознательном расчете людей. В „братстве" же „все основано на чувстве, на натуре, а не на разуме".

образом то, что составляет цель, уже должно существовать как предпосылка ее достижения. Это один софизм, приводящий к тупику, из которого, как намекает Достоевский, есть выход только в христианской идиллии: „любите друг друга, и все сие вам приложится“.

Второе противоречие: констатировав, что стремление к „братству“ есть природное свойство человека, он двумя страницами ниже, указывая на крах опытов фурьеристов, утверждает о человеческих свойствах уже нечто совершенно иное, между прочим очень похожее на рассуждения человека „Записок из подполья“.

„Конечно,— говорит он,— есть великая приманка жить хоть не на братском, а чисто на разумном основании, то есть хорошо, когда тебя все гарантируют и требуют от тебя только работы и согласия. Но тут опять выходит загадка: кажется, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить, и за это требуют с него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. Нет, не хочет жить человек и на этих расчетах, ему и капелька тяжела. Ему все кажется сдуру, что это острог и что самому по себе лучше, потому — полная воля. И ведь на воле бьют его, работы ему не дают, умирает он с голоду, и воли у него нет никакой, так нет же, все-таки кажется чудаку, что своя воля лучше. Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он, дурак, не дорос, не созрел и не понимает своей собственной выгоды; что муравей какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей его умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое дело, одним словом: далеко еще человеку до муравейника!

Другими словами: хоть и возможен социализм, да только где-нибудь не во Франции.

И вот в самом последнем отчаянии социалист провозглашает наконец: liberté, egalité, fraternité ou la mort. Ну, уж тут нечего говорить, и буржуа окончательно торжествует“.

Буржуа, торжествующий над лозунгом революции — это, конечно, собственное измышление Достоевского. Не буржуа торжествует, а Достоевский обнаруживает свою собственную „натуру“, „бунтаря в себе“, как только встает вопрос о революционной борьбе за социализм.

Все эти мнимо неразрешимые антиномии приписываются Достоевским, на первый взгляд, казалось бы, только Западу. Потому что „в западном человеке нет братского начала, а напротив, начало единичное, личное, беспрерывно обособляющееся, требующее с мечом в руке своих прав“.

При ближайшем же рассмотрении оказывается, однако, что антиномия-то эта, по Достоевскому, не специфически западная, но общечеловеческая. В самом деле: человек „Записок из подполья“ — русский

человек и, тем не менее, по части „личного начала" он не уступает самому крайнему индивидуалисту Запада.

Напуганный, подавленный и возмущенный „Ваалом", зло и блестяще осмеяв буржуа, Достоевский при всем своем тяготении к „братству" все-таки не сходит с индивидуалистической и собственнической почвы. Он объявляет „право собственности" одной из основ общества, освященных христианством. Ему самому формула — собственность — индивидуальность — личность представляется незыблемой, краеугольным камнем человеческого общежития. И социалистическая революция рисуется ему как „мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его..." [1]

„Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание *собственности*",— рассуждает один из персонажей „Бесов" [2]. „...Когда в Европе,— говорит Достоевский уже прямо от своего имени, призывая россиян уверовать в их „цивилизаторскую миссию в Азии",— уже от одной тесноты только, заведется неизбежный и претящий им самим унизительный коммунизм, когда целыми толпами станут тесниться около одного очага и, мало-помалу, *пойдут разрушаться отдельные хозяйства,* а семейства начнут бросать *свои* углы и заживут сообща коммунами; когда детей будут растить в воспитательных домах (на три четверти подкидышами), тогда — тогда у нас все еще будет простор и ширь, поля и леса, и дети наши будут расти у отцов своих..." [3]

Критика Достоевским капитализма есть, таким образом, в конечном счете, протест с точки зрения собственности, семьи и отчасти религии против того, во что торжествующий „Ваал" обратил их, отняв собственность у большинства, проституировав семью и цинично обнажив социальную функцию церкви.

Здесь и бессильная ненависть к „Ваалу", сташившему со всего пелену патриархальности, поставившему идеалом чистоган, „миллион", и страх перед наступлением его на Россию.

Социализм манил его „братством" и отталкивал уничтожением „отдельных хозяйств" и сложившихся на этой основе семьи и индивидуализма. Так постепенно складывается у Достоевского утопический

[1] См. „Дневник писателя" за 1873 г. „Одна из современных фальшей".

[2] Петр Степанович Верховенский. Это, кстати сказать, один из примеров того, как Достоевский не останавливается иногда перед навязыванием собственных мыслей любому из своих героев.

[3] *Достоевский,* Соч., т. XII, стр. 455—456, ГИЗ, 1929, „Дневник писателя" за 1881 г. Курсив мой.— *П. П.* Рассуждения Достоевского о „цивилизаторской миссии" России в Азии, объективный смысл их в то время, рассмотрены нами в статье „Маркс и Энгельс о России XIX столетия", помещенной в издании Публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина „Маркс и Энгельс о России", М. 1934.

реакционный идеал полупатриархального общественного строя, увенчанного социальной монархией. Этот идеал никак нельзя трактовать как нечто случайное и нехарактерное в Достоевском. Нет ничего удивительного и в том, что он ухватился за христианство, трактуемое им на своеобразный реакционно-демократический лад. Это даже не очень противоречило его прошлому. Ведь христианство нередко входило составной частью в идеологию ранних социалистов-утопистов и мелкобуржуазных социалистов. Ему не чужды были и Сен-Симон и Кабэ и Прудон.

„Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом“, гласит формула Шигалева. В судьбе самого Достоевского есть нечто, напоминающее эту формулу. Отвергнув в области решения социальных вопросов коммунизм, он был прибит волнами истории к подножию российского самодержавия.

Достоевскому многие приписывают совершенное знание человека, проникновение в самую его „сущность“. Это верно только отчасти. Человека он знал, но не фантастического „человека вообще“, а реального, придавленного и развращенного веками рабства и унижения. Очень многие черты, присущие этому исторически сложившемуся человеку, Достоевский приписывал „человеку вообще“, считая их чем-то имманентным самой человеческой природе, рассматриваемой вне времени и пространства.

„Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил“, говорит один из его героев. Достоевский сам был этим „слишком даже широким человеком“, и именно поэтому он — лучшее свидетельство тому, сколь в действительности узок горизонт буржуа, даже гениального. Целый мир, богатейший и красочный, лежит за пределами этого горизонта.

Достоевский не вмещает в себя ни человека будущего, ни борцов за это будущее. Он, в стиле гротеска, конструирует их психологию и философию по образу и подобию своему — человека капиталистического мира, человека периода разложения крепостничества и утверждения капитализма в России. Достоевский наивно-претенциозно полагал, что то, что может вместить он,— это предел ёмкости человека вообще. Новое давило на его сознание с огромной силой, грозя разрушить те искусственные конструкции, которые он возводил, и он с напряжением гнал от себя это новое, не останавливаясь перед цинизмом и клеветой.

Гений буржуазной тупости, говорил о Бентаме Маркс. Гений мелкобуржуазной ограниченности, можно бы сказать о Достоевском.

Его „широты“, в конце концов, хватило только на то, чтобы сочетать в себе чисто платоническую страсть к мечте о всемирном братстве с преклонением перед патриархальным варварством с его политическим выражением — крепостнической монархией.

Достоевский не мог до конца „принять“ и благословить расстилавшуюся перед ним картину жизни, но он в то же время, и с еще большей страстностью, отрицал единственный путь к радикальной переделке мира — путь социалистической революции. Что же оставалось ему? Ведь жизнь ставила вопрос ребром: или — или. Или впасть в крайнюю мизантропию (мотивы эти проскальзывают иногда у Достоевского), объявить людей безнадежными, открыто провозгласить, что рабы и властители есть „естественный закон“ жизни. Или пойти на этот мир войной. Но социальную войну Достоевский отрицал, ибо, как мы видели, вовсе не намеревался разрушать основу буржуазного общества — „отдельные хозяйства“ и пр. Апология же „сильной личности“ тоже претила Достоевскому[1]. Выхода не было, и он попытался найти его в утопии.

Он силился подняться „выше“ борьбы классов, призывал добиваться хлеба и счастья во имя принципов более „высоких“, чем хлеб, а в действительности стал, и не мог не стать, орудием монопольных владельцев „хлебов и рыб“, отстаивающих свою монополию и господство всеми средствами. В этой судьбе Достоевского нет ничего оригинального. Это неизбежная карьера всех, кто изобретает универсальные средства всемирного единения человечества помимо борьбы и ниспровержения капитализма, всех, кто пытается найти „гармонию“, в которой эксплоатируемые, унижаемые и их угнетатели примирились бы ко всеобщему удовольствию и слились „в едино стадо“. Но реакционная утопия Достоевского обладала такими чертами, которые не позволяли феодальной реакции прямо зачислить ее в свой актив.

Выше отмечалось уже, что в современном Достоевскому реакционном лагере его ценили прежде всего как публициста-союзника. Но многие в этом лагере считали его далеким от ортодоксии, шатким в основаниях, туманным, неприложимым к жизни, нездоровым и даже прямо вредным писателем. Как художника Достоевского ценили здесь довольно низко, неизмеримо ниже Толстого, Тургенева, Гончарова и даже Маркевича.

В 1890 г. в „Русском вестнике“ появилось несколько этюдов К. Леонтьева о Толстом. В них художественное творчество Толстого оценивается как высшее достижение русской и европейской литературы

[1] Параллели между Достоевским и Ницше, весьма модные в свое время, представляются мне поверхностными и в сущности несостоятельными. „Человекобог“ Кириллова из „Бесов“, „все позволено“ Раскольникова и Ивана Карамазова несомненно имеют черты внешнего сходства с ницшевским „сверхчеловеком“, с его „господской моралью“, но не больше. И движущие мотивы и идеалы у них различны. Достоевский никогда не исповедывал убеждения, что самый совершенный человеческий тип, это — „великолепный хищный зверь“, т. е. нечто вроде какого-нибудь современного фашистского „вождя“.

XIX века, как венец ее. Толстой — вершина реализма и объективизма, по его произведениям можно изучать русскую жизнь. Его „Война и мир" — огромная „историческая, или, точнее сказать, прямо политическая заслуга". Его „Анна Каренина" — заслуга, так сказать, гражданская по той теплоте чувства и беззлобной иронии, с которой изображается в этом романе „жизнь круга высшего и богатого".

„Во всяком случае,— пишет Леонтьев,— уж и то великая заслуга „Войны и мира", что там трагизм — трезвый, здоровый, не уродливый, как у стольких других писателей наших. Это не то, что у Достоевского — трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы. Трагизм „Войны и мира" полезен: он располагает к военному героизму за родину; трагизм Достоевского может, пожалуй, только разохотить каких-нибудь психопатов, живущих по плохим меблированным комнатам" [1].

Такова леонтьевская оценка Толстого и Достоевского как художников. Не забудем, что все это принадлежит перу не толстовца, а человека, находившего невредным повесить Толстого за его проповедь, человека, упрекавшего самого Каткова в „оппортунизме". Не удовлетворял Достоевский художественные вкусы и Н. Н. Страхова. „Если вы Достоевского ставите выше Толстого,— писал Страхов В. Розанову,— то это большая ошибка".

Еще важнее для определения классового лица Достоевского высказывания его политических союзников об общем его мировоззрении и о характере его влияния.

Уже в 1880 г., тотчас же после произнесения Достоевским известной речи на пушкинских торжествах, тот же Леонтьев выступил против этой речи, упрекая Достоевского в отступлениях от православной и вообще христианской ортодоксии, в склонности к „гуманитарной идеализации", к мечте о „справедливом" социальном устройстве на земле.

Двумя или тремя годами позже, в одном неопубликованном очень интересном проекте создания в Петербурге большой политической

[1] *К. Леонтьев,* Соч., т. VIII, стр. 235. „Тургенева и Толстого можно конечно, поставить в более тесную и прямую связь с Пушкиным и Лермонтовым, ибо в их произведениях мы находим и много изящных образов из русской жизни, а у Достоевского и Щедрина нет уже и тени изящного; они и не умели его изображать... С годами они оба (Тургенев и Толстой), в разной мере и при разных условиях, отвыкли видеть везде только бедность и ничтожество духа и жизни". (Там же, стр. 299.) Верны или неверны эти речения сами по себе, вопрос, в данном случае, другой. Подчеркнем только еще раз, что они принадлежат человеку из того политического лагеря, в котором стоял во вторую половину своей жизни и Достоевский, самим же Леонтьевым высоко ценимый как публицист. „Дневник писателя",— говорит Леонтьев,— для меня во сто раз драгоценнее всех его романов".

газеты для борьбы с революционными и социалистическими идеями, поданном Леонтьевым Победоносцеву и Филиппову, он между прочим говорит и о необходимости дать „отпор тому полулиберальному христианству, которое так распространилось у нас теперь и которое чает с распятием (символом страдания!) в руке — дойти здесь на земле до *свободного* равенства и всеутешительной поголовной любви, никогда Христом не обещанной“... В этих словах Леонтьев имел в виду проповедь в стиле Достоевского и Толстого. Это становится бесспорным в свете его писем к В. В. Розанову.

„Но усердно молю бога,— говорится в одном из них,— чтобы Вы поскорее *переросли Достоевского* с его „гармониями“, которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество — сочиненное. И учение о. Зосимы — ложное; и весь стиль его бесед фальшивый“.

„Хотя в статье Вашей о „Великом Инквизиторе“ многое множество прекрасного и верного,— читаем мы в другом письме,— и сама по себе „Легенда“ есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого Достоевского в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны,— да и Вам дай бог от его *нездорового и подавляющего* влияния поскорее освободиться. Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо“. И далее: „В Оптиной „Братьев Карамазовых“ *правильным, православным сочинением не признают, и старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия*[1] *не похож*. Достоевский описал только его наружность, но *говорить* его заставил совершенно *не то,* что он говорит, и *не в том стиле,* в каком Амвросий выражается. У о. Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика,* и уже потом прикладная мораль. У о. Зосимы (устами которого говорит сам Фед. Мих.) — прежде всего мораль, „любовь“ и т. д.,— ну, а мистика очень слаба“[2].

„Не верьте ему, когда он хвалится, что знает *монашество:* он знает хорошо только свою *проповедь любви* — и больше ничего“.

„Для Достоевского,— писал Леонтьев в статьях о Толстом,— его собственные мечты о *небесном* Иерусалиме на *этой земле* были дороже как жизненной правды, так и истинных церковных правов...[3].

И, наконец, как бы общий вывод: „С одним *моральным идеализмом* („любовь“, „гармония“, „Он“ — Христос *только* прощающий), далеко от современного смятения мыслей и чувств не уйдешь“[4].

В этом же духе, не менее Леонтьева нападая на идейную шаткость и неверие Достоевского, высказывается и Страхов. „Меня,— пишет он все тому же В. Розанову,— одно очень порадовало: Вы начали чув-

[1] Амвросий — „старец“ Оптиной пустыни.
[2] Курсив всюду Леонтьева.
[3] *К. Леонтьев,* Соч., т. VIII, стр. 305. Курсив Леонтьева.
[4] В письме к В. Розанову от 1891 г.

ствовать *болезненность* Достоевского; по-моему он очень вреден для многих, я думаю и для Вас — теперь можно сказать *был* вреден. Он бередил в других всякие раны, которыми сам очень страдал, и все доказывал, что это и есть настоящая жизнь, настоящие люди. Разумеется, в каждом вопросе он колебался, но думал, что так и нужно“ [1]. И в другом письме: „Я читал Вашу статью о Достоевском... очень ею заинтересовался, и должен был и похвалить и побранить Вас. Похвалить за глубину и тонкость понимания — как верно Вы угадали его мучения и отсутствие в нем веры!“ [2]

Не безынтересно, что на этом пункте в критике Достоевского с Леонтьевым, Страховым и Розановым сошелся и В. С. Соловьев, поклонник и друг Достоевского последних лет его жизни и духовный отец российского символизма.

„Достоевский,— писал он К. Леонтьеву в середине 80-х годов,— горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подзорную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел“ [3].

Было бы великой наивностью, граничащею с глупостью, полагать, что эти любопытные свидетельства могут поколебать представление об идеологии Достоевского, как идеологии по содержанию своему реакционной. Даже десятки и сотни подобных свидетельств не в состоянии были бы разрушить этого представления, как не разрушают представления о реакционности идеологии Толстого преследования его „учения“ царским правительством, и как не разрушают нашего представления о реакционности „христианского социализма“ гонения, которые претерпевали в свое время на Западе некоторые его представители.

По отношению к научному социализму, к пролетарской революции все эти идеологии — и ортодоксальные и „еретические“ — реакционны. Это бесспорно. Но это еще не значит, что при изучении истории идеологий не следует отличать Ламеннэ от парижского епископа, Толстого от К. Леонтьева, Достоевского от Победоносцева и Каткова. И вот в этом именно смысле приведенные свидетельства имеют немалый интерес. В их отрицательном свете трудно, например, видеть в Достоевском выразителя основоположных воззрений крупнопоместного дворян-

[1] Письмо от 14 декабря 1888 г.
[2] Письмо от 16 октября 1890 г.
[3] К процитированному месту Леонтьев сделал примечание: „По-моему, это злая и печальная правда“. Три речи В. С. Соловьева о Достоевском и заметка в защиту его от леонтьевских обвинений в „новом христианстве“ относятся к 1881—1883 гг. (см. Соб. соч. В. С. Соловьева, т. III, стр. 172—205). Это высказывание в частном письме к Леонтьеву интересно в первую очередь своим противоречием публичным выступлениям.

ства и столичной аристократии. По части „основоположных воззрений“ и чаяний „первенствующего сословия“ мы, во всяком случае, склонны больше положиться на К. Леонтьева, чем на очень многих „достоевистов“. Этот очень хорошо знал, чего хотел, предлагая Россию „подморозить“ и над „народом-богоносцем“ держать всегда поднятым „государственный бич“ [1].

Свидетельствуют эти высказывания и об огромной шаткости Достоевского в области религии. В религии он — и „богоискатель“ и „богостроитель“, словом, все, что угодно, только не прочно установившийся человек и уж, конечно, не ортодокс. В. С. Соловьев едва ли ошибался в своем язвительном и остроумном замечании о „подзорной трубе“.

Та же утопия Достоевского давала почву и для своеобразных отношений между ним и некоторыми элементами народничества. Попытки породнить Достоевского с народничеством предпринимались уже не однажды, предпринята была такая попытка и совсем недавно. В основании ее лежат некоторые общеизвестные факты, никак однако не выдерживающие здания, которое на них пытаются воздвигнуть. Достоевский был врагом революционного народничества и противником даже народников-реформистов 70-х годов.

Но „нет дыма без огня“. Весь вопрос в том, о каком „народничестве“ и какого периода идет речь и в том — Достоевский ли делал к нему шаги, или наоборот. Рассуждая чисто априорно, нет ничего чудовищного в предположении, что представители некоторых народнических течений периода упадка и вырождения старого революционного народничества могли питать симпатию ко многим идеям Достоевского. Да так оно и было в действительности, чему есть и достаточно авторитетные свидетельства.

Одно из таких свидетельств принадлежит перу члена редакционной тройки „Отечественных записок“ Г. З. Елисеева. Вот что писал он М. Е. Салтыкову-Щедрину 9 января 1885 года:

„Я только теперь узнал Достоевского. Это была живая, на все отзывчивая душа. Его пытливая мысль была в вечном напряжении, никогда не знала покоя. По неугомонной деятельности его мысли и его впечатлительности я могу сравнить его только с Вами. Как жаль, что эта мысль случайно направилась в другую сторону. Я говорю: *случайно,* потому что мысль Достоевского всегда была сильна анализом и никогда синтезом. Он никогда не вышел бы из той области мысли, в которую раз попал,— он стал бы разрабатывать ее одну, и только ее одну до бесконечности. А он ведь с начала своего писательства был на другой стороне. И надобно было много усилий, чтобы

[1] См. *Достоевский,* Письма, т. III, „Academia“, 1934, предисловие А. С. Долинина.

свернуть его отсюда. Только посредством бога могли его свернуть отсюда. *Точно мы противники бога?!* Да и внутренне никогда не свернул окончательно. Разве он мог думать о Некрасове, что он *такой же* социалист и богоотступник, каким он считал Белинского.— Да, никогда он этого не думал и к Некрасову был всегда расположен. Я полагаю, что Некрасову было просто лень и не хотелось с ним возиться вскоре после его приезда. В этом и все дело. Впрочем, господь с ним. Все это дела минувших дней..."[1]

Очевидно, что фразу — „я только теперь узнал Достоевского" — нельзя понимать буквально. Невозможно же в самом деле предположить, что Елисеев до середины 80-х годов не был знаком хотя бы с некоторыми из главных произведений Достоевского. Повидимому, это следует понимать в смысле *нового* восприятия творчества Достоевского, иного, чем прежнее. И едва ли можно отрицать, что оно теснейшим образом связано с глубоким упадком и вырождением народничества в 80-е годы, в особенности на правом реформистском и легалистском его крыле, к которому примыкал и Елисеев. Не Достоевский шел к народничеству, но некоторые из народников нереволюционного толка делали шаги в его сторону, причем не в 70-е, а в 80-е годы. И не узко личные, а социальные мотивы лежат в основе этих зигзагов.

IV

Прибавил ли Достоевский хоть один новый аргумент против социализма по сравнению с тем, что против него выдвигалось и до Достоевского представителями всех буржуазных партий и всеми церквами?— Нет. Его „аргументация" в сущности та же, что и у всех них. Философски она чрезвычайно слаба и имеет неизбежную тенденцию к метафизике, вплоть до откровенного мистицизма, исторически — она зиждется, как и у всех „критиков", или на необыкновенном невежестве, непонимании истории, или на прямой ее фальсификации.

Что характерно и удивительно в мыслителях и писателях, подобных Достоевскому, это — господство над ними факта. С одной стороны, они чувствуют себя во всемирной истории как бы в родной стихии; они оперируют в масштабе столетий, народов, целых культурных эпох; с другой стороны — факт гнетет их, приковывает их к себе, лишая их способности критического анализа, способности не только прозревать в будущее, но даже чуть-чуть приподняться над фактом, не дать ему заворожить себя.

Прочтите рассуждения Достоевского о Коммуне 1871 г. Вот и

[1] Письмо это включено в печатающееся ныне издание писем Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. Курсив мой.— *П. П.*

опять, как и в 1848—1849 гг., восставшие под знаменем социализма повержены, побеждены — значит и не могут победить, значит стоят на ложном пути, такова его мысль[1]. Тут и необычайная близорукость и великое лукавство. Не хочет же Достоевский признать крах христианства на том основании, что оно на протяжении почти двух тысячелетий не реализовало того, что, по мнению Достоевского, составляет его сущность — всемирное „братство" и „любовь".

Известный успех в определенных кругах Достоевского как критика социализма и революции объясняется не новизной, глубиной и неотразимостью его аргументации, а тем, что старые, затасканные и пошлые в своей популярности в антисоциалистическом лагере „аргументы" он облек в художественные образы, исполненные с мастерством в своем роде уникальным. Тем, наконец, что читатель знал, что автор этих пламенных филиппик против социализма — человек, лично переживший многое, окруженный ореолом мученичества за некоторые из тех идей, которые он подвергал теперь поруганию.

Достоевский боролся с социализмом, но побеждал не социализм, а свое собственное представление о нем. Он создавал образ, в котором хаотически сочетались немногие черты действительно социалистической мысли с мыслями, абсолютно ничего общего с социализмом не имеющими, набрасывался на это хрупкое искусственное сооружение и обращал его в развалины. Так поступал он и в „Бесах", рисуя образы Верховенского младшего и Шигалева. Создавалась иллюзия победы. В антисоциалистическом лагере торжествовали, точнее делали вид торжествующих, и однако не чувствовали успокоения.

Не чувствовал его и сам Достоевский, снова и снова ратоборствуя все с тем же врагом, повергая его в романах и публицистике на землю и, однако же, в действительной жизни, видя его живым и обнаруживающим все признаки грозного роста. Тогда, как последний якорь спасения, рождалась глубоко реакционная утопия: признавалась неизбежность в человеческой истории временной победы коммунизма с конечным его поражением и торжеством „русского Христа".

Именно так шел этот процесс.

Достоевский, испытавший некогда на себе самом влияние социализма (правда, в его самой туманной, полухристиански-сантиментальной форме), не мог не сознавать, какое колоссальное обаяние должно было иметь это учение на умы эксплоатируемых и угнетенных.

Какую бы архиидеалистическую философию истории он ни исповедывал, он не мог не замечать, и порой замечал очень остро, что социальные идеалы и аристократии и буржуа на Западе уже скомпрометированы безнадежно, что для миллионов людей ниспровержение

[1] См. *Достоевский,* Письма, т. II. ГИЗ, 1930, Письмо № 387.

господствующего порядка становится там вопросом жизни и смерти. При крайней и отвратительной идеализации самодержавия он не мог не замечать, что и в России дело далеко не так прочно, как это нередко изображалось в его же „Дневнике писателя“.

Тревога нарастает в Достоевском, и он не может начисто заглушить и подавить ее в себе никакими философскими и историческими софизмами-утопиями о мессианской карьере „народа-богоносца“. При всей наивности своих экономических воззрений не мог же он не замечать, что „народ-богоносец“ нищает и разоряется, что ему „от бесправицы тошно“, что „свобода-то движения у него ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой“, что „шпигулинцы“, т. е. пролетариат, и в России не случайное явление. По временам, по крайней мере, он склонен был допускать, что и революционное движение в России не простое подражание Западу, не „бесовское наваждение“, но коренится в самом положении народных масс[1].

Но, констатировав это, Достоевский с тем большей настойчивостью обрушивался на революционный социализм, выдвигая в качестве единственного и универсального средства установления „гармонии“ в человечестве обветшалые социальные принципы христианства. К обоснованию своей схемы всемирной истории[2], с венцом ее в виде христианской „гармонии“ на православно-российский лад, привлекались то всякого рода „священные“ тексты, то славянофильские теории, то ложно истолкованная действительность.

В первой половине 60-х годов „Ваал“ — капитализм — рисуется ему хоть и гнусным и безнадежным, но страшно прочным и в своем роде величественным. В пролетариате тогда Достоевский не видит и даже не предполагает субъекта истории. В конце этого десятилетия, после довольно длительного пребывания за границей, он уже в несколько ином тоне говорит о „страшно развившемся проклятом пролетарском западном вопросе“. Он, если не понимал, то чувствовал по всей атмосфере в Западной Европе, что вопрос этот становится камнем преткновения буржуазного прогресса. В период разгрома Парижской коммуны ему, вероятно, казалось, что разгром этот надолго унесет с собою и мечту о социализме, по крайней мере, в широких массах.

[1] См. *Достоевский,* т. XII, стр. 434, Гиз, 1929, „Дневник писателя“ за 1881 г. Вот что, между прочим, говорит здесь Достоевский: „...народ теперь именно „обеспокоен“ нравственно. Я убежден даже, что если нигилистическая пропаганда не нашла до сих пор путей „в народ“, то единственно по неумелости, глупости и неподготовленности пропагаторов, не умевших даже и подойти к народу“.

[2] Даже, собственно, не схемы, а некой туманной и противоречивой совокупности идей, ибо Достоевский едва ли не наименее систематический ум из всех замечательных писателей XIX столетия.

Но социализм нельзя расстрелять из митральез. Он не только великая идея, он — само движение масс. И когда первое впечатление от разгрома Коммуны схлынуло, Достоевский не мог не заметить, что под внешним благополучием в Европе тлеет огонь революции. На рубеже 70-х и 80-х годов ощущение приближения великих социальных потрясений и переворотов становится у него особенно острым.

„Грядет четвертое сословие, стучится и ломится в дверь, и, если ему не отворят, сломает дверь. Не хочет оно прежних идеалов, отвергает всяк доселе бывший закон. На компромисс, на уступочки не пойдет, подпорочками не спасете здания“. Дело идет „к огромной, окончательной, разделочной политической войне, в которой все будут замешаны и которая разразится в нынешнем еще столетии, может, даже в наступающем десятилетии“. Война породит безработицу, „миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев брошены будут на улицу“. „И вот пролетарий на улице. Как вы думаете, будет он теперь попрежнему терпеливо ждать, умирая с голоду? Это после политического-то социализма, после интернационалки, социальных конгрессов и Парижской Коммуны? Нет, теперь уже не попрежнему будет: они бросятся на Европу, и все старое рухнет навеки. Волны разобьются лишь о наш берег, ибо тогда только въявь и воочию обнаружится перед всеми, до какой степени наш национальный организм особлив от европейского“.

Так писал Достоевский в „Дневнике писателя“ за 1880 г. И вот эти-то мысли разного рода Мережковские и пытались выдать за „пророчество“. Напрасный труд, ибо если это „пророчество“, то „пророков“ в то время на Руси окажется великое множество. Было более или менее смутное сознание, общее многим, что так вечно длиться не может, что на Западе дело идет к трагической развязке. И действительно, об этом писали и говорили многие, независимо от политического лагеря: и Бакунин, и Достоевский, и К. Леонтьев и даже шеф жандармов П. А. Шувалов[1]. Кажется меньше всех обнаруживали здесь понимания лишь тупые и блудливые российские либералы. Оригинальность Достоевского тут не столько в самой мысли, сколько в настойчивости и страстности ее публичного выражения. Что же ка-

[1] Вот что, например, писал К. Леонтьев в начале 80-х годов в цитированном уже проекте: „Надо стать на уровень событий, надо понять, что организация отношений между трудом и капиталом в том или другом виде есть историческая неизбежность и что мы должны не обманывать себя, отвращая лицо от опасности, а взглянув ей прямо в глаза, не смущаясь понять всю силу ее неотвратимости...“ И еще ранее, в 1880 г., в брошюре против Толстого и Достоевского: „Социализм (т. е. глубокий и отчасти насильственный экономический и бытовой переворот) теперь, видимо, неотвратим, по крайней мере, для некоторой части человечества“. Разумеется — для западноевропейской.

сается заключения вышеприведенного рассуждения — волн революции, разбивающихся о русский берег,— то здесь Достоевский уж совсем не оригинален. Об этом на Руси толковали еще со времен Хомякова. Да и ошибся он здесь сильно.

Но возвратимся к вопросу о критике Достоевским социализма.

Итак, Достоевский поражал построения собственной мысли, а не социализм,— язвительно спросит или подумает какой-нибудь особенно тонкий и проникновенный знаток мира „духовного"? Да, именно так. Не только у Достоевского, но и во всей мировой литературе, художественной и всякой другой, дело обстоит именно так. Никто не сумеет назвать произведения, которое „ниспровергало" бы социализм действительно художественным или научным способом. Не сможет просто потому, что такого произведения нет и быть не может.

Не случайно все критики социализма аргументируют против него, исходя либо из существующего порядка вещей, который принимается за „нормальный", либо из так называемой „человеческой природы", наделяя ее качествами, свойственными самим „критикам". Основной мотив всех этих критических упражнений может быть выражен очень кратко — „не желаю".

В сущности, к этому ведь приходят, по крайней мере, наиболее последовательные и откровенные противники социализма. Не о теоретических доказательствах, следовательно, идет тут речь. „Не желаю" — таков, ведь, основной аргумент и человека „Записок из подполья". Ну, а это аргумент во всяком случае не от теоретического разума. В этом смысле он просто жалок.

Что же противопоставил Достоевский социализму? „Не в коммунизме,— писал он в „Дневнике писателя" за 1881 г.,— не в механических формах заключается социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя христово. Вот наш русский социализм!"[1]

Следовательно, коммунизму противопоставляются социальные принципы христианства. Ну, а роль этих принципов во всемирной истории давно уже прекрасно охарактеризована Марксом: „Социальные принципы христианства,— говорит он,— превозносят трусость, презрение к самому себе, самоунижение, подчинение, смирение, словом — все качества черни, но для пролетариата, который не желает, чтобы с ним обращались, как с отребьем человечества, для пролетариата смелость, самосознание, чувство гордости и независимости — важнее хлеба"[2].

Таким рисуется Достоевский в свете его произведений и истории. Остается сказать только несколько слов о самом романе „Бесы". Тем

[1] *Достоевский,* Соч., т. XII, Гиз. 1929, стр. 436.
[2] См. *К. Маркс* и *Ф. Энгельс,* Соч., т. V, стр. 173—174.

более кратких, что в настоящем издании он сопровождается обширным ученым комментарием и специальным вступлением.

Тот, кто стал бы по „Бесам“ судить о русском революционном движении 60-х годов, нечаевском в частности, о нем, а не о восприятии его известной частью общества,— впал бы в глубокое заблуждение.

В качестве историка революционного движения 60-х — начала 70-х годов, Достоевский может быть рассматриваем с основанием, едва ли большим, чем Жозеф де-Местр в этой роли по отношению к французской революции XVIII века или, точнее, чем Л. Тихомиров по отношению к народовольческому движению.

Прежде всего отметим, что в романе ничего не говорится о причинах, породивших революционное движение в России, если не считать рассуждений о генетической связи Верховенских старших с Верховенскими младшими. Но это указание еще ничего не объясняет, не объясняет даже всех расхождений и вражды „либералов-идеалистов“ 40-х годов с революционерами 60-х годов. Были же какие-то причины, приведшие в движение „бесов“. И вот об этих-то причинах мы почти ничего не узнаем во всем романе. Есть там только один, в своем роде очень интересный и новый для тогдашней художественной литературы, эпизод — это случай со стачкой шпигулинских рабочих. Не совсем случайно этот эпизод, навеянный, вероятно, известной стачкой на Невской бумагопрядильне[1], попал в роман. Однако занимает он в нем очень скромное место и, что особенно любопытно, автор, излагая его, настойчиво подчеркивает ту мысль, что „бунт“, политическое движение,— для русских рабочих „дело глупое и вовсе не подходящее“.

Во-вторых, в романе крайне невыдержан колорит эпохи. В нем скрещиваются в различных образах, иногда даже в одном и том же образе, идеи, жгуче интересовавшие людей конца 30-х и 40-х годов с идеями, характерными для 60-х годов. Герои „Бесов“ так много и страстно говорят о боге, об абсолютах вообще, что кажется порой, будто перед нами не шестидесятники с их склонностью к естественно-научному материализму и дарвинизму, а Белинский, Герцен, Бакунин ранней поры, ведущие между собою нескончаемые философски-религиозные диспуты. В этом еще раз сказывается субъективизм Достоевского. Ну, а субъективизм плохой чичероне в области истории.

Что же такое „Бесы“ — чистейший вымысел, не имевший под собой абсолютно никакого реального основания? Не совсем так. Достоевский пытался изобразить и истолковать в своем романе действительность, но, будучи зеркалом страшно кривым, отразил ее искаженно. Все дело

[1] Об этой стачке в 1870 г. в русской прессе говорилось так пространно, как ни об одной из предшествовавших ей. Немало писалось о ней и в „Голосе“, за которым Достоевский постоянно следил во время пребывания своего за границей.

в том, до какой степени доведена кривизна отражающей поверхности. В тех случаях, когда она не велика, в отражении еще можно распознать черты действительности, если же она очень значительна, то эти черты стираются, и со страниц романа смотрят не живые исторические лица, не художественно обобщенные типы, а фантастические маски, совершающие движения и говорящие речи, в которых живая связь с действительностью уже порвана и которые регулируются только субъективными воззрениями и чувствами автора.

Основной сюжет „Бесов“ заимствован из нечаевского дела, но и заимствован чисто внешне, в отдельных эпизодах и мелочах [1].

Подлинной истории в романе нет. Ни цели, ни психология движения не нашли здесь своего, хотя бы приблизительно верного, отражения, и в этом вполне прав один из первых критиков романа, П. Н. Ткачев [2].

Не в меньшей, а даже в большей степени необходимо подчеркнуть и другую сторону дела: нельзя, как это нередко пытаются делать, рассматривать „Бесы“ только как антинечаевский памфлет. Нечаевщина тут предлог, исходный пункт в попытке морального уничтожения революции и социализма вообще.

Известно, что и основоположники научного социализма, Маркс и Энгельс, осуждали нечаевские приемы и притом в очень резких выражениях. Но ведь нужно быть слепым, чтобы не видеть, что осуждение это в революционных кругах было осуждением во имя революции и социализма, которые эти методы могли только компрометировать. Достоевский же произносил свое осуждение как раз против самых основ того, во имя чего нечаевщина резко осуждалась Марксом и Энгельсом. Спутать это значило бы приблизительно то же самое, что спутать борьбу Маркса с Бакуниным в I Интернационале с нападениями на последнего русской и европейской реакционной прессы.

Названная тенденция должна быть осуждена тем решительнее, что, будучи ложной по существу, она, в конечном счете, протягивает нить к трактовке творчества Достоевского, в особенности „Бесов“, в стиле Мережковского и Переверзева.

Верховенский младший у Мережковского — не пасквиль на Нечаева, но гениально созданный образ действительного революционера. В нем, по мнению Мережковского, вскрывается подлинное лицо русской революции, которая только оборотная сторона русского самодержавия. Революция, мол, несет в себе те же начала, что и царизм — деспотизм и пр. [3].

[1] Организация „пятерок“, сцена убийства Шатова, внешний вид и отчасти содержание прокламаций и т. п.

[2] *П. Н. Ткачев,* Избр. соч., т. III, „Больные люди“.

[3] *Мережковский,* Соч., т. XIII, „Пророк русской революции“.

Эту трактовку „Бесов" заимствовал у Мережковского Переверзев. Образ Петра Степановича Верховенского и у него находит прямо-таки восторженную оценку. Этим образом Достоевский, мол, раскрыл глубочайшие тайники души русского революционера, обнажил самую его сущность, глубоко скрытую от непосвященных и даже не всегда ясно осознанную самими ее носителями. А „сущность" эта — страсть к разрушению, безудержная мстительность, безграничный деспотизм и, в конечном счете, творческое бессилие.

Раскрасив в стиле „Вех" русскую революцию, меньшевистский литературовед, с „хитрым" видом, одним росчерком пера подводит под это реакционное измышление „марксистский" фундамент: все сие относится, мол, не к революции вообще, а только к мелкобуржуазным и вообще непролетарским революционерам, в частности к революционным народникам. Достоевский, мол, в высшей степени правдиво изобразил их сущность в Верховенском младшем, и потому они так яростно набросились на него в печати[1].

Достоевский потерпел поражение в своей попытке развенчать революцию и социализм. Временами он сам чувствовал это даже в процессе создания „Бесов". „Роман, который я писал, был большой, очень оригинальный, но мысль несколько нового для меня разряда, нужно было много самонадеянности, чтоб с ней справиться. *Но я не справился и лопнул*"[2]. Так писал Достоевский С. А. Ивановой, принимаясь за новый вариант „Бесов". Он льстил себя надеждой, что этот новый вариант будет лишен ошибок предыдущих и даст успех замыслу. Но некоторая неуверенность не покидала его все время. Она сказалась и в окончательном тексте романа, в особенности в главе „Иван-царевич".

Построив крайне запутанную и туманную интригу, забросив начало, узел ее, куда-то за рубеж, в центры русской политической эмиграции, выведя на сцену революционеров в неприглядных ролях, то каких-то сантиментальных и безвольных мечтателей, вроде Виргинского, или благополучных, сплетничающих мещан, вроде Липутина, то монстров, как Петр Степанович Верховенский,— Достоевский вдруг заколебался. В одной из кульминационных по замыслу глав всего романа, прежде чем привести дело к роковой развязке, Достоевский в явном логическом противоречии с тенденцией, пронизывающей „Бесы", вдруг заявляет,

[1] *В. Ф. Переверзев,* Творчество Достоевского, 3-е изд., Гиз, 1928. Предисловие. Переверзев даже превзошел Мережковского, обнаружив в авторе „Бесов" „пророка" не более, не менее, как Октябрьской революции. Все это понадобилось ему затем, чтобы бросить тень сомнения на пролетарскую социалистическую природу Октября (см. заключительные страницы названного предисловия).

[2] *Достоевский,* Письма, т. II, стр. 282. Гиз, 1930. Курсив мой.—*Н. Н.*

что герой его вовсе не социалист. „Я мошенник, а не социалист",— говорит Верховенский младший. И как бы опасаясь, что фраза эта может ускользнуть от внимания читателя, он заставляет Верховенского дважды повторить ее и фиксирует на ней внимание еще раз в ответном замечании Ставрогина: „... вы, стало быть, и вправь не социалист, а какой-нибудь политический... честолюбец".

Едва ли можно объяснить это место только тем, что Достоевский хотел оставить лазейку в случае очень решительных нападений радикальной критики. Весь роман был уже таким вызовом революционным кругам, что эта, хотя и очень интересная, деталь все равно не могла изменить дела. Но она любопытна как свидетельство того, что концепция автора и в последнем варианте романа „лопнула". Не случайно, пожалуй, что это происходит в главе „Иван-царевич", самой фантастической во всем произведении. Достоевский, повидимому, почувствовал все-таки, что носитель идей, нагроможденных в этой главе,— все, что угодно, только не социалист.

Как художественное произведение „Бесы", в целом, несомненно уступают „Преступлению и наказанию" и „Братьям Карамазовым". Но многие отдельные страницы в них могут быть поставлены в ряду лучших из написанных Достоевским. Таковы, например, некоторые страницы глав „Путешественница", „Последнее странствование Степана Трофимовича" и второй части главы „Многотрудная ночь". Отдельные, немногие правда, страницы этой части написаны с поистине шекспировской силой изобразительности.

В заключение скажем, что если всякий серьезный писатель требует к себе активного отношения в процессе чтения его произведений, то эта активность должна быть удесятерена при чтении Достоевского. Читать его — значит вступать с ним в борьбу.

Но борьба эта плодотворна. Она проведет читателя через всю сумму аргументов против революции и социализма, которые смог мобилизовать один из гениальнейших художников XIX века, покажет внутреннюю несостоятельность этих аргументов и, таким образом, еще раз подтвердит несокрушимость теоретических и психологических основ социализма даже для самых „сокрушительных" по внешности ударов.

П. Парадизов

Политический роман Достоевского

I

Ни одно произведение Достоевского не далось ему с таким трудом, как „Бесы". Обычные быстрые темпы его писательской работы были резко нарушены огромными трудностями непривычного замысла. Роман потребовал для своего осуществления вдвое большего срока, чем „Преступление и наказание", „Идиот" или „Подросток". Напряженность творческого процесса, неистощимо кидавшего на бумагу десятки планов, образов и эпизодов, неожиданно разряжалась длительными перерывами, возбуждавшими в авторе томительные сомнения в осуществимости поставленного задания. Из его писем к литературным друзьям видно, что за первое полугодие работы над „Бесами" он не переставал рвать и переиначивать, не менее десяти раз переменил план, накопил бесчисленное количество вариантов, в огромной груде исписанной бумаги потерял даже систему для справок и в иные минуты впадал в подлинное отчаяние перед исключительной сложностью задуманного романа. „Никогда никакая вещь не стоила мне большего труда,— пишет он Н. Н. Страхову 9/21 октября 1870 г.,— боюсь, что не по силам взял тему. Но серьезно боюсь, мучительно". И сообщая своей племяннице, что после долгих месяцев напряженной работы над „Бесами" он „перечеркнул все написанное (листов до 15 вообще говоря) и принялся вновь с первой страницы", он завершает свой творческий мартиролог безнадежной жалобой, звучащий со страниц его переписки подлинным воплем: „О, Сонечка! Если бы вы знали, как тяжело быть писателем, то-есть выносить эту долю..."

Между тем и другие произведения Достоевского требовали от него огромной смены планов и программ, беспрерывных переделок и переработок, не вызывая таких тягостных жалоб. Экспериментирование над замыслом и материалом, порождающее исключительное обилие вариантов в планировке произведения, входило в творческую си-

стему Достоевского, как основной его закон. Почему же в данном случае этот кардинальный принцип его писательской лаборатории привел к таким тяжелым и мучительным результатам?

Трудность работы над „Бесами" заключалась прежде всего в совершенно новом отношении автора к современной эпохе, как к материалу для романа. Обычно Достоевский был преимущественно озабочен лишь актуальностью главной идеи, ее повышенной заразительностью и увлекательной жизненностью для современных читателей, причем разработка этой основной темы велась в привычном плане углубленной психологической драмы, свободной от непосредственной связи с протекавшей злобой дня. В „Бесах" он изменил своему творческому навыку сразу в двух направлениях: не ограничиваясь злободневностью общей идеи, он включил в роман текущую политическую современность в крупных конкретных фактах и, не довольствуясь перспективами психологической борьбы, он построил свою эпопею, как резкую сатиру на развертывающееся общественное движение. Выработанный им жанр философского романа на уголовной основе принимал здесь впервые отчетливые формы особого „реакционного романа" катковской школы, представлявшего в практике Достоевского новый опыт. Созданный им роман-трагедия перерождался в роман-памфлет. Тип художественного целого, установившийся в истории Раскольникова и Мышкина, претерпевал глубочайшее органическое перерождение. Общая установка и сама природа нового вида требовали пристального уловления характерных фактов текущей истории для отражения их под острым углом воинствующей политической тенденции. И Достоевский с напряженнейшею зоркостью следил за протекавшей смутной и бурной эпохой, столь богатой в России и на Западе событиями исключительного значения и масштаба. Аресты членов „Народной расправы", следствие над пятеркой Нечаева и первый в России гласный политический процесс; франко-прусская война, падение второй империи. Седан и осада Парижа, письмо Штрауса к Ренану о культе силы, Жюль Фавр у Бисмарка, коммуна в Париже, пожар города и расстрел повстанцев; уничтожение международного значения Франции и выступление новой империи Гогенцоллернов, как могущественнейшей наступательной державы на Европейском материке; исчезновение последнего теократического государства вместе с падением светской власти папы и окончательное объединение Италии; утрата Австрией значения великой державы и военное восстановление России на Черном море; появление на европейской арене новой силы — Международного союза рабочих и напряженная борьба в недрах Первого Интернационала, завершившаяся исключением Бакунина и перенесением центрального комитета ассоциации за океан — в Нью-Йорк; — вот под какой аккомпанемент исторических событий писался

политический роман Достоевского, стремившийся вобрать в себя современность во всей ее трепещущей жизненности. Задача была необычайно трудна, и Достоевский, как мы видим по его письмам, мучительно ощущал эту трудность.

Но этим далеко не исчерпывалась тяжесть задания. Русский роман достиг как-раз к этому моменту небывалой высоты: лишь за несколько лет перед тем вышли „Отцы и дети“, только что появились „Обрыв“, „Дым“ и „Война и мир“. Достоевский принадлежал всегда к тем писателям, которые взыскательно отказывают себе в праве писать хуже своих предшественников; между тем установленная в русской литературе рекордная высота романического искусства была почти непреодолимой.

Отсюда та мучительная напряженность работы Достоевского над „Бесами“, которая, при близком изучении черновиков и планов романа, приобретает подлинно драматический характер. В течение целого трехлетия композиционная структура будущего романа, сюжетные схемы, состав героев и характеристики главных персонажей не перестают видоизменяться в процессе беспрерывного разрушения и возобновления основных тканей нарождающегося романа. Тщетно художник пытается остановить и зафиксировать этот сплошной поток образов, идей и событий, подчеркивая в своих набросках и планах: „окончательно“, „последний образ князя“, „это непременно так“, „последняя поправка программы“, „план окончательный“ и т. д. Процесс творческого преображения материала неуклонно продолжает свою разрушительную и созидательную работу, неумолимо отвергая все „окончательное“ и „последнее“ для непредвиденных сочетаний и поразительных новых открытий, неудержимо увлекающих этого жадного искателя образов на совершенно неведомые и опасные пути.

Как удалось Достоевскому остановить этот разбег фантазий, преодолеть огромные объективные трудности поставленного задания и вопреки художественно-порочной контрреволюционной идее всего произведения дать ряд живых образов, волнующих событий и вдохновенных страниц,— все это и вскрывает перед нами анализ сложнейшей ткани знаменитого романа при свете современной политической жизни, столь волновавшей его автора.

II

„Это почти исторический этюд“, характеризовал свой роман Достоевский сейчас же по окончании его — 6 января 1873 г., и это определение раскрывает нам понимание автором своего романического задания.

Мы ставим акцент на эту „романичность“. Было бы излишним доказывать, что Достоевский не был историком революционного дви-

жения 60-х годов и что „Бесы“ не стремятся дать подлинной картины этой сложной политической эпохи. Такой подход писателя к теме убил бы прежде всего те основные задания обличительной беллетристики, которыми определялось для автора существо и цель его романа-памфлета. Достоевскому здесь в первую очередь нужно было право на гротеск, на карикатуру и пасквиль, т. е. на коренное преображение и особую сатирическую переработку сырых фактов исторической действительности. Характерно, что сам он, вполне учитывая эти „художественные“ сгущения и видоизменения событий в своей творческой лаборатории, со всей четкостью отмечал неизбежную и намеренную приблизительность своих изображений: „это *почти* исторический этюд“... На точную историю Достоевский и не претендует; он нисколько не собирается объективно описывать нечаевское движение, ему важно только очертить „возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений“, т. е. обрисовать эту возможность и показать эту „чудовищность“. Это, конечно, не научное задание исследователя, а вольный и широкий подход романиста, отражающего историю во всем своеобразии своего фантастического восприятья. Именно так, по особым законам своей художественной экспрессии, лепил Достоевский своих монстров из материалов протекающей истории, обильно питая свою композицию ее делами, конфликтами и образами. Роман Достоевского не только насыщен до отказа, но положительно переполнен историческими фактами и чертами, заимствованными из современных газетных отчетов, судебных стенограмм, подпольной литературы и пр. (прокламации, пожары, пятерки, убийство Иванова и т. д.). Недаром критики уверяли, что Достоевский переписывает в своем романе протоколы политического процесса, а включенное в „Бесы“ стихотворение „Студент“ распространялось в революционных кружках и вызвало тревогу Третьего отделения. Борясь с социализмом и революцией, Достоевский внимательно изучал их проявления в современной действительности и широко вносил их в свою композицию [1]. Но все это дано здесь с обычным для каждого художника радикальным преображением действительности и с обязательной для памфлетиста трактовкой ее под острым

[1] Это подробно показано нами в отделе комментариев. Безусловное и категорическое осуждение тенденции и идеологии „Бесов“ не должно переходить в отрицание совершенно бесспорного историко-литературного факта — использования Достоевским в своем памфлете матерьялов современной истории. Точно так же порочность политической тенденции нисколько не аннулирует *жанровых* признаков: исторический роман, напр., остается таковым и при сугубой консервативности своей идеи. В „Капитанской дочке“ Пушкин изображает пугачевское движение, как „русский бунт, бессмысленный и беспощадный“; едва ли кто-нибудь станет все же оспаривать, что „Капитанская дочка“ — исторический роман.

углом предвзятой тенденции. Это нисколько не колеблет, а напротив того утверждает наличие здесь того „художественного“, т. е. условного историзма, который был столь органически свойствен Достоевскому. Всегда ощущая в себе повышенное влечение к восприятию и отражению слагающихся мировых событий, он воспитал это свойство своего писательского дарования в замечательной школе своего любимого поэта-историка — творца „Тараса Бульбы“ и „Арабесок“. В этом плане Достоевский стремился не к документальной точности и протокольной адэкватности, а к тому сложному изобразительному эксперименту, в результате которого реальные лица превращались в химеры и маски, исторические персонажи в „бесов“, а политическая современность в некую сатанинскую вакханалию. Так, по методам Гойи или Гоголя, преломлял романист в своем возмущенном воображении жадно изучаемые им факты и эпизоды протекающей исторической борьбы. Для правильной оценки его задания нужно вспомнить, что он прежде всего был художником, и не забывать, что в своих политических романах он оставался им до конца.

Итак, „почти исторический этюд“... Мы можем быть более точны и менее сдержанны. „Бесы“ — обширный политический роман особого типа, в котором современная история дана в прозрачной транскрипции романической фабулы, а реальные деятели эпохи показаны сквозь образы вымышленных героев, взятых под острым углом сатирического отражения.

Протекающая история всегда привлекала пристальное внимание Достоевского. На заре своего творческого пути он в официальном показании тайному государственному трибуналу с тревогой и мукой пишет о революции 1848 года, когда на глазах его „поет и ломится надвое несчастная Франция“. На самом закате своего творчества, пройдя сквозь жестокие и бурные кризисы „перерождения убеждений“, он с небывалым искусством развертывает мертвенную политическую программу Победоносцева в гениальную фреску „Братьев Карамазовых“, где все жуткие параграфы безнадежных правительственных проектов о церкви и школе, о суде и национальностях получили выпуклость бессмертных образов искусства и напряженность незабываемой драмы.

Современная история развертывалась перед Достоевским, как перед взглядом других художников раскрывается только отдаленное прошлое; ему не нужен был для ощущения конкретности всемирной истории „магический кристал“ легенды, поэзии, живописи или хотя бы промчавшегося времени. В отличие от Константина Леонтьева, не признававшего никакой силы и яркости в современной политике европейских государств и бежавшего от тусклости цивилизованной Европы в Грецию, на Балканы, на Афон, где еще встречались философствую-

щие корсары и воинствующие монахи,— для Достоевского все эти сюртуки и цилиндры, парламентские трибуны и ежедневные депеши в будничном „Голосе“ или „Московских ведомостях“ нисколько не скрывали художественной рельефности протекавшей истории, полной беспощадной борьбы и столь далекой от золотого века утопистов и пророков. Войны и революции эпохи Бисмарка и Гамбетты, конгрессы Первого Интернационала, политические суды и казни, Седан и Тюильри,— вся эта слагающаяся на его глазах история выступала перед ним, как Карфаген перед Флобером, в яростном столкновении титанических тщеславий, завоевательных вожделений, ослепительных подвигов воли и мужества, словно ожидающих для своего воплощения живописца и драматурга. Примелькавшаяся современность несла ему все очарования декоративной древности, соблазняющей других романистов, и не зарываясь в архивы и музеи, по свежим телеграммам и хронике происшествий последнего газетного листка, он отважно планировал и вдохновенно возводил свой исторический роман о современных революционерах, еще состоявших под предварительным следствием и полицейским розыском. Образ Петра Верховенского создавался, пока еще длилась знаменитая погоня за его прототипом Нечаевым, и работа над романом заканчивалась, когда только что выданный русскому правительству вдохновитель эпопеи Достоевского еще ожидал в Трубецком бастионе суда и пожизненного заточения.

Достоевский писал по свежим следам свои „исторические романы“. „Возросший на Карамзине“, он находил для такого труда опору в своей общей склонности к художественному историзму. Политическое прошлое волновало его не меньше мимо идущих государственных событий, и творческие интересы его бывали привлечены разнообразнейшими образами Средневековья, Возрождения, восемнадцатого века, всех периодов русской истории. Он любил пристально всматриваться в судьбы великих завоевателей, революционеров, пророков, реформаторов, властителей, законодателей, авантюристов и самозванцев. Как характерен по обширности и разнообразию исторических интересов Достоевского отрывок из „Белых ночей“, в котором излагаются пестрые темы мечтаний героя и где проносятся картины египетской древности, образы крестоносцев и гугенотов, Констанцский собор и время Грозного, революция и Наполеон. В события всех великих мятежей автор „Бесов“ всматривался с особенной пристальностью. Помимо Дантона у него упоминаются Сийес и Гракх Бабеф, к которому он даже питает сочувствие, как к реальному политику. Из русской революционной истории он называет Пугачова, Разина, Отрепьева, декабристов. Имена великих завоевателей и властителей от Тимура и Нерона до Петра и Бонапарта называются им наряду с религиозными реформаторами — Магометом,

Лютером, Лойолой, Никоном и Гусом — или знаменитыми дипломатами — Макиавелли, Талейраном и Меттернихом. Он не остается безразличным к искателям приключений и уголовным знаменитостям и мимоходом в своих письмах, статьях или романах оставляет следы своего интереса к Джону Лоу и Казанове, убийце Лассенеру и отравительнице Бренвилье, маркизу де-Саду и палачу Самсону. Пусть это часто только беглое упоминание по случайному поводу, и все же приходится признать, что репертуар исторических имен в наследьи Достоевского необыкновенно обширен для романиста.

Недаром сам Достоевский отмечал в себе склонность к историческим изучениям и, готовясь писать статью о Костомарове, сообщал брату, что считает себя даже специалистом — „не в истории, а в развитии наших идей исторических в литературе, во взглядах наших историков (главнейших)". (Письма, I, 354.)

Уже современная критика метко ставила вопрос: „Отчего г. Достоевский не напишет романа из европейской жизни XIV — XVI столетия?.. Все эти бичующиеся, демономаны, ликантропы, все эти макабрские танцы, пиры во время чумы и пр., весь этот поразительный переплет эгоизма с чувством греха и жаждой искупления, — какая это была бы благодарная тема для г. Достоевского!" Или: „Почему бы не воспользоваться г. Достоевскому такими моментами, как, например, наше масонство? Может быть, из декабристов нашлись бы для него подходящие фигуры. Или вот, например, „духовный союз" Татариновой или история Грабянки. Да и вообще царствование Александра I и начало царствования Николая Павловича так и просятся под перо г. Достоевского". Критик здесь зорко уловил не только „психиатрические" особенности таланта Достоевского, но и его несомненный вкус и склонность к художественному историзму.

И Достоевский, видимо, не вполне избегал таких тем. В бумагах его сохранился подробный план задуманного исторического романа „Император" на тему о Мировиче и Иоанне Антоновиче. Чрезвычайно любопытно проследить по этой записи, как факты исторического эпизода проникаются излюбленными темами Достоевского и привычные мотивы подполья, одиночества, исступленных фантазий, ненависти и ревности, диавольских искушений и соблазнов тщеславия облекаются в необычные для него бытовые формы старого екатерининского Петербурга.

Это далеко не единственный замысел исторической „поэмы" у Достоевского. В письме к Майкову из Флоренции от 15/27 мая 1869 г. он развертывает обширный цикл задуманных им сказаний, свидетельствующий о подлинном даре романиста-психолога пластически и эмоционально оформлять замечательные события мировой политики.

„Вся эта катастрофа в наивном и сжатом рассказе: Турки облегли Царьград тесно: последняя ночь перед приступом, который был на заре; последний император ходит по дворцу —

(„Король ходит большими шагами")

идет молиться образу Влахерпской божией матери; молитва; приступ, бой. Султан с окровавленной саблей въезжает в Константинополь. Труп последнего императора отыскивают по приказанию Султана в куче убитых, узнают по орлам, вышитым на сапожках, святая София, дрожащий Патриарх, последняя обедня. Султан не слезая с коня, скачет по ступеням в самый храм, доскакав до середины храма останавливает коня в смущении, задумчиво и с смятением озирается и выговаривает слова: „Вот дом для молитвы Аллаху". Затем выбрасывают иконы, престол, ломают алтарь, становят мечеть, труп Императора хоронят, а в Русском царстве, последняя из Палеологов является, с двуглавым орлом вместо приданого...

...Вдруг, в другой уже балладе перейти к изображению конца пятнадцатого и начала 16-го столетия в Европе, Италии, Папства, искусства храмов, Рафаэля, поклонения Аполлону Бельведерскому, первых слухов о Реформе, о Лютере, об Америке, об золоте, об Испании и Англии,— целая горячая картина, в паралель со всеми предыдущими русскими картинами,— но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества, сознанных по Западному а не по нашему, что и послужило источником всего, что есть и что будет. В горячей мысли моей я думал даже, что не надо кончать былины на Петре например, об котором непременно нужно особенно хорошее слово и хорошая поэма-былина с смелым и откровенным взглядом, нашим взглядом. Я бы прошел до Бирона, до Екатерины и далее,— я бы прошел до освобождения крестьян и до бояр, рассыпавшихся по Европе с последними кредитными рублишками, до барынь, блядующих с Боргезанами, до семинаристов, проповедующих атеизм, до всегуманных и всесветных граждан русских, графов, пишущих критики и повести и т. д. и т. д. Поляки бы должны были занять много места. Затем кончил-бы фантастическими картинами будущего: России через два столетия и рядом померкшей истерзанной и оскотинившейся Европы, с ее цивилизацией. Я-бы не остановился тут ни перед какой фантазией..."

Необходимо признать, что, независимо от тенденции, эти видения исторических катастроф, эти „горячие картины" расцвета и крушения целых эпох обнаруживают в Достоевском замечательного мастера художественного историзма. И с подлинным проникновением в самую сущность исторической живописи Достоевский совершенно правильно вводит в цикл своих сюжетов и современность — освобождение крестьян, семинаристы, проповедующие атеизм, всесветные русские граждане, т. е. революционеры 60-х годов,— завершая все это утопическими картинами отдаленного будущего.

Тонкий знаток мировых литератур, Достоевский прекрасно понимал, что историзм в искусстве определяется не обращением к прошлому, а воплощением политических трагедий (хотя бы и современных) и

созиданием типических образов, характеризующих фигуры бойцов критической эпохи, безразлично минувшей или все еще протекающей. Обращаясь в 60-е годы к темам реформ Александра II, нигилизма и революционной эмиграции, Достоевский становился романистом-историком, как оставался им Анатоль Франс, изображая дело Дрейфуса в цикле романов, правомерно названных им „Современной историей“.

К такой разработке текущей политики, как мы видим из приведенного письма к Майкову, Достоевского чрезвычайно потянуло весною 1869 года. „Роман эпохи“, тот вид, который в Германии называется обычно Zeitroman, т. е. *исторический роман о современности,* привлекал и раньше Достоевского, хотя преимущественно в идеологическом плане. Но после евангельского пафоса „Идиота“, после фантастики и эротики „Вечного мужа“, он все явственнее ощущает в себе брожение творческих стихий, требующих короткого смыкания с политической современностью. Тщетно пытается он замкнуть себя в обширные пределы огромного эпоса одной блуждающей, падающей и возносящейся совести („Житие великого грешника“), сама эпоха отрывает его от этого чисто психологического замысла о скитальчествах одинокого сознания. Пока в декабре 1869 года Достоевский планирует ночами свое Житие, в дрезденскую читальню, где он проводит свои вечера, прочитывая десяток русских и иностранных газет, прибывают тревожные известия о таинственном убийстве в Москве, о зловещем заговоре, раскинувшем свои сети по всей России, о грозной организации политического террора, об обществе Народной расправы или топора, о нарастающей русской революции, о страшных именах стареющего Бакунина и юного Нечаева, угрожающих спокойствию всего европейского человечества. Сенсационная и паническая тема всей большой политической прессы Европы падает на благодарную почву. Вот она, подсказанная великой тревогой протекающего европейского дня, тема о семинаристах-безбожниках и российских дворянах, исповедующих вселенское гражданство. Достоевский не колеблется ни мгновения: он сразу прозревает, сколько заветных мыслей сможет вложить в осуществление романа о Нечаеве. Снова перед ним, как и в 1865 году, образ мятежника-студента с разрушительной философией на устах и террористической практикой („вроде „Преступления и Наказания“,— пишет он друзьям об этой новой идее,— но еще ближе, еще насущнее к действительности и прямо касается самого важного современного вопроса“). Он чувствует, как увлекательно сумеет развернуть историю этого идеологического преступления, какие животрепещущие проблемы, волнующие всю европейскую современность, сможет поставить и развернуть вокруг изображения этого надуманного заговора и убийства „по теории“. И оставляя первые — уже замечательные по драматизму и глубине — записи к „Житию великого грешника“, он стре-

мительно и бесповоротно обращается к труднейшей теме политического романа о мятущейся современности. В самом конце 1869 года — всего только через месяц после выстрела в гроте Петровско-Разумовской академии — он уже заносит в свои черновые тетради первые записи к „Бесам". Историческая хроника, которую он предполагает стремительно развернуть и завершить в несколько месяцев, прикует его к своей мучительной теме на целые три года.

III

В истории создания „Бесов" наряду с политикой крупнейшее значение имеют и современные литературные события.

В 1869 году была закончена и вышла отдельным изданием знаменитая эпопея Толстого. Высшая форма повествования, данная в „Войне и мире", сразу привлекла к себе внимание Достоевского, как некий образец, представший перед ним в качестве нового, труднейшего и потому обязательного для него, как художника, задания.

Некоторое начало соревнования с сильнейшими мастерами было вообще свойственно Достоевскому и нередко благоприятно стимулировало процессы его творчества. Впоследствии Тургенев, сильно задетый автором „Бесов", утверждал, что Достоевский „не мог равнодушно относиться к чужому успеху". Это верно в том отношении, что Достоевский действительно пристально следил за „чужими успехами" и учитывал их для своего собственного творчества. В молодую эпоху он этого не скрывал и довольно открыто состязался в своих ранних произведениях с кумиром тогдашнего читательского поколения — Гоголем, которого считал необходимым и вполне возможным преодолеть и превзойти в своем творчестве. Успехи же сверстников особенно настораживали его. Уже в 1846 году он называет Герцена и Гончарова своими соперниками: „Их ужасно хвалят"... но „первенство остается за мной покамест и надеюсь, что навсегда". Только что вернувшись из Сибири, Достоевский из Твери сообщает брату о своих ближайших творческих планах: „...одним словом я вызываю всех на бой". Литературное соревнование на первенство — вот та атмосфера, которую всегда искал Достоевский.

Вот почему сдержанный успех „Идиота" не мог не встревожить его. Внимание читателей и критиков устремилось в другую сторону. Его единомышленник Страхов в родственном органе „Заря" писал: „Война и Мир" есть произведение *гениальное,* равное всему лучшему и истинно великому, что произвела русская литература". „С появлением 5-го тома „Войны и Мира" невольно чувствуется и сознается, что русская литература может причислить еще *одного* к числу своих *великих писателей*". „Эта книга есть прочное приобретение нашей

культуры, столь же прочное и непоколебимое, как, например, сочинения Пушкина"... „Это действительно неслыханное явление,— эпопея в современных формах искусства".

Отзывы эти настораживали Достоевского. Его письма к Страхову изобилуют беглыми упоминаниями имени Толстого, просьбами прислать ему „Войну и мир", некоторыми полемическими возражениями на восторженные оценки Страхова, поставившего Толстого в ряд с Пушкиным. В связи с этими впечатлениями от толстовского романа у Достоевского, в плане присущего ему творческого соревнования, возникает потребность испробовать себя в таком же огромном эпосе и выразить свою философию в обширнейшем романическом произведении — „объемом в „Войну и Мир",— сообщает он Майкову. „И идею вы бы похвалили",— добавляет он. Тот же образец называется им в письмах к Страхову: „Вся идея потребует большого размера объемом, по крайней мере, такого же как роман Толстого". Из другого письма к Майкову мы узнаем, что основная тема романа — это скитальчества атеиста, который „под конец обретает и Христа и русскую землю, и русского бога". Так Достоевский начинает планировать „Житие великого грешника" или „Атеизм" под непосредственным впечатлением от эпопеи Толстого[1].

За несколько лет перед тем русская литература отметила еще один триумф. В разноголосице мнений и спорах критиков крупнейшее значение было признано за другим русским романом 60-х годов — „Отцами и детьми" Тургенева. Образ Базарова произвел сильнейшее впечатление на всю читающую Россию и как бы открыл эпоху генеральных смотров и великих переоценок в публицистике и критике. Приход в русскую жизнь после севастопольского разгрома нового героя с утилитарными мировоззрениями и революционными тенденциями положил резкую грань в смене русских поколений и решительно отодвинул в прошлое представителей эстетических воззрений предшествующего десятилетия. Тургенев первый с большой зоркостью и отчетливостью сопоставил характерные типы двух идейных эпох, сведя в „Отцах и детях" людей своей романтической молодости с трезвыми реалистами и завоевателями новой жизни. Стык враждебных идеологических планов оказался необыкновенно плодотворным в художественном отношении и дал сильнейшую драматическую зарядку роману. Распря двух поко-

[1] Следы этого влияния остались в черновых планах „Бесов": „Нечаев, т. е. будущий Петр Верховенский, глуп, как старшая княжна у Безухова, но вся сила его в том, что он человек действия". Отметим, что это было уже не первым обращением Достоевского к Толстому. В 1859 году, переделывая уже после Сибири „Двойника", он ставит себе заданием раскрыть „сокровеннейшие тайны чиновничьей души à la Толстой".

лений надолго становится господствующей темой русских писателей и привлекает к себе на исходе десятилетия острое внимание Достоевского. Контраст двух мировоззренческих систем ложится в основу композиции „Бесов“, сообщая испытанной антитезе новое необычайное усиление. То, что Тургеневым дано в плане идеологии, Достоевский вскрывает в политическом разрезе. В „Отцах и детях“ с идеалистами-эстетами сопоставлены материалисты-практики, с гуманными мечтателями — трезвый реалист. В „Бесах“ с либерализмом и оппозицией 40-х годов — беспощадный революционный террор, с письмами Белинского и Чаадаева — катехизис революционера, с кружками 40-х годов — общество топора и расправы, с Тургеневым и Грановским — Нечаев и его вооруженная пятерка.

Во всяком случае ориентация Достоевского на знаменитый тургеневский роман в эпоху „Бесов“ не подлежит сомнению, и недаром имя Базарова неоднократно упоминается в черновых записях к роману. Острую тему современности Достоевский стремился выразить наиболее актуальной романической формулой. В боевых событиях новейшей литературы он ищет образцы для заострения своего замысла. Не Искандер и Гончаров, а Толстой и Тургенев с их ошеломившими русскую мысль созданиями признаются теперь Достоевским „соперниками“, которых „ужасно хвалят“ и которые, видимо, отнимают у него право на первенство. Отталкиваясь от их шедевров, вступая с ними в титаническую борьбу, будет отныне писать свои романы Достоевский. „Бесы“ — это его борьба с „Отцами и детьми“, „Подросток“ — его единоборство с „Детством, отрочеством и юностью“ (отчасти, впрочем, продолжающее состязание с Базаровым), „Братья Карамазовы“, в которых наиболее полно осуществилась задуманная эпопея о „Великом грешнике“, — это его генеральный бой с „Войной и миром“. Трудно решить, на чьей стороне осталась победа, но это скрытое соревнование придало трем последним романам Достоевского ту повышенную напряженность внутренней борьбы художника с великими образцами своих собратьев по искусству, которая напоминает героическое единоборство мастеров Возрождения — Леонардо и Микель-Анжело в работе над единой темой о знаменитой победе флорентийской республики в битве при Ангиари, пред изображениями которой до сих пор не решен вопрос о победителе состязания.

IV

В „Бесах“ Достоевский впервые отступил от своей прежней независимой, одинокой и глубоко личной позиции в литературе и выступил как человек определенной партии[1]. „Бесы“ на всем своем протяжении

[1] Не следует думать, что этот термин для эпохи Достоевского является преждевременным: „У нас есть политические партии всех

роман партийный. Он выражает воззрения, программы, тенденции и чаяния определенной идеологической группы, которая к началу 70-х годов, совершенно оставив колебания предшествующего десятилетия в виде „почвенничества“ или „народности“, выступила с развернутым знаменем реакции.

В письме к Майкову от 20 марта/2 апреля 1868 г. Достоевский как бы формулирует основные положения этой партийной программы, говоря о том, что царизм — „величайший факт нашей истории“, что „наша конституция есть взаимная любовь монарха к народу и народа к монарху“ и что сам Достоевский „за границей окончательно стал для России совершенным монархистом“. В духе той же программы он пишет 25 февраля/9 марта 1871 г. Майкову, как-раз накануне Парижской коммуны, что Франция спасет себя, если „выберет короля построже“.

В русской журналистике и литературе к этому времени четко определилось ядро целой группы, представлявшей собою довольно крупную и влиятельную силу. „Русский вестник“, „Заря“ Каширева, вскоре затем и „Гражданин“ Мещерского стремятся объединить соответствующие литературные силы, привлекая к своему делу разнообразных авторов — Достоевского, Страхова, Майкова, Данилевского, Победоносцева, Крестовского, Тертия Филиппова, Лескова, Писемского и ряд других. Борьба с революцией и западничеством, отстаивание „исконных русских начал“ государственного быта,— вот в основном партийная программа этого объединения. От имени выступал Достоевский в своем романе о российских „Бесах“, совещаясь в своих письмах с крупными представителями направления — Катковым, Страховым, Майковым — и вдохновляясь публицистикой и беллетристикой, исходящей из этого лагеря.

Самобытнейший художник, Достоевский не был вполне самостоятелен как политический мыслитель. Если в 40-х годах он сближается с русскими фурьеристами и находится под сильнейшим влиянием Спешнева, в эпоху „Бесов“ он считает своим руководителем Каткова, а в годы „Карамазовых“ — Победоносцева. Идеями и воззрениями близких ему политиков вдохновляется Достоевский для своих собственных государственных концепций, не упуская из виду родственных теоретиков — в молодости Фурье, в последнюю эпоху — Данилевского, Ив. Акса-

оттенков,— писал „Русский вестник“ в 1862 году,— консерваторы, умеренные либералы, прогрессисты, конституционалисты (даже не выговоришь этого ужасного термина) и демократы, и демагоги, и социалисты, и коммунисты; но у нас нет ничего похожего на политическую жизнь“ („Русский вестник“, 1862, II, 833, „К какой принадлежим мы партии“). Но, конечно, в точном смысле политических партий в начале 70-х годов Россия еще не знала.

кова, Конст. Леонтьева. С Катковым же он особенно считался. Редактор „Русского вестника“ представлялся ему не только первым правительственным публицистом, но и великим мыслителем. Художник Перов, писавший как раз в эпоху „Бесов“ портрет Достоевского, сообщал своему заказчику Третьякову: „Достоевский и Майков находят, что для вашей галлереи необходимо иметь портрет старика Тютчева, как первого поэта-философа, которому равного не было, кроме Пушкина, и который выше Гейне — *и Каткова, как первый ум в России*. Даже Достоевский выразился так, что, не имея их портрета, можно сказать себе: „слонов-то я и не приметил“. Одним словом, они Каткова считают гением...“ Под знаком этого публициста, которому суждено будет через десять лет редактировать манифест Александра III о незыблемости самодержавной власти, писались и „Бесы“ Достоевского. Автор их всемерно учитывал программу публикующего его органа. Развенчание Грановского и Тургенева, резкий памфлет на нечаевщину, идеализация отступника от революции во имя „народа-богоносца“, изображение подполья, как зловещей язвы, от которой Россия исцелится лишь обращением к православию,— во всем этом Достоевский выступает, как верный член партии, прокламирующий в своем творчестве ее боевые лозунги. Публицистика реакционных органов эпохи и лозунги правительственных кругов почти ни в чем не противоречат идеологическим тенденциям знаменитого романа.

Как политик и член определенной партии, подходит Достоевский и к основным темам задуманного памфлета. Из черновых записей к „Бесам“ видно, что „правда“ романа намечалась Достоевским в коренном перерождении высшего слоя, в моральном обновлении русского дворянства. В одном из черновых вариантов князь — „чистое лицо. *Новая форма боярина*. Ужасно горд. Честным поскорей спасаться и новое племя начинать“. В другой записи князь заявляет, что именно баре „прежде всех переродиться должны“. Не восстание на „бояр“, а новая формация их, не уничтожение высшего класса, а улучшение его состава — такова социальная формула Достоевского в 70-е годы, вполне совпадающая с философией реакционных публицистов об аристократическом улучшении расы. В согласии с установившимся мировоззрением Достоевского это перерождение должно произойти под знаком „православья и России“; в записях неоднократно варьируется альтернатива: или вера или все сжечь. Идейный пафос „Бесов“ строится на антитезе религии и революции, хотя в самом романе она и не выражена с дидактической отчетливостью и лишь угадывается по личным драмам Кирилова и Шатова.

Выразить такую философию истории Достоевский и стремится в своем романе. По ряду соображений он считает себя исключительно подготовленным к сатирическому разоблачению революции. Ведь „не-

чаевцы произошли от петрашевцев", а во всей плеяде современных романистов он один — старый петрашевец. Судьба,— полагает он,—и в другом отношении облегчила ему, как романисту, подход к современной революции. Целый год — с августа 1867 года по сентябрь 1868 — Достоевский проводит на берегу Женевского озера, преимущественно в самой Женеве, и отчасти в Веве. Вся эта местность вместе с главным городом кантона была в то время крупнейшим центром всеевропейской и в частности русской политической эмиграции. С середины 60-х годов здесь подолгу живет Герцен, наезжая сюда и в год пребывания Достоевского; летом 1867 года сюда приезжал ветеран социализма 40-х годов Пьер Леру. В женевский год Достоевского здесь жили Огарев, Н. И. Утин, Ал. Серно-Соловьевич, Карл Фогт, Н. Я. Николадзе и М. К. Эльпидин, наконец, „адъютант Гарибальди" Лев Мечников. По свидетельству А. Г. Достоевской и Н. Н. Страхова, Достоевский постоянно общался с одним из виднейших представителей местной эмиграции — Н. П. Огаревым, который часто заходил к добровольному петербургскому изгнаннику, приносил ему книги и газеты и даже ссужал его нередко десятью франками. Из женевских писем Герцена к сыну 1868 года видно, что Достоевский постоянно бывал у Огарева, где должен был встречаться с многочисленными русскими эмигрантами. Наконец, почти одновременно с Достоевским в начале сентября 1867 года в Женеву приехал М. А. Бакунин, постоянно бывавший у Огарева и около года проживший на берегу Женевского озера, первоначально в самой Женеве, а затем в окрестностях Веве и Кларана, где проводил лето и Достоевский. 27 февраля 1868 года Герцен пишет сыну о больном Огареве: „Главное — его слишком тормошат: Бакунин, Утин, Достоевский, Мерчинский, Чернецкий, Данич, мы... и все его женевские собутыльники и petits lanciers" (Герцен, Полн. собр. соч. и писем, М.— П., 1923, XX, 180). Факт этот представляет большой интерес для биографии Достоевского, для истории его замыслов и личных отношений.

Целый год, близко предшествующий работе над „Бесами", т. е. с сентября 1867 по сентябрь 1868 года, Достоевский живет рядом с Бакуниным в Женеве и Веве, причем оба они постоянно общаются с Огаревым, ближайшим другом Бакунина и близким женевским приятелем Достоевского. Не может быть сомнений, что за это время Достоевский многократно видел Бакунина, очень много слышал о нем, мог непосредственно и свободно наблюдать его.

Этот заграничный год мог послужить для замысла „Бесов" и некоторыми непосредственными впечатлениями Достоевского. В сентябре 1867 года в Женеве, где как-раз жил автор „Идиота", происходило международное событие крупного политического значения — первый конгресс Лиги мира и свободы. Видные общественные деятели разных стран — Гильом, Бюхнер, Цезарь де-Пап — говорили от имени раз-

личных организаций и союзов. В конгрессе участвовал Гарибальди. В состав его вице-президентов были избраны Огарев и Бакунин. Неудивительно, что Достоевский, в молодости близкий к утопическим социалистам, переживший затем решительный кризис и примкнувший к противоположному стану, отнесся с естественным интересом к этому съезду, за которым с пристальным вниманием следила большая политическая печать всего мира. Здесь впервые он мог увидать деятелей современного европейского социализма и революции 60-х годов, столь далеко ушедших от утопий фурьеристов и петрашевцев. Этих новых „социалистов" и „революционеров" Достоевский еще не знал, и для него интерес конгресса в значительной степени заключался в возможности непосредственно наблюдать „этих господ", „которых я (пишет он С. А. Ивановой 29 сентября/11 октября 1867 г.) первый раз видел не в книгах, а наяву". Для художника, философа и публициста, каким был Достоевский, зрелище это, конечно, представляло первостепенный интерес. Из писем его видно, что первое непосредственное наблюдение современных левых деятелей в их декларациях и дискуссиях вызвало в нем повышенный, хотя и чисто отрицательный интерес. Тезисы об истреблении христианской веры и больших монархий, об отмене капиталов и о том, чтобы „все было общее по приказу",— так воспринял Достоевский проповедь современных ему социалистов,— в корне противоречило сложившемуся миросозерцанию Достоевского. А поскольку идеи обычно у него имели значение стимулов художественного творчества, женевский конгресс должен быть учтен в истории позднейшего романа Достоевского, одушевленного пафосом борьбы с революцией.

Время требовало от него политической декларации. Представитель определенной партийной группы, Достоевский почувствовал своей обязанностью использовать личный опыт своих наблюдений и воспоминаний в острый момент угрозы общему делу и знаменам его партии. Если Катков в передовых статьях „Московских ведомостей" развертывал с защитной целью личные впечатления от своих встреч и переписки с Бакуниным, Достоевский почувствовал возможность развернуть аналогичную атаку в обширном романическом плане. В материалах и сведениях у него не было недостатка. Он был знаком, как мы видели, с крупнейшими представителями 40-х годов, западниками, вождями движения — Белинским, Герценом, Тургеневым, Огаревым, Бакуниным, Спешневым. Он видел главные штабы русской революции в Петербурге в 1848 году и в Женеве в 1868. Он лично знал „отцов и детей" российской революции в Коломне и на Каруже, на пятницах Петрашевского и на собраниях Лиги мира и свободы. Он бледнел и еле сдерживал слезы, когда Белинский „ругал Христа", он стоял на одном эшафоте с Петрашевским, он заплатил каторгой за свою солидарность с ним, он с затаенным гневом слушал в Женевском дворце

горячую речь Бакунина, он лично предъявил Тургеневу требование сожжения „Дыма“, он наблюдал, видел и знал всю эту молодую женевскую эмиграцию, всех этих gentillommes russes et citoyens du monde civilisé, в чью среду ровно через год прибудет Нечаев заключать союз с патриархом Бакуниным для предания великой России разгрому и всесожжению. И когда Достоевский узнает об этих „женевских директивах“ нечаевского заговора, он чувствует, что перед ним выступает тема, исключительно близкая и непосредственно знакомая. Он тотчас же решается возвести факты текущей политической борьбы в символику своего романа: „Бесы“ вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, т. е. в Нечаевых, в Серно-Соловьевичей и проч.,“— пишет он Майкову осенью 1870 года, фантастически сочетая свои впечатления от журнальной хроники с раздумьями над текстами евангелиста. И приступая к фреске своего подпольного ада, он решается развернуть во всю ширь огромную портретную галлерею деятелей двух революционных поколений, сливая в лице своих Ставрогиных и Верховенских крупнейшие фигуры петрашевцев и нечаевцев.

V

Первоначально главными героями романа выступали два центральных лица действительного события: Нечаев и Иванов — первый под знаком Раскольникова, второй под знаком Мышкина: теоретик-убийца и гибнущий „прекрасный человек“. Только первый в отличие от Раскольникова выступал сразу в аспекте сатиры и развенчания, а второй получал черты внутренней борьбы и мировоззренческих кризисов, чуждых „Идиоту“. Исторические современники — студент Нечаев и раскольник Голубов — должны были столкнуться в романе и дать искру для воспламенения всей фабулы.

Но с первых же сообщений об убийстве газеты рядом с Нечаевым и Ивановым называют третьего современника, масштабы фигуры которого особенно в 1870 году значительно превосходили этих студенческих деятелей,— одного из крупнейших современных революционеров, облаченного европейской славой, Бакунина. Личность его, получившая в русской и европейской печати в связи с нечаевским убийством необычайное значение и злободневность, и была положена Достоевским в основу центрального образа романа — Ставрогина. Верная расшифровка таинственного „принца Гарри“ возможна только по основной линии замысла Достоевского, т. е. в политическом плане, в свете современного революционного движения. Только под таким освещением загадочный образ Ставрогина выступает из сумрака сложнейшей психологической тайны и получает необходимое истолкование в связи с основной установкой романиста. В этом образе Достоевский решил

воплотить свое представление о знаменитом русском бунтаре, стремясь показать, что вся его оглушительная деятельность бесплодна и беспредметна, как и его прославленная личность. Носитель мировой революционной славы, по толкованию Достоевского,— окованный рефлексией русский барин, скиталец по Европе, оторванный от корней родной народной почвы, пленник изощренной мысли, бессильный что-либо свершить и обреченный на бездеятельность и бесславную погибель. Обратившись к теме современной революции, Достоевский не мог пройти мимо этой крупнейшей фигуры новейшей европейской вольницы и дал ей в своем романе неожиданное истолкование.

Ставрогин — воплощение исключительно умственной мозговой силы. В нем интеллект поглощает все прочие духовные проявления, парализуя и обеспложивая всю его душевную жизнь. Мысль, доведенная до степени чудовищной силы, пожирающая все, что могло бы рядом с ней распуститься в духовном организме, какой-то феноменальный Рассудок-Ваал, в жертву которому принесена вся богатая область чувства, фантазия, лирических эмоций,— такова формула ставрогинской личности. „Вас борет какая-то новая грозная мысль", „вас колеблет великая мысль",— говорят ему окружающие, ощущая нечто трагическое и грозное в этом человеке, снедаемом без остатка идеей. Этот голый мозг, достигший какой-то небывалой гипертрофии, поражает мощью своих грандиозных концепций, обреченных на крушение в силу их исключительно мозговой природы. Перед нами гений абстракта, исполин логических отвлечений, весь захваченный безграничными перспективами обширных, но бесплодных теорий. Их пафос — в колоссальной силе, умертвляющей все, к чему прикасается Ставрогин; их трагизм — в бессилии стать созидательными, переплавить истребление в творчество. Мертвенность Ставрогина — это окаменелость гениального теоретика при обнаружившейся невозможности возвести идею ломки в категорию созидания, жизненно отожествить волю к разрушению с творческой страстью.

Это огромный и печальный образ, и неудивительно, что Достоевский в процессе творческой работы пленился прототипом своего героя. „Николай Ставрогин — тоже мрачное лицо, тоже злодей,— сообщает он в одном из своих писем.— Но мне кажется что это лицо — трагическое... Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению это и русское и типическое лицо. Я из сердца взял его".

Совершенно иным оказалось отношение художника к Нечаеву.

Прекрасно понимая разрушительное действие иронии, Достоевский этим именно оружием решил казнить организатора „народной расправы". Насмешкой снизить образ, карикатурой уничтожить все его права на признание современников или поклонение молодежи. До-

стоевский в сущности пускал в ход испытанное политическое средство — развенчание партийного противника осмеянием его репутации, уничтожение „героичности“ вождя и „величественности“ деятеля показом его мелкоты, нелепости и смехотворности. Получился неожиданный результат: исторический деятель, поражавший современников трагизмом характера и закалом воли, оказался в романе крайне мелким и ничтожным. Сатирическое задание художника было достигнуто, но замечательный по своей силе исторический образ был упущен романистом для больших и широких взлетов его художественно-философских концепций. Верховенский один только раз и в прямом противоречии с замыслом своего автора подпимается на высоты вдохновенного прорицания, явно выходя из положенных ему границ шутовства и криминала. Достоевский здесь намеренно отступал от первоисточников своей темы. Даже обвинитель процесса нечаевцев в своей речи отмечал, что самые разнообразные в психическом и социальном отношении организации жертвовали всем и шли на гибель ради Нечаева, которому действительно удалось сплотить революционное общество, единое „по внутреннему его составу, по тому духу, который одушевлял его, по той силе, которую оно имело...“

С другой стороны, и некоторые мрачные стороны нечаевского характера не нашли достаточного отражения у Достоевского, поскольку романист стремился выдержать взятый им карикатурный тон разработки персонажа и, стремясь к эффекту „комического лица“, устранял все грозные черты, которые в действительности отличали Нечаева. Стремление дать в лице Петра Степановича мошенника, авантюриста и подлеца дезориентировало автора „Бесов“ и лишило его возможности изобразить сложнейший характер, преодолевающий глубокие противоречия своей исключительной натуры небывалым напряжением энергии и поразительным размахом своих бунтарских замыслов.

Наконец, Достоевским замолчаны и обойдены положительные черты исторического Нечаева — его выдающийся интеллект, могучая воля, страстный темперамент борца и организатора революционных сил, подлинный дар вождя, властно подчиняющего себе исполнителей политического плана и умеющего держать их под обаянием своей исключительной личности. Некоторые подсудимые не скрывали своей непоколебимой преданности Нечаеву. Успенский и Прыжов заявляли, что готовы по его указанию пожертвовать своею жизнью. Других пленял необыкновенный ум этого самоучки, который мог цитировать на память целые страницы из „Критики чистого разума“. Кузнецов и Прыжов, первоначально решительно восставшие против замысла убить Иванова и мечтавшие о том, „как бы спасти его“, беспрекословно выполнили приказ Нечаева и до конца склонялись перед его непреклонной волей. Младший из подсудимых — Николаев, все безропотно отдавший Не-

чаеву и погубленный им, по свидетельству прокурора, „не боится Нечаева, а любит его, любит до сего времени".

Все эти выдающиеся черты огромного ума и крупнейшего организаторского дара были сознательно обойдены первым портретистом Нечаева, решительно подчинившим здесь свое искусство романиста предвзятой обличительной тенденции. . . . . .

Политическими соображениями неизменно определяется отношение Достоевского и к другим портретируемым современникам. Несмотря на довольно детальную изученность образа Кармазинова, до сих пор не было отмечено, что и здесь Достоевский руководствовался не столько соображениями личной антипатии к Тургеневу, сколько стимулами борьбы с партийным врагом. В образе знаменитого новеллиста он воплощал отчетливо выраженное как-раз к этому моменту в правой публицистике воззрение своих единомышленников на Тургенева, как на западника, нигилиста и врага их „общего русского дела". В месяцы, непосредственно предшествующие началу работ Достоевского над „Бесами", Тургенев метнул вызов славянофильствующим реакционерам. В опубликованных „Литературных воспоминаниях" он называл себя „коренным неисправимым западником", сочувствующим Базарову и нигилистам и считающим славянофильское учение ложным и бесплодным. Соратник Достоевского Страхов обрушился за эти признания на Тургенева и в плане литературной критики произнес о нем ряд положений, вскоре художественно выраженных Достоевским в его Кармазинове (истощение писательского дарования, оторванность от русской почвы, приверженность „жалкому нигилизму" и проч.). Сам Тургенев, беспощадно развенчанный в романе как художник и характер, больнее всего ощутил политическое острие карикатуры: „Достоевский позволил себе нечто худшее, чем пародию; он представил меня под именем Кармазинова тайно сочувствующим нечаевской партии..." Мысль Тургенева ясна: „Бесы" это политический донос.

При всей необоснованности подобной оценки, необходимо все же признать, что роман Достоевского в некоторых частях представляет собою политический пасквиль чрезвычайной заостренности. Стремясь изобразить деятелей враждебного стана в разнообразнейших сатирических тонах, Достоевский не останавливался перед предельной резкостью карикатуры. Зато фреска современной преисподней получала исключительную изощренность и отвечала заданию автора — дать в обличающих зарисовках все типы и все слои общественного движения. Так в „Бесах" получили сатирическое отражение крупнейшие политические фигуры двух революционных поколений — Петрашевский, Спешнев, Бакунин, Нечаев — в кругу их ближайших соратников — фурьериста Милюкова и членов нечаевской пятерки Успенского, Прыжова и Николаева. Сюда же относятся фигуры „идеологов" Гранов-

ского, Тургенева, критика-радикала Варфоломея Зайцева, профессора истории Павлова. Помимо главных героев романа, как бы суммирующих в своих образах вождей двух эпох,— Бакунин и Спешнев в Ставрогине, Петрашевский и Нечаев в Петре Верховенском,— мы имеем здесь в разной степени преображенные портреты революционных деятелей в романических фигурах Липутина, Виргинского, Толкаченки, Эркеля, Шигалева. А общий политический колорит романа усиливается постоянными упоминаниями в нем имен Герцена, Чаадаева, Белинского, Рылеева, Радищева, Лунина, Фурье, Консидерана, Кабе, Прудона или же политиков противоположного лагеря — Бисмарка и Николая I. Таков обширнейший репертуар революционных и правительственных имен в „Бесах“, впервые сообщающий здесь психологической живописи Достоевского подлинный характер исторического романа и политического памфлета.

VI

В Европе было спокойно, когда Достоевский приступал к работе над „Бесами“. Но, пользуясь его любимой фразой из старинного учебника Кайданова, можно было бы сказать, что никогда еще подобная тишина не предшествовала столь великой буре. Пока Достоевский в душном летнем Дрездене мучительно бьется над планами будущих „Бесов“, в нескольких часах оттуда, в Эмсе, прусский король отказывает в аудиенции французскому послу, а в Берлине, на знаменитом завтраке, Бисмарк сообщает Мольтке и Роону депешу Вильгельма в своей сокращенной редакции. На следующий день Достоевский прочитывает неожиданно появившиеся на всех стенах плакаты „Der Krieg ist erklärt!“ и с тревогой заносит в свой дневник запись о возникших исторических событиях.

А когда весною следующего года он в том же Дрездене усиленно работает над второй частью своего романа, международная война во Франции осложняется гражданской, и в Париже утверждается первое в мире пролетарское правительство, развертывающее над попранной страной знамя всемирной республики. И пока Достоевский обдумывает поход толпы шпигулинских рабочих к „самому генералу“, события в Париже идут своим чередом, версальцы занимают форты столицы, вспыхивают общественные здания, пылают ратуша и Тюильрийский дворец, и знаменитая кровавая неделя оставляет на улицах Парижа семнадцать тысяч трупов.

Одновременно определяется отношение к франко-прусской войне и коммуне Международного товарищества рабочих. Выясняется, что в состав Парижской коммуны входят члены Интернационала и последователи Бакунина; политическая пресса всех стран с тревогой поме-

щает пространные статьи, корреспонденции и депеши о конференциях и конгрессах рабочих ассоциаций, о роли в них Карла Маркса, об угрозе захватить Россию в круг революционного рабочего движения всего мира. И когда осенью 1872 года Достоевский готовит для печати последнюю часть своего романа и навсегда фиксирует в мировой литературе кровавый эпизод нечаевщины, газеты и журналы заполняются сообщениями о Конгрессе Интернационала в Гааге, а „Московские ведомости" не перестают с возмущением отмечать, что именно „доктор Маркс" является в Интернационале представителем не одной только Германии, но и России, и что разветвления Международного общества рабочих протягиваются к русской учащейся молодежи, а через нее грозят проникнуть и в среду русских „фабричных".

Все эти европейские и мировые события необыкновенно волнуют Достоевского и беглыми штрихами пробегают по ткани „Бесов". Не выходя из круга намеченной темы о русских либералах и революционерах и не обращаясь к разработке международных политических вопросов, он по-своему отзывается на них. Описание музыкальной композиции Лямшина „Франко-прусская война" занимает в романе всего одну страничку, но по ней можно судить, насколько Достоевский был захвачен протекавшей борьбой и как пристально следил он за всеми ее этапами. Предвоенный шовинизм французов, Седанский разгром, Жюль Фавр (которого Достоевский лично слышал в парижском суде в 1862 году), „рыдающий на груди у Бисмарка" (знаменитое Ферьерское свидание), осада Парижа и хищнические условия Франкфуртского мира,— все это мгновенными и резкими чертами запечатлено в композиции Лямшина.

Роман не остается безразличным и к последующим событиям. Парижская коммуна беглой вспышкой отражается в публичной речи Степана Трофимовича Верховенского, провозглашающего с трибуны: „Все недоумение лишь в том, что прекраснее: ...Рафаэль или петролей?" Последним термином Достоевский обозначал обычно Коммуну, имея в виду парижские пожары 1871 года. Он следовал в этом терминологии реакционной печати. „Московские ведомости" помещали отчеты о суде над коммунарами под заглавием „Процесс петролейщиков". Газета Каткова вообще пыталась возбудить антипатию к деятельности Коммуны, особенно подчеркивая гибель памятников искусства и разрушение художественных ценностей в Париже. В номере от 14 мая 1871 г. упоминалось о свержении Вандомской колонны и говорилось об истреблении памятников всей французской истории — „национальной собственности целой Франции, драгоценного наследья многих столетий, которое все сменявшиеся правительства этой страны оберегали и украшали". Заметка заканчивалась агитационным выводом вполне в духе романа Достоевского: „Уронят ли последние событья кредит всесветной

революции и социальных бредней в глазах тех увлеченных ими обманутых людей, которые искренно считали коммуну провозвестницей золотого века, где не будет ни бедных, ни богатых, ни глупых, ни умных“? („Моск. вед.“, 1871, № 102). Быть может, под влиянием таких заметок Достоевский расценивает события Коммуны преимущественно с художественной точки зрения и на пожар Парижа реагирует в своих письмах к Страхову фразой, что „эстетическая идея в новом человечестве помутилась“. Как и Степан Трофимович Верховенский, он воспринимает событие под знаком искусства и подводит его под художественную категорию. Через четыре года, в „Подростке“, он выскажется на эту тему подробнее. Ополчаясь на Коммуну, он признает все же ее логическую неизбежность; отвращаясь от стана коммунаров, он не примкнет и к лагерю победителей — версальцев. Он пытается как бы стать „над схваткой“: „Да они только что сожгли тогда Тюильри. О, не беспокойся, я знаю, что это было „логично“, и слишком понимаю неотразимость текущей идеи, но, как носитель высшей русской культурной мысли, я не мог допустить того, ибо высшая русская мысль есть всепримирение идей... Только я один, между всеми петролейщиками, мог сказать им в глаза, что их Тюильри — ошибка, и только я один, между всеми консерваторами-отомстителями, мог сказать отомстителям, что Тюильри — хоть и преступление, но все же логика. И это потому, мой мальчик, что один я, как русский, был тогда в Европе единственным европейцем“.

В черновых тетрадях к роману он даже с большой зоркостью и поразительным спокойствием — хотя, конечно, без сочувствия — предсказывал неизбежность торжества коммунизма. В записях окончательного плана „Подростка“ имеется такое место: „Версилов о неминуемости коммунизма. Жизнь людей разделяется на две стороны: историческую и ту, какая бы должна быть (оправданную Христом, явившимся во плоти человеческой). Та и другая сторона имеют неизменные законы. По этим законам коммунизм восторжествует (правы-ли, виноваты-ли коммунисты). Но их торжество будет самою крайнею точкою удаления от Царства Небесного. Но торжества надо ждать. Его однакоже *никто* не ждет из правящих судьбами мира сего...“ [1]

[1] Необходимо отметить, что и единомышленник Достоевского Н. Н. Страхов проявлял такие же колебания: „Что вы скажете о французских событьях? — спрашивал он Достоевского в письме от 4 мая 1871 г. — У нас, по обычаю, явилось много ярых приверженцев Коммуны. Сколько я ни спрашивал, ничего не понимаю. Сегодня мне показывали письмо Сарсе-драматурга, занимавшегося почти одним искусством. Он говорит, что в настоящую минуту он на 45 году жизни все бросил, увлечен вполне вопросом парижского восстания, изменил все свои понятья. Как думаете? Не начинается ли новая эра? Не заря ли будущего дня?“

И, наконец, столь тревожившие правую печать конгрессы Первого Интернационала не выпадают из кругозора романиста. В „Бесах" неоднократно называются Internationale, „Интернационалка" и, по свидетельству Петра Степановича, сведения о молодом международном товариществе проникли даже в среду рабочих губернской фабрики. По органам Каткова и по большой иностранной прессе Достоевский составил себе представление о руководителе Международной ассоциации рабочих, и мы имеем беглое свидетельство о том, что он отдавал себе отчет в масштабах фигуры того политического деятеля, которого газета Каткова с тревогой и иронией называла „благотворителем России",— т. е. Карла Маркса. Через год после „Бесов", в политической статье „Гражданина" Достоевский, формулируя свою любимую мысль о том, что Рим завоюет демократию и „папа сумеет выйти к народу пеш и бос, нищ и наг, с армией двадцати тысяч бойцов иезуитов, искусившихся в уловлении душ человеческих", заканчивает свое предсказание вопросом: „Устоят ли против этого войска Карл Маркс и Бакунин?" и тут же отвечает: „вряд ли"... Но сама формула чрезвычайно характерна. Она вполне совпадает с терминологией Каткова, любившего сближать эти две фигуры революционной современности. В большой статье по поводу лондонского конгресса Интернационала Катков отмечает, что председатель Карл Маркс „во многом смахивает на нашего Бакунина" („Моск. вед.", 1871, № 220). Приведенная формула Достоевского показывает, кого он считал сильнейшими представителями современной революции, ее выразителями и главарями, имена которых он мог противопоставить значению и влиянию римского папы для всего христианского мира. Ознакомление с источниками „Бесов" и детальное изучение современной политической печати, питавшей в те годы мысль Достоевского, выясняют, таким образом, с полной точностью, кого он видел во главе вражеского стана. Не колеблясь в основных утверждениях своей проповеди, во имя торжества идей теократии и монархизма, Достоевский выступает в своем романе против провозвестника революционного анархизма и вождя пролетарского коммунизма — против Бакунина и Маркса.

Нам остается проследить связь „Бесов" с особой своеобразнейшей формацией русского политического романа 60-х годов — с обличительным эпосом катковской школы.

VII

Русская беллетристика не осталась безразличной к реакционному курсу, взятому правительством Александра II в связи с петербургскими пожарами, прокламациями, польским восстанием и выстрелом Каракозова.

Представленный целой плеядой второстепенных авторов, как Клюшников, Крестовский, Маркевич, Авенариус, Ахшарумов и ряд других, новый жанр реакционного, охранительного или консервативного романа разрабатывался и такими крупными силами, как Писемский и Лесков, а некоторыми своими чертами он даже оставил следы на романических композициях таких мастеров, как Тургенев и Гончаров. Но своей наибольшей выпуклости, выразительности и остроты он, несомненно, достиг под пером Достоевского, сумевшего запечатлеть безнадежный материал и отталкивающую тенденцию жанра неизгладимыми чертами своего исключительного романического мастерства.

Чрезвычайно чуткий к новым формам современного эпоса, Достоевский, возобновляя после ссылки свою деятельность, не мог пройти мимо последних образований русского романа, вызывающего к себе определенный интерес в журнальных и читательских кругах. Редактор наиболее дружественного Достоевскому журнала, Катков довольно последовательно насаждал его в „Русском вестнике“, получившем в передовой критике прозвание „литературной Вандеи“. Близкий к московскому органу и принимающий участие — по терминологии тогдашней журналистики — в „оркестре Каткова“, Достоевский неизбежно должен был обратиться к основным темам этой новейшей романической литературы. После частичных и второстепенных „эпизодов с современными позитивистами“, которые он пробует в произведениях 60-х годов, он к самому концу десятилетия, в непосредственной связи с обострением общей политической ситуации, решается высказаться до конца и со свойственным ему безудержем обрушиться на идеологических противников. В самом конце 1869 года он приступает к роману „Бесы“.

По целому ряду особенностей новой романической формы автор „Преступления и наказания“ должен был живейшим образом заинтересоваться ею. Обличительный роман, во многом соприкасающийся с бульварным, мог прежде всего пригодиться Достоевскому некоторыми оригинальными приемами своей композиции. Как уголовный или фельетонный роман в 40-е годы, этот новый тип большого повествования мог теперь привлечь его целым рядом благодарных повествовательных свойств, заостряющих интерес, напрягающих внимание читателя и удачно разрешающих многие структурные задачи художественного изложения.

Роман катковской школы представлял собою своеобразный вид общественного эпоса, всегда привлекавшего внимание Достоевского, — нечто в роде социального романа навыворот, не возвеличивавшего передовые стремления современных реформаторов или утопистов, но подвергавшего жестокому осмеянию их последователей на русской почве. Под таким отрицательным знаком роман все же строился

целиком на отражении современной общественности, что неизменно придавало ему острый и животрепещущий интерес. Достоевского всегда соблазняла для его романических построений эта общественно-актуальная значимость темы, его постоянно влекло к широким текущим проблемам, принимающим под его пером характер философских синтезов современной мысли или сложных личных драм. Под этим знаком, с почетным титулом создателя первого русского социального романа — в этом, как известно, выразилось знаменитое помазание Достоевского Белинским — автор „Бедных людей“ вступил в литературу и весь свой блистательный стаж потратил на оправдание этого ответственного звания. Отсюда его увлечение сентиментально-социалистическими романами Жорж-Занд и Эжена Сю, отсюда его восхищение Фурье, его сближение с Петрашевским и Спешневым, его приверженность к лозунгам утопического социализма. Такова была творческая заря Достоевского, его смелое восхождение, настоящая его художественная молодость, полная надежд, мечтаний, замыслов, утопий, увлечений, вплоть до участия в революционных организациях.

Последовавший затем перелом в судьбе Достоевского вызвал соответственное крушение и в его творчестве. Оно сказалось не сразу и долгое время оставалось неощутимым для читателя. В середине 60-х годов, несмотря на огромную внутреннюю работу, подточившую основы его раннего мировоззрения, Достоевский еще во многом остается во власти своих ранних воззрений. Это зенит его творческого пути. Видоизменяя свои задачи, он еще не перерезал всех нитей, связывающих его с верованиями молодости, и „Преступление и наказание“ остается в этом смысле величайшим его созданием, в котором окрепший и зрелый художник, полновластно владеющий всеми средствами своего гениального дарования, еще не омрачает своих страниц зловещей государственной философией своего последнего десятилетия.

И если местами здесь уже начинают проступать первые очертания будущих памфлетов Достоевского на нигилистов,— глубокий трагизм центрального образа освобождает его от зловещей карикатурности „Бесов“ и дает чувствовать на всем протяжении драмы великую боль автора за его преступного героя. В этом смысле страдальческий образ Раскольникова являет высочайшее достижение в творчестве великого романиста.

К концу 60-х годов в известном смысле происходит снижение. Если в „Преступлении и наказании“ связь с современностью дана в синтетической и условно обставленной трагедии терррориста, последующие романы начинают склоняться к иному способу разрешения социальной проблемы современности. Достоевский пристально всматривается в новые типы создающегося общественно-отрицательного романа, близкого к социальному памфлету или политической сатире. Его

потребность внести социальный элемент в романическую композицию находит выход в новом направлении. Происходит заметный поворот в области искания романических форм и параллельно двигающей их идеологии. С конца 60-х годов Достоевский вносит в свои романы элементы контрреволюционного катковского жанра и даже строит иные из них по всем правилам сложившейся поэтики вида.

Он прежде всего учел установившийся репертуар „масок“ реакционного романа — гротескные фигуры нигилистов и нигилисток из учащейся молодежи, в частности гимназиста-радикала, левого журналиста с шантажными наклонностями, таинственного великосветского революционера, евреев сомнительного типа, поляков-предателей, глупого губернатора, добродетельных монахов и проч.[1]. Образы „Бесов“ при всем гениальном мастерстве автора соответствуют традиционным персонажам охранительной беллетристики.

Достоевский следует этому образцу и в отдельных приемах повествования. Он в полной мере учитывает интерес реакционного романа к фигурам современных революционеров. Изображение текущей политической жизни не могло пройти мимо ее виднейших представителей. Канон обличительного романа требовал отражения революционной злободневности в лице знаменитых вождей движения. Трудность изображения разрешалась часто закулисным действием. Так в „Мареве“ отец героини, старый революционер, получает письма от Герцена и Бакунина. Следуя этому принципу, Лесков выводит в своем „Некуда“ Герцена. Так Достоевский упоминает в „Бесах“ имя Герцена, компанует действие романа по процессу нечаевцев и строит образ главного героя — Ставрогина — по данным биографии и личности Бакунина, который к началу 70-х годов стоял в России в центре политического внимания.

Но бледные карикатуры Крестовских и Клюшниковых получают у Достоевского исключительную выразительность. То, что скудными намеками и неуверенными штрихами намечается в серии обличительных романов 60-х годов, выступает в его сатире с необычайной силой и

[1] Часть этих масок вошла в роман „Братья Карамазовы“: Ракитин, Муселович и Врублевский, Коля Красоткин, Зосима и проч. Последний роман Достоевского местами еще выдержан в канонах романов-памфлетов „Русского вестника“. Но некоторые признаки этого вида сказываются и раньше. Тип продажного журналиста из „нигилистов“ Достоевский пробует мимоходом вывести в „Идиоте“. Отставной поручик, „боксер“ Келлер помещает в „еженедельной газете из юмористических“ (очевидно, в „Искре“) статью пасквильного и шантажного характера под заглавием: „Пролетарии и отпрыски. Эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс! Реформа! Справедливость!“ Достоевский полностью воспроизводит в романе эту статью, давая в ней сгущенную и резкую пародию на обличительную корреспонденцию 60-х годов.

резкостью, разрастаясь до фантастических размеров и чудовищных обликов. Это уже не „пузыри“, или „марево“ беллетристов-обличителей, а дьявольский слет, шалый вихрь бесовских ратей:

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны
Будто листья в ноябре...

Знаменитый эпиграф к роману дает ключ к пониманию того исступленного гнева, с каким озирал своих мятежных современников автор „Бесов“. Страницы „Русского вестника“, принявшие столько памфлетов на деятелей революции, еще не знали бичующего удара такой силы.

Наконец, и общие принципы построения реакционных романов воспроизводятся автором „Бесов“. Для композиции этих сатирических эпопей весьма характерно изображение публичных вечеров, спектаклей и лекций, прерываемых крупными скандалами. Характер композиционного шаблона принимают здесь картины пожаров, поджогов и бунтов. Разбрасывание прокламаций, перевоз заграничных листков, систематическое разложение провинциального общества,— все это, в тех или иных вариациях, одинаково характерно для „Панургова стада“ и „Бесов“, для „Марева“, „Некуда“ и „На ножах“.

Здесь не столько отдельные замыслы, сколько общие приемы единой школы, признаки сложившегося направления, установившейся традиции, утверждающейся художественной системы. Здесь налицо литературная мода с ее деспотическими велениями и заразительной новизной.

Острым соблазном новейшей литературной формации Достоевский воспользовался для демонстративной политической декларации. Эффект получился огромный. Роман „Бесы“ был принят печатью, как крутой поворот Достоевского в сторону реакции, как явное ренегатство от прогрессивных тенденций „Мертвого дома“, как „покаяние и отречение“, знаменующее полный разрыв автора с передовыми течениями времени и поругание всего движения 60-х годов.

В противовес этому катковский „Русский вестник“, на страницах которого появился роман, приветствовал в Достоевском сатирика „подпольного мира интеллигенции“, пораженной „язвою полуобразованности“.

В современной романической литературе „Бесы“ оказались крупнейшим явлением. Этим созданием Достоевский, несомненно, утвердил за собой литературное первенство в обширном цикле реакционных романов.

Вглядимся в основные приемы и методы художника при разработке этого романического массива.

VIII

Проблема оформления романа о революции чрезвычайно занимала Достоевского. Ни в записях „Преступления и наказания“, ни в черновиках „Идиота“ мы не находим такого обилия указаний и раздумий автора о принципах композиции, о манере рассказа, о приемах разработки отдельных моментов и о методе показа героев, как в записных тетрадях к „Бесам“.

Забота о выразительной краткости стоит здесь на первом месте. Черновые программы испещрены пометами: „Короче.— Быстрым рассказом.— Юмористично, кратко и с меткими выражениями“. „Все это втиснуть в четыре листа maximum“... Или же: „Втиснуть мысли художественно и сжато“... „Сформировать как можно сокращеннее план рассказа“... „Рассказ... хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и представляя сценами. Тут надо гармонию... на эффектных и сценических местах — как бы вовсе этим нечего дорожить“... При этом он изыскивает особые способы построения и развития фабул. „Главное: особый тон рассказа и все спасено. Тон в том, что Нечаева и князя не разъяснять. Короче рассказ. Особый тон и особая манера“.— „Не делать, как другие романисты, т. е. с самого начала затрубить о нем, что вот это человек необычайный. Напротив, скрывать его и открывать лишь постепенно сильными художественными чертами“...

Необходимо признать, что большинство этих заданий романисту удалось осуществить, применив в отношении ряда центральных фигур (Ставрогин, Кирилов, Петр Верховенский, Шатов) прием постепенного раскрытия характера при несколько интригующем начальном показе, добившись при этом нужной сжатости и быстроты изложения. Композиция свелась к тому, чтоб короткий период самого романа (шесть-восемь недель) раздвинуть в прошлое, показав два-три десятилетия предшествующего образования характеров и сплести в крепкий узел сталкивающихся влечений и ненавистей несколько главных образов, объединенных — по терминологии Достоевского — „убийством à la Нечаев“. Развитие действия приводит к трагической развязке шекспировского стиля, с необычайным количеством преступлений и смертей: пожар половины города, трое зарезанных в подожженном и несгоревшем доме, подпольное убийство Шатова, загадочное убийство Федьки Каторжного, открытое убийство Лизы Тушиной рассвирепевшей толпой, самоубийство Кирилова, самоубийство Ставрогина, наконец, естественная смерть родоначальника всех „Бесов“ — Степана Трофимовича,— таким стремительным и катастрофическим исходом завершает Достоевский свою зловещую эпопею о потрясателях российского государства. Построение заключительной части „Бесов“ местами прибли-

жается к границе романов „катковской школы“ с их мелодраматическими и фельетонными приемами. И все же, как всегда у Достоевского, глубина захвата драмы и уверенное мастерство романиста позволяют ему почти вплотную приблизиться к этой опасной черте, нигде не переступая ее. Как в молодости своей он принял приемы сюжетосложения авантюрного и уголовного романа, возведя его до степени углубленной психологической драмы, так и теперь он расширил „кровавый пуфф“ обличителей нигилизма до обширных масштабов своих философских концепций. Образы Кирилова, Шатова, Ставрогина, Шигалева, Верховенских, Лебядкиных относятся в обширной галлерее трагических масок Достоевского к его наиболее выразительным, сложным и смелым созданиям. Философские разговоры, в которых Достоевский и раньше проявил себя исключительным мастером, дают здесь новое сильнейшее подтверждение этому свойству его изобразительного дара. Ни в одном произведении Достоевского искусство диалога не достигает таких высот, как в „Бесах“, и перемежающиеся беседы Ставрогина, Верховенских, Шатова, Кирилова, хромоножки представляют по напряженности, глубине прозрений, диалектической изощренности и потрясающей силе аргументов ту высочайшую степень драматического мастерства, которую Достоевский не превзошел ни в одном из своих романов. При этом увлекательные дискуссии героев замечательно сочетаются с напряженно развертывающимся действием. Утопия Версилова или поэма Ивана Карамазова по сравнению с этой неразрывной и органической связью диалога и действия в „Бесах“ могут показаться вставными партиями, не всегда обязательными для развития основного романического движения. Этого нельзя сказать ни об одном из теоретических построений в „Бесах“: здесь все подчинено неотразимой логике центрального замысла, уверенно и с строгой экономией развертывающего спора или исповеди главных персонажей вокруг нарастающих событий.

Необходимо отметить, впрочем, и некоторые дефекты композиции. Основной принцип оформления, установленный, видимо, Достоевским уже в феврале 1870 года, сводился к типу *хроники*, т. е. рассказа в первом лице о недавних событиях, „происшедших в нашем городе“. Достоевский имел в виду строить весь рассказ на впечатлениях, воспоминаниях и сведениях летописца, близкого приятеля Степана Трофимовича. В процессе развития сюжета он допустил отклонения от этого принципа и местами заметно нарушил принятую им систему Ich-Erzählung, вступая от своего собственного авторского имени в изложение событий, исключавших присутствие „хроникера“ (Лиза и Ставрогин в Скворешниках, глава у Тихона, ночь у Кирилова, убийство Шатова и др.). Миссия изложения „недавних событий“ как бы разделяется между условным рассказчиком — молодым Г — вым и самим

Достоевским. В этом отношении „Записки из подполья“, „Игрок“, „Подросток“ и „Кроткая“ выдержаны с несравненно большей строгостью в „автобиографической“ манере, чем „Бесы“. Но стремительность рассказа, живость и юмор характеристик, динамичность фабулы, при остроте ситуаций и напряженности конфликтов, совершенно заслоняют от глаз читателя эту структурную погрешность повествования.

Отдельные фигуры „Бесов“ по сложности и выпуклости должны быть поставлены в ряд с лучшими достижениями Достоевского. Памфлетическая тенденция не снижает высокой художественности главных образов. Это особенно ощущается на фигуре столь осмеянного автором „достопочтенного Степана Трофимовича“. Задуманный под знаком сатиры, он необыкновенно вырос под пером Достоевского и, ломая контуры карикатуры, получил в процессе работы черты глубокой и прекрасной жизненности, роднящей старого мечтателя с великими образами мировой литературы, которыми всегда восхищался Достоевский,— с Дон-Кихотом и Пикквиком. Через несколько лет после „Бесов“ сам Достоевский выразил свое глубокое сочувствие к Степану Трофимовичу и даже к его историческому прообразу. В „Дневнике писателя“ 1876 года он между прочим пишет: „Грановский был самый чистейший из тогдашних людей; это было нечто безупречное и прекрасное. Это был один из самых честнейших наших Степанов Трофимовичей (тип идеалиста сороковых годов, выведенный мною в романе „Бесы“ и который наши критики находили правильным. Ведь я люблю Степана Трофимовича и глубоко уважаю его) — и, может быть, без малейшей комической черты, довольно свойственной этому типу“.

Совершенно очевидно, что именно Степан Трофимович является выразителем наиболее заветных идей самого Достоевского об искусстве, Пушкине, Рафаэле, Шекспире. Именно ему поручается выразить основную идею романа о том, что великий больной исцелится от недугов, накопившихся „в России за века, за века...“ Таким образом в романе, быть может даже вопреки первоначальному замыслу автора, Степан Трофимович является центральным лицом, вокруг которого вращается все движение; над вихрем событий он поднимается не только как первопричина, но и как наиболее зоркий и ясновидящий его выразитель. Мало изученный в критической литературе о Достоевском, Степан Трофимович Верховенский относится к лучшим художественным достижениям романиста и может войти в мировую литературу, как своеобразный и прекрасный образ русского Дон-Кихота.

Достоевский в построении своих персонажей широко пользовался свидетельствами действительности и любил исходить из ее данных. „Некоторые характеры, просто портреты“,— писал он незадолго до „Бесов“ о героях „Идиота“. Мы видели, что закон этот в полной силе ска-

зался в „исторической“ хронике Достоевского, где люди сороковых и шестидесятых годов проходят целой галлереей.

Но сложность замысла диктовала здесь и особые приемы сочетания прообразов. Часто отдельная фигура здесь исходит из нескольких прототипов и синтезирует двух-трех подлинных современников.

Это сложный и любопытный закон художественной композиции, свойственный целому ряду авторов. Известно, что Толстой, например, объединял в Анне Карениной личности дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг и бибиковской гувернантки, а в лице Наташи Ростовой — облики своей жены и своей свояченицы. Тургенев отмечал в подготовительных записях к „Нови“, что Сипягин средняя пропорциональная между Абазой, Жемчужниковым и Валуевым, а Коломейцев — соединение Новосельцева, Маркевича и Лонгинова.

Именно так построены центральные образы „Бесов“: они синтезируют в отдельном лице несколько типических фигур, взятых из действительности. Часто, особенно в изображении политических деятелей, Достоевский не довольствовался одним оригиналом для каждого типа, но производил сложный, художественный эксперимент синтезирования, сочетания и даже полного слияния различных прототипов в лице одного героя. Наблюдение и изучение политической современности своеобразно сочетались с личными воспоминаниями о минувших заговорах — герои „нечаевщины“ соприкасались с образами петрашевцев, и деятели обеих эпох, разлученные протекшим двадцатилетием, а главное, глубоким различием программ и форм революционной активности, сливались воедино в том или ином герое „Бесов“. Политическая атмосфера конца 60-х годов дублировалась революционною действительностью конца 40-х. Заочно изучаемое современное подполье осложнялось непосредственными впечатлениями о лицах и настроениях „давно минувшей истории“, одним из участников которой был сам автор „Бесов“.

Так Петр Верховенский, изображающий в основных чертах Нечаева, по замыслу Достоевского — отчасти и Петрашевский, которого он, действительно, напоминает своей возбужденной активностью гораздо сильнее, чем холодного, сосредоточенного, методического Нечаева.

Точно так же и главный герой романа, списанный в основном с Бакунина, оживлен некоторыми чертами одного из виднейших петрашевцев, Спешнева, близкого к Достоевскому в конце 40-х годов.

Огромное художественное чутье и уверенный опыт романиста безошибочно подсказывали Достоевскому основной закон подлинного искусства портретирования: типизация действительности, преображение факта до его творческого выражения, возведение реального случая в закономерность художественного замысла и подчинение зыбкого жизненного явления твердым принципам идеи, формы и стиля.

Вот почему в своей писательской работе Достоевский никогда не

стеснял себя данными действительности и подлинными признаками прототипа; ему нужна была не определенная конкретная фигура во всех ее житейских особенностях, а лишь ее художественная типичность. Он пишет Майкову: „Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип...“ Он заявляет в „Дневнике писателя“: „Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева...“

Такой же художественный прагматизм руководит Достоевским и при обрисовке места действия и времени романа. Анализ „Бесов“ показывает, что Достоевский здесь очень верными чертами описал последний город своей ссылки — Тверь, где он провел осень 1859 года. Выбор этот, вероятно, подсказан романисту фактическими материалами его темы и лишний раз подтверждает реальную основу всех его воображаемых построений. Избрав Тверь местом действия романа, Достоевский в основном и главном следует указаниям действительности: перед ним город, по которому блуждал молодой тверской помещик Бакунин, и именно здесь, на берегах Тверцы и Тьмаки, жил в монастыре Тихон Задонский. Романист дает себе право сдвинуть две эпохи, разъединенные историей, и свести для беседы двух пленивших его исторических лиц: он приводит Бакунина в келью Тихона Задонского. Из этого необычайного сближения двух контрастных фигур рождается одна из самых судорожных страниц мировой литературы — „Исповедь Ставрогина“.

Наконец, и время действия романа соответствует периоду пребывания Нечаева осенью 1869 года в Москве, куда он приехал 3 сентября из-за границы и откуда выехал 22 ноября в Петербург. Петр Верховенский приезжает в губернский город в начале сентября и выезжает в Петербург к концу октября.

В полном согласии с этими хронологическими данными в романе все время изображается осенний город и осенний пейзаж — дожди, грязь, ветер, размытые дороги,— „низкие, мутные, разорванные облака“, „полуобнаженные деревья“, „мелкий медленный дождь, как сквозь сито“, „давным-давно сжатые нивы“...

Отступая от точного воспроизведения действительности, Достоевский изображает в сцене убийства Шатова пруд незамерзшим (Нечаеву, как известно, пришлось раскалывать лед, чтоб опустить тело в прорубь); в романе же труп просто раскачивают и бросают в воду, по поверхности которой расходятся круги. Конец ноября исторической действительности Достоевский заменяет октябрем, когда зима еще не наступила. Это, вероятно, не случайность. Роман выдержан в пасмурных тонах умирания и разложения. Унылый, осенний колорит, бесцветно-угрюмые тона северной русской осени, в скудной губернии, в мрачном городе, думается, намеренно взяты художником для выявления его мысли о больной России, о безотрадности переживаемой

эпохи, о надвигающейся гибели. Как в „Преступлении и наказании“ Раскольников словно задыхается под гнетом своих кошмарных замыслов в пропыленной атмосфере петербургского лета, среди жары, извести, пыли и духоты,— точно так же и Ставрогин разлагается и гибнет под безнадежный плач упорных и мелких осенних дождей, среди почернелых полей и размытых дорог, под холодным свинцовым небом и обнаженными деревьями пустынного наследственного парка, только что приютившего в своих чащах заговорщиков-убийц.

В целом „Бесы“ представляют собой один из наиболее увлекательных и художественно выдержанных романов Достоевского. Намеренная загадочность некоторых образов вполне искупается отчетливой и ясной линией главной интриги, политический характер которой обостряет и напрягает интерес. Незабываемые диалоги и образы в напряженной атмосфере нарастающей трагедии, постепенно охватывающей целое общество, поднимают хронику губернского брожения до зловещей фрески исключительной силы. Как в свое время Достоевский сумел подчинить своим творческим задачам уголовный роман-фельетон, сочетав Платона с Эженом Сю и словно введя „Федона“ в сумбур и хаос „Парижских тайн“, так и теперь он раздвинул раболепный и пасквильный катковский роман-карикатуру в тот глубокий философский диалог, в котором он не знал соперников во всей мировой литературе. Пошлейший авантюризм „Панургова стада“, смело принятый Достоевским в лабораторию своих композиционных средств, преображается мастерством великого художника в незабываемые страницы самоубийства Кирилова, родов Шатовой, безумия Лямшина, последнего странствия Степана Трофимовича. Необычайное сочетание событий политической современности, новых романических форм и творческих прозрений писателя превратило хронику современных газет, разоблачения реакционного романа и лихорадочно занесенные в записные книжки раздумья и видения писателя в сложное, зловещее и законченное художественное целое — роман „Бесы“.

IX

Каков же идеологический баланс этого сложного целого? „Бесы“ — памфлет на революционное движение. В качестве представителя определенной политической группы Достоевский дает здесь резко заостренную сатиру на своих противников — представителей либерального и революционного лагерей. Задача его, о которой он подробно пишет в своих письмах, это разгром революционного движения в его „отцах“ и „детях“ — утопистах сороковых годов и практиках-шестидесятниках. Мы видели выше, что реакционная критика Достоевского не беспредметна и не абстрактна, а в основном направлена против больших идей-

ных течений современной революции, включая в свой кругозор такие явления, как Бакунин и Маркс. Достоевский пытается охранить русский монархизм, обрушиваясь на подрывающие его или угрожающие ему силы. Но несмотря на весь обличительный пафос романа, поставленная задача не удалась романисту. Ряд крупнейших явлений революционной истории порубежного меж двумя десятилетиями момента (граница 60-х и 70-х годов) остается вне внимания Достоевского. Исходя в своем сатирическом возмущении из больших течений современной революции, Достоевский в своем романе преимущественно оперирует явлениями меньшего, часто даже второстепенного порядка. Гнев его направлен на представителей отживающего либерализма 40-х годов, к которому он причисляет даже редактора „Голоса" Краевского, а из крупных явлений современности на два революционных образа, отмеченных в 1870 году публицистическим сарказмом Каткова,— Бакунина и Нечаева. Но старый либерализм был вообще весьма далек от революционного движения 60-х годов, и с неменьшей беспощадностью, чем в „Бесах", он обличался и осмеивался радикальной критикой того же времени. К тому же он далеко не до конца развенчан Достоевским. Сам близкий в молодости к идеям утопических социалистов, романист не в силах выдержать взятый тон обличения и под конец романа проводит Степана Трофимовича сквозь озаряющую „апофеозу". Такое же крушение потерпела задуманная сатира на Бакунина в лице Ставрогина, сохранившего в романе свою серьезность и значительность и до конца внушающего своему автору чувство пристального и углубленного внимания, почти граничащего с уважением. Наконец, подлинный Нечаев своим трагизмом и силой совершенно подавляет карикатурный облик Петра Верховенского. Зарисовка романиста неизмеримо ниже исторического лица.

Таков был разрыв между заданием и осуществлением. Стремясь развенчать революцию, Достоевский на деле задевает своей критикой лишь российский либерализм, индивидуальное бунтарство и эксцессы нечаевщины. Из лагеря политической реакции он атакует лишь отдельные, быть может наиболее заметные, но не самые сильные позиции своего противника. Но это направление удара в ту сторону, где победа казалась легче достижимой, не оправдало стратегического расчета романиста. Анализ романа показывает, что Достоевский-идеолог всем подходом к своей огромной теме обрекал себя на поражение и готовил крушение своему политическому замыслу. Даже в ограниченных пределах сатиры на Грановского, Бакунина и Нечаева памфлет Достоевского явно срывается, и образы исторического движения либо сохраняют и для него свою высоту, трагизм и значение, либо поражают своим несоответствием с прообразами огромной силы, выдвинутыми революционной действительностью.

Необходимо также отметить, что крушение политического замысла в „Бесах“ определялось и некоторыми субъективными моментами. Великий психолог не мог до конца выдержать в этом вопросе позицию Катковых и Мещерских. В некоторых местах романа Достоевский художник и мыслитель преодолевает публициста и одерживает победу над представителем государственной партии с предвзятыми и жесткими тенденциями. Мы уже видели в вопросе о Парижской коммуне, что Достоевский, критикуя и даже осуждая, не находился на крайнем правом фланге отрицателей и хулителей события. Изучение романа показывает, что это не единственный случай в „Бесах“ и что в ряде мест автор идет значительно дальше в преодолении взятого им официального курса. Изображенные им нечаевцы в большинстве случаев наделены живыми и привлекательными чертами. В явном противоречии с основной воинствующей тенденцией романа, Достоевский выражает устами Степана Трофимовича симпатию к молодому поколению, ценность и величие которого старый ученый различает даже сквозь представляющиеся ему ошибки: „Я объявляю торжественно, что дух жизни веет попрежнему, и живая сила не иссякла в молодом поколении. Энтузиазм современной юности так же чист и светил, как и наших времен. Произошло лишь одно: перемещение целей, замещение одной красоты другой“.

В черновых планах к роману это признание выражено еще отчетливее:

„Ст[епан] Т[рофимови]чь умирая: да здравствует Россия, в ней есть идея.

в *них* в
нигилистах
есть идея

— У них идея в скрытом состоянии
Мы тоже были носители идеи.
Этот вечный русский позыв иметь
идею, вот что прекрасно. Je ne parle
pas, что это все у них кстати
и прилично: бедное божие стадо“.

В проекте предисловия к роману (так и не написанного) Достоевский отмечал в русском революционере черту — „жертвовать собою и всем для правды“ и открыто перед всем светом исповедывать эту правду. На этой основе Достоевский противопоставляет Каракозова террористу-итальянцу Орсини, бросившему бомбу в карету французского императора. Задача „Бесов“, согласно заявлению Достоевского, установить ту правду, за которую должно бороться молодое поколение

„Предисловье.

в Кирилове народная идея — сейчас же
жертвовать собою для правды.
Даже несчастный слепой самоубийца
4 апреля в то время верил
в свою правду (он говорят потом
раскаялся — слава богу) а не
прятался как Орсини, а стал ли-
цом к лицу.

Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его бог и пошли ему покойной правды. Ибо весь вопрос в том и состоит что считать за правду. Для того и написан роман".

Заканчивая „Бесов", Достоевский по своему, как и Степан Трофимович, пытается понять молодое поколение, веря в искренность его исканий, лишь случайно отклонившихся по мысли романиста от верного пути. Такие сочувственные ноты у Достоевского были вполне понятны и почти неизбежны. Он не только знал революцию, он ее и переживал. Уже в 1870 году в письме к Майкову Достоевский признает, что еще на каторге сохранял „сильную закваску русского либерализма", а несколько позже, в „Дневнике писателя", он всенародно заявляет, что в молодости мог бы стать и нечаевцем. В самом себе он признает те начала оппозиции и даже активной революционности, которые казнит в своих младших современниках. Ополчаясь на вольнодумцев и мятежников двух поколений, Достоевский в политическом плане сжигает все, чему поклонялся в молодости. Но в приведенных заявлениях Степана Трофимовича, в отдельных записях о жертвенности, искренности и энтузиазме молодой России, он как бы шлет последний поклон всему, что сжигает на костре своего памфлетического гнева. При изучении „Бесов", отмечая все проявления острой сатиры Достоевского на освободительное движение, нельзя замалчивать и этих стремлений писателя понять революционное поколение даже в лице „цареубийцы" Каракозова. Такое понимание не даром далось Достоевскому, и долг наш отметить и признать наличие этого обратного течения в его памфлете на революцию.

Подводя итоги анализу романа, необходимо также указать, что документация Достоевского по изучаемому явлению отличалась большой свежестью и полнотой. Несколько крупнейших политических газет, русских и иностранных, внимательно читавшихся им изо дня в день, заграничная революционная печать, прокламации и стенограммы судебных процессов,— все это тщательно изучалось Достоевским наряду

с обширной монографической литературой, посвященной тем же вопросам.

В годы 1869—1872 в связи с историческими событиями эпохи вышло немало крупнейших социально-политических работ, трактующих и ставящих темы, чрезвычайно занимавшие мысль Достоевского. Связь современной революции с рабочим движением, призвание Востока, Россия и Запад, будущность папства и католической церкви, судьбы европейских династий,— все это разрабатывается у нас и на Западе в специальных трактатах и исследованиях. „Интернационал и якобинизм, как вызов Европе" Оскара Тестута, „Происхождение Бонапартов" Мишле, „Капитализм и социализм" Шеффле, „Россия и Европа" Данилевского, „Положение рабочего класса" и „Азбука социальных наук" Берви-Флеровского, „Исторические письма" Миртова (Лаврова), „Сборник посмертных статей" Герцена, „Парламентская анкета о восстании 18 марта", „Судебный процесс по нечаевскому делу",— вот целая серия книг, освещающая с разных сторон эпоху критического поворота европейской истории.

Вся эта литература, за которой внимательно следили и „Русский вестник", и „Заря", и даже ежедневная печать, читавшаяся Достоевским, становилась в основном и главном знакомой ему. Вместе с европейской современностью Достоевский тоже пережил в смутное трехлетие „Бесов" целую эпоху, значительно преобразившую и углубившую основы его исторического миросозерцания. Из раскаленной среды этой работы и этой эпохи он вышел значительно обогащенным новыми интересами, помыслами и влечениями, несравненно менее возбуждавшими его творчество в момент создания „Идиота". Большие политические и социальные проблемы времени становятся отныне в центр его внимания и обращают его к новому виду философской публицистики, открывающей ему широкую возможность поставить и переоценить своим пером все захватывающие проблемы времени о славянстве и германстве, о Царьграде и Азии, о социализме и православьи, о революции и самодержавии. Господствующей формой Достоевского в 70-е годы становится „Дневник писателя", органически отвечающий его новым писательским исканиям.

Но первым произведением, в котором проносящаяся политическая современность жадно улавливается и находит свое сатирическое отражение в образах и драме, были „Бесы". Это не только роман, это, по мысли Достоевского, еще художественная история и философская публицистика. Летопись культурного прошлого России, взятая под острым углом обличения, здесь сочеталась с отголосками современной европейской политики, а утопические чаяния „замечательного десятилетия" — с кровавыми фактами „страшного года". Недаром наряду с Белинским и Грановским в романе названы актуальнейшие имена Бис-

Марка и Жюля Фавра, и не случайно воспоминания автора о петрашевцах сливаются с его впечатлениями от Коммуны, Интернационала и нечаевщины. Личные мемуары на всем протяжении „Бесов“ сочетаются с политическим бюллетенем дня, и хроника былого дублируется текущей газетной передовицей. Это сообщает такую необычайную остроту, своеобразие и жизненность дрезденскому роману Достоевского, что, вопреки своим реакционным тенденциям, он сохраняет до сих пор свою художественную экспрессивность и силу. Читатель нашей эпохи, закаленный от соблазна поддаться памфлетической пропаганде романиста, оценит его умение пронизывать сложную эпическую композицию острыми социальными темами эпохи, развертывать борьбу идей в захватывающую человеческую трагедию и отливать воинствующую проповедь своего политического исповедания в творческие образы незабываемого значения.

Леонид Гроссман

БЕСЫ

РОМАН

Хоть убей, следа не видно,
Сбились мы, что делать нам?
В поле бес нас водит видно
Да кружит по сторонам.

. . . .

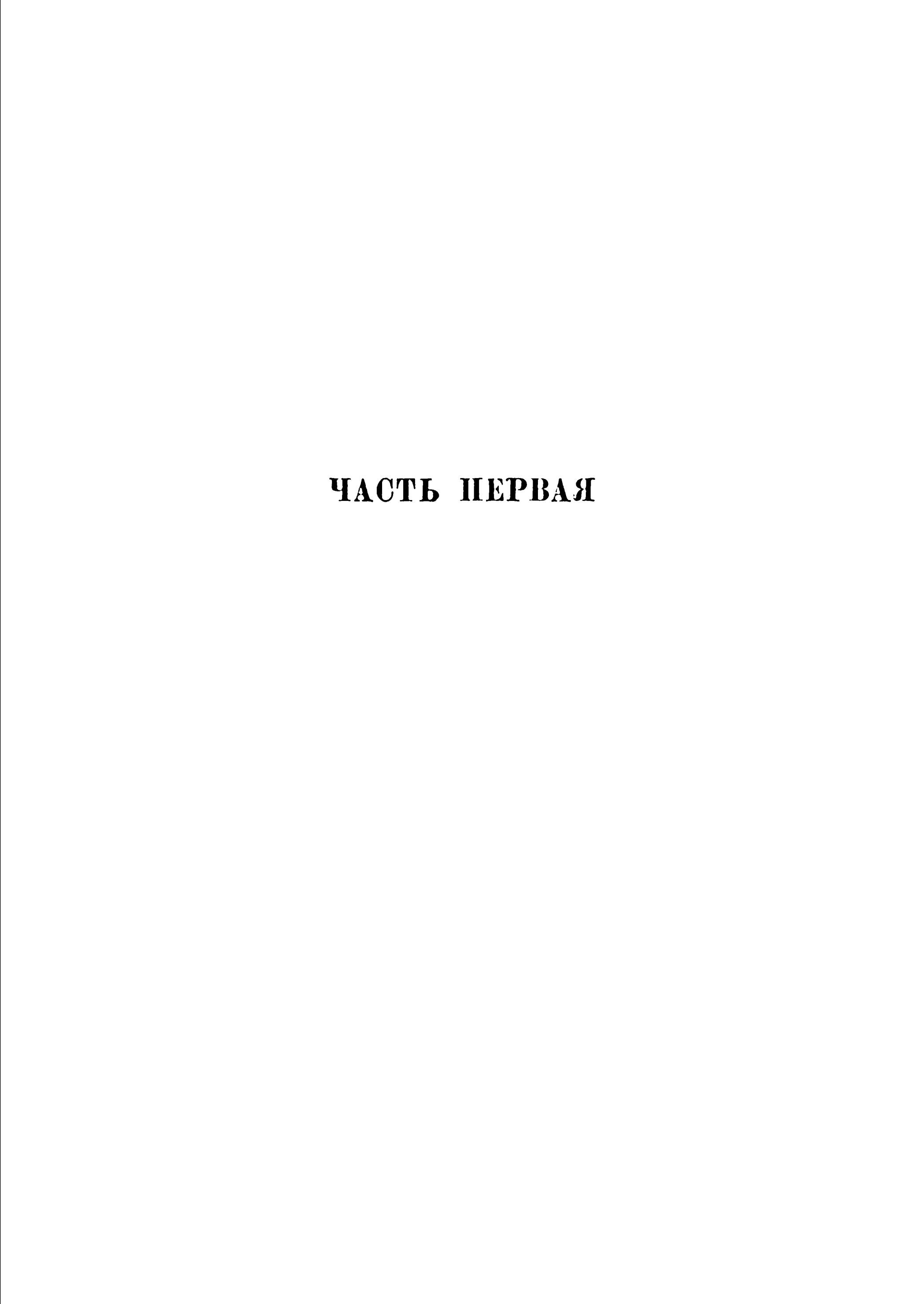
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

А. Пушкин

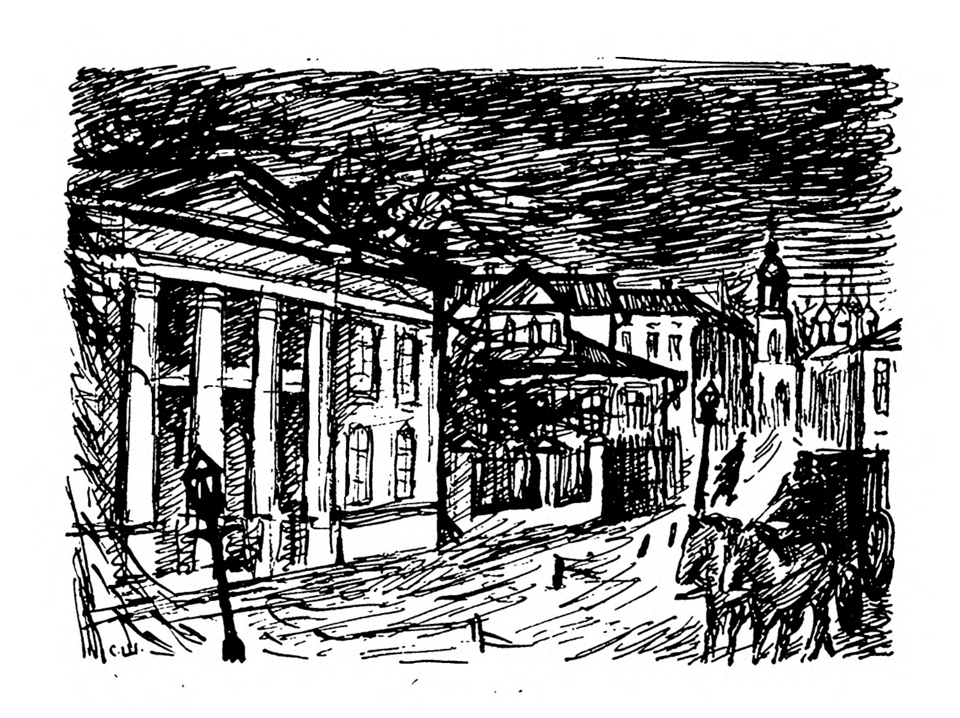
Тут на горе паслось большое стадо свиней, и они просили его чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, увидя случившееся, побежали и рассказали в городе и по деревням. И вышли *жители* смотреть случившееся, и пришедши к Иисусу, нашли человека из которого вышли бесы сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме: и ужаснулись. Видевшие же рассказали им как исцелился бесновавшийся.

Евангелие от Луки. Глава VIII, 32—36.





ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Вместо введения: несколько подробностей из биографии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского.

I.

Приступая к описанию недавних и столь странных событий происшедших в нашем, доселе ничем не отличавшемся городе, я принужден, по неумению моему, начать несколько издалека, а именно некоторыми биографическими подробностями о талантливом и многочтимом Степане Трофимовиче Верховенском. Пусть эти подробности послужат лишь введением к предлагаемой хронике, а самая история, которую я намерен описывать, еще впереди.

Скажу прямо: Степан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и так-сказать гражданскую роль и любил эту роль до страсти,—так даже что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб ужь я его приравнивал к актеру на театре: сохрани боже, тем более, что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерывной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. Он, например, чрезвычайно любил свое положение „гонимого“ и так-сказать „ссыльного“. В этих обоих словечках есть своего рода классический блеск, соблазнивший его раз навсегда, и возвышая его потом постепенно в собственном мнении, в продолжение столь многих лет, довел его наконец до некоторого весьма высокого и приятного для самолюбия пьедестала. В одном сатирическом английском романе прошлого столетия, некто Гуливер, возвратясь из страны лилипутов, где люди были всего в какие-нибудь два вершка росту, до того приучился считать себя между ними великаном, что и ходя по улицам Лондона, невольно кричал прохожим и экипажам, чтоб они пред ним сворачивали и остерегались чтоб он как-нибудь их не раздавил, воображая, что он все еще великан, а они маленькие. За это смеялись над ним и бранили его, а грубые кучера даже стегали великана кнутьями: но справедливо ли? Чего не может сделать привычка? Привычка привела почти к тому же и Степана Трофимовича, но еще в более невинном и безобидном виде, если можно так выразиться, потому что прекраснейший был человек.

Я даже так думаю что под конец его все и везде позабыли; но уже никак ведь нельзя сказать что и прежде совсем не знали. Бесспорно что и он некоторое время принадлежал к знаменитой плеяде иных прославленных деятелей нашего прошедшего поколения и, одно время,—впрочем всего только одну самую маленькую минуточку,—его имя многими тогдашними торопившимися людьми произносилось чуть не на ряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского и только что начинавшего тогда за границей Герцена. Но деятельность

Степана Трофимовича окончилась почти в ту же минуту как и началась,— так сказать от „вихря сошедшихся обстоятельств". И что же? Не только „вихря", но даже и „обстоятельств" совсем потом не оказалось, по крайней мере в этом случае. Я только теперь, на днях, узнал, к величайшему моему удивлению, но за то уже в совершенной достоверности, что Степан Трофимович проживал между нами, в нашей губернии, не только не в ссылке, как принято было у нас думать, но даже и под присмотром никогда не находился. Какова же после этого сила собственного воображения! Он искренно сам верил всю свою жизнь что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены, и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше и прежде всего, при сдаче губернии. Уверь кто-нибудь тогда честнейшего Степана Трофимовича неопровержимыми доказательствами, что ему вовсе нечего опасаться, и он бы непременно обиделся. А между тем это был ведь человек умнейший и даровитейший, человек так сказать даже науки, хотя впрочем в науке.... ну, одним словом, в науке он сделал не так много и кажется совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это сплошь да рядом случается.

Он воротился из-за границы и блеснул в виде лектора на кафедре университета уже в самом конце сороковых годов. Успел же прочесть всего только несколько лекций, и кажется об Аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами, а вместе с тем и о тех особенных и неясных причинах почему значение это вовсе не состоялось. Диссертация эта ловко и больно уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему между ними многочисленных и разъяренных врагов. Потом,— впрочем уже после потери кафедры,— он успел напечатать (так-сказать в виде отместки и чтоб указать кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, пере-

водившем из Диккенса и проповедывавшем Жорж-Занда, начало одного глубочайшего исследования,— кажется о причинах необычайного нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху, или что-то в этом роде. По крайней мере проводилась какая-то высшая и необыкновенно благородная мысль. Говорили потом что продолжение исследования было поспешно запрещено, и что даже прогрессивный журнал пострадал за напечатанную первую половину. Очень могло это быть, потому что чего тогда не было? Но в данном случае вероятнее что ничего не было и что автор сам поленился докончить исследование. Прекратил же он свои лекции об Аравитянах потому что перехвачено было как-то и кем-то (очевидно из ретроградных врагов его) письмо к кому-то с изложением каких-то „обстоятельств"; вследствие чего кто-то потребовал от него каких-то объяснений. Не знаю верно ли, но утверждали еще что в Петербурге было отыскано в то же самое время какое-то громадное, противоестественное и противогосударственное общество, человек в тринадцать, и чуть не потрясшее здание. Говорили что будто бы они собирались переводить самого Фурье. Как нарочно в то же самое время в Москве схвачена была и поэма Степана Трофимовича, написанная им еще лет шесть до сего, в Берлине, в самой первой его молодости, и ходившая по рукам, в списках, между двумя любителями и у одного студента. Эта поэма лежит теперь и у меня в столе; я получил ее, не далее как прошлого года, в собственноручном, весьма недавнем списке, от самого Степана Трофимовича, с его надписью и в великолепном красном сафьянном переплете. Впрочем она не без поэзии и даже не без некоторого таланта; странная, но тогда (то-есть вернее в тридцатых годах) в этом роде часто пописывали. Рассказать же сюжет затрудняюсь, ибо по правде ничего в нем не понимаю. Это какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть *Фауста*. Сцена открывается хором женщин, потом хором мущин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чем-то очень неопределенном, большею частию

о чьем-то проклятии, но с оттенком высшего юмора. Но сцена вдруг переменяется и наступает какой-то „Праздник жизни“, на котором поют даже насекомые, является черепаха с какими-то латинскими сакраментальными словами, и даже, если припомню, пропел о чем-то один минерал,—то-есть предмет уже вовсе неодушевленный. Вообще же все поют беспрерывно, а если разговаривают, то как-то неопределенно бранятся, но опять-таки с оттенком высшего значения. Наконец сцена опять переменяется, и является дикое место, а между утесами бродит один цивилизованный молодой человек, который срывает и сосет какие-то травы, и на вопрос феи: зачем он сосет эти травы? ответствует что он, чувствуя в себе избыток жизни, ищет забвения и находит его в соке этих трав; но что главное желание его, поскорее потерять ум (желание может-быть и излишнее). Затем вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает собою смерть, а все народы ее жаждут. И наконец уже в самой последней сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верху, то обладатель, положим хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его местом, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей. Ну, вот эту-то поэму и нашли тогда опасною. Я, в прошлом году, предлагал Степану Трофимовичу ее напечатать, за совершенною ее, в наше время, невинностью, но он отклонил предложение с видимым неудовольствием. Мнение о совершенной невинности ему не понравилось, и я даже приписываю тому некоторую холодность его со мной, продолжавшуюся целых два месяца. И что же? Вдруг, и почти тогда же как я предлагал напечатать здесь,—печатают нашу поэму *там*, то-есть за границей, в одном из революционных сборников, и совершенно без ведома Степана Трофимовича. Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная кому бы адресовать. Одним словом,

волновался целый месяц; но я убежден что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть и ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло. Тогда же он и со мной примирился, что̀ и свидетельствует о чрезвычайной доброте его тихого и незлопамятного сердца.

II.

Я ведь не утверждаю что он совсем нисколько не пострадал; я лишь убедился теперь вполне что он мог бы продолжать о своих Аравитянах сколько ему угодно, дав только нужные объяснения. Но он тогда съамбициозничал и с особенною поспешностью распорядился уверить себя раз навсегда что карьера его разбита на всю жизнь „вихрем обстоятельств". А если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновившееся деликатнейшее предложение ему от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал-лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. Предложение это было сделано ему в первый раз еще в Берлине, и именно в то самое время когда он в первый раз овдовел. Первою супругой его была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и кажется вынес с этою, привлекательною впрочем особой, много горя, за недостатком средств к ее содержанию, и сверх того, по другим, отчасти уже деликатным причинам. Она скончалась в Париже, быв с ним последние три года в разлуке и оставив ему пятилетнего сына, „плод первой, радостной и еще неомраченной любви", как вырвалось раз при мне у грустного Степана Трофимовича. Птенца еще с самого начала переслали в Россию, где он и воспитывался

все время на руках каких-то отдаленных теток, где-то в глуши. Степан Трофимович отклонил тогдашнее предложение Варвары Петровны и быстро женился опять, даже раньше году, на одной неразговорчивой берлинской Немочке, и, главное, безо всякой особенной надобности. Но кроме этой, оказались и другие причины отказа от места воспитателя: его соблазняла гремевшая в то время слава одного незабвенного профессора, и он, в свою очередь, полетел на кафедру, к которой готовился, чтобы испробовать и свои орлиные крылья. И вот теперь, уже с опаленными крыльями, он естественно вспомнил о предложении которое еще и прежде колебало его решение. Внезапная же смерть и второй супруги, не прожившей с ним и году, устроила все окончательно. Скажу прямо: все разрешилось пламенным участием и драгоценною, так-сказать классическою дружбой к нему Варвары Петровны, если только так можно о дружбе выразиться. Он бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось слишком на двадцать лет. Я употребил выражение: „бросился в объятия", но сохрани бог кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. Самая тонкая и самая деликатнейшая связь соединила эти два столь замечательные существа навеки.

Место воспитателя было принято еще и потому что и именьице оставшееся после первой супруги Степана Трофимовича,— очень маленькое,—приходилось совершенно рядом со Скворешниками, великолепным подгородным имением Ставрогиных в нашей губернии. К тому же всегда возможно было, в тиши кабинета, и уже не отвлекаясь огромностью университетских занятий, посвятить себя делу науки и обогатить отечественную словесность глубочайшими исследованиями. Исследований не оказалось; но за то оказалось возможным простоять всю остальную жизнь, более двадцати лет, так-сказать „воплощенной укоризной" пред отчизной, по выражению народного поэта:

Воплощенной укоризною

. . . .

Ты стоял перед отчизною,
Либерал-идеалист.

Но то лицо о котором выразился народный поэт может-быть и имело право всю жизнь позировать в этом смысле, еслибы того захотело, хотя это и скучно. Наш же Степан Трофимович, по правде, был только подражателем сравнительно с подобными лицами, да и стоять уставал и частенько полеживал на боку. Но хотя и на боку, а воплощенность укоризны сохранялась и в лежачем положении,— надо отдать справедливость, тем более что для губернии было и того достаточно. Посмотрели бы вы на него у нас в клубе, когда он садится за карты. Весь вид его говорил: „Карты! Я сажусь с вами в ералаш! Разве это совместно? Кто жь отвечает за это? Кто разбил мою деятельность и обратил ее в ералаш? Э, погибай Россия!“ и он осанисто козырял с червей.

А по правде, ужасно любил сразиться в карточки, за что, и особенно в последнее время, имел частые и неприятные стычки с Варварой Петровной, тем более что постоянно проигрывал. Но об этом после. Замечу лишь что это был человек даже совестливый (то-есть иногда), а потому часто грустил. В продолжение всей двадцатилетней дружбы с Варварой Петровной, он раза по три по четыре в год регулярно впадал в так называемую между нами „гражданскую скорбь“, то-есть просто в хандру, но словечко это нравилось многоуважаемой Варваре Петровне. В последствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское; но чуткая Варвара Петровна всю жизнь охраняла его от всех тривиальных наклонностей. Да он и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой возвышенной скорби, он вдруг начинал смеяться самым простонароднейшим образом. Находили минуты что даже о самом себе начинал выражаться в юмористическом смысле. Но ничего так не боялась Варвара Петровна как юмористического смысла. Это была женщина классик, женщина меценатка, действовавшая в видах одних лишь высших соображений. Капитально было двадцатилетнее влияние этой высшей дамы на ее бедного друга. О ней надо бы поговорить особенно, что я и сделаю.

III.

Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут. Расстаться даже никак нельзя: раскапризившийся и разорвавший связь друг первый же заболеет и пожалуй умрет, если это случится. Я положительно знаю что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее, вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.

Происходило это без малейшей аллегории, так даже что однажды отбил от стены штукатурку. Может-быть спросят: как мог я узнать такую тонкую подробность? А что̀ если я сам бывал свидетелем? Что̀ если сам Степан Трофимович неоднократно рыдал на моем плече, в ярких красках рисуя предо мной всю свою подноготную? (И ужь чего-чего при этом не говорил!) Но вот что̀ случалось почти всегда после этих рыданий: назавтра он уже готов был распять самого себя за неблагодарность; поспешно призывал меня к себе или прибегал ко мне сам, единственно чтобы возвестить мне что Варвара Петровна „ангел чести и деликатности, а он совершенно противоположное“. Он не только ко мне прибегал, но неоднократно описывал все это ей самой в красноречивейших письмах, и признавался ей, за своею полною подписью, что не далее как например вчера, он рассказывал постороннему лицу что она держит его из тщеславия, завидует его учености и талантам; ненавидит его и боится только выказать свою ненависть явно, в страхе чтоб он не ушел от нее и тем не повредил ее литературной репутации; что вследствие этого он себя презирает и решился погибнуть насильственною смертью; а от нее ждет последнего слова, которое все решит, и пр., и пр., все в этом роде. Можно представить после этого до какой истерики доходили иногда нервные взрывы этого невиннейшего из всех пятидесятилетних младенцев! Я сам однажды читал одно из таковых его писем, после какой-то между ними ссоры, из-за ничтожной причины, но ядовитой по выполнению. Я ужаснулся и умолял не посылать письма.

— Нельзя.... честнее.... долг.... я умру если не признаюсь ей во всем, во всем! отвечал он чуть не в горячке, и послал-таки письмо.

В том-то и была разница между ними что Варвара Петровна никогда бы не послала такого письма. Правда, он писать любил без памяти, писал к ней даже живя в одном с нею доме, а в истерических случаях и по два письма в день. Я знаю наверное что она всегда внимательнейшим образом эти письма прочитывала, даже в случае и двух писем в день, и прочитав, складывала в особый ящичек, помеченные и рассортированные; кроме того слагала их в сердце своем. Затем, выдержав своего друга весь день без ответа, встречалась с ним как ни в чем не бывало, будто ровно ничего вчера особенного не случилось. Мало-по-малу она так его вымуштровала что он уже и сам не смел напоминать о вчерашнем, а только заглядывал ей некоторое время в глаза. Но она ничего не забывала, а он забывал иногда слишком уж скоро и ободренный ее же спокойствием, нередко в тот же день смеялся и школьничал за шампанским, если приходили приятели. С каким должно-быть ядом она смотрела на него в те минуты, а он ничего-то не примечал! Разве через неделю, через месяц, или даже через полгода, в какую-нибудь особую минуту, нечаянно вспомнив какое-нибудь выражение из такого письма, а затем и все письмо, со всеми обстоятельствами, он вдруг сгорал от стыда и до того бывало мучился что заболевал своими припадками холерины. Эти особенные с ним припадки, в роде холерины, бывали в некоторых случаях обыкновенным исходом его нервных потрясений и представляли собою некоторый любопытный в своем роде куриоз в его телосложении.

Действительно, Варвара Петровна наверно и весьма часто его ненавидела; но он одного только в ней не приметил до самого конца, того что стал наконец для нее ее сыном, ее созданием, даже можно сказать ее изобретением; стал плотью от плоти ее, и что она держит и содержит его вовсе не из одной только „зависти к его талантам". И как должно-быть она была оскорбляема такими предположениями! В ней таилась

какая-то нестерпимая любовь к нему, среди беспрерывной ненависти, ревности и презрения. Она охраняла его от каждой пылинки, нянчилась с ним двадцать два года, не спала бы целых ночей от заботы, если бы дело коснулось до его репутации поэта, ученого, гражданского деятеля. Она его выдумала, и в свою выдумку сама же первая и уверовала. Он был нечто в роде какой-то ее мечты.... Но она требовала от него за это действительно многого, иногда даже рабства. Злопамятна же была до невероятности. Кстати ужь раскажу два анекдота.

IV.

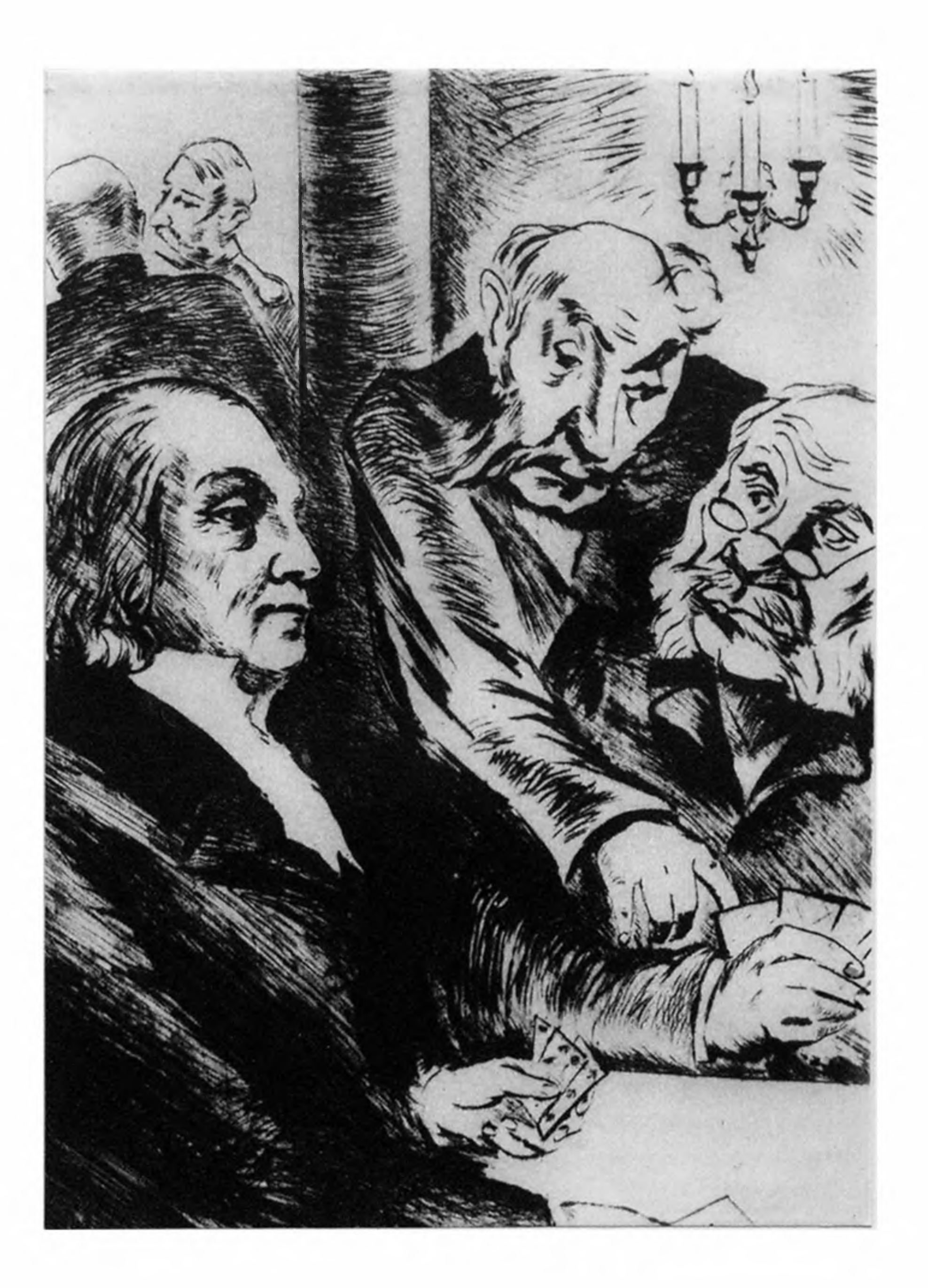
Однажды, еще при первых слухах об освобождении крестьян, когда вся Россия вдруг взликовала и готовилась вся возродиться, посетил Варвару Петровну один проезжий петербургский барон, человек с самыми высокими связями и стоявший весьма близко у дела. Варвара Петровна чрезвычайно ценила подобные посещения, потому что связи ее в обществе высшем, по смерти ее супруга, все более и более ослабевали, под конец и совсем прекратились. Барон просидел у нее час и кушал чай. Никого других не было, но Степана Трофимовича Варвара Петровна пригласила и выставила. Барон о нем кое-что даже слышал и прежде, или сделал вид что слышал, но за чаем мало к нему обращался. Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так что воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и стало-быть прилично; по-французски говорил как Парижанин. Таким образом барон с первого взгляда должен был понять какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло однако не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул *ура!* и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он не громко и даже изящно; даже может-быть восторг

был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но должно-быть у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец в виду великого события. Затем скоро уехал и уезжая не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу, и бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом:

— Я вам этого никогда не забуду!

На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: „я вам этого никогда не забуду!" Случай с бароном был уже второй случай; но и первый случай в свою очередь так характерен и кажется так много означал в судьбе Степана Трофимовича что я решаюсь и о нем упомянуть.

Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легкомысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в действующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать очень много; ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характера, и производила ему пенсион. (У самого генерал-лейтенанта было всего только полтораста душ и жалованье, кроме того знатность и связи; а все богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне, единственной дочери одного очень богатого откупщика.) Тем не менее она была потрясена неожиданностию известия и удалилась в полное уединение. Разумеется, Степан Трофимович находился при ней безотлучно.





Май был в полном расцвете; вечера стояли удивительные. Зацвела черемуха. Оба друга сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. Минуты бывали поэтические. Варвара Петровна под впечатлением перемены в судьбе своей говорила больше обыкновенного. Она как бы льнула к сердцу своего друга и так продолжалось несколько вечеров. Одна странная мысль вдруг осенила Степана Трофимовича: „не расчитывает ли неутешная вдова на него и не ждет ли, в конце траурного года, предложения с его стороны?“ Мысль циническая; но ведь возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к циническим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. Он стал вникать и нашел что походило на то. Он задумался: „Состояние огромное, правда, но....“ Действительно, Варвара Петровна не совсем походила на красавицу: это была высокая, желтая, костлявая женщина, с чрезмерно длинным лицом, напоминавшим что-то лошадиное. Все более и более колебался Степан Трофимович, мучился сомнениями, даже всплакнул раза два от нерешимости (плакал он довольно часто). По вечерам же, то-есть в беседке, лицо его как-то невольно стало выражать нечто капризное и насмешливое, нечто кокетливое и в то же время высокомерное и упрямое. Это как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны такого что̀ могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может-быть была всего только одна лишь женственная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвычайных женских случаях. Впрочем не поручусь; неисследима глубина женского сердца даже и до сегодня! Но продолжаю.

Надо думать что она скоро про себя разгадала странное выражение лица своего друга; она была чутка и приглядчива, он же слишком иногда невинен. Но вечера шли попрежнему,

и разговоры были так же поэтичны и интересны. И вот однажды, с наступлением ночи, после самого оживленного и поэтического разговора, они дружески расстались, горячо пожав друг другу руки у крыльца флигеля в котором квартировал Степан Трофимович. Каждое лето он перебирался в этот флигелек, стоявший почти в саду, из огромного барского дома Скворешников. Только-что он вошел к себе и, в хлопотливом раздумьи, взяв сигару и еще не успев ее закурить, остановился, усталый, неподвижно пред раскрытым окном, приглядываясь к легким как пух белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца, как вдруг легкий шорох заставил его вздрогнуть и обернуться. Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом, и вдруг прошептала скороговоркой:

— Я никогда вам этого не забуду!

Когда Степан Трофимович, уже десять лет спустя, передавал мне эту грустную повесть шепотом, заперев сначала двери, то клялся мне что он до того остолбенел тогда на месте что не слышал и не видел как Варвара Петровна исчезла. Так как она никогда ни разу потом не намекала ему на происшедшее и все пошло как ни в чем не бывало, то он всю жизнь наклонен был к мысли что все это была одна галюцинация пред болезнию, тем более что в ту же ночь он и вправду заболел на целых две недели, что̀, кстати, прекратило и свидания в беседке.

Но несмотря на мечту о галюцинации, он каждый день, всю свою жизнь, как бы ждал продолжения и так-сказать развязки этого события. Он не верил что оно так и кончилось! А если так, то странно же он должен был иногда поглядывать на своего друга.

V.

Она сама сочинила ему даже костюм, в котором он и проходил всю свою жизнь. Костюм был изящен и характерен: длиннополый, черный сюртук, почти до верху застегнутый, но щегольски сидевший; мягкая шляпа (летом соломенная) с широкими полями; галстук белый, батистовый, с большим узлом и висячими концами; трость с серебряным набалдашником, при этом волосы до плеч. Он был темнорус и волосы его только в последнее время начали немного седеть. Усы и бороду он брил. Говорят, в молодости он был чрезвычайно красив собой. Но по моему, и в старости был необыкновенно внушителен. Да и какая же старость в пятьдесят три года? Но по некоторому гражданскому кокетству, он не только не молодился, но как бы и щеголял солидностью лет своих, и в костюме своем, высокий, сухощавый, с волосами до плеч, походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании, особенно когда сидел летом в саду, на лавке, под кустом расцветшей сирени, опершись обеими руками на трость, с раскрытою книгой подле и поэтически задумавшись над закатом солнца. Насчет книг замечу что под конец он стал как-то удаляться от чтения. Впрочем это ужь под самый конец. Газеты и журналы, выписываемые Варварой Петровной во множестве, он читал постоянно. Успехами русской литературы тоже постоянно интересовался, хотя и нисколько не теряя своего достоинства. Увлекся было когда-то изучением высшей современной политики наших внутренних и внешних дел, но вскоре, махнув рукой, оставил предприятие. Бывало и то: возьмет с собою в сад Токевиля, а в кармашке несет спрятанного Поль-де-Кока. Но впрочем это пустяки.

Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкновению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимущественно чистописания и рисования.

Но любопытны в этом не свойства девочки, а то что даже и в пятьдесят лет Варвара Петровна сохраняла эту картинку в числе самых интимных своих драгоценностей, так что и Степану Трофимовичу может-быть только поэтому сочинила несколько похожий на изображенный на картинке костюм. Но и это конечно мелочь.

В первые годы, или точнее в первую половину пребывания у Варвары Петровны, Степан Трофимович все еще помышлял о каком-то сочинении и каждый день серьозно собирался его писать. Но во вторую половину он должно-быть и зады позабыл. Все чаще и чаще он говаривал нам: „Кажется, готов к труду, материалы собраны, и вот не работается! Ничего не делается!“ и опускал голову в унынии. Без сомнения это-то и должно было придать ему еще больше величия в наших глазах, как страдальцу науки; но самому ему хотелось чего-то другого. „Забыли меня, никому я не нужен!“ вырывалось у него не раз. Эта усиленная хандра особенно овладела им в самом конце пятидесятых годов. Варвара Петровна поняла наконец, что дело серьозное. Да и не могла она перенести мысли о том что друг ее забыт и ненужен. Чтобы развлечь его, а вместе для подновления славы, она свозила его тогда в Москву, где у ней было несколько изящных литературных и ученых знакомств; но вскоре оказалось, что и Москва неудовлетворительна.

Тогда было время особенное; наступило что-то новое, очень ужь не похожее на прежнюю тишину, и что-то очень ужь странное, но везде ощущаемое, даже в Скворешниках. Доходили разные слухи. Факты были вообще известны более или менее, но очевидно было что кроме фактов явились и какие-то сопровождавшие их идеи, и главное в чрезмерном количестве. А это-то и смущало: никак невозможно было примениться и в точности узнать что̀ именно означали эти идеи? Варвара Петровна, вследствие женского устройства натуры своей, непременно хотела подразумевать в них секрет. Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные запрещенные издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это

ей доставлялось); но у ней только голова закружилась. Принялась она писать письма: отвечали ей мало, и чем далее, тем непонятнее. Степан Трофимович торжественно приглашен был объяснить ей „все эти идеи“ раз навсегда; но объяснениями его она осталась положительно недовольна. Взгляд Степана Трофимовича на всеобщее движение был в высшей степени высокомерный; у него все сводилось на то что он сам забыт и никому ненужен. Наконец и о нем вспомнили, сначала в заграничных изданиях, как о бывшей звезде в известном созвездии; даже сравнивали его почему-то с Радищевым. Затем кто-то напечатал что он уже умер и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои силы. Варвара Петровна тотчас же вновь и во все уверовала и ужасно засуетилась. Решено было ехать в Петербург без малейшего отлагательства, разузнать все на деле, вникнуть лично и, если возможно, войти в новую деятельность всецело и нераздельно. Между прочим она объявила что готова основать свой журнал и посвятить ему отныне всю свою жизнь. Увидав что дошло даже до этого, Степан Трофимович стал еще высокомернее, в дороге же начал относиться к Варваре Петровне почти покровительственно,—что̀ она тотчас же сложила в сердце своем. Впрочем у ней была и другая весьма важная причина к поездке, именно возобновление высших связей. Надо было, по возможности, напомнить о себе в свете, по крайней мере попытаться. Гласным же предлогом к путешествию было свидание с единственным сыном, оканчивавшим тогда курс наук в петербургском лицее.

VI.

Они съездили и прожили в Петербурге почти весь зимний сезон. Все, однако, к великому посту лопнуло как радужный мыльный пузырь. Мечты разлетелись, а сумбур не только не выяснился, но стал еще отвратительнее. Вопервых, высшие

связи почти не удались, разве в самом микроскопическом виде и с унизительными натяжками. Оскорбленная Варвара Петровна бросилась было всецело в „новые идеи“ и открыла у себя вечера. Она позвала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве. Потом уже приходили и сами, без приглашения; один приводил другого. Никогда еще она не видывала таких литераторов. Они были тщеславны до невозможности, но совершенно открыто, как бы тем исполняя обязанность. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая в этом особенную, вчера только открытую красоту. Все они чем-то гордились до странности. На всех лицах было написано что они сейчас только открыли какой-то чрезвычайно важный секрет. Они бранились, вменяя себе это в честь. Довольно трудно было узнать что именно они написали; но тут были критики, романисты, драматурги, сатирики, обличители. Степан Трофимович проник даже в самый высший их круг, туда откуда управляли движением. До управляющих было до невероятности высоко, но его они встретили радушно, хотя конечно никто из них ничего о нем не знал и не слыхивал кроме того что он „представляет идею“. Он до того маневрировал около них что и их зазвал раза два в салон Варвары Петровны, несмотря на все их олимпийство. Эти были очень сериозны и очень вежливы: держали себя хорошо; остальные видимо их боялись; но очевидно было что им некогда. Явились и две-три прежние литературные знаменитости, служившие тогда в Петербурге и с которыми Варвара Петровна давно уже поддерживала самые изящные отношения. Но к удивлению ее эти действительные и уже несомненные знаменитости были тише воды, ниже травы, а иные из них просто льнули ко всему этому новому сброду и позорно у него заискивали. Сначала Степану Трофимовичу повезло; за него ухватились и стали его выставлять на публичных литературных собраниях. Когда он вышел в первый раз на эстраду, в одном из публичных литературных чтений, в числе читавших, раздались неистовые рукоплескания, не умолкавшие минут пять. Он со слезами вспоминал об этом девять лет спустя,—впро-

чем скорее по художественности своей натуры, чем из благодарности. „Клянусь же вам и пари держу“, говорил он мне сам (но только мне и по секрету), „что никто-то изо всей этой публики знать не знал о мне ровнешенько ничего!“ Признание замечательное: стало-быть был же в нем острый ум, если он тогда же, на эстраде, мог так ясно понять свое положение, несмотря на все свое упоение; и стало-быть не было в нем острого ума, если он даже девять лет спустя не мог вспомнить о том без ощущения обиды. Его заставили подписаться под двумя или тремя коллективными протестами (против чего он и сам не знал); он подписался. Варвару Петровну тоже заставили подписаться под каким-то „безобразным поступком“, и та подписалась. Впрочем большинство этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с нескрываемою насмешкой. Степан Трофимович намекал мне потом, в горькие минуты, что она с тех пор ему и позавидовала. Она конечно понимала что ей нельзя водиться с этими людьми, но все-таки принимала их с жадностью, со всем женским истерическим нетерпением и, главное, все чего-то ждала. На вечерах она говорила мало, хотя и могла бы говорить; но она больше вслушивалась. Говорили об уничтожении цензуры и буквы Ъ, о заменении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши до Днепра, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр. и пр. Ясно было что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было кто у кого в руках. Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло

еще больше народу, но тотчас же посыпались в глаза обвинения что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность обвинений равнялась только их неожиданности. Престарелый генерал Иван Иванович Дроздов, прежний друг и сослуживец покойного генерала Ставрогина, человек достойнейший (но в своем роде) и которого все мы здесь знаем, до крайности строптивый и раздражительный, ужасно много евший и ужасно боявшийся атеизма, заспорил на одном из вечеров Варвары Петровны с одним знаменитым юношей. Тот ему первым словом: „Вы стало-быть генерал, если так говорите“, то-есть в том смысле что уже хуже генерала он и брани не мог найти. Иван Иванович вспылил чрезвычайно: „Да, сударь, я генерал и генерал-лейтенант, и служил государю моему, а ты, сударь, мальчишка и безбожник!“ Произошел скандал непозволительный. На другой день случай был обличен в печати, и начала собираться коллективная подписка против „безобразного поступка“ Варвары Петровны, не захотевшей тотчас же прогнать генерала. В иллюстрированном журнале явилась каррикатура, в которой язвительно скопировали Варвару Петровну, генерала и Степана Трофимовича на одной картинке, в виде трех ретроградных друзей; к картинке приложены были и стихи, написанные народным поэтом единственно для этого случая. Замечу от себя что действительно у многих особ в генеральских чинах есть привычка смешно говорить: „Я служил государю моему“... то-есть точно у них не тот же государь как и у нас, простых государевых подданных, а особенный, ихний.

Оставаться долее в Петербурге было, разумеется, невозможно, тем более что и Степана Трофимовича постигло окончательное fiasco. Он не выдержал и стал заявлять о правах искусства, а над ним стали еще громче смеяться. На последнем чтении своем он задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчитывая на почтение к своему „изгнанию“. Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова „отечество“; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил что

сапоги ниже Пушкина и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался. Варвара Петровна привезла его домой едва живого. „On m'a traité comme un vieux bonnet de coton!“ [1] лепетал он бессмысленно. Она ходила за ним всю ночь, давала ему лавровишневых капель и до рассвета повторяла ему: „Вы еще полезны; вы еще явитесь; вас оценят... в другом месте“.

На другой же день, рано утром, явились к Варваре Петровне пять литераторов, из них трое совсем незнакомых, которых она никогда и не видывала. Со строгим видом они объявили ей что рассмотрели дело о ее журнале и принесли по этому делу решение. Варвара Петровна решительно никогда и никому не поручала рассматривать и решать что-нибудь о ее журнале. Решение состояло в том чтоб она, основав журнал, тотчас же передала его им вместе с капиталами, на правах свободной ассоциации; сама же чтоб уезжала в Скворешники, не забыв захватить с собою Степана Трофимовича, „который устарел“. Из деликатности они соглашались признавать за нею права собственности и высылать ей ежегодно одну шестую чистого барыша. Всего трогательнее было то что из этих пяти человек наверное четверо не имели при этом никакой стяжательной цели, а хлопотали только во имя „общего дела“.

— Мы выехали как одурелые, раказывал Степан Трофимович,— я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона:

„Век и Век и Лев Камбек,
Лев Камбек и Век и Век...“

и чорт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. Только в Москве опомнился — как будто и в самом деле что-нибудь другое в ней мог найти? О, друзья мои! иногда восклицал он нам во вдохновении,— вы представить не можете, какая грусть и злость охватывают всю вашу душу, когда великую идею, вами давно уже и свято чтимую, подхватят неумелые и вытащут к таким же дуракам как и сами на улицу, и вы

[1] [Со мной обращались, как со старым ватным колпаком!]

вдруг встречаете ее уже на толкучем, неузнаваемую, в грязи, поставленную нелепо, углом, без пропорции, без гармонии, игрушкой у глупых ребят! Нет! В наше время было не так, и мы не к тому стремились. Нет, нет, совсем не к тому. Я не узнаю ничего... Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шатающееся, теперешнее. Иначе что же будет?...

VII.

Тотчас же по возвращении из Петербурга, Варвара Петровна отправила друга своего за границу: „отдохнуть"; да и надо было им расстаться на время, она это чувствовала. Степан Трофимович поехал с восторгом: „Там я воскресну!" восклицал он, „там, наконец, примусь за науку!" Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту: „Сердце разбито", писал он Варваре Петровне, „не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки. Где она? Где теперь они обе? Где вы, два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой, возлюбленный сын мой? Где наконец я, я сам, прежний я, стальной по силе и непоколебимый как утес, когда теперь какой-нибудь Andrejeff, un православный шут с бородой, peut briser mon existence en deux"[1] и т. д. и т. д. Что касается до сына Степана Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни, в первый раз когда тот родился, и во второй — недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю же свою жизнь мальчик, как уже и сказано было, воспитывался у теток в О—ской губернии (на иждивении Варвары Петровны) за семьсот верст от Скворешников. Что же касается до Andrejeff, то-есть Андреева, то это был просто-за-просто наш здешний купец, лавочник, большой чудак, археолог-самоучка, страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное в напра-

[1] [Андреев... может разбить надвое мое существование]

влении. Этот почтенный купец, с седою бородой и в больших серебряных очках, не доплатил Степану Трофимовичу четырехсот рублей за купленные в его именьице (рядом со Скворешниками) несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвара Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя его в Берлин, но на эти четыреста рублей Степан Трофимович, пред поездкой, особо расчитывал, вероятно на секретные свои расходы, и чуть не заплакал когда Andrejeff попросил повременить один месяц, имея впрочем и право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода, по особенной тогдашней нужде Степана Трофимовича. Варвара Петровна с жадностию прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашем восклицание: „где вы обе?" пометила числом и заперла в шкатулку. Он конечно вспоминал о своих обеих покойницах-женах. Во втором полученном из Берлина письме песня варьировалась: „Работаю по двенадцати часов в сутки (хоть бы по одиннадцати, проворчала Варвара Петровна), роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю, бегаю; был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор! Вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и в солнце пятна! О, друг мой, благородный, верный друг! Я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, en tout pays, и хотя бы даже dans le pays de Makar et de ses veaux[1], о котором, помните, так часто мы трепеща говорили в Петербурге пред отъездом. Вспоминаю с улыбкой. Переехав границу, ощутил себя безопасным, ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет...." и т. д. и т. д.

— Ну, все вздор! решила Варвара Петровна, складывая

[1] [во всех краях... в краю Макара и его телят]

и это письмо,—коль до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. Спьяну что ль написал? Эта Дундасова как смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пусть его погуляет....

Фраза „dans le pays de Makar et de ses veaux“ означала: „куда Макар телят не гонял“. Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский язык, без сомнения умея и понять и перевести лучше; но это он делывал из особого рода шику и находил его остроумным.

Но погулял он немного, четырех месяцев не выдержал и примчался в Скворешники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня все пошло по старому и даже скучнее старого. „Друг мой“, говорил мне Степан Трофимович через две недели, под величайшим секретом, „друг мой, я открыл ужасную для меня... новость: Je suis un простой приживальщик et rien de plus! Mais r-r-rien de plus!“[1].

VIII.

Затем у нас наступило затишье и тянулось почти сплошь все эти девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос и прибавилось благодушия. Мало-по-малу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой. Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашею патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно; зимой жила

[1] [Я — простой приживальщик и ничего более! Ни-че-го более!]

в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния как в последние семь лет, в нашем губернском обществе, то-есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш, незабвенный и мягкий Иван Осипович, приходился ей близким родственником и был когда-то ею облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того что напоминало даже нечто греховное. Было, стало-быть, хорошо и Степану Трофимовичу. Он был членом клуба, осанисто проигрывал и заслужил почет, хотя многие смотрели на него только как на „ученого“. В последствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю; бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалась по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже немолодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданое и кроме того имел трех подросших дочерей. Всю семью держал в страхе божием и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине; в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться.

Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом и был исключен после одной студентской истории из университета; в детстве же был учеником Степана Трофимовича, а родился

крепостным Варвары Петровны, от покойного камердинера ее Павла Федорова, и был ею облагодетельствован. Не любила она его за гордость и неблагодарность, и никак не могла простить ему что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же; напротив, даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться к какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки чем гувернера; но ужь очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще и гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже пред самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал „за вольные мысли". Поплелся за нею и Шатов, и в скорости обвенчался с нею в Женеве. Прожили они вдвоем недели с три, а потом расстались как вольные и ничем не связанные люди; конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем; говорят, чистил на улицах сапоги и в каком-то порте был носильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой теткой, которую и схоронил через месяц. С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и не разговорчив; но изредка, когда затрагивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержен на язык. „Шатова надо сначала связать, а потом ужь с ним рассуждать", шутил иногда Степан Трофимович; но он любил его. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, довольно впрочем редких, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже на веки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах под свалившимся на них и на половину совсем

уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям: он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста, с широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, нависшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым, упорно потупленным и как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь или двадцать восемь. „Я не удивляюсь более что жена от него сбежала“, отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался чем бог пошлет; занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем-было уехал на пароходе с товаром, прикащичьим помощником, но заболел пред самою отправкой. Трудно представить себе какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал однакоже секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания: просидел всего пять минут, молча, тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь, и вдруг, не дослушав ее, и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком, косолапо, застыдился в прах, кстати ужь задел и грохнул об пол ее дорогой, наборный рабочий столик, разбил его и вышел едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотки-помещицы, и не только принял, а еще благодарить потащился. Жил он уединенно, на краю города и не любил если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечера к Степану Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги.

Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя повидимому и совершенно противополож-

ный ему во всех отношениях: но это тоже был „семьянин“. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем лет уже тридцати, с значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато, именно, тут была „идея попавшая на улицу“, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек, и по первому даже слуху из столичных прогрессивных уголков наших, готовы были выбросить за окно все что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. M-me Виргинская занималась у нас в городе повивальною профессией; в девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. „Я никогда, никогда не отстану от этих светлых надежд“, говаривал он мне с сверкающими глазами. О „светлых надеждах“ он говорил всегда тихо, с сладостью, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенка волосиками. Все высокомерные насмешки Степана Трофимовича над некоторыми из его мнений, он принимал кротко, возражал же ему иногда очень сериозно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески.

— Все вы из „недосиженных“,— шутливо замечал он Виргинскому,— все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той огра-ни-чен-ности какую встречал в Петербурге chez ces séminairistes[1], но все-таки вы „недосиженные“. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный.

— А я? спрашивал Липутин.

— А вы просто золотая средина, которая везде уживается.... по своему.

[1] [у этих семинаристов]

Липутин обижался.

Рассказывали про Виргинского и, к сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему что он отставлен и что она предпочитает Лебядкина. Этот Лебядкин какой-то заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить себе. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них, и стал наконец третировать хозяина свысока. Уверяли что Виргинский, при объявлении ему женой отставки, сказал ей: „Друг мой, до сих пор я только любил тебя, теперь уважаю“, но вряд ли в самом деле произнесено было такое древне-римское изречение: напротив, говорят, навзрыд плакал. Однажды, недели две после отставки, все они, всем „семейством“, отправились за город, в рощу кушать чай вместе с знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно-весело настроен и участвовал в танцах; но вдруг и без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебядкина, канканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил что даже не защищался и все время как его таскали почти не прерывал молчания; но после таски обиделся со всем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении; но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться пред Лебядкиным; кроме того был обличен в скудости убеждений и в глупости; последнее потому что, объясняясь с женщиной, стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время, с своею сестрой и с новыми целями; но о нем впереди. Не мудрено, что бедный „семьянин“ отводил у нас душу и нуждался в нашем обществе. О домашних делах своих он никогда впрочем у нас не высказывался. Однажды только, возвращаясь со мной от Степана Трофимовича, заговорил

было отдаленно о своем положении, но потом же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул:

— Это ничего; это только частный случай; это нисколько, нисколько не помешает „общему делу“!

Являлись к нам в кружок и случайные гости; ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел-было Липутин ссыльного ксендза Слоньцевского, и некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали.

IX.

Одно время в городе передавали о нас что кружок наш рассадник вольнодумства, разврата и безбожия; да и всегда крепился этот слух. А между тем у нас была одна самая невинная, милая, вполне русская веселенькая либеральная болтовня. „Высший либерализм“ и „высший либерал“, то-есть либерал без всякой цели, возможны только в одной России. Степану Трофимовичу, как и всякому остроумному человеку, необходим был слушатель, и кроме того необходимо было сознание о том что он исполняет высший долг пропаганды идей. А наконец надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и „русском духе“, о боге вообще и о „русском боге“ в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. Не прочь мы были и от городских сплетень, причем доходили иногда до строгих высоко-нравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Европы и человечества; доктрально предсказывали что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень второстепенного государства и совершенно были уверены что это ужасно скоро и легко может сделаться. Папе давным-давно предсказали мы роль простого митрополита в объединенной Италии, и были совершенно убеждены что весь этот тысячелетний вопрос, в наш век гуманности, промышленности

и железных дорог, одно только плевое дело. Но ведь „высший русский либерализм“ иначе и не относится к делу. Степан Трофимович говаривал иногда об искусстве и весьма хорошо, но несколько отвлеченно. Вспоминал иногда о друзьях своей молодости,— все о лицах намеченных в истории нашего развития,— вспоминал с умилением и благоговением, но несколько как бы с завистью. Если ужь очень становилось скучно, то жидок Лямшин (маленький почтамский чиновник), мастер на фортепиано, садился играть, а в антрактах представлял свинью, грозу, роды с первым криком ребенка и пр. и пр.; для того только и приглашался. Если ужь очень подпивали,— а это случалось, хотя и не часто,— то приходили в восторг, и даже раз хором, под аккомпанимент Лямшина, пропели *Марсельезу*, только не знаю хорошо ли вышло. Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно, и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня, Степан Трофимович повадился-было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно-быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:

„Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет“.

Кажется что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: „вздор, вздор!“ и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:

— А жаль если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.

И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.

— Cher ami[1], благодушно заметил ему Степан Трофимович,— поверьте что *это* (он повторил жест вокруг шеи) ни-

[1] [Дорогой друг]

сколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то что наши головы всего более и мешают нам понимать.

Замечу что у нас многие полагали что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде как предсказывал Липутин, и все ведь так-называемые знатоки народа и государства. Кажется и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться. Но прошел великий день, прошло и еще некоторое время, и высокомерная улыбка появилась опять на устах Степана Трофимовича. Он высказал пред нами несколько замечательных мыслей о характере русского человека вообще и русского мужичка в особенности.

— Мы, как торопливые люди, слишком поспешили с нашими мужичками, заключил он свой ряд замечательных мыслей;— мы их ввели в моду, и целый отдел литературы, несколько лет сряду, носился с ними как с новооткрытою драгоценностью. Мы надевали лавровые венки на вшивые головы. Русская деревня, за всю тысячу лет, дала нам лишь одного комаринского. Замечательный русский поэт, не лишенный притом остроумия, увидав в первый раз на сцене великую Рашель, воскликнул в восторге: „не променяю Рашель на мужика!“ Я готов пойти дальше: я и всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель. Пора взглянуть трезвее и не смешивать нашего родного сиволапого дегтя с bouquet de l'impératrice[1].

Липутин тотчас же согласился, но заметил что покривить душой и похвалить мужичков все-таки было тогда необходимо для направления; что даже дамы высшего общества заливались слезами, читая *Антона-Горемыку*, а некоторые из них так даже из Парижа написали в Россию своим управляющим чтоб от сей поры обращаться с крестьянами как можно гуманнее.

Случилось, и как нарочно сейчас после слухов об Антоне

[1] [букетом императрицы]

Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Трофимович до того взволновался что даже и нас напугал. Он кричал в клубе что войска надо больше, чтобы призвали из другого уезда по телеграфу; бегал к губернатору и уверял его, что он тут не при чем; просил чтобы не замешали его как-нибудь, по старой памяти, в дело и предлагал немедленно написать о его заявлении в Петербург, кому следует. Хорошо что все это скоро прошло и разрешилось ничем; но только я подивился тогда на Степана Трофимовича.

Года через три, как известно, заговорили о национальности и зародилось „общественное мнение". Степан Трофимович очень смеялся.

— Друзья мои, учил он нас,—наша национальность, если и в самом деле „зародилась", как они там теперь уверяют в газетах,—то сидит еще в школе, в немецкой какой-нибудь петершуле, за немецкою книжкой и твердит свой вечный немецкий урок, а Немец-учитель ставит ее на колени, когда понадобится. За учителя-Немца хвалю; но вероятнее всего что ничего не случилось и ничего такого не зародилось, а идет все как прежде шло, то-есть под покровительством божиим. По моему, и довольно бы для России, pour notre sainte Russie[1]. Притом же все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе как в виде клубной барской затеи, и в добавок еще московской. Я, разумеется, не про Игорево время говорю. И наконец, все от праздности. У нас все от праздности, и доброе и хорошее. Все от нашей барской, милой, образованной, прихотливой праздности! Я тридцать тысяч лет про это твержу. Мы своим трудом жить не умеем. И что они там развозились теперь с каким-то „зародившимся" у нас общественным мнением,— так вдруг, ни с того ни с сего, с неба соскочило? Неужто

[1] [для нашей святой Руси]

не понимают что для приобретения мнения первее всего надобен труд, собственный труд, собственный почин в деле, собственная практика! Даром никогда ничего не достанется. Будем трудиться, будем и свое мнение иметь. А так как мы никогда не будем трудиться, то и мнение иметь за нас будут те кто вместо нас до сих пор работал, то-есть все та же Европа, все те же Немцы,— двухсотлетние учителя наши. К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без Немцев и без труда. Вот уже двадцать лет как я бью в набат и зову к труду! Я отдал жизнь на этот призыв и, безумец, веровал! Теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы; буду дергать веревку пока не зазвонят к моей панихиде!

Увы! мы только поддакивали. Мы аплодировали учителю нашему, да с каким еще жаром! А что, господа, не раздается ли и теперь, под час сплошь да рядом, такого же „милого“, „умного“, „либерального“, старого русского вздора?

В бога учитель наш веровал.— Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? говаривал он иногда,— я в бога верую, mais distinguons[1], я верую как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я веровать как моя Настасья (служанка), или как какой-нибудь барин, верующий „на всякий случай“,— или как наш милый Шатов,— впрочем нет, Шатов не в счет, Шатов верует *насильно,* как московский славянофил. Что же касается до христианства, то при всем моем искреннем к нему уважении, я — не христианин. Я скорее древний язычник, как великий Гете, или как древний Грек. И одно уже то что христианство не поняло женщину,— что так великолепно развила Жорж-Занд, в одном из своих гениальных романов. На счет же поклонений, постов и всего прочего, то не понимаю кому какое до меня дело? Как бы ни хлопотали здесь наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году, Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю известное свое письмо, и в нем горячо укорял того,

[1] [но будем различать]

что тот верует „в какого-то бога". Entre nous soit dit[1], ничего не могу вообразить себе комичнее того мгновения, когда Гоголь (тогдашний Гоголь!) прочел это выражение и.... все письмо! Но откинув смешное и так как я все-таки с сущностию дела согласен, то скажу и укажу: вот были люди! Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем и сумели же в то же время не сходиться с ним, когда надо, не потворствовать ему в известных понятиях. Не мог же, в самом деле, Белинский искать спасения в постном масле, или в редьке с горохом!...

Но тут вступался Шатов.

— Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! угрюмо ворчал он потупившись и нетерпеливо повернувшись на стуле.

— Это они-то не любили народа! завопил Степан Трофимович,— о, как они любили Россию!

— Ни России, ни народа! завопил и Шатов, сверкая глазами;— нельзя любить то чего не знаешь, а они ничего в Русском народе не смыслили! Все они, и вы вместе с ними, просмотрели Русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно; ужь из того самого письма его к Гоголю это видно. Белинский точь-в-точь как Крылова *Любопытный* не приметил слона в Кунсткамере, а все внимание свое устремил на французских социальных букашек; так и покончил на них. А ведь он еще, пожалуй, всех вас умнее был! Вы мало того что просмотрели народ,— вы с омерзительным презрением к нему относились, ужь по тому одному что под народом вы воображали себе один только Французский народ, да и то одних Парижан, и стыдились что Русский народ не таков. И это голая правда! А у кого нет народа, у того нет и бога! Знайте наверно что все те которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами или равнодушными.

[1] [Между нами говоря]

Верно говорю! Это факт который оправдается. Вот почему и вы все, и мы все теперь — или гнусные атеисты, или равнодушная, развратная дрянь и ничего больше! И вы тоже, Степан Трофимович, я вас нисколько не исключаю, даже на ваш счет и говорил, знайте это!

Обыкновенно, проговорив подобный монолог (а с ним это часто случалось) Шатов схватывал свой картуз и бросался к дверям, в полной уверенности что ужь теперь все кончено и что он совершенно и на веки порвал свои дружеские отношения к Степану Трофимовичу. Но тот всегда успевал остановить его во-время.

— А не помириться ль нам, Шатов, после всех этих милых словечек? говаривал он, благодушно протягивая ему с кресел руку.

Неуклюжий, но стыдливый Шатов нежностей не любил. Снаружи человек был грубый, но про себя, кажется, деликатнейший. Хоть и терял часто меру, но первый страдал от того сам. Проворчав что-нибудь под нос на призывные слова Степана Трофимовича и потоптавшись как медведь на месте, он вдруг неожиданно ухмылялся, откладывал свой картуз и садился на прежний стул, упорно смотря в землю. Разумеется приносилось вино, и Степан Трофимович провозглашал какой-нибудь подходящий тост, например хоть в память которого-нибудь из прошедших деятелей.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Принц Гарри. Сватовство.

I.

На земле существовало еще одно лицо к которому Варвара Петровна была привязана не менее как к Степану Трофимовичу,—единственный сын ее, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашон был Степан Трофимович в воспитатели. Мальчику было тогда лет восемь, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребенок возрос под одним только ее попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том что он и сам был ребенок. Меня тогда еще не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумался сделать своим другом такое маленькое существо, едва лишь оно капельку подросло. Как-то так естественно сошлось, что между ними не оказалось ни малейшего расстояния. Он не раз пробуждал своего десяти или одиннадцатилетнего друга ночью, единственно чтоб излить пред ним в слезах свои оскорбленные чувства, или открыть ему какой-нибудь домашний секрет, не замечая что это совсем уже непозволительно. Они бросались друг другу в объятия и плакали. Мальчик знал про свою мать что она его очень

любит, но вряд ли очень любил ее сам. Она мало с ним говорила, редко в чем его очень стесняла но пристально следящий за ним ее взгляд он всегда как-то болезненно ощущал на себе. Впрочем во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Трофимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать что педагог несколько расстроил нервы своего воспитанника. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщедушен и бледен, странно тих и задумчив. (В последствии он отличался чрезвычайною физическою силой.) Надо полагать тоже что друзья плакали, бросаясь ночью взаимно в объятия, не все об одних каких-нибудь домашних анекдотцах. Степан Трофимович сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное ощущение той вековечной, священной тоски которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не променяет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Есть и такие любители которые тоской этой дорожат более самого радикального удовлетворения, еслиб даже таковое и было возможно). Но во всяком случае хорошо было что птенца и наставника, хоть и поздно, а развели в разные стороны.

Из лицея молодой человек в первые два года приезжал на вакацию. Во время поездки в Петербург Варвары Петровны и Степана Трофимовича, он присутствовал иногда на литературных вечерах бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало и все попрежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но уже как-то сдержаннее: о высоких предметах и о воспоминаниях прошлого видимо удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он, по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылала ему не жалея, несмотря на то что после реформы доход с ее имений упал до того что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней впрочем

накоплен был долгою экономией некоторый, не совсем маленький капитал. Ее очень интересовали успехи сына в высшем петербургском обществе. Что̀ не удалось ей, то удалось молодому офицеру, богатому и с надеждами. Он возобновил такие знакомства о которых она и мечтать уже не могла, и везде был принят с большим удовольствием. Но очень скоро начали доходить к Варваре Петровне довольно странные слухи: молодой человек как-то безумно и вдруг закутил. Не то чтоб он играл или очень пил; рассказывали только о какой-то дикой разнузданности, о задавленных рысаками людях, о зверском поступке с одною дамой хорошего общества, с которой он был в связи, а потом оскорбил ее публично. Что-то даже слишком ужь откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее что это только первые, буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанную у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула: „вздор, вздор!“ как повадилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича, а напротив очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. Но хроника ее не успокоила, да и сходства она не так много нашла. Она лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие что принц Гарри имел почти разом две дуэли, кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и, вследствие таковых деяний, был отдан под суд. Дело кончилось разжалованием в солдаты, с лишением прав и ссылкой на службу в один из пехотных армейских полков, да и то еще по особенной милости.

В шестьдесят третьем году ему как-то удалось отличиться; ему дали крестик и произвели в унтер-офицеры, а затем как-то

ужь скоро и в офицеры. Во все это время Варвара Петровна отправила может-быть до сотни писем в столицу, с просьбами и мольбами. Она позволила себе несколько унизиться в таком необычайном случае. После производства, молодой человек вдруг вышел в отставку, в Скворешники опять не приехал, а к матери совсем уже перестал писать. Узнали наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались что он живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными благородно-просящими милостыню, пьяницами, посещает и грязные семейства, дни и ночи проводит в темных трущобах и бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что стало-быть это ему нравится. Денег у матери он не просил; у него было свое именьице,— бывшая деревенька генерала Ставрогина, которое хоть что-нибудь да давало же доходу и которое, по слухам, он сдал в аренду одному саксонскому Немцу. Наконец мать умолила его к ней приехать, и принц Гарри появился в нашем городе. Тут-то я в первый раз и разглядел его, а дотоле никогда не видывал.

Это был очень красивый молодой человек, лет двадцати пяти и, признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, испитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так как мог держать себя только господин привыкший к самому утонченному благообразию. Не я один был удивлен: удивлялся и весь город, которому конечно была уже известна вся биография г. Ставрогина и даже с такими подробностями что невозможно было представить откуда они могли получиться и, что всего удивительнее, из которых половина оказалась верною. Все наши дамы были без ума от нашего гостя. Они резко разделились на две стороны,— в одной обожали его, а в другой ненавидели до кровомщения; но без ума были и те и другие. Одних

особенно прельщало что на душе его есть, может-быть, какая-нибудь роковая тайна; другим положительно нравилось что он убийца. Оказалось тоже что он был весьма порядочно образован; даже с некоторыми познаниями. Познаний конечно не много требовалось чтобы нас удивить; но он мог судить и о насущных, весьма интересных темах и, что всего драгоценнее, с замечательною рассудительностию. Упомяну как странность: все у нас, чуть не с первого дня, нашли его чрезвычайно рассудительным человеком. Он был не очень разговорчив, изящен без изысканности, удивительно скромен и в то же время смел и самоуверен как у нас никто. Наши франты смотрели на него с завистью и совершенно пред ним стушевывались. Поразило меня тоже его лицо: волосы его были что-то ужь очень черны, светлые глаза его что-то ужь очень спокойны и ясны, цвет лица что-то ужь очень нежен и бел, румянец что-то ужь слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как коралловые,— казалось бы писанный красавец, а в то же время как будто и отвратителен. Говорили что лицо его напоминает маску; впрочем многое говорили, между прочим и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостию, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас с полгода — вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, и вдруг зверь показал свои когти.

Кстати замечу в скобках что милый, мягкий наш Иван Осипович, бывший наш губернатор, был несколько похож на бабу, но хорошей фамилии и со связями,— чем и объясняется то что он просидел у нас столько лет, постоянно отмахиваясь руками от всякого дела. По хлебосольству его и гостеприимству, ему бы следовало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время как наше. В городе постоянно говорили что управляет губернией не он, а Варвара Петровна. Конечно, это

было едко сказано, но однакоже — решительная ложь. Да и мало ли было на этот счет потрачено у нас остроумия. Напротив, Варвара Петровна, в последние годы, особенно и сознательно устранила себя от всякого высшего назначения, несмотря на чрезвычайкое уважение к ней всего общества, и добровольно заключилась в строгие пределы ею самою себе поставленные. Вместо высших назначений она вдруг начала заниматься хозяйством, и в два-три года подняла доходность своего имения чуть не на прежнюю степень. Вместо прежних поэтических порывов (поездки в Петербург, намерения издавать журнал и проч.), она стала копить и скупиться. Даже Степана Трофимовича отдалила от себя, позволив ему нанимать квартиру в другом доме (о чем тот давно уже приставал к ней сам под разными предлогами). Мало-по-малу Степан Трофимович стал называть ее прозаической женщиной или еще шутливее: „своим прозаическим другом". Разумеется, эти шутки он позволял себе не иначе как в чрезвычайно почтительном виде и долго выбирая удобную минуту.

Все мы, близкие, понимали,— а Степан Трофимович чувствительнее всех нас,— что сын явился пред нею теперь как бы в виде новой надежды и даже в виде какой-то новой мечты. Страсть ее к сыну началась со времени удач его в петербургском обществе и особенно усилилась с той минуты когда получено было известие о разжаловании его в солдаты. А между тем она очевидно боялась его и казалась пред ним словно рабой. Заметно было что она боялась чего-то неопределенного, таинственного, чего и сама не могла бы высказать, и много раз неприметно и пристально приглядывалась к Nicolas, что-то соображая и разгадывая.... и вот — зверь вдруг выпустил свои когти.

II.

Наш принц вдруг, ни с того ни с сего, сделал две-три невозможные дерзости разным лицам, то-есть главное именно в том состояло что дерзости эти совсем неслыханные, совершенно ни на что не похожие, совсем не такие какие в обык-

новенном употреблении, совсем дрянные и мальчишнические. и чорт знает для чего, совершенно без всякого повода. Один из почтеннейших старшин нашего клуба, Петр Павлович Гаганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: „Нет-с, меня не проведут за нос!“ Оно и пусть бы. Но однажды в клубе, когда он, по какому-то горячему поводу, проговорил этот афоризм собравшейся около него кучке клубных посетителей (и все людей не последних), Николай Всеволодович, стоявший в стороне один и к которому никто и не обращался, вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по зале два-три шага. Злобы он не мог иметь никакой на господина Гаганова. Можно было подумать что это чистое школьничество, разумеется непростительнейшее; и однакоже рассказывали потом что он в самое мгновение операции был почти задумчив, „точно как бы с ума сошел“; но это уже долго спустя припомнили и сообразили. Сгоряча все сначала запомнили только второе мгновение, когда он уже наверно все понимал в настоящем виде и не только не смутился, но напротив улыбался злобно и весело, „без малейшего раскаяния“. Шум поднялся ужаснейший; его окружили. Николай Всеволодович повертывался и посматривал кругом, не отвечая никому и с любопытством приглядываясь к восклицавшим лицам. Наконец вдруг как будто задумался опять,— так по крайней мере передавали,— нахмурился, твердо подошел к оскорбленному Петру Павловичу и скороговоркой, с видимою досадой, пробормотал:

— Вы конечно извините.... Я право не знаю как мне вдруг захотелось.... глупость.

Небрежность извинения равнялась новому оскорблению. Крик поднялся еще пуще. Николай Всеволодович пожал плечами и вышел.

Все это было очень глупо, не говоря уже о безобразии — безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало-быть составлявшем умышленное,

до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. Так и было это всеми понято. Начали с того что немедленно и единодушно исключили господина Ставрогина из числа членов клуба; затем порешили от лица всего клуба обратиться к губернатору и просить его немедленно (не дожидаясь пока дело начнется формально судом) обуздать вредного буяна, столичного „бретера, вверенною ему административною властию и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посягновений." С злобною невинностию прибавляли при этом что „может-быть и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон." Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтоб уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора как нарочно не случилось тогда в городе; он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении; но знали что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Петру Павловичу целую овацию: обнимали и целовали его; весь город перебывал у него с визитом. Проектировали даже в честь его по подписке обед, и только по усиленной его же просьбе оставили эту мысль,— может-быть смекнув наконец, что человека все-таки протащили за нос и что сталобыть очень-то ужь торжествовать нечего.

И однако как же это случилось? Как могло это случиться? Замечательно именно то обстоятельство что никто у нас, в целом городе, не приписал этого дикого поступка сумашествию. Значит от Николая Всеволодовича, и от умного, наклонны были ожидать таких же поступков. С своей стороны, я даже до сих пор не знаю как объяснить, несмотря даже на вскоре последовавшее событие, казалось бы все объяснившее и всех, повидимому, умиротворившее. Прибавлю тоже что четыре года спустя, Николай Всеволодович, на мой осторожный вопрос на счет этого прошедшего случая в клубе, ответил нахмурившись: „Да, я был тогда не совсем здоров". Но забегать вперед нечего.

Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти

с которою все у нас накинулись тогда на „буяна и столичного бретера.“ Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение разом оскорбить все общество. Подлинно не угодил человек никому и, напротив, всех вооружил,— а чем бы кажется? До последнего случая он ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а ужь вежлив был так как кавалер с модной картинки, еслибы только тот мог заговорить. Полагаю что за гордость его ненавидели. Даже наши дамы, начавшие обожанием, вопили теперь против него еще пуще мущин.

Варвара Петровна была ужасно поражена. Она призналась потом Степану Трофимовичу что все это она давно предугадывала, все эти полгода каждый день, и даже именно в „этом самом роде“, признание замечательное со стороны родной матери.— „Началось!“ подумала она содрогаясь. На другое утро, после рокового вечера в клубе, она приступила, осторожно, но решительно, к объяснению с сыном, а между тем вся так и трепетала бедная несмотря на решимость. Она всю ночь не спала и даже ходила рано утром совещаться к Степану Трофимовичу и у него заплакала, чего никогда еще с нею при людях не случалось. Ей хотелось чтобы Nicolas по крайней мере хоть что-нибудь ей сказал, хоть объясниться бы удостоил. Nicolas, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время насупившись, но очень серьозно; вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у ней ручку и вышел. А в тот же день, вечером, как нарочно подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли.

Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснений того с мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день на вечеринку, по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволодовича, но заметить ему ничего не смела на этот счет.

Он уже и кроме того завел несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже еще ниже,—но ужь такую имел наклонность. У Липутина же в доме до сих пор еще не был, хотя с ним самим и встречался. Он угадал что Липутин зовет его теперь вследствие вчерашнего скандала в клубе и что он, как местный либерал, от этого скандала в восторге, искренно думает что так и надо поступать с клубными старшинами и что это очень хорошо. Николай Всеволодович рассмеялся и обещал приехать.

Гостей набралось множество; народ был не казистый, но разбитной. Самолюбивый и завистливый Липутин всего только два раза в год созывал гостей, но ужь в эти разы не скупился. Самый почетнейший гость, Степан Трофимович, по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка; играли на трех столах, а молодежь, в ожидании ужина, затеяла под фортепиано танцы. Николай Всеволодович поднял мадам Липутину—чрезвычайно хорошенькую дамочку, ужасно пред ним робевшую,—сделал с нею два тура, уселся подле, разговорил, рассмешил ее. Заметив наконец какая она хорошенькая когда смеется, он вдруг, при всех гостях, обхватил ее за талию и поцеловал в губы, раза три сряду, в полную сласть. Испуганная бедная женщина упала в обморок. Николай Всеволодович взял шляпу, подошел к оторопевшему среди всеобщего смятения супругу, глядя на него сконфузился и сам, и пробормотав ему наскоро: „не сердитесь“, вышел. Липутин побежал за ним в переднюю, собственноручно подал ему шубу и с поклонами проводил с лестницы. Но завтра же, как раз, подоспело довольно забавное прибавление к этой, в сущности невинной истории, говоря сравнительно,—прибавление доставившее с тех пор Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду.

Часов в десять утра, в доме госпожи Ставрогиной явилась работница Липутина, Агафья, развязная, бойкая и румяная бабенка, лет тридцати, посланная им с поручением к Николаю Всеволодовичу и непременно желавшая „повидать их самих-с“.

У него очень болела голова, но он вышел. Варваре Петровне удалось присутствовать при передаче поручения.

— Сергей Васильич (то-есть Липутин), бойко затараторила Агафья,— перво-на-перво приказали вам очень кланяться и о здоровьи спросить-с, как после вчерашнего изволили почивать и как изволите теперь себя чувствовать, после вчерашнего-с?

Николай Всеволодович усмехнулся.

— Кланяйся и благодари, да скажи ты своему барину от меня, Агафья, что он самый умный человек во всем городе.

— А они против этого приказали вам отвечать-с, еще бойчее подхватила Агафья,— что они и без вас про то знают и вам того же желают.

— Вот! да как мог он узнать про то, что я тебе скажу?

— Ужь не знаю каким это манером узнали-с, а когда я вышла и уж весь проулок прошла, слышу они меня догоняют без картуза-с: „Ты, говорят, Агафьюшка, если, по отчаянии, прикажут тебе: „Скажи, дескать, своему барину что он умней во всем городе“, так ты им тотчас на то не забудь: „Сами очинно хорошо про то знаем-с и вам того же самого желаем-с...“

III.

Наконец произошло объяснение и с губернатором. Милый мягкий наш Иван Осипович только-что воротился и только-что успел выслушать горячую клубную жалобу. Без сомнения надо было что-нибудь сделать, но он смутился. Гостеприимный наш старичок тоже как будто побаивался своего молодого родственника. Он решился, однако, склонить его извиниться пред клубом и пред обиженным, но в удовлетворительном виде и, если потребуется, то и письменно; а затем мягко уговорить его нас оставить, уехав, например, для любознательности в Италию, и вообще куда-нибудь за границу. В зале, куда вышел он принять на этот раз Николая Всеволодовича (в другие разы прогуливавшегося, на правах родственника, по всему дому невозбранно), воспитанный Алеша Телятников, чиновник,

а вместе с тем и домашний у губернатора человек, распечатывал в углу у стола пакеты; а в следующей комнате, у ближайшего к дверям залы окна, поместился один заезжий, толстый и здоровый полковник, друг и бывший сослуживец Ивана Осиповича, и читал *Голос,* разумеется не обращая никакого внимания на то что происходило в зале; даже и сидел спиной. Иван Осипович заговорил отдаленно, почти шепотом, но все несколько путался. Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по родственному, был бледен, сидел потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль.

— Сердце у вас доброе, Nicolas, и благородное, включил между прочим старичок,—человек вы образованнейший, вращались в кругу высшем, да и здесь доселе держали себя образцом и тем успокоили сердце дорогой нам всем матушки вашей.... И вот теперь все опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите! Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и ваш родной человек, от которого нельзя обижаться.... Скажите что побуждает вас к таким необузданным поступкам, вне всяких принятых условий и мер? Что̀ могут означать такие выходки, подобно как в бреду?

Nicolas слушал с досадой и с нетерпением. Вдруг как бы что-то хитрое и насмешливое промелькнуло в его взгляде.

— Я вам пожалуй скажу что побуждает, угрюмо проговорил он, и оглядевшись, наклонился к уху Ивана Осиповича. Воспитанный Алеша Телятников отдалился еще шага на три к окну, а полковник кашлянул за *Голосом.* Бедный Иван Осипович поспешно и доверчиво протянул свое ухо; он до крайности был любопытен. И вот тут-то и произошло нечто совершенно невозможное, а с другой стороны и слишком ясное в одном отношении. Старичок вдруг почувствовал что Nicolas, вместо того чтобы прошептать ему какой-нибудь интересный секрет, вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснул в них верхнюю часть его уха. Он задрожал, и дух его прервался.

— Nicolas, что за шутки! простонал он машинально, не своим голосом.

Алеша и полковник еще не успели ничего понять, да им и не видно было и до конца казалось что те шепчутся; а между тем отчаянное лицо старика их тревожило. Они смотрели выпуча глаза друг на друга, не зная броситься ли им на помощь, как было условлено, или еще подождать. Nicolas заметил может-быть это и притиснул ухо побольнее.

— Nicolas, Nicolas! простонала опять жертва,— ну... пошутил и довольно....

Еще мгновение, и конечно бедный умер бы от испуга; но изверг помиловал и выпустил ухо. Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок. Но через полчаса Nicolas был арестован и отведен, покаместь, на гауптвахту, где и заперт в особую каморку, с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешно и в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, было отказано у крыльца в приеме; с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе.

И наконец-то все объяснилось! В два часа пополудни, арестант, дотоле удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в дверь, с неестественною силой оторвал от оконца в дверях железную решетку, разбил стекло и изрезал себе руки. Когда караульный офицер прибежал с командой и ключами и велел отпереть каземат, чтобы броситься на взбесившегося и связать его, то оказалось что тот был в сильнейшей белой горячке; его перевезли домой к мамаше. Все разом объяснилось. Все три наши доктора дали мнение что и за три дня пред сим больной мог уже быть как в бреду, и хотя и владел, повидимому, сознанием и хитростью, но уже не здравым рассудком и волей, что,

впрочем, подтверждалось и фактами. Выходило таким образом, что Липутин раньше всех догадался. Иван Осипович, человек деликатный и чувствительный, очень сконфузился; но любопытно что и он считал стало-быть Николая Всеволодовича способным на всякий сумашедший поступок в полном рассудке. В клубе тоже устыдились и недоумевали как это они все слона не приметили и упустили единственное возможное объяснение всем чудесам. Явились, разумеется, и скептики, но продержались недолго.

Nicolas пролежал слишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консультации; весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда, к весне, Nicolas совсем уже выздоровел и, без всякого возражения, согласился на предложение мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Nicolas согласился с большою охотой. В клубе известно было что он имел с Петром Павловичем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Nicolas был очень сериозен и несколько даже мрачен. Все приняли его, повидимому, с полным участием, но все почему-то конфузились и рады были тому что он уезжает в Италию. Иван Осипович даже прослезился, но почему-то не решился обнять его даже и при последнем прощании. Право, некоторые у нас так и остались в уверенности что негодяй просто насмеялся над всеми, а болезнь — это что-нибудь так. Заехал он и к Липутину.

— Скажите, спросил он его,— каким образом вы могли заранс угадать то что я скажу о вашем уме и снабдить Агафью ответом?

— А таким образом, засмеялся Липутин,— что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заране мог предузнать.

— Все-таки замечательное совпадение. Но однако позвольте: вы стало-быть за умного же человека меня почитали когда прислали Агафью, а не за сумашедшего?

— За умнейшего и за рассудительнейшего, а только вид такой подал будто верю про то что вы не в рассудке.... Да и сами вы о моих мыслях немедленно тогда догадались и мне, чрез Агафью, патент на остроумие выслали.

— Ну, тут вы немного ошибаетесь; я в самом деле.... был нездоров.... пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись,— ба! вскричал он,— да неужели вы и в самом деле думаете что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это?

Липутин скрючился и не сумел ответить. Nicolas несколько побледнел, или так только показалось Липутину.

— Во всяком случае у вас очень забавное настроение мыслей, продолжал Nicolas,— а про Агафью я, разумеется, понимаю что вы ее обругать меня присылали.

— Не на дуэль же было вас вызывать-с?

— Ах, да, бишь! Я ведь слышал что-то что вы дуэли не любите....

— Что с французского-то переводить! опять скрючился Липутин.

— Народности придерживаетесь?

Липутин еще более скрючился.

— Ба-ба! что я вижу! вскричал Nicolas, вдруг заметив на самом видном месте, на столе, том Консидерана,— да ужь не фурьерист ли вы? Ведь чего доброго! Так разве это не тот же перевод с французского? засмеялся он, стуча пальцами в книгу.

— Нет, это не с французского перевод! с какою-то даже злобой привскочил Липутин,— это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!...

— Фу, чорт, да такого и языка совсем нет! продолжал смеяться Nicolas.

Иногда даже мелочь поражает исключительно и надолго внимание. О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради куриоза, что из всех впечатлений его,

за все время проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей „социальной гармонии“, упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там где сам же он скопил себе „домишко“, где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где может-быть на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена „всемирно-обще-человеческой социальной республики и гармонии“.

„Бог знает как эти люди делаются!“ думал Nicolas в недоумении, припоминая иногда неожиданного фурьериста, „но у нас они есть....“

IV.

Наш принц путешествовал три года слишком, так что в городе почти о нем позабыли. Нам же известно было, чрез Степана Трофимовича, что он изъездил всю Европу, был даже в Египте и заезжал в Иерусалим; потом примазался где-то к какой-то ученой экспедиции в Исландию, и действительно побывал в Исландии. Передавали тоже что он одну зиму слушал лекции в одном немецком университете. Он мало писал к матери,— раз в полгода и даже реже; но Варвара Петровна не сердилась и не обижалась. Раз установившиеся отношения с сыном она приняла безропотно и с покорностью, но ужь конечно каждый день во все эти три года беспокоилась, тосковала и мечтала о своем Nicolas непрерывно. Ни мечтаний, ни жалоб своих не сообщала никому. Даже от Степана Трофимовича, повидимому, несколько отдалилась. Она создавала какие-то планы про себя и, кажется, сделалась еще скупее чем прежде, и еще пуще стала копить и сердиться за карточные проигрыши Степана Трофимовича.

Наконец в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа, от генеральши Прасковьи Ивановны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своем Прасковья Ивановна,— с которой Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже восемь,— уведомляла ее что Николай Всеволодович коротко сошелся с их домом и подружился с Лизой (единственною ее дочерью) и намерен сопровождать их летом в Швейцарию, в Vernex-Montreux, несмотря на то что в семействе графа К.... (весьма влиятельного в Петербурге лица), пребывающего теперь в Париже, принят как родной сын, так что почти живет у графа. Письмо было краткое и обнаруживало ясно свою цель, хотя кроме вышеозначенных фактов, никаких выводов не заключало. Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватив с собою свою воспитанницу Дашу (сестру Шатова), и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых; сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа.

Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича (бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа) постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим и с намерением употребить виноградное лечение, которое и располагала совершить в Vernex-Montreux во вторую половину лета. По возвращении же в отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Прасковья Ивановна, в первом супружестве госпожа Тушина, была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым. Отставной штабротмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями. Умирая он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал. Теперь, когда

Лизавете Николаевне было уже около двадцати двух лет, за нею смело можно было считать до двухсот тысяч рублей одних ее собственных денег, не говоря уже о состоянии которое должно было ей достаться современем после матери, не имевшей детей во втором супружестве. Варвара Петровна была, повидимому, весьма довольна своею поездкой. По ее мнению, она успела сговориться с Прасковьей Ивановной удовлетворительно и тотчас же по приезде сообщила все Степану Трофимовичу; даже была с ним весьма экспансивна, что давно уже с нею не случалось.

— Ура! вскричал Степан Трофимович и прищелкнул пальцами.

Он был в полном восторге, тем более что все время разлуки с своим другом провел в крайнем унынии. Уезжая за границу, она даже с ним не простилась как следует и ничего не сообщила из своих планов „этой бабе", опасаясь может-быть чтоб он чего не разболтал. Она сердилась на него тогда за значительный карточный проигрыш, внезапно обнаружившийся. Но еще в Швейцарии почувствовала сердцем своим что брошенного друга надо, по возвращении, вознаградить, тем более что давно уже сурово с ним обходилась. Быстрая и таинственная разлука поразила и истерзала робкое сердце Степана Трофимовича, и как нарочно, разом подошли и другие недоумения. Его мучило одно весьма значительное и давнишнее денежное обязательство, которое без помощи Варвары Петровны никак не могло быть удовлетворено. Кроме того, в мае нынешнего года окончилось наконец губернаторствование нашего доброго, мягкого Ивана Осиповича; его сменили, и даже с неприятностями. Затем, в отсутствии Варвары Петровны, произошел и въезд нашего нового начальника, Андрея Антоновича фон-Лембке; вместе с тем тотчас же началось и заметное изменение в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне, а стало-быть и к Степану Трофимовичу. По крайней мере он уже успел собрать несколько неприятных, хотя и драгоценных наблюдений и, кажется, очень оробел один без Варвары Петровны. Он с волнением подозревал что

о нем уже донесли новому губернатору как о человеке опасном. Он узнал положительно что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. О будущей губернаторше (которую ждали у нас только к осени) повторяли что она хотя, слышно, и гордячка, но за то уже настоящая аристократка, а не то что „какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна“. Всем откудова-то было достоверно известно с подробностями что новая губернаторша и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о г-же фон-Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным, радостно-угодливым юмором, стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора.

— Вам, excellente amie[1], без всякого сомнения известно, говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова,— что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор внове, то-есть нововыпеченный, новопоставленный.... Ces interminables mots russes!...[2] Но вряд ли могли вы узнать практически что̀ такое значит административный восторг и какая именно это штука?

— Административный восторг? Не знаю что такое.

— То-есть... Vous savez, chez nous... En un mot[3], поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов, на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя в праве смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, pour vous montrer son pouvoir[4]. „Дай-ка, дескать, я покажу над тобой мою власть....“ И это в них до административного восторга доходит.... En un

[1] [драгоценный друг]
[2] [Эти бесконечные русские слова!..]
[3] [Вы знаете, у нас... Одним словом]
[4] [чтоб показать свою власть]

mot, я вот прочел что какой-то дьячок, в одной из наших заграничных церквей,— mais c'est très curieux [1],— выгнал, то-есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство, les dames charmantes [2], пред самым началом великопостного богослужения,— vous savez ces chants et le livre de Job.... [3] единственно под тем предлогом что „шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время....“ и довел до обморока.... En un mot, этот дьячок был в припадке административного восторга et il a montré son pouvoir.... [4]

— Сократите, если можете, Степан Трофимович.

— Господин фон-Лембке поехал теперь по губернии. En un mot, этот Андрей Антонович, хотя и русский Немец православного исповедания, и даже,— уступлю ему это,— замечателвно красивый мущина, из сорокалетних....

— С чего вы взяли что красивый мущина? У него бараньи глаза.

— В высшей степени. Но ужь я уступаю, так и быть, мнению наших дам....

— Перейдем, Степан Трофимович, прошу вас! Кстати вы носите красные галстуки давно ли?

— Это я.... я только сегодня....

— А делаете ли вы ваш моцион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором?

— Не.... не всегда.

— Так я и знала! Я в Швейцарии еще это предчувствовала! раздражительно вскричала она,— теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить! Вы ужасно опустились, ужасно, уж-жасно! Вы не то что постарели, вы одряхлели.... вы поразили меня когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук.... quelle idée rouge! [5] Продолжайте о фон-

[1] [но это очень любопытно]
[2] [очаровательных женщин]
[3] [знаете, эти песнопения и книга Иова...]
[4] [и он показал свою власть...]
[5] [что за красная идея!]

Лембке, если в самом деле есть что сказать и кончите когда-нибудь, прошу вас; я устала.

— En un mot[1], я только ведь хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов которые до сорока лет прозябали в ничтожестве и потом вдруг выходят в люди, посредством внезапного приобретения супруги, или каким-нибудь другим, не менее отчаянным средством.... То-есть он теперь уехал.... то-есть я хочу сказать что про меня тотчас же нашептали в оба уха, что я развратитель молодежи и рассадник губернского атеизма.... Он тотчас же начал справляться.

— Да правда ли?

— Я даже меры принял. Когда про вас „до-ло-жили“ что вы „управляли губернией“, vous savez[2],— он позволил себе выразиться что „подобного более не будет“.

— Так и сказал?

— Что „подобного более не будет“, и avec cette morgue...[3] Супругу, Нину Павловну, мы узрим здесь в конце августа, прямо из Петербурга.

— Из-за границы. Мы там встретились.

— Vraiment?[4]

— В Париже и в Швейцарии. Она Дроздовым родня.

— Родня? Какое замечательное совпадение! Говорят честолюбива и.... с большими будто бы связями?

— Вздор, связишки! До сорока пяти лет просидела в девках без копейки, а теперь выскочила за своего фон-Лембке и, конечно, вся ее цель теперь его в люди вытащить. Оба интриганы.

— И, говорят, двумя годами старше его?

— Целыми пятью. Мать ее в Москве хвост обшлепала у меня на пороге; на балы ко мне, при Всеволоде Николаевиче, как из милости напрашивались. А эта бывало всю ночь одна в углу сидит без танцев, со своею бирюзовой мухой на лбу,

[1] [Словом]
[2] [знаете ли]
[3] [и с какой спесью...]
[4] [В самом деле?]

так что я ужь в третьем часу, только из жалости, ей первого кавалера посылаю. Ей тогда двадцать пять лет уже было, а ее все как девочку в коротеньком платьице вывозили. Их пускать к себе стало неприлично.

— Эту муху я точно вижу.

— Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же застаю? Сама же эта дура Дроздова,— она всегда только дурой была,— вдруг смотрит вопросительно: зачем, дескать, я приехала? Можете представить как я была удивлена! Гляжу, а тут финтит эта Лембке и при ней этот кузен, старика Дроздова племянник — все ясно! Разумеется я мигом все переделала, и Прасковья опять на моей стороне, но интрига, интрига!

— Которую вы однакоже победили. О, вы Бисмарк!

— Не будучи Бисмарком, я способна однакоже рассмотреть фальшь и глупость где встречу. Лембке, это — фальшь, а Прасковья — глупость. Редко я встречала более раскисшую женщину, и в добавок ноги распухли, и в добавок добра. Что может быть глупее глупого добряка?

— Злой дурак, ma bonne amie[1], злой дурак еще глупее, благородно оппонировал Степан Трофимович.

— Вы может быть и правы, вы ведь Лизу помните?

— Charmante enfant![2]

— Но теперь уже не enfant, а женщина и женщина с характером. Благородная и пылкая, и люблю в ней что матери не спускает, доверчивой дуре. Тут из-за этого кузена чуть не вышла история.

— Ба, да ведь и в самом деле он Лизавете Николаевне совсем не родня.... Виды что ли имеет?

— Видите, это молодой офицер, очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливою. Мне кажется он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лембке. Очень уважал Nicolas. Вы понимаете,

[1] [мой добрый друг]
[2] [Прелестный ребенок!]

все дело зависит от Лизы, но я ее в превосходных отношениях к Nicolas оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в ноябре. Стало-быть интригует тут одна Лембке, а Прасковья только слепая женщина. Вдруг говорит мне что все мои подозрения — фантазия; я в глаза ей отвечаю что она дура. Я на страшном суде готова подтвердить! И если бы не просьбы Nicolas чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К. чрез Nicolas заискивала, она сына с матерью хотела разделить. Но Лиза на нашей стороне, а с Прасковьей я сговорилась. Вы знаете, ей Кармазинов родственник?

— Как? Родственник мадам фон-Лембке?

— Ну да, ей. Дальний.

— Кармазинов, нувеллист?

— Ну да, писатель, чего вы удивляетесь? Конечно он сам себя почитает великим. Надутая тварь! Она с ним вместе приедет, а теперь там с ним носится. Она намерена что-то завести здесь, литературные собрания какие-то. Он на месяц приедет, последнее имение продавать здесь хочет. Я чуть было не встретилась с ним в Швейцарии и очень того не желала. Впрочем надеюсь что меня-то он удостоит узнать. В старину ко мне письма писал, в доме бывал. Я бы желала чтобы вы получше одевались, Степан Трофимович; вы с каждым днем становитесь так неряшливы.... О, как вы меня мучаете! Что вы теперь читаете?

— Я.... я....

— Понимаю. Попрежнему приятели, попрежнему попойки, клуб и карты, и репутация атеиста. Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала чтобы вас называли атеистом, особенно теперь не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь все это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать.

— Mais ma chère.... [1]

— Слушайте, Степан Трофимович, во всем ученом я конечно

[1] [Но, дорогая...]

пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению.

— К какому же?

— К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а что есть и умнее нас.

— И остроумно, и метко. Есть умнее, значит есть и правее нас, стало-быть и мы можем ошибаться, не так ли? Mais ma bonne amie [1], положим я ошибусь, но ведь имею же я мое всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжей и изувером, если того не хочу, а за это естественно буду разными господами ненавидим до скончания века. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raison [2], и так как я совершенно с этим согласен....

— Как, как вы сказали?

— Я сказал: on trouve toujours plus de moines que de raison, и так как я с этим....

— Это верно не ваше; вы верно откудова-нибудь взяли?

— Это Паскаль сказал.

— Так я и думала.... что не вы! Почему вы сами никогда так не скажете, так коротко и метко, а всегда так длинно тянете? Это гораздо лучше чем давеча про административный восторг....

— Ma foi chère [3].... почему? Вопервых, потому, вероятно, что я все-таки не Паскаль et puis.... [4] вовторых, мы, Русские, ничего не умеем на своем языке сказать.... По крайней мере до сих пор ничего еще не сказали....

— Гм! Это может-быть и неправда. По крайней мере вы бы записывали и запоминали такие слова, знаете, в случае разговора.... Ах, Степан Трофимович, я с вами сериозно, сериозно ехала говорить!

— Chère, chère amie! [5]

[1] [Но, дорогой друг]
[2] [И затем, так как всегда найдется больше монахов, чем разума]
[3] [Право же, дорогая...]
[4] [и затем]
[5] [Дорогой, дорогой друг!]

— Теперь когда все эти Лембке, все эти Кармазиновы.... О боже, как вы опустились! О, как вы меня мучаете!... Я бы желала чтоб эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца, не сто́ят, а вы как себя держите! Что они увидят? Что я им покажу? Вместо того чтобы благородно стоять свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какою-то сволочью, вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одряхлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль-де-Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут; все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такою сволочью, как ваш неразлучный Липутин?

— Почему же он *мой* и *неразлучный?* робко протестовал было Степан Трофимович.

— Где он теперь? строго и резко продолжала Варвара Петровна.

— Он.... он вас беспредельно уважает и уехал в С—к, после матери получить наследство.

— Он, кажется, только и делает что деньги получает. Что Шатов? все то же?

— Irascible, mais bon[1].

— Терпеть не могу вашего Шатова; и зол и о себе много думает!

— Как здоровье Дарьи Павловны?

— Вы это про Дашу? Что́ это вам вздумалось? любопытно поглядела на него Варвара Петровна.— Здорова, у Дроздовых оставила.... Я в Швейцарии что-то про вашего сына слышала, дурное, а не хорошее.

— Oh, c'est une histoire bien bête! Je vous attendais ma bonne amie pour vous raconter....[2]

— Довольно, Степан Трофимович, дайте покой; измучилась. Успеем наговориться, особенно про дурное. Вы начинаете

[1] [Вспыльчив, но добр]

[2] [О, это глупейшая история! Я ожидал вас, мой добрый друг, чтоб рассказать ее вам...]

брызгаться когда засмеетесь, это уже дряхлость какая-то! И как странно вы теперь стали смеяться.... Боже, сколько у вас накопилось дурных привычек! Кармазинов к вам не поедет! А тут и без того всему рады.... Вы всего себя теперь обнаружили. Ну довольно, довольно, устала! Можно же наконец пощадить человека!

Степан Трофимович „пощадил человека", но удалился в большом смущении.

V.

Дурных привычек действительно завелось у нашего друга не мало, особенно в самое последнее время. Он видимо и быстро опустился, и это правда что он стал неряшлив. Пил больше, стал слезливее и слабее нервами; стал ужь слишком чуток к изящному. Лицо его получило странную способность изменяться необыкновенно быстро, с самого, например, торжественного выражения на самое смешное и даже глупое. Не выносил одиночества и беспрерывно жаждал чтоб его поскорее развлекли. Надо было непременно рассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот и притом ежедневно новое. Если же долго никто не приходил, то он тоскливо бродил по комнатам, подходил к окну, в задумчивости жевал губами, вздыхал глубоко, а под конец чуть не хныкал. Он все что-то предчувствовал, боялся чего-то неожиданного, неминуемого; стал пуглив; стал большое внимание обращать на сны.

Весь день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно, послал за мной, очень волновался, долго говорил, долго рассказывал, но все довольно бессвязно. Варвара Петровна давно уже знала что он от меня ничего не скрывает. Мне показалось наконец что его заботит что-то особенное и такое чего пожалуй он и сам не может представить себе. Обыкновенно прежде, когда мы сходились наедине и он начинал мне жаловаться, то всегда почти, после некоторого времени, приносилась бутылочка и становилось гораздо утешнее. В этот раз вина не было, и он видимо подавлял в себе неоднократное желание послать за ним.

— И чего она всё сердится! жаловался он поминутно, как ребенок.— Tous les hommes de génie et de progrès en Russie étaient, sont et seront toujours des картежники et des пьяницы, qui boivent en zapoï....[1] а я еще вовсе не такой картежник и не такой пьяница.... Укоряет зачем я ничего не пишу? Странная мысль!... Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять „примером и укоризной". Mais entre nous soit dit[2], что же и делать человеку которому предназначено стоять „укоризной", как не лежать,— знает ли она это?

И наконец разъяснилась мне та главная, особенная тоска которая так неотвязчиво в этот раз его мучила. Много раз в этот вечер подходил он к зеркалу и подолгу пред ним останавливался. Однажды повернулся от зеркала ко мне и с каким-то странным отчаянием проговорил:

— Mon cher, je suis un[3] опустившийся человек!

Да, действительно, до сих пор, до самого этого дня, он в одном только оставался постоянно уверенным, несмотря на все „новые взгляды" и на все „перемены идей" Варвары Петровны, именно в том что он все еще обворожителен для ее женского сердца, то-есть не только как изгнанник, или как славный ученый, но и как красивый мущина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение и, может-быть из всех его убеждений, ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?

VI.

Приступлю теперь к описанию того, отчасти забавного случая, с которого, по настоящему, и начинается моя хроника.

В самом конце августа возвратились наконец и Дроздовы. Появление их немногим предшествовало приезду давно ожидаемой

[1] [Все гениальные и передовые люди в России были, суть и пребудут вовеки картежниками и пьяницами, пьющими запоем...]
[2] [но между нами говоря]
[3] [Дорогой мой, я —]

всем городом родственницы их, нашей новой губернаторши, и вообще произвело замечательное впечатление в обществе. Но обо всех этих любопытных событиях скажу после; теперь же ограничусь лишь тем что Прасковья Ивановна привезла так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне одну самую хлопотливую загадку: Nicolas расстался с ними еще в июле, и встретив на Рейне графа К., отправился с ним и с семейством его в Петербург. (NB. У графа все три дочери невесты.)

— От Лизаветы, по гордости и по строптивости ее, я ничего не добилась, заключила Прасковья Ивановна,— но видела своими глазами что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но кажется придется вам, друг мой Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По моему, так Лиза была обижена. Рада радешенька, что привезла вам, наконец, вашу фаворитку и сдаю с рук на руки: с плеч долой.

Произнесены были эти ядовитые слова с замечательным раздражением. Видно было что „раскисшая женщина" заранее их приготовила и вперед наслаждалась их эффектом. Но не Варвару Петровну можно было озадачивать сентиментальными эффектами и загадками. Она строго потребовала самых точных и удовлетворительных объяснений. Прасковья Ивановна немедленно понизила тон и даже кончила тем что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в истинной дружбе, и главнейшая ее жалоба на дочь ее, Лизавету Николаевну, состояла именно в том что „дочь ей не друг".

Но из всех ее объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то что действительно между Лизой и Nicolas произошла какая-то размолвка, но какого рода была эта размолвка — о том Прасковья Ивановна, очевидно, не сумела составить себе определенного понятия. От обвинений же взводимых на Дарью Павловну она не только совсем, под-конец, отказалась, но даже особенно просила не давать давеш-

ним словам ее никакого значения, потому что сказала она их „в раздражении“. Одним словом, все выходило очень неясно, даже подозрительно. По расказам ее, размолвка началась от „строптивого и насмешливого“ характера Лизы; „Гордый же Николай Всеволодович, хоть и сильно был влюблен, но не мог насмешек перенести, и сам стал насмешлив“. Вскоре затем познакомились мы с одним молодым человеком, кажется вашего „профессора“ племянник, да и фамилия та же....

— Сын, а не племянник, поправила Варвара Петровна. Прасковья Ивановна и прежде никогда не могла упомнить фамилии Степана Трофимовича и всегда называла его „профессором“.

— Ну сын так сын, тем лучше, а мне ведь и все равно. Обыкновенный молодой человек, очень живой и свободный, но ничего такого в нем нет. Ну, тут ужь сама Лиза поступила не хорошо, молодого человека к себе приблизила из видов чтобы в Николае Всеволодовиче ревность возбудить. Не осуждаю я этого очень-то: дело девичье, обыкновенное, даже милое. Только Николай Всеволодович вместо того чтобы приревновать, напротив сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, али как будто ему все равно. Лизу-то это и взорвало. Молодой человек в скорости уехал (спешил очень куда-то), а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволодовичу придираться. Заметила она что тот с Дашей иногда говорит, ну и стала беситься, тут ужь и мне, матушка, житья не стало. Раздражаться мне доктора запретили, и так это хваленое озеро ихнее мне надоело, только зубы от него разболелись, такой ревматизм получила. Печатают даже про то что от Женевского озера зубы болят; свойство такое. А тут Николай Всеволодович вдруг от графини письмо получил и тотчас же от нас и уехал, в один день собрался. Простились-то они по-дружески, да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленна и много хохотала. Только напускное все это. Уехал он,—стала очень задумчива, да и поминать о нем совсем перестала и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь

с Лизой на счет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит; тогда более узнаете. По моему, опять сойдутся, если только Николай Всеволодович не замедлит приехать как обещал.

— Напишу ему тотчас же. Коли все было так, то пустая размолвка; все вздор! Да и Дарью я слишком знаю; вздор.

— Про Дашеньку я, покаюсь,—согрешила. Одни только обыкновенные были разговоры, да и то вслух. Да ужь очень меня, матушка, все это тогда расстроило. Да и Лиза, видела я, сама же с нею опять сошлась с прежнею лаской....

Варвара Петровна в тот же день написала к Nicolas и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь. Мнение „Прасковьи“ казалось ей слишком невинным и сентиментальным. „Прасковья всю жизнь была слишком чувствительна с самого еще пансиона,“ думала она, „не таков Nicolas чтоб убежать из-за насмешек девчонки. Тут другая причина, если точно размолвка была. Офицер этот однако здесь, с собой привезли, и в доме у них как родственник поселился. Да и на счет Дарьи, Прасковья слишком ужь скоро повинилась: верно что-нибудь про себя оставила, чего не хотела сказать“....

К утру у Варвары Петровны созрел проект разом покончить по крайней мере хоть с одним недоумением — проект замечательный по своей неожиданности. Что было в сердце ее когда она создала его?—трудно решить, да и не возьмусь я растолковывать заранее все противоречия из которых он состоял. Как хроникер я ограничиваюсь лишь тем что представляю события в точном виде, точно так как они произошли, и не виноват если они покажутся невероятными. Но однако должен еще раз засвидетельствовать что подозрений на Дашу у ней, к утру, никаких не осталось, а по правде никогда и не начиналось; слишком она была в ней уверена. Да и мысли она не могла допустить чтоб ее Nicolas мог увлечься ею....

„Дарьей“. Утром, когда Дарья Павловна за чайным столиком разливала чай, Варвара Петровна долго и пристально в нее всматривалась, и, может-быть в двадцатый раз со вчерашнего дня, с уверенностию произнесла про себя:

— Все вздор!

Заметила только что у Даши какой-то усталый вид и что она еще тише прежнего, еще апатичнее. После чаю, по заведенному раз навсегда обычаю, обе сели за рукоделье. Варвара Петровна велела ей дать себе полный отчет о ее заграничных впечатлениях, преимущественно о природе, жителях, городах, обычаях, их искусстве, промышленности,— обо всем что успела заметить. Ни одного вопроса о Дроздовых и о жизни с Дроздовыми. Даша, сидевшая подле нее за рабочим столиком и помогавшая ей вышивать, расказывала уже с полчаса своим ровным, однообразным, но несколько слабым голосом.

— Дарья, прервала ее вдруг Варвара Петровна,— ничего у тебя нет такого особенного, о чем хотела бы ты сообщить?

— Нет, ничего, капельку подумала Даша, и взглянула на Варвару Петровну своими светлыми глазами.

— На душе, на сердце, на совести?

— Ничего, тихо, но с какою-то угрюмою твердостию повторила Даша.

— Так я и знала! Знай Дарья что я никогда не усомнюсь в тебе. Теперь сиди и слушай. Перейди на этот стул, садись напротив, я хочу всю тебя видеть. Вот так. Слушай,— хочешь замуж?

Даша отвечала вопросительным длинным взглядом, не слишком впрочем удивленным.

— Стой; молчи. Вопервых, есть разница в летах, большая очень; но ведь ты лучше всех знаешь какой это вздор. Ты рассудительна, и в твоей жизни не должно быть ошибок. Впрочем он еще красивый мущина.... Одним словом, Степан Трофимович, которого ты всегда уважала. Ну?

Даша посмотрела еще вопросительнее и на этот раз не только с удивлением, но и заметно покраснела.

— Стой, молчи; не спеши! Хоть у тебя и есть деньги, по моему завещанию, но умри я, что̀ с тобой будет, хотя бы и с деньгами? Тебя обманут и деньги отнимут, ну и погибла. А за ним ты жена известного человека. Смотри теперь с другой стороны: умри я сейчас,— хоть я и обеспечу его,— что̀ с ним будет? А на тебя-то ужь я понадеюсь. Стой, я не договорила: он легкомыслен, мямля, жесток, эгоист, низкие привычки, но ты его цени, вопервых ужь потому что есть и гораздо хуже. Ведь не за мерзавца же какого я тебя сбыть с рук хочу, ты ужь не подумала ли чего? А главное потому что я прошу, потому и будешь ценить, оборвала она вдруг раздражительно,— слышишь? Что же ты уперлась?

Даша все молчала и слушала.

— Стой, подожди еще. Он баба — но ведь тебе же лучше. Жалкая, впрочем, баба; его совсем не стоило бы любить женщине. Но его стоит за беззащитность его любить, и ты люби его за беззащитность. Ты ведь меня понимаешь? Понимаешь?

Даша кивнула головой утвердительно.

— Я так и знала, меньше не ждала от тебя. Он тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! как-то особенно раздражительно взвизгнула Варвара Петровна,— а впрочем он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду тут. Не беспокойся, я всегда буду тут. Он станет на тебя жаловаться, он клеветать на тебя начнет, шептаться будет о тебе с первым встречным, будет ныть, вечно ныть; письма тебе будет писать из одной комнаты в другую, в день по два письма, но без тебя все-таки не проживет, а в этом и главное. Заставь слушаться; не сумеешь заставить — дура будешь. Повеситься захочет, грозить будет — не верь; один только вздор! Не верь, а все-таки держи ухо востро, не ровен час и повесится; с этакими-то и бывает; не от силы, а от слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты,— и это первое правило в супружестве. Помни тоже что он поэт. Слушай, Дарья: нет выше счастья как собою пожертвовать. И к тому же ты

мне сделаешь большое удовольствие, а это главное. Ты не думай что я по глупости сейчас сбрендила; я понимаю что̀ говорю. Я эгоистка, будь и ты эгоисткой. Я ведь не неволю; все в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну, что̀ жь уселась, говори что-нибудь!

— Мне ведь все равно, Варвара Петровна, если ужь непременно надобно замуж выйти, твердо проговорила Даша.

— Непременно? Ты на что̀ это намекаешь? строго и пристально посмотрела на нее Варвара Петровна.

Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой.

— Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда что я непременно теперь тебя вздумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только что мне так придумалось, и за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе ужь и двадцать лет.... Ну?

— Я как вам угодно, Варвара Петровна.

— Значит согласна! Стой, молчи, куда торопишься, я не договорила: по завещанию тебе от меня пятнадцать тысяч рублей положено. Я их теперь же тебе выдам, после венца. Из них восемь тысяч ты ему отдашь, то-есть не ему, а мне. У него есть долг в восемь тысяч; я и уплачу, но надо чтоб он знал что твоими деньгами. Семь тысяч останутся у тебя в руках, отнюдь ему не давай ни рубля никогда. Долгов его не плати никогда. Раз заплатишь — потом не оберешься. Впрочем я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по тысяче двести рублей содержания, а с экстренными тысячу пятьсот, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать, прямо тебе на руки. Но будь и добра: иногда выдай и ему что-нибудь, и приятелям ходить позволяй, раз в неделю, а если чаще, то гони. Но я сама буду тут. А коли умру, пенсион ваш не прекратится до самой его смерти, слышишь до *его* только смерти, потому что это его пенсион, а не твой. А тебе, кроме теперешних семи тысяч, которые у тебя оста-

нутся в целости, если не будешь сама глупа, еще восемь тысяч в завещании оставлю. И больше тебе от меня ничего не будет, надо чтобы ты знала. Ну, согласна что ли? Скажешь ли наконец что-нибудь?

— Я уже сказала, Варвара Петровна.

— Вспомни что твоя полная воля, как захочешь так и будет.

— Только позвольте, Варвара Петровна, разве Степан Трофимович вам уже говорил что-нибудь?

— Нет, он ничего не говорил и не знает, но.... он сейчас заговорит!

Она мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль. Даша опять немного покраснела и вопросительным взглядом следила за нею. Варвара Петровна вдруг обернулась к ней с пытливым от гнева лицом:

— Дура ты! накинулась она на нее как ястреб,— дура неблагодарная! Чтò у тебя на уме? Неужто ты думаешь что я скомпрометтирую тебя хоть чем-нибудь, хоть на столько вот! Да он сам на коленках будет ползать просить, он должен от счастья умереть, вот как это будет устроено! Ты ведь знаешь же что я тебя в обиду не дам! Или ты думаешь что он тебя за эти восемь тысяч возьмет, а я бегу теперь тебя продавать? Дура, дура, все вы дуры неблагодарные! Подай зонтик!

И она полетела пешком по мокрым кирпичным тротуарам и по деревянным мосткам к Степану Трофимовичу.

VII.

Это правда что „Дарью“ она не дала бы в обиду; напротив теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда давеча, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренно любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Павловну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда что „Дарьин характер не похож

на братнин“ (то-есть на характер брата ее Ивана Шатова), что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностью, необыкновенною скромностию, редкою рассудительностию и главное благодарностию. До сих пор, повидимому, Даша оправдывала все ее ожидания. „В этой жизни не будет ошибок“, сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как она имела свойство привязываться упрямо и странно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг, почему-то, было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий Француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. Одна бедная, заезжая дама, вдова из благородных, обучала на фортепиано. Но главным педагогом был все-таки Степан Трофимович. По настоящему, он первый и открыл Дашу: он стал обучать тихого ребенка еще тогда когда Варвара Петровна о ней и не думала. Опять повторю: удивительно как к нему привязывались дети! Лизавета Николаевна Тушина училась у него с восьми лет до одиннадцати (разумеется Степан Трофимович учил ее без вознаграждения и ни за что бы не взял его от Дроздовых). Но он сам влюбился в прелестного ребенка и расказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира, земли, об истории человечества. Лекции о первобытных народах и о первобытном человеке были занимательнее арабских сказок. Лиза, которая млела за этими расказами, чрезвычайно смешно передразнивала у себя дома Степана Трофимовича. Тот узнал про это и раз подглядел ее врасплох. Сконфуженная Лиза бросилась к нему в объятия и заплакала. Степан Трофимович тоже, от восторга. Но Лиза скоро уехала, и осталась одна Даша. Когда к Даше стали ходить учителя, то Степан Трофимович оставил с нею свои занятия и мало-по-малу совсем перестал

обращать на нее внимание. Так продолжалось долгое время. Раз, когда уже ей было почти семнадцать лет, он был вдруг поражен ее миловидностию. Это случилось за столом у Варвары Петровны. Он заговорил с молодою девушкой, был очень доволен ее ответами и кончил предложением прочесть ей серьезный и обширный курс истории русской литературы. Варвара Петровна похвалила и поблагодарила его за прекрасную мысль, а Даша была в восторге. Степан Трофимович стал особенно приготовляться к лекциям, и наконец они наступили. Начали с древнейшего периода; первая лекция прошла увлекательно; Варвара Петровна присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и уходя объявил ученице что в следующий раз приступит к разбору *Слова о полку Игореве*, Варвара Петровна вдруг встала и объявила что лекций больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал, Даша вспыхнула; тем и кончилась однакоже затея. Произошло это ровно за три года до теперешней неожиданной фантазии Варвары Петровны.

Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не предчувствовал. В грустном раздумьи давно уже поглядывал он в окно, не подойдет ли кто из знакомых. Но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно; надо было протопить печку; он вздохнул. Вдруг страшное видение предстало его очам: Варвара Петровна в такую погоду и в такой неурочный час к нему! И пешком! Он до того был поражен что забыл переменить костюм и принял ее как был, в своей всегдашней, розовой ватной фуфайке.

— Ma bonne amie!..[1] слабо крикнул он ей навстречу.

— Вы одни, я рада: терпеть не могу ваших друзей! Как вы всегда накурите, господи, что за воздух! Вы и чай не допили, а на дворе двенадцатый час! Ваше блаженство — беспорядок! Ваше наслаждение — сор! Что это за разорванные бумажки на полу? Настасья, Настасья! Что делает ваша Настасья? Отвори, матушка, окна, форточки, двери,

[1] [Мой добрый друг!..]

все настежь. А мы в залу пойдемте; я к вам за делом. Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка!

— Сорят-с!— раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья.

— А ты мети, пятнадцать раз в день мети! Дрянная у вас зала (когда вышли в залу). Затворите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылала обойщика с обращиками, что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же, наконец, прошу вас. Куда же вы? Куда же вы? Куда же вы!

— Я.... сейчас, крикнул из другой комнаты Степан Трофимович,— вот я и опять!

— А, вы переменили костюм! насмешливо оглядела она его. (Он накинул сюртук сверх фуфайки.) Этак действительно будет более подходить.... к нашей речи. Садитесь же, наконец, прошу вас.

Она объяснила ему все сразу, резко и убедительно. Намекнула и о восьми тысячах, которые были ему до зарезу нужны. Подробно расказала о приданом. Степан Трофимович таращил глаза и трепетал. Слышал все, но ясно не мог сообразить. Хотел заговорить, но все обрывался голос. Знал только что все так и будет как она говорит, что возражать и не соглашаться дело пустое, а он женатый человек безвозвратно.

— Mais, ma bonne amie [1], в третий раз и в моих летах... и с таким ребенком! проговорил он наконец.— Mais c'est une enfant! [2]

— Ребенок, которому двадцать лет, слава богу! Не вертите пожалуста зрачками, прошу вас, вы не на театре. Вы очень умны и учены, но ничего не понимаете в жизни, за вами постоянно должна нянька ходить. Я умру, и что с вами будет? А она будет вам хорошею нянькой; это девушка скромная, твердая, рассудительная; к тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастли-

[1] [Но, добрый друг мой]
[2] [Ведь это же ребенок!]

вая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы если я сама вам говорю что она ангел кротости! вдруг яростно вскричала она.— У вас сор, она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало.... Э, да неужто же вы мечтаете что я еще кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! Да вы должны бы на коленях.... О, пустой, пустой, малодушный человек!

— Но.... я уже старик!

— Что значат ваши пятьдесят три года? Пятьдесят лет не конец, а половина жизни. Вы красивый мущина, и сами это знаете. Вы знаете тоже, как она вас уважает. Умри я, что с нею будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение, имя, любящее сердце; вы получаете пенсион, который я считаю своею обязанностию. Вы может-быть спасете ее, спасете! Во всяком случае честь доставите. Вы сформируете ее к жизни, разовьете ее сердце, направите мысли. Нынче сколько погибают оттого что дурно направлены мысли! К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните.

— Я именно, пробормотал он уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны,— я именно собираюсь теперь присесть за мои *Рассказы из испанской истории*....

— Ну, вот видите, как раз и сошлось.

— Но... она? Вы ей говорили?

— О ней не беспокойтесь, да и нечего вам любопытствовать. Конечно вы должны ее сами просить, умолять сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите....

У Степана Трофимовича закружилась голова; стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея с которою он никак не мог сладить.

— Excellente amie![1] задрожал вдруг его голос,— я.... я никогда не мог вообразить что вы решитесь выдать меня.... за другую.... женщину!

[1] [Драгоценный друг!]

— Вы не девица, Степан Трофимович; только девиц выдают, а вы сами женитесь, ядовито прошипела Варвара Петровна.

— Oui, j'ai pris un mot pour un autre. Mais.... c'est égal[1], уставился он на нее с потерянным видом.

— Вижу, что c'est égal, презрительно процедила она,— господи! да с ним обморок! Настасья, Настасья! воды!

Но до воды не дошло. Он очнулся. Варвара Петровна взяла свой зонтик.

— Я вижу что с вами теперь нечего говорить....

— Oui, oui, je suis incapable[2].

— Но к завтраму вы отдохнете и обдумаете. Сидите дома, если что случится дайте знать, хотя бы ночью. Писем не пишите, и читать не буду. Завтра же в это время приду сама, одна, за окончательным ответом, и надеюсь, что он будет удовлетворителен. Постарайтесь чтобы никого не было, и чтобы сору не было, а это на что похоже? Настасья, Настасья!

Разумеется назавтра он согласился; да и не мог не согласиться. Тут было одно особое обстоятельство....

VIII.

Так-называемое у нас имение Степана Трофимовича (душ пятьдесят по старинному счету, и смежное со Скворешниками) было вовсе не его, а принадлежало первой его супруге, а стало-быть теперь их сыну, Петру Степановичу Верховенскому. Степан Трофимович только опекунствовал, а потому, когда птенец оперился, действовал по формальной от него доверенности на управление имением. Сделка для молодого человека была выгодная: он получал с отца в год до тысячи рублей в виде дохода с имения, тогда как оно при новых порядках не давало и пятисот (а может-быть и того менее). Бог знает как установились подобные отношения. Впрочем,

[1] [Да, я употребил одно слово вместо другого. Но... это безразлично]

[2] [Да, да, я не в состоянии]

всю эту тысячу целиком высылала Варвара Петровна, а Степан Трофимович ни единым рублем в ней не участвовал. Напротив, весь доход с земпицы оставлял у себя в кармане, и кроме того разорил ее в конец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и, тихонько от Варвары Петровны, продав на сруб рощу, то-есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками. Вся она стоила по крайней мере тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрежетала зубами когда, наконец, обо всем узнала. И вдруг теперь сынок извещал что приедет сам продать свои владения во что бы то ни стало, а отцу поручал неотлагательно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве и бескорыстии Степана Трофимовича, ему стало совестно пред ce cher enfant[1] (которого он в последний раз видел целых девять лет тому назад, в Петербурге, студентом). Первоначально все имение могло стоить тысяч тринадцать или четырнадцать, теперь вряд ли кто бы дал за него и пять. Без сомнения, Степан Трофимович имел полное право, по смыслу формальной доверенности, продать лес и, поставив в счет тысячерублевый невозможный ежегодный доход, столько лет высылавшийся аккуратно, сильно оградить себя при расчете. Но Степан Трофимович был благороден, со стремлениями высшими. В голове его мелькнула одна удивительно-красивая мысль: когда приедет Петруша, вдруг благородно выложить на стол самый высший maximum цены, то-есть даже пятнадцать тысяч, без малейшего намека на высылавшиеся до сих пор суммы и крепко-крепко, со слезами, прижать к груди ce cher fils[2], чем и покончить все счеты. Отдаленно и осторожно начал он развертывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи.... их „идее“. Это выставило бы в таком бескорыстном и вели-

[1] [этим дорогим ребенком]
[2] [этого дорогого сына]

кодушном виде прежних отцов и вообще прежних людей, сравнительно с новою легкомысленною и социальною молодежью. Много еще он говорил, но Варвара Петровна все отмалчивалась. Наконец сухо объявила ему, что согласна купить их землю и даст за нее maximum цены, то-есть тысяч шесть, семь (и за четыре можно было купить). Об остальных же восьми тысячах, улетевших с рощей, не сказала ни слова.

Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражен и начал задумываться. Прежде еще могла быть надежда что сынок пожалуй и совсем не приедет,—то-есть надежда судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы там ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам все такие странные слухи. Сначала, кончив курс в университете, лет шесть тому назад, он слонялся в Петербурге без дела. Вдруг получилось у нас известие что он участвовал в составлении какой-то подметной прокламации и притянут к делу. Потом, что он очутился вдруг за границей, в Швейцарии, в Женеве,—бежал, чего доброго.

— Удивительно мне это, проповедывал нам тогда Степан Трофимович, сильно сконфузившийся,—Петруша c'est une si pauvre tête![1] Он добр, благороден, очень чувствителен, и я так тогда, в Петербурге, порадовался, сравнив его с современною молодежью, но c'est un pauvre sire tout de même....[2] И знаете, все от той же недосиженности, сентиментальности! Их пленяет не реализм, а чувствительная, идеальная сторона социализма, так-сказать, религиозный оттенок его, поэзия его..... с чужого голоса разумеется. И однако мне-то, мне каково! У меня здесь столько врагов, *там* еще более, припишут влиянию отца.... Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!

Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии, для обычной ему высылки денег: стало-быть,

[1] [это такая слабая голова!]
[2] [это все-таки убогий человек...]

не совсем же был эмигрантом. И вот теперь, пробыв за границей года четыре, вдруг появляется опять в своем отечестве и извещает о скором своем прибытии: стало-быть ни в чем не обвинен. Мало того, даже как будто кто-то принимал в нем участие и покровительствовал ему. Он писал теперь с юга России, где находился по чьему-то частному, но важному поручению и об чем-то там хлопотал. Все это было прекрасно, но однако где же взять остальные семь-восемь тысяч чтобы составить приличный maximum цены за имение? А что если подымется крик, и вместо величественной картины дойдет до процесса? Что-то говорило Степану Трофимовичу что чувствительный Петруша не отступится от своих интересов. „Почему это, я заметил“, шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, „почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник.... почему это? Неужели тоже от сентиментальности?“ Я не знаю есть ли правда в этом замечании Степана Трофимовича; я знаю только что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимович знал что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу; писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде, прислал два письма, почти одно за другим. Все письма его были коротенькие, сухие, состояли из одних лишь распоряжений, и так как отец с сыном еще с самого Петербурга были по модному, на *ты*, то и письма Петруши решительно имели вид тех старинных предписаний прежних помещиков из столицы их дворовым людям, поставленным ими в управляющие их имений. И вдруг теперь эти восемь тысяч, разрешающие дело, вылетают из предложения Варвары Петровны, и при этом она дает ясно почувствовать что они ни откуда более и не могут вылететь. Разумеется, Степан Трофимович согласился.

Он тотчас же по ее уходе прислал за мной, а от всех дру-

гих заперся на весь день. Конечно поплакал, много и хорошо говорил, много и сильно сбивался, сказал случайно каламбур и остался им доволен, потом была легкая холерина,— одним словом, все произошло в порядке. После чего он вытащил портрет своей, уже двадцать лет тому назад скончавшейся Немочки, и жалобно начал взывать: „Простишь ли ты меня?“ Вообще он был как-то сбит с толку. С горя мы немножко и выпили. Впрочем, он скоро и сладко заснул. На утро мастерски подвязал себе галстук, тщательно оделся и часто подходил смотреться в зеркало. Платок спрыснул духами, впрочем, лишь чуть-чуть, и только завидел Варвару Петровну в окно, поскорей взял другой платок, а надушенный спрятал под подушку.

— И прекрасно! похвалила Варвара Петровна, выслушав его согласие.— Вопервых, благородная решимость, а вовторых, вы вняли голосу рассудка, которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, прибавила она, разглядывая узел его белого галстука,— покамест молчите, и я буду молчать. Скоро день вашего рождения; я буду у вас вместе с нею. Сделайте вечерний чай, и пожалуста без вина и без закусок; впрочем я сама все устрою. Пригласите ваших друзей,— впрочем мы вместе сделаем выбор. Накануне вы с нею переговорите, если надо будет; а на вашем вечере мы не то что объявим, или там сговор какой-нибудь сделаем, а только так намекнем или дадим знать, безо всякой торжественности. А там недели через две и свадьба, по возможности без всякого шума.... Даже обоим вам можно бы и уехать на время, тотчас из-под венца, хоть в Москву например. Я тоже может-быть с вами поеду.... А главное до тех пор молчите.

Степан Трофимович был удивлен. Он заикнулся было что невозможно же ему так, что надо же переговорить с невестой, но Варвара Петровна раздражительно на него накинулась:

— Это зачем? Вопервых, ничего еще может-быть и не будет....

— Как не будет! пробормотал жених, совсем уже ошеломленный.

— Так. Я еще посмотрю.... А впрочем все так будет как я сказала, и не беспокойтесь, я сама ее приготовлю. Вам совсем незачем. Все нужное будет сказано и сделано, а вам туда незачем. Для чего? Для какой роли? И сами не ходите и писем не пишите. И ни слуху ни духу, прошу вас. Я тоже буду молчать.

Она решительно не хотела объясниться и ушла видимо расстроенная. Кажется чрезмерная готовность Степана Трофимовича поразила ее. Увы, он решительно не понимал своего положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив явился какой-то новый тон, что-то победоносное и легкомысленное. Он куражился:

— Это мне нравится! восклицал он, останавливаясь предо мной и разводя руками,— вы слышали? Она хочет довести до того чтоб я наконец не захотел. Ведь я тоже могу терпение потерять и.... не захотеть! „Сидите и нечего вам туда ходить", но почему я, наконец, непременно должен жениться? Потому только что у ней явилась смешная фантазия? Но я человек сериозный, и могу не захотеть подчиниться праздным фантазиям взбалмошной женщины! У меня есть обязанности к моему сыну и.... и к самому себе! Я жертву приношу — понимает ли она это? Я может-быть потому согласился что мне наскучила жизнь и мне все равно. Но она может меня раздражить, и тогда мне будет уже не все равно; я обижусь и откажусь. Et enfin le ridicule....[1] Что скажут в клубе? Что скажет.... Липутин? „Может ничего еще и не будет" — каково! Но ведь это верх! Это ужь.... это что же такое? — Je suis un forçat, un Badinguet[2], un припертый к стене человек!...

И в то же время какое-то капризное самодовольствие, что-то легкомысленно-игривое проглядывало среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили.

[1] [И наконец смешная сторона...]
[2] [Я каторжник, я Баденге, я —]

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Чужие грехи.

I.

Прошло с неделю и дело начало несколько раздвигаться.

Замечу вскользь что в эту несчастную неделю я вынес много тоски,— оставаясь почти безотлучно подле бедного сосватанного друга моего, в качестве ближайшего его конфидента. Тяготил его, главное, стыд, хотя мы в эту неделю никого не видали и все сидели одни; но он стыдился даже и меня, и до того что чем более сам открывал мне, тем более и досадовал на меня за это. По мнительности же подозревал что все уже всем известно, всему городу, и не только в клубе, но даже в своем кружке боялся показаться. Даже гулять выходил, для необходимого моциону, только в полные сумерки, когда уже совершенно темнело.

Прошла неделя, а он все еще не знал жених он или нет и никак не мог узнать об этом наверно, как ни бился. С невестой он еще не видался, даже не знал невеста ли она ему; даже не знал есть ли тут во всем этом хоть что-нибудь сериозное! К себе почему-то Варвара Петровна решительно не хотела его допустить. На одно из первоначальных писем его (а он написал их к ней множество) она прямо ответила ему просьбой избавить ее на время от всяких с ним сношений,

потому что она занята, а имея и сама сообщить ему много очень важного, нарочно ждет для этого более свободной, чем теперь, минуты, и сама даст ему *современем* знать когда к ней можно будет придти. Письма же обещала присылать обратно нераспечатанными, потому что это „одно только баловство“. Эту записку я сам читал; он же мне и показывал.

И однако все эти грубости и неопределенности, все это было ничто в сравнении с главною его заботой. Эта забота мучила его чрезвычайно, неотступно; от нее он худел и падал духом. Это было нечто такое чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить даже со мной; напротив при случае лгал и вилял предо мной как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне как в воде или в воздухе.

Такое поведение оскорбляло несколько мое самолюбие. Само собою разумеется что я давно уже угадал про себя эту главную тайну его и видел все насквозь. По глубочайшему тогдашнему моему убеждению, обнаружение этой тайны, этой главной заботы Степана Трофимовича, не прибавило бы ему чести, и потому я, как человек еще молодой, несколько негодовал на грубость чувств его и на некрасивость некоторых его подозрений. Сгоряча,—и признаюсь от скуки быть конфидентом,—я может-быть слишком обвинял его. По жестокости моей я добивался его собственного признания предо мною во всем, хотя впрочем и допускал что признаваться в иных вещах пожалуй и затруднительно. Он тоже меня насквозь понимал, то-есть ясно видел что я понимаю его насквозь и даже злюсь на него, и сам злился на меня за то что я злюсь на него и понимаю его насквозь. Пожалуй раздражение мое было мелко и глупо; но взаимное уединение чрезвычайно иногда вредит истинной дружбе. С известной точки он верно понимал некоторые стороны своего положения и даже весьма тонко определял его в тех пунктах в которых таиться не находил нужным.

— О, такова ли она была тогда! проговаривался он иногда мне о Варваре Петровне.—Такова ли она была прежде, когда

мы с нею говорили.... Знаете ли вы что тогда она умела еще говорить? Можете ли вы поверить что у нее тогда были мысли, свои мысли. Теперь все переменилось! Она говорит что все это одна только старинная болтовня! Она презирает прежнее.... Теперь она какой-то прикащик, эконом, ожесточенный человек, и все сердится....

— За что же ей теперь сердиться, когда вы исполнили ее требование? возразил я ему.

Он тонко посмотрел на меня.

— Cher ami[1], еслиб я не согласился, она бы рассердилась ужасно, ужа-а-сно! но все-таки менее чем теперь, когда я согласился.

Этим словечком своим он остался доволен, и мы роспили в тот вечер бутылочку. Но это было только мгновение; на другой день он был ужаснее и угрюмее чем когда-либо.

Но всего более досадовал я на него за то что он не решался даже пойти сделать необходимый визит приехавшим Дроздовым, для возобновления знакомства, чего, как слышно, они и сами желали, так как спрашивали уже о нем, о чем и он тосковал каждодневно. О Лизавете Николаевне он говорил с каким-то непонятным для меня восторгом. Без сомнения, он вспоминал в ней ребенка, которого так когда-то любил; но кроме того он, неизвестно почему, воображал что тотчас же найдет подле нее облегчение всем своим настоящим мукам и даже разрешит свои важнейшие сомнения. В Лизавете Николаевне он предполагал встретить какое-то необычайное существо. И все-таки к ней не шел, хотя и каждый день собирался. Главное было в том что мне самому ужасно хотелось тогда быть ей представленным и отрекомендованным, в чем мог я расчитывать единственно на одного лишь Степана Трофимовича. Чрезвычайное впечатление производили на меня тогда частые встречи мои с нею, разумеется на улице,— когда она выезжала прогуливаться верхом, в амазонке и на прекрасном коне, в сопровождении так называемого родственника ее, красивого офи-

[1] [Дорогой друг].

цера, племянника покойного генерала Дроздова. Ослепление мое продолжалось одно лишь мгновение, и я сам очень скоро потом сознал всю невозможность моей мечты,— но хоть мгновение, а оно существовало действительно, а потому можно себе представить как негодовал я иногда в то время на бедного друга моего за его упорное затворничество.

Все наши еще с самого начала были официально предуведомлены о том что Степан Трофимович некоторое время принимать не будет и просит оставить его в совершенном покое. Он настоял на циркулярном предуведомлении, хотя я и отсоветывал. Я же и обошел всех, по его просьбе, и всем наговорил что Варвара Петровна поручила нашему „старику“ (так все мы между собою звали Степана Трофимовича), какую-то экстренную работу, привести в порядок какую-то переписку за несколько лет; что он заперся, а я ему помогаю и пр. и пр. К одному только Липутину я не успел зайти и все откладывал,— а вернее сказать я боялся зайти. Я знал вперед что он ни одному слову моему не поверит, непременно вообразит себе что тут секрет, который собственно от него одного хотят скрыть, и только-что я выйду от него, тотчас же пустится по всему городу разузнавать и сплетничать. Пока я все это себе представлял, случилось так что я нечаянно столкнулся с ним на улице. Оказалось что он уже обо всем узнал от наших, мною только-что предуведомленных. Но, странное дело, он не только не любопытствовал и не расспрашивал о Степане Трофимовиче, а напротив сам еще прервал меня, когда я стал было извиняться что не зашел к нему раньше, и тотчас же перескочил на другой предмет. Правда, у него накопилось что̀ рассказать; он был в чрезвычайно возбужденном состоянии духа и обрадовался тому что поймал во мне слушателя. Он стал говорить о городских новостях, о приезде губернаторши „с новыми разговорами“, об образовавшейся уже в клубе оппозиции, о том что все кричат о новых идеях, и как это ко всем пристало, и пр. пр. Он проговорил с четверть часа, и так забавно что я не мог оторваться. Хотя я терпеть его не мог, но сознаюсь что у него

был дар заставить себя слушать и особенно когда он очень на что-нибудь злился. Человек этот, по моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось что главною чертой его характера была зависть. Когда я, в тот же вечер, передал Степану Трофимовичу о встрече утром с Липутиным и о нашем разговоре,— тот, к удивлению моему, чрезвычайно взволновался и задал мне дикий вопрос: „знает Липутин или нет.“ Я стал ему доказывать что возможности не было узнать так скоро, да и не от кого; но Степан Трофимович стоял на своем:

— Вот верьте иль нет,— заключил он под конец неожиданно,— а я убежден что ему не только уже известно все со всеми подробностями о *нашем* положении, но что он и еще что-нибудь сверх того знает, что-нибудь такое чего ни вы, ни я еще не знаем, а может-быть никогда и не узнаем, или узнаем когда уже будет поздно, когда уже нет возврата!...

Я промолчал, но слова эти на многое намекали. После того, целых пять дней мы ни слова не упоминали о Липутине; мне ясно было что Степан Трофимович очень жалел о том что обнаружил предо мною такие подозрения и проговорился.

II.

Однажды поутру,— то-есть на седьмой или восьмой день после того как Степан Трофимович согласился стать женихом,— часов около одиннадцати, когда я спешил, по обыкновению, к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение.

Я встретил Кармазинова, „великого писателя“, как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и расказы известны всему прошлому и даже нашему поколению; я же упивался ими; они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу;

повести с направлением, которые он все писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии; а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились.

Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки, принимаемые по обыкновению при жизни их чуть не за гениев,— не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается что даже и при жизни их, чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то при котором они действовали,— забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то что с Пушкиными, Гоголями, Мольерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями приходившими сказать свое новое слово! Правда и то что и сами эти господа таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих, обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается что писатель которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и сериозного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться. Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их, именно под конец их поприща, принимает иногда размеры достойные удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя,— по крайней мере за богов. Про Кармазинова раскаазывали что он дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны и, ужь разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке которого он боится,

он почтет священнейшим долгом забыть вас с самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти; он серьозно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят, самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, то он обижался болезненно и старался отмстить.

С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную с страшною претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем и видел как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целию выставить себя самого. Так и читалось между строками: „Интересуйтесь мною, смотрите каков я был в эти минуты. Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной; вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад; я жмурю глаза — не правда ли как это интересно?“ Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился.

Когда пошли у нас недавние слухи что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать и, если возможно, с ним познакомиться. Я знал что мог бы это сделать чрез Степана Трофимовича; они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его, мне уже его показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей.

Это был очень не высокий, чопорный старичок, лет впрочем не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком,

с густыми седенькими локончиками, выбившимися из под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитро сложенными губами, с несколько мясистым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще в накидку, какой например носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в северной Италии. Но по крайней мере все мелкие вещицы его костюма: запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек, непременно были такие же как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных, плюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском, спросил меня:

— Позвольте узнать как мне ближе выйти на Быкову улицу?

— На Быкову улицу? Да это здесь, сейчас же, вскричал я в необыкновенном волнении.— Все прямо по этой улице и потом второй поворот налево.

— Очень вам благодарен.

Проклятие на эту минуту: я кажется оробел и смотрел подобострастно! Он мигом все это заметил и конечно тотчас же все узнал, то-есть узнал что мне уже известно кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо как я указал ему. Не знаю для чего я поворотил за ним назад; не знаю для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился.

— А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извощики? прокричал он мне опять.

Скверный крик; скверный голос!

— Извощики? Извощики всего ближе отсюда... у собора стоят, там всегда стоят,— и вот я чуть было не повернулся бежать за извощиком. Я подозреваю что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною все с тою же скверною улыбкой. Тут случилось то чего я никогда не забуду.

Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или еще лучше, ридикюльчик, в роде старинных дамских ридикюлей, впрочем не знаю что это было, но знаю только что я, кажется, бросился его подымать.

Я совершенно убежден что я его не поднял, но первое движение сделанное мною было неоспоримо; скрыть его я уже не мог и покраснел как дурак. Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства все что ему можно было извлечь.

— Не беспокойтесь, я сам, очаровательно проговорил он, то-есть когда уже вполне заметил что я не подниму ему ридикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своею дорогой, оставив меня в дураках. Было все равно как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и на веки опозоренным; но подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавною что я немедленно решил потешить расказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.

III.

Но на этот раз, к удивлению моему, я застал его в чрезвычайной перемене. Он, правда, с какою-то жадностию набросился на меня только-что я вошел, и стал меня слушать, но с таким растерянным видом что сначала видимо не понимал моих слов. Но только-что я произнес имя Кармазинова, он совершенно вдруг вышел из себя.

— Не говорите мне, не произносите! воскликнул он чуть не в бешенстве,— вот, вот смотрите, читайте! читайте!

Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро карандашом, все от Варвары Петровны. Первая записка была от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит. Вот первая, от третьего дня (вероятно была и от четвертого дня, а может-быть и от пятого):

„Если он наконец удостоит вас сегодня, то обо мне прошу ни слова. Ни малейшего намека. Не заговаривайте и не напоминайте.

„В. С.“

Вчерашняя:

„Если он решится, наконец, сегодня утром вам сделать визит, всего благороднее, я думаю, совсем не принять его. Так по-моему, не знаю как по-вашему.

„В. С.“

Сегодняшняя, последняя:

„Я убеждена что у вас сору целый воз и дым столбом от табаку. Я вам пришлю Марью и Фомушку; они в полчаса приберут. А вы не мешайте и посидите в кухне пока прибирают. Посылаю бухарский ковер и две китайские вазы; давно собиралась вам подарить, и сверх того моего Теньера (на время). Вазы можно поставить на окошко, а Теньера повесьте справа над портретом Гете, там виднее и по утрам всегда свет. Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом как будто вы вчера только расстались. Обо мне ни слова. Может-быть зайду взглянуть у вас вечером.

„В. С.“

„P. S. Если и сегодня не приедет, то совсем не приедет.“

Я прочел и удивился что он в таком волнении от таких пустяков. Взглянув на него вопросительно, я вдруг заметил что он, пока я читал, успел переменить свой всегдашний белый галстук на красный. Шляпа и палка его лежали на столе. Сам же был бледен и даже руки его дрожали.

— Я знать не хочу ее волнений! исступленно вскричал он, отвечая на мой вопросительный взгляд.— Je m'en fiche! [1] Она имеет дух волноваться о Кармазинове, а мне на мои письма не отвечает! Вот, вот нераспечатанное письмо мое которое она вчера воротила мне, вот тут на столе, под книгой, под *l'Homme qui rit* [2]. Какое мне дело что она убивается о Ни-ко-леньке! Je m'en fiche et je proclame ma liberté! Au diable le Karmazinoff! Au diable la Lembke! [3] Я вазы спрятал в переднюю, а Теньера в комод, а от нее потребовал чтоб она сейчас же приняла меня. Слышите: потребовал! Я послал ей такой же клочок бумаги, карандашом, незапечатанный, с Настасьей, и жду. Я хочу чтобы Дарья Павловна сама объявила мне из своих уст и пред лицом неба, или по крайней мере пред вами. Vous me seconderez n'est ce pas, comme ami et témoin [4]. Я не хочу краснеть, я не хочу лгать, я не хочу тайн, я не допущу тайн в этом деле! Пусть мне во всем признаются, откровенно, простодушно, благородно, и тогда.... тогда я может-быть удивлю все поколение великодушием!... Подлец я или нет, милостивый государь? заключил он вдруг, грозно смотря на меня, как будто я-то и считал его подлецом.

Я попросил его выпить воды; я еще не видал его в таком виде. Все время пока говорил, он бегал из угла в угол по комнате, но вдруг остановился предо мной в какой-то необычайной позе.

— Неужели вы думаете, начал он опять с болезненным высокомерием, оглядывая меня с ног до головы,— неужели вы можете предположить что я, Степан Верховенский, не найду в себе столько нравственной силы, чтобы, взяв мою коробку,— нищенскую коробку мою!— и взвалив ее на слабые плечи, выйти за ворота и исчезнуть отсюда на веки, когда того потребует честь и великий принцип независимости? Степану Вер-

[1] [Я пренебрегаю этим!]
[2] [„Человек, который смеется"]
[3] [Пренебрегаю и провозглашаю свою свободу! К чорту Кармазинова! К чорту губернаторшу!]
[4] [Вы будете сопровождать меня, не правда ли, в качестве друга и свидетеля.]

ховенскому не в первый раз отражать деспотизм великодушием, хотя бы и деспотизм сумашедшей женщины, то-есть самый обидный и жестокий деспотизм, какой только может осуществиться на свете, несмотря на то что вы сейчас, кажется, позволили себе усмехнуться словам моим, милостивый государь мой! О, вы не верите что я смогу найти в себе столько великодушия чтобы суметь кончить жизнь у купца гувернером или умереть с голоду под забором! Отвечайте, отвечайте немедленно: верите вы или не верите?

Но я смолчал нарочно. Я даже сделал вид что не решаюсь обидеть его ответом отрицательным, но не могу отвечать утвердительно. Во всем этом раздражении было нечто такое что решительно обижало меня, и не лично, о, нет! Но.... я потом объяснюсь.

Он даже побледнел.

— Может-быть вам скучно со мной, Г—в (это моя фамилия), и вы бы желали.... не приходить ко мне вовсе? проговорил он тем тоном бледного спокойствия который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. Я вскочил в испуге; в то же мгновение вошла Настасья и молча протянула Степану Трофимовичу бумажку на которой написано было что-то карандашом. Он взглянул и перебросил мне. На бумажке рукой Варвары Петровны написаны были всего только два слова: „сидите дома“.

Степан Трофимович молча схватил шляпу и палку и быстро пошел из комнаты; я машинально за ним. Вдруг голоса и шум чьих-то скорых шагов послышались в корридоре. Он остановился как пораженный громом.

— Это Липутин, и я пропал! прошептал он, схватив меня за руку.

В ту же минуту в комнату вошел Липутин.

IV.

Почему бы он пропал от Липутина, я не знал, да и цены не придавал слову; я все приписывал нервам. Но все-

таки испуг его был необычайный, и я решился пристально наблюдать.

Ужь один вид входившего Липутина заявлял что на этот раз он имеет особенное право войти, несмотря на все запрещения. Он вел за собою одного неизвестного господина, должно-быть приезжего. В ответ на бессмысленный взгляд остолбеневшего Степана Трофимовича, он тотчас же и громко воскликнул:

— Гостя веду, и особенного! Осмеливаюсь нарушить уединение. Господин Кирилов, замечательнейший инженер-строитель. А главное сынка вашего знают, многоуважаемого Петра Степановича; очень коротко-с; и поручение от них имеют. Вот только-что пожаловали.

— О поручении вы прибавили, резко заметил гость,— поручения совсем не бывало, а Верховенского я, вправде, знаю. Оставил в Х—ской губернии, десять дней пред нами.

Степан Трофимович машинально подал руку и указал садиться; посмотрел на меня, посмотрел на Липутина, и вдруг, как бы опомнившись, поскорее сел сам, но все еще держа в руке шляпу и палку и не замечая того.

— Ба, да вы сами на выходе! А мне-то ведь сказали что вы совсем прихворнули от занятий.

— Да, я болен, и вот теперь хотел гулять, я.... Степан Трофимович остановился, быстро откинул на диван шляпу и палку, и — покраснел.

Я между тем наскоро рассматривал гостя. Это был еще молодой человек, лет около двадцати семи, прилично одетый, стройный и сухощавый брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску. Он казался несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не граматически, как-то странно переставлял слова и путался если приходилось составить фразу подлиннее. Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был доволен. Он уселся на плетеном стуле, который вытащил чуть не на средину комнаты, чтобы находиться в одинаковом расстоянии между хозяином и гостем,

разместившимися один против другого на двух противоположных диванах. Вострые глаза его с любопытством шныряли по всем углам.

— Я.... давно уже не видал Петрушу.... Вы за границей встретились? пробормотал кое-как Степан Трофимович гостю.

— И здесь и за границей.

— Алексей Нилыч сами только-что из-за границы, после четырехлетнего отсутствия, подхватил Липутин;—ездили для усовершенствования себя в своей специальности, и к нам прибыли, имея основание надеяться получить место при постройке нашего железнодорожного моста, и теперь ответа ожидают. Они с господами Дроздовыми, с Лизаветой Николаевной знакомы через Петра Степановича.

Инженер сидел как будто нахохлившись и прислушивался с неловким нетерпением. Мне показалось что он был на что-то сердит.

— Они и с Николаем Всеволодовичем знакомы-с.

— Знаете и Николая Всеволодовича? осведомился Степан Трофимович.

— Знаю и этого.

— Я.... я чрезвычайно давно уже не видал Петрушу и.... так мало нахожу себя в праве называться отцом.... c'est le mot; я.... как же вы его оставили?

— Да так и оставил.... он сам приедет, опять поспешил отделаться господин Кирилов. Решительно он сердился.

— Приедет! Наконец-то я.... видите ли, я слишком давно уже не видал Петрушу! завяз на этой фразе Степан Трофимович;—жду теперь моего бедного мальчика, пред которым.... о, пред которым я так виноват! То-есть, я собственно хочу сказать что, оставляя его тогда в Петербурге, я.... одним словом, я считал его за ничто, quelque chose dans ce genre[1]. Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и.... боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы

[1] [нечто в этом роде]

ночью не умереть.... je m'en souviens. Enfin[1]. чувства изящного никакого, то-есть чего-нибудь высшего, основного, какого-нибудь зародыша будущей идеи.... c'était comme un petit idiot[2]. Впрочем, я сам кажется спутался, извините, я.... вы меня застали....

— Вы серьезно что он подушку крестил? с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.

— Да, крестил....

— Нет, я так; продолжайте.

Степан Трофимович вопросительно поглядел на Липутина.

— Я очень вам благодарен за ваше посещение, но признаюсь я теперь.... не в состоянии.... Позвольте однако узнать где квартируете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Ах, это там же где Шатов живет, заметил я невольно.

— Именно, в том же самом доме, воскликнул Липутин,— только Шатов на верху стоит, в мезонине, а они внизу поместились, у капитана Лебядкина. Они и Шатова знают, и супругу Шатова знают. Очень близко с нею за границей встречались.

— Comment![3] Так неужели вы что-нибудь знаете об этом несчастном супружестве de ce pauvre ami[4] и эту женщину? воскликнул Степан Трофимович, вдруг увлекшись чувством,— вас первого человека встречаю, лично знающего; и если только....

— Какой вздор! отрезал инженер весь вспыхнув,— как вы, Липутин, прибавляете! Ни как я не видал жену Шатова; раз только издали, а вовсе не близко.... Шатова знаю. Зачем же вы прибавляете разные вещи?

Он круто повернулся на диване, захватил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись попрежнему, с каким-то вызовом уставился своими черными вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я никак не мог понять такой странной раздражительности.

[1] [...вспоминаю. Наконец]
[2] [он был каким-то идиотиком]
[3] [Как!]
[4] [этого бедного друга]

— Извините меня, внушительно заметил Степан Трофимович,— я понимаю что это дело может быть деликатнейшим....

— Никакого тут деликатнейшего дела нет и даже это стыдно, а я не вам кричал что „вздор“, а Липутину, зачем он прибавляет. Извините меня если на свое имя приняли. Я Шатова знаю, а жену его совсем не знаю.... совсем не знаю!

— Я понял, понял и если настаивал, то потому лишь что очень люблю нашего бедного друга, notre irascible ami[1], и всегда интересовался.... Человек этот слишком круто изменил, на мой взгляд, свои прежние, может-быть слишком молодые, но все-таки правильные мысли. И до того кричит теперь об notre sainte Russie[2] разные вещи что я давно уже приписываю этот перелом в его организме — иначе назвать не хочу — какому-нибудь сильному семейному потрясению и именно неудачной его женитьбе. Я, который изучил мою бедную Россию как два мои пальца, а Русскому народу отдал всю мою жизнь, я могу вас заверить что он Русского народа не знает, и в добавок....

— Я тоже совсем не знаю Русского народа и.... вовсе нет времени изучать! отрезал опять инженер и опять круто повернулся на диване. Степан Трофимович осекся на половине речи.

— Они изучают, изучают, подхватил Липутин,— они уже начали изучение и составляют любопытнейшую статью о причинах участившихся случаев самоубийства в России и вообще о причинах учащающих или задерживающих распространение самоубийства в обществе. Дошли до удивительных результатов.

Инженер страшно взволновался.

— Это вы вовсе не имеете права, гневно забормотал он,— я вовсе не статью. Я не стану глупостей. Я вас конфиденциально спросил совсем нечаянно. Тут не статья вовсе; я не публикую, а вы не имеете права....

Липутин видимо наслаждался.

— Виноват-с, может-быть и ошибся называя ваш литературный труд статьей. Они только наблюдения собирают, а до

[1] [нашего вспыльчивого друга]
[2] [нашей святой Руси]

сущности вопроса или так-сказать до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют, для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше чем на последнем конгрессе мира потребовали. В этом смысле Алексей Нилыч дальше всех пошли.

Инженер слушал с презрительною и бледною улыбкой. С полминуты все помолчали.

— Все это глупо, Липутин, проговорил наконец г. Кирилов с некоторым достоинством.— Если я нечаянно сказал вам несколько пунктов, а вы подхватили, то как хотите. Но вы не имеете права, потому что я никогда никому не говорю. Я презираю чтобы говорить.... Если есть убеждения, то для меня ясно.... а это глупо что вы сделали. Я не рассуждаю об тех пунктах где совсем кончено. Я терпеть не могу рассуждать. Я никогда не хочу рассуждать....

— И может-быть прекрасно делаете, не утерпел Степан Трофимович.

— Я вам извиняюсь, но я здесь ни на кого не сержусь, продолжал гость горячею скороговоркой; — я четыре года видел мало людей.... Я мало четыре года разговаривал и старался не встречать, для моих целей, до которых нет дела, четыре года. Липутин это нашел и смеется. Я понимаю и не смотрю. Я не обидлив, а только досадно на его свободу. А если я с вами не излагаю мыслей, заключил он неожиданно и обводя всех нас твердым взглядом, то вовсе не с тем что боюсь от вас доноса правительству; это нет; пожалуста не подумайте пустяков в этом смысле....

На эти слова уже никто ничего не ответил, а только переглянулись. Даже сам Липутин позабыл хихикнуть.

— Господа, мне очень жаль, с решимостью поднялся с дивана Степан Трофимович,— но я чувствую себя нездоровым и расстроенным. Извините.

— Ах это чтоб уходить, спохватился господин Кирилов,

схватывая картуз,— это хорошо что сказали, а то я задумчив.

Он встал и с простодушным видом подошел с протянутою рукой к Степану Трофимовичу.

— Жаль что вы нездоровы, а я пришел.

— Желаю вам всякого у нас успеха, отвечал Степан Трофимович, доброжелательно и неторопливо пожимая его руку.— Понимаю что если вы, по вашим словам, так долго прожили за границей, чуждаясь для своих целей людей и — забыли Россию, то конечно вы на нас, коренных Русаков, поневоле должны смотреть с удивлением, а мы равномерно на вас. Mais cela passera[1]. В одном только и затрудняюсь: Вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!

— Как? Как это вы сказали.... ах чорт! воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее. Липутин потирал руки в восторге от удачного словца Степана Трофимовича. А я все дивился про себя: чего Степан Трофимович так испугался Липутина и почему вскричал: „я пропал", услыхав его.

V.

Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся.

— Это все оттого они так угрюмы сегодня, ввернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и так сказать на лету,— оттого что с капитаном Лебядкиным шум у них давеча вышел из-за сестрицы. Капитан Лебядкин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стегает, настоящей казацкой-с, по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилыч

[1] [Но это пройдет.]

в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну-с, до свиданья.

— Сестру? Больную? Нагайкой? так и вскрикнул Степан Трофимович,— точно его самого вдруг охлестнули нагайкой, какую сестру? Какой Лебядкин?

Давешний испуг воротился в одно мгновение.

— Лебядкин? А это отставной капитан; прежде он только штабс-капитаном себя называл....

— Э, какое мне дело до чина! Какую сестру? Боже мой.... вы говорите Лебядкин? Но ведь у нас был Лебядкин....

— Тот самый и есть, *наш* Лебядкин, вот, помните, у Виргинского?

— Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался?

— А вот и воротился, ужь почти три недели и при самых особенных обстоятельствах.

— Да ведь это негодяй!

— Точно у нас ужь и не может завестись негодяя? осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимовича.

— Ах, боже мой, я совсем не про то.... хотя впрочем о негодяе с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что жь дальше, дальше? Что вы хотели этим сказать?... Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!

— Да все это такие пустяки-с.... то-есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно затем только чтоб эту сестрицу свою розыскать, а та будто бы от него пряталась в неизвестном месте; ну а теперь привез, вот и вся история. Чего вы точно испугались, Степан Трофимович? Впрочем я все с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица эта не только сумашедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести, и за это вот господин Лебядкин, уже многие годы, будто бы с обольстителя ежегодную дань берет, в вознаграждение благородной обиды, так по крайней

мере из его болтовни выходит — а по моему, пьяные только слова-с. Просто хвастается. Да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно ужь верно; полторы недели назад на босу ногу ходил, а теперь, сам видел, сотни в руках. У сестрицы припадки какие-то ежедневные, визжит она, а он-то ее „в порядок приводит" нагайкой. В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занимают.

— Это все правда? обратился Степан Трофимович к инженеру.

— Вы очень болтаете, Липутин, пробормотал тот гневно.

— Тайны, секреты! Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось! не сдерживая себя восклицал Степан Трофимович.

Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты.

— Алексей Нилыч даже нагайку вырвали-с, изломали и в окошко выбросили и очень поссорились, прибавил Липутин.

— Зачем вы болтаете, Липутин, это глупо, зачем? мигом повернулся опять к ним Алексей Нилыч.

— Зачем же скрывать, из скромности, благороднейшие движения своей души, то-есть вашей души-с, я не про свою говорю.

— Как это глупо.... и совсем не нужно.... Лебядкин глуп и совершенно пустой — и для действия бесполезный и.... совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу.

— Ах как жаль! воскликнул Липутин с ясною улыбкой, — а то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотцем насмешил-с. Даже и шел с тем намерением чтобы сообщить, хотя вы впрочем наверно ужь и сами слышали. Ну да ужь в другой раз, Алексей Нилыч так торопятся.... До свиданья-с. С Варварой Петровной анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня, нарочно за мной посылала, просто умора. До свиданья-с.

Но ужь тут Степан Трофимович так и вцепился в него: он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил.

— Да как же-с? начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимовича с своего стула,— вдруг призвали меня и спрашивают „конфиденциально“ как я думаю в собственном мнении: помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме? Как же не удивительно?.

— Вы с ума сошли! пробормотал Степан Трофимович, и вдруг точно вышел из себя:

— Липутин, вы слишком хорошо знаете что только за тем и пришли чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и.... еще что-нибудь хуже!

В один миг припомнилась мне его догадка о том что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем.

— Помилуйте, Степан Трофимович! бормотал Липутин будто бы в ужасном испуге,— помилуйте....

— Молчите и начинайте! Я вас очень прошу, господин Кирилов, тоже воротиться и присутствовать, очень прошу! Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто.... и без малейших отговорок!

— Знал бы только что это вас так фрапирует, так я бы совсем и не начал-с.... А я-то ведь думал что вам уже все известно от самой Варвары Петровны!

— Совсем вы этого не думали! Начинайте, начинайте же, говорят вам!

— Только сделайте одолжение, присядьте ужь и сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною.... бегать. Не складно выйдет-с.

Степан Трофимович сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них.

— Да что̀ же начинать.... так сконфузились....

VI.

— Вдруг третьего дня присылают ко мне своего человека: просят дескать побывать вас завтра в двенадцать часов. Можете представить? Я дело бросил, и вчера ровнешенько в полдень звоню. Вводят меня прямо в гостиную; подождал с минутку — вышли; посадили, сами напротив сели. Сижу и верить отказываюсь; сами знаете как она меня всегда третировала! Начинают прямо без изворотов, по их всегдашней манере: Вы помните, говорит, что четыре года назад Николай Всеволодович, будучи в болезни, сделал несколько странных поступков, так что недоумевал весь город, пока все объяснилось. Один из этих поступков касался вас лично. Николай Всеволодович тогда к вам заезжал по выздоровлении и по моей просьбе. Мне известно тоже что он и прежде несколько раз с вами разговаривал. Скажите откровенно и прямодушно как вы.... (тут замялись немного) — как вы находили тогда Николая Всеволодовича.... Как вы смотрели на него вообще.... какое мнение о нем могли составить и.... теперь имеете?...

Тут уж совершенно замялись, так что даже переждали полную минутку и вдруг покраснели. Я перепугался. Начинают опять не то чтобы трогательным, к ним это нейдет, а таким внушительным очень тоном:

„Я желаю, говорит, чтобы вы меня хорошо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроумным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). Вы, говорит, поймете конечно и то что с вами говорит мать.... Николай Всеволодович испытал в жизни некоторые несчастия и многие перевороты. Все это, говорит, могло повлиять на настроение ума его. Разумеется, говорит, я не говорю про помешательство, этого никогда быть не может! (твердо и с гордостию высказано). Но могло быть нечто странное, особенное, некоторый оборот мыслей, наклонность к некоторому особому воззрению (все это точные слова их, и я подивился, Степан Трофимович, с какою точностию Варвара Петровна умеет объяс-

нить дело. Высокого ума дама!) По крайней мере, говорит, я сама заметила в нем некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям. Но я мать, а вы человек посторонний, значит способны, при вашем уме, составить более независимое мнение. Умоляю вас наконец (так и было выговорено: умоляю) сказать мне всю правду, безо всяких ужимок, и если вы при этом дадите мне обещание не забыть потом никогда что я говорила с вами конфиденциально, то можете ожидать моей совершенной и впредь всегдашней готовности отблагодарить вас при всякой возможности". Ну-с, каково-с!

— Вы.... вы так фрапировали меня.... пролепетал Степан Трофимович,—что я вам не верю....

— Нет заметьте, заметьте, подхватил Липутин, как бы и не слыхав Степана Трофимовича,— каково же должно быть волнение и беспокойство, когда с таким вопросом обращаются с такой высоты к такому человеку как я, да еще снисходят до того что сами просят секрета. Это что же-с? Ужь не получили ли известий каких-нибудь о Николае Всеволодовиче неожиданных?

— Я не знаю.... известий никаких.... я несколько дней не видался; но.... но замечу вам.... лепетал Степан Трофимович, видимо едва справляясь со своими мыслями,— но замечу вам, Липутин, что если вам передано конфиденциально, а вы теперь при всех....

— Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог если я.... А коли здесь.... так ведь что же-с? Разве мы чужие, взять даже хоть бы и Алексея Нилыча?

— Я такого воззрения не разделяю; без сомнения, мы здесь трое сохраним секрет, но вас, четвертого, я боюсь и не верю вам ни в чем!

— Да что вы это-с? Да я пуще всех заинтересован, ведь мне вечная благодарность обещана! А вот я именно хотел, по сему же поводу, на чрезвычайно странный случай один указать, более так-сказать психологический, чем просто странный. Вчера вечером, под влиянием разговора у Варвары Петровны (сами можете представить какое впечатление на меня

произвело), обратился я к Алексею Нилычу с отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей, и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, говорю, его находите относительно ума и способностей? Они и отвечают этак лаконически, по их манере, что дескать тонкого ума и со здравым суждением, говорят, человек. А не заметили ли вы, в течении лет, говорю, некоторого, говорю, как бы уклонения идей, или особенного оборота мыслей, или некоторого, говорю, как бы так-сказать помешательства? Одним словом, повторяю вопрос самой Варвары Петровны. Представьте же себе: Алексей Нилыч вдруг задумались и сморщились вот точно так как теперь: „Да, говорят, мне иногда казалось нечто странное". Заметьте при этом что если ужь Алексею Нилычу могло показаться нечто странное, то что̀ же на самом-то деле может оказаться, а?

— Правда это? обратился Степан Трофимович к Алексею Нилычу.

— Я желал бы не говорить об этом, отвечал Алексей Нилыч, вдруг поднимая голову и сверкая глазами,— я хочу оспорить ваше право, Липутин. Вы никакого не имеете права на этот случай про меня. Я вовсе не говорил моего всего мнения. Я хоть и знаком был в Петербурге, но это давно, а теперь хоть и встретил, но мало очень знаю Николая Ставрогина. Прошу вас меня устранить и.... и все это похоже на сплетню.

Липутин развел руками в виде угнетенной невинности.

— Сплетник! Да ужь не шпион-ли? Хорошо вам, Алексей Нилыч, критиковать, когда вы во всем себя устраняете. А вы вот не поверите, Степан Трофимович, чего ужь кажется-с капитан Лебядкин, ведь ужь кажется глуп как.... то-есть стыдно только сказать как глуп; есть такое одно русское сравнение, означающее степень; а ведь и он себя от Николая Всеволодовича обиженным почитает, хотя и преклоняется перед его остроумием· „Поражен, говорит, этим человеком: премудрый змий" (собственные слова). А я ему (все под тем же вчерашним влиянием и уже после разговора с Алексеем Нилычем): а что̀, говорю, капитан, как вы полагаете с своей стороны: помешан ваш премудрый змий или нет? Так верите-ли, точно

я его вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения; просто привскочил с места: „Да, говорит.... да, говорит, только это́, говорит, не может повлиять....“ на что̀ повлиять, не досказал; да так потом горестно задумался, так задумался что и хмель соскочил. Мы в Филипповом трактире сидели-с. И только через полчаса разве ударил вдруг кулаком по столу: „да, говорит, пожалуй он и помешан, только это не может повлиять....“ и опять не досказал на что̀ повлиять. Я вам, разумеется, только экстракт разговора передаю, но ведь мысль-то понятна; кого ни спроси, всем одна мысль приходит, хотя бы прежде никому и в голову не входила: „да, говорят, помешан; очень умен, но может-быть и помешан.“

Степан Трофимович сидел в задумчивости и усиленно соображал.

— А почему Лебядкин знает?

— А об этом не угодно ли у Алексея Нилыча справиться, который меня сейчас здесь шпионом обозвал. Я шпион и — не знаю, а Алексей Нилыч знают всю подноготную и молчат-с.

— Я ничего не знаю, или мало, с тем же раздражением отвечал инженер,— вы Лебядкина пьяным поите чтоб узнавать. Вы и меня сюда привели чтоб узнать, и чтоб я сказал. Стало-быть вы шпион!

— Я еще его не поил-с, да и денег таких он не стоит, со всеми его тайнами, вот что̀ они для меня значат, не знаю как для вас. Напротив, это он деньги сыплет, тогда как двенадцать дней назад ко мне приходил пятнадцать копеек выпрашивать, и это он меня шампанским поит, а не я его. Но вы мне мысль подаете, и коли надо будет, то и я его напою, и именно чтобы разузнать, и может и разузнаю-с.... секретики все ваши-с, злобно огрызнулся Липутин.

Степан Трофимович в недоумении смотрел на обоих спорщиков. Оба сами себя выдавали и главное не церемонились. Мне подумалось что Липутин привел к нам этого Алексея Нилыча именно с целью втянуть его в нужный разговор чрез третье лицо, любимый его маневр.

— Алексей Нилыч слишком хорошо знают Николая Всеволодовича, раздражительно продолжал он,— но только скрывают-с. А что вы спрашиваете про капитана Лебядкина, то тот раньше всех нас с ним познакомился в Петербурге, лет пять или шесть тому, в ту малоизвестную, если можно так выразиться, эпоху жизни Николая Всеволодовича, когда еще он и не думал нас здесь приездом своим осчастливить. Наш принц, надо заключить, довольно странный тогда выбор знакомства в Петербурге около себя завел. Тогда вот и с Алексеем Нилычем, кажется, познакомились.

— Берегитесь, Липутин, предупреждаю вас что Николай Всеволодович скоро сам сюда хотел быть, а он умеет за себя постоять.

— Так меня-то за что же-с? Я первый кричу что тончайшего и изящнейшего ума человек, и Варвару Петровну вчера в этом смысле совсем успокоил. „Вот в характере его, говорю ей, не могу поручиться.“ Лебядкин тоже в одно слово вчера: „от характера его, говорит, пострадал“. Эх, Степан Трофимович, хорошо вам кричать что сплетни да шпионство, и заметьте когда уже сами от меня все выпытали, да еще с таким чрезвычайным любопытством. А вот Варвара Петровна так та прямо вчера в самую точку: „вы, говорит, лично заинтересованы были в деле, потому к вам и обращаюсь“. Да еще же бы нет-с! Какие ужь тут цели когда я личную обиду при всем обществе от его превосходительства скушал! Кажется имею причины и не для одних сплетень поинтересоваться. Сегодня жмет вам руку, а завтра ни с того, ни с сего, за хлеб-соль вашу, вас же бьет по щекам при всем честном обществе, как только ему полюбится. С жиру-с! А главное у них женский пол: мотыльки и храбрые петушки! Помещики с крылушками, как у древних амуров, Печорины сердцееды! Вам хорошо, Степан Трофимович, холостяку завзятому, так говорить, и за его превосходительство меня сплетником называть. А вот женились бы, так как вы и теперь еще такой молодец из себя, на хорошенькой да на молоденькой, так пожалуй от нашего принца двери крючком заложите, да бар-

рикады в своем же доме выстроите! Да чего ужь тут: вот только будь эта M-lle Лебядкина, которую секут кнутьями, не сумашедшая и не кривоногая, так ей богу подумал бы что она-то и есть жертва страстей нашего генерала, и что от этого самого и пострадал капитан Лебядкин „в своем фамильном достоинстве“, как он сам выражается. Только разве вкусу их изящному противоречит, да для них и то не беда. Всякая ягодка в ход идет, только чтобы попалась под известное их настроение. Вы вот про сплетни, а разве я это кричу, когда ужь весь город стучит, а я только слушаю да поддакиваю: поддакивать-то не запрещено-с.

— Город кричит? Об чем же кричит город?

— То-есть это капитан Лебядкин кричит в пьяном виде на весь город, ну, а ведь это не все ли равно что вся площадь кричит? Чем же я виноват? Я интересуюсь только между друзей-с, потому что я все-таки здесь считаю себя между друзей-с, с невинным видом обвел он нас глазами.—Тут случай вышел-с, сообразите-ка: выходит что его превосходительство будто бы выслали еще из Швейцарии с одною благороднейшею девицей, и так-сказать скромною сиротой, которую я имею честь знать, триста рублей для передачи капитану Лебядкину. А Лебядкин немного спустя получил точнейшее известие, от кого не скажу, но тоже от наиблагороднейшего лица, а стало-быть достовернейшего, что не триста рублей, а тысяча была выслана!... Стало-быть, кричит Лебядкин, девица семьсот рублей у меня утащила, и вытребовать хочет чуть не полицейским порядком, по крайней мере угрожает и на весь город стучит....

— Это подло, подло от вас! вскочил вдруг инженер со стула.

— Да ведь вы сами же и есть это наиблагороднейшее лицо которое подтвердило Лебядкину от имени Николая Всеволодовича что не триста, а тысяча рублей были высланы. Ведь мне сам капитан сообщил в пьяном виде.

— Это.... это несчастное недоумение. Кто-нибудь ошибся и вышло.... Это вздор, а вы подло!...

— Да и я хочу верить что вздор и с прискорбием слушаю, потому что, как хотите, наиблагороднейшая девушка замешана, вопервых, в семистах рублях, а вовторых, в очевидных интимностях с Николаем Всеволодовичем. Да ведь его превосходительству что̀ сто̀ит девушку благороднейшую осрамить или чужую жену обесславить, подобно тому как тогда со мной казус вышел-с? Подвернется им полный великодушия человек, они и заставят его прикрыть своим честным именем чужие грехи. Так точно и я ведь вынес-с; я про себя говорю-с....

— Берегитесь, Липутин! привстал с кресел Степан Трофимович и побледнел.

— Не верьте, не верьте! Кто-нибудь ошибся, а Лебядкин пьян.... восклицал инженер в невыразимом волнении,— все объяснится, а я больше не могу.... и считаю низостью.... и довольно, довольно!

Он выбежал из комнаты.

— Так что же вы? Да ведь и я с вами! — всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем.

VII.

Степан Трофимович постоял с минуту в раздумьи, как-то не глядя посмотрел на меня, взял свою шляпу, палку, и тихо пошел из комнаты. Я опять за ним как и давеча. Выходя из ворот, он, заметив что я провожаю его, сказал:

— Ах да, вы можете служить свидетелем.... de l'accident. Vous m'accompagnerez n'est-ce pas? [1]

— Степан Трофимович, неужели вы опять туда? Подумайте что может выйти?

С жалкою и потерянною улыбкой,— улыбкой стыда и совершенного отчаяния, и в то же время какого-то странного восторга, прошептал он мне, на миг приостановившись:

[1] [...происшествия. Вы согласны сопровождать меня, не правда ли?]

— Не могу же я жениться на „чужих грехах“, vous comprenez? [1]

Я только и ждал этого слова. Наконец-то это заветное, скрываемое от меня словцо, было произнесено после целой недели виляний и ужимок. Я решительно вышел из себя:

— И такая грязная, такая.... низкая мысль могла появиться у вас, у Степана Верховенского, в вашем светлом уме, в вашем добром сердце и.... еще до Липутина!

Он посмотрел на меня, не ответил и пошел тою же дорогой. Я не хотел отставать. Я хотел свидетельствовать пред Варварой Петровной. Я бы простил ему, если б он поверил только Липутину, по бабьему малодушию своему, но теперь уже ясно было что он сам все выдумал еще гораздо прежде Липутина, а Липутин только теперь подтвердил его подозрения и подлил масла в огонь. Он не задумался заподозрить девушку с самого первого дня, еще не имея никаких оснований, даже Липутинских. Деспотические действия Варвары Петровны он объяснил себе только отчаянным желанием ее поскорее замазать свадьбой с почтенным человеком дворянские грешки ее бесценного Nicolas! Мне непременно хотелось чтоб он был наказан за это.

— O! Dieu qui est si grand et si bon!... [2] О, кто меня успокоит! воскликнул он пройдя еще шагов сотню и вдруг остановившись.

— Пойдемте сейчас домой, и я вам все объясню! вскричал я, силой поворачивая его к дому.

— Это он! Степан Трофимович, это вы? Вы? раздался свежий, резвый, юный голос, как какая-то музыка подле нас.

Мы ничего не видали, а подле нас вдруг появилась наездница, Лизавета Николаевна, со своим всегдашним провожатым. Она остановила коня.

— Идите, идите же скорее! звала она громко и весело,— я двенадцать лет не видала его и узнала, а он.... Неужто не узнаете меня?

[1] [Вы понимаете?]
[2] [Бог, который так велик и так благостен!]

Степан Трофимович схватил ее руку, протянутую к нему, и благоговейно поцеловал ее. Он глядел на нее как бы с молитвой и не мог выговорить слова.

— Узнал и рад! Маврикий Николаевич, он в восторге что видит меня! Что̀ же вы не шли все две недели? Тётя убеждала что вы больны, и что вас нельзя потревожить; но ведь я знаю, тётя лжет. Я все топала ногами и вас бранила, но я непременно, непременно хотела чтобы вы сами первый пришли, потому и не посылала. Боже, да он нисколько не переменился! рассматривала она его, наклоняясь с седла,— он до смешного не переменился! Ах нет, есть морщинки, много морщинок у глаз и на щеках, и седые волосы есть, но глаза те же! А я переменилась? Переменилась? Но что̀ же вы все молчите?

Мне вспомнился в это мгновение расказ о том что она была чуть не больна, когда ее увезли одиннадцати лет в Петербург; в болезни будто бы плакала и спрашивала Степана Трофимовича.

— Вы.... я.... лепетал он теперь обрывавшимся от радости голосом,— я сейчас вскричал: „кто успокоит меня!“ и раздался ваш голос.... Я считаю это чудом et je commence à croire.

— En Dieu? En Dieu qui est là-haut et qui est si grand et si bon?[1] Видите, я все ваши лекции наизусть помню. Маврикий Николаевич, какую он мне тогда веру преподавал en Dieu, qui est si grand et si bon! А помните ваши расказы о том как Колумб открывал Америку, и как все закричали: земля, земля! Няня Алена Фроловна говорит что я после того ночью бредила и во сне кричала: земля, земля! А помните как вы мне историю принца Гамлета расказывали? А помните как вы мне описывали как из Европы в Америку бедных эмигрантов перевозят? И все-то неправда, я потом все узнала как перевозят, но как он мне хорошо лгал тогда, Маврикий Николаевич, почти лучше настоящего! Чего вы так смотрите на

[1] [и я начинаю верить.— В бога? В бога, который там в вышине и который так велик и так благостен?]

Маврикия Николаевича? Это самый лучший и самый верный человек на всем земном шаре, и вы его непременно должны полюбить как меня! Il fait tout ce que je veux[1]. Но, голубчик Степан Трофимович, стало-быть вы опять несчастны, коли среди улицы кричите о том кто вас успокоит? Несчастны, ведь так? Так?

— Теперь счастлив....

— Тётя обижает? продолжала она не слушая,— все та же злая, несправедливая и вечно нам бесценная тётя! А помните как вы бросались ко мне в объятия в саду, а я вас утешала и плакала,— да не бойтесь же Маврикия Николаевича; он про вас все, все знает, давно, вы можете плакать на его плече сколько угодно, и он сколько угодно будет стоять!... Приподнимите шляпу, снимите совсем на минутку, протяните голову, станьте на цыпочки, я вас сейчас поцелую в лоб, как в последний раз поцеловала, когда мы прощались. Видите та барышня из окна на нас любуется... Ну ближе, ближе. Боже, как он поседел!

И она, принагнувшись в седле, поцеловала его в лоб.

— Ну, теперь к вам домой! Я знаю где вы живете. Я сейчас, сию минуту буду у вас. Я вам, упрямцу, сделаю первый визит и потом на целый день вас к себе затащу. Ступайте же, приготовьтесь встречать меня.

И она ускакала с своим кавалером. Мы воротились. Степан Трофимович сел на диван и заплакал.

— Dieu! Dieu! восклицал он,— enfin une minute de bonheur![2]

Не более как через десять минут она явилась по обещанию, в сопровождении своего Маврикия Николаевича.

— Vous et le bonheur, vous arrivez en même temps![3] поднялся он ей навстречу.

— Вот вам букет; сейчас ездила к M-me Шевалье, у ней всю зиму для именинниц букеты будут. Вот вам и Маврикий

[1] [Он делает все, что я хочу.]
[2] [Боже, боже! наконец минута счастья!]
[3] [Вы приходите одновременно с счастьем!]

Николаевич прошу познакомиться. Я хотела-было пирог вместо букета; но Маврикий Николаевич уверяет что это не в русском духе.

Этот Маврикий Николаевич был артиллерийский капитан, лет тридцати трех, высокого росту господин, красивой и безукоризненно порядочной наружности, с внушительною и на первый взгляд даже строгою физиономией, несмотря на его удивительную и деликатнейшую доброту, о которой всякий получал понятие чуть не с первой минуты своего с ним знакомства. Он, впрочем, был молчалив, казался очень хладнокровен и на дружбу не напрашивался. Говорили потом у нас многие что он недалек; это было не совсем справедливо.

Я не стану описывать красоту Лизаветы Николаевны. Весь город уже кричал об ее красоте, хотя некоторые наши дамы и девицы с негодованием не соглашались с кричавшими. Были из них и такие которые уже возненавидели Лизавету Николаевну, и вопервых, за гордость: Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно было болезненное состояние Прасковьи Петровны. Вовторых, ненавидели ее за то что она родственница губернаторши; втретьих, за то что она ежедневно прогуливается верхом. У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно что появление Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять общество. Впрочем, все уже знали что она ездит верхом по приказанию докторов и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. Что̀ выдавалось в ней с первого взгляда — это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. Увы! бедняжка очень страдала, и все объяснилось в последствии. Теперь, вспоминая прошедшее, я уже не скажу что она была красавица, какою казалась мне тогда. Может-быть она была даже и совсем не хороша собой. Высокая, тоненькая, но гибкая и сильная, она даже поражала неправильностью линий своего лица. Глаза ее были поставлены как-то по-калмыцки, криво; была бледна, скулиста, смугла и худа лицом; но было же

нечто в этом лице побеждающее и привлекающее! Какое-то могущество сказывалось в горящем взгляде ее темных глаз; она являлась „как победительница и чтобы победить“. Она казалась гордою, а иногда даже дерзкою; не знаю удавалось ли ей быть доброю; но я знаю что она ужасно хотела и мучилась тем чтобы заставить себя быть несколько доброю. В этой натуре, конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но все в ней как бы вечно искало своего уровня и не находило его, все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может-быть она уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим требованиям.

Она села на диван и оглядывала комнату.

— Почему мне в эдакие минуты всегда становится грустно, разгадайте, ученый человек? Я всю жизнь думала что и бог знает как буду рада, когда вас увижу и все припомню, и вот совсем как будто не рада, несмотря на то что я вас люблю.... Ах, боже, у него висит мой портрет! Дайте сюда, я его помню, помню!

Превосходный миниатюрный портрет акварелью двенадцатилетней Лизы был выслан Дроздовыми Степану Трофимовичу из Петербурга еще лет девять назад. С тех пор он постоянно висел у него на стене.

— Неужто я была таким хорошеньким ребенком? Неужто это мое лицо?

Она встала и с портретом в руках посмотрелась в зеркало.

— Поскорей, возьмите! воскликнула она, отдавая портрет,— не вешайте теперь, после, не хочу и смотреть на него.— Она села опять на диван.— Одна жизнь прошла, началась другая, потом другая прошла — началась третья, и все без конца. Все концы точно как ножницами обрезывает. Видите какие я старые вещи раскaзываю, а ведь сколько правды!

Она усмехнувшись посмотрела на меня; уже несколько раз она на меня взглядывала, но Степан Трофимович в своем волнении и забыл что обещал меня представить.

— А зачем мой портрет висит у вас под кинжалами? И зачем у вас столько кинжалов и сабель?

У него, действительно, висели на стене, не знаю для чего, два ятагана на-крест, а над ними настоящая черкесская шашка. Спрашивая, она так прямо на меня посмотрела что я хотел-было что-то ответить, но осекся. Степан Трофимович догадался наконец и меня представил.

— Знаю, знаю, сказала она,— я очень рада. Мама̀ об вас тоже много слышала. Познакомьтесь и с Маврикием Николаевичем, это прекрасный человек. Я об вас уже составила смешное понятие: ведь вы конфидент Степана Трофимовича?

Я покраснел.

— Ах, простите пожалуста, я совсем не то слово сказала; вовсе не смешное, а так.... (Она покраснела и сконфузилась.)— Впрочем, что̀ же стыдиться того что вы прекрасный человек? Ну, пора нам, Маврикий Николаевич! Степан Трофимович, через полчаса чтобы вы у нас были. Боже, сколько мы будем говорить! Теперь ужь я ваш конфидент, и обо всем, *обо всем,* понимаете?

Степан Трофимович тотчас же испугался.

— О, Маврикий Николаевич все знает, его не конфузьтесь!

— Что̀ же знает?

— Да чего вы! вскричала она в изумлении.— Ба, да ведь и правда что они скрывают! Я верить не хотела. Дашу тоже скрывают. Тётя давеча меня не пустила к Даше, говорит что у ней голова болит.

— Но.... но как вы узнали?

— Ах, боже, так же как и все. Эка мудрость!

— Да разве все?...

— Ну да как же? Мамаша, правда, сначала узнала через Алену Фроловну, мою няню; ей ваша Настасья прибежала сказать. Ведь вы говорили же Настасье? Она говорит что вы ей сами говорили.

— Я.... я говорил однажды.... пролепетал Степан Трофимович, весь покраснев,— но.... я лишь намекнул.... j'étais si nerveux et malade et puis....[1]

[1] [я был так расстроен и болен, и затем...]

Она захохотала.

— А конфидента под рукой не случилось, а Настасья подвернулась,— ну и довольно! А у той целый город кумушек! Ну да полноте, ведь это все равно; ну пусть знают, даже лучше. Скорее же приходите, мы обедаем рано.... Да, забыла, уселась она опять,— слушайте, что такое Шатов?

— Шатов? Это брат Дарьи Павловны....

— Знаю что брат, какой вы право! перебила она в нетерпении.— Я хочу знать что он такое, какой человек?

— C'est un pense-creux d'ici. C'est le meilleur et le plus irascible homme du monde[1].

— Я сама слышала что он какой-то странный. Впрочем, не о том. Я слышала что он знает три языка, и английский, и может литературною работой заниматься. В таком случае у меня для него много работы; мне нужен помощник и чем скорее тем лучше. Возьмет он работу или нет? Мне его рекомендовали....

— О, непременно, et vous ferez un bienfait....[2]

— Я вовсе не для bienfait, мне самой нужен помощник.

— Я довольно хорошо знаю Шатова, сказал я,— и если вы мне поручите передать ему, то я сию минуту схожу.

— Передайте ему чтоб он завтра утром пришел в двенадцать часов. Чудесно! Благодарю вас. Маврикий Николаевич, готовы?

Они уехали. Я, разумеется, тотчас же побежал к Шатову.

— Mon ami![3] догнал меня на крыльце Степан Трофимович,— непременно будьте у меня в десять или в одиннадцать часов, когда я вернусь. О, я слишком, слишком виноват пред вами и.... пред всеми, пред всеми.

[1] [Это здешний мечтатель. Самый лучший и самый воспламеняющийся из людей.]

[2] [и вы совершите благодеяние...]

[3] [Друг мой!]

VIII.

Шатова я не застал дома; забежал через два часа — опять нет. Наконец уже в восьмом часу я направился к нему чтоб или застать его, или оставить записку; опять не застал. Квартира его была заперта, а он жил один безо всякой прислуги. Мне-было подумалось, не толкнуться ли вниз к капитану Лебядкину чтобы спросить о Шатове; но тут было тоже заперто и ни слуху ни свету оттуда, точно пустое место. Я с любопытством прошел мимо дверей Лебядкина под влиянием давешних расказов. В конце концов я решил зайти завтра пораньше. Да и на записку, правда, я не очень надеялся; Шатов мог пренебречь, он был такой упрямый, застенчивый. Проклиная неудачу и уже выходя из ворот, я вдруг наткнулся на господина Кириллова; он входил в дом и первый узнал меня. Так как он сам начал расспрашивать, то я и расказал ему все в главных чертах и что у меня есть записка.

— Пойдемте, сказал он,— я все сделаю.

Я вспомнил что он, по словам Липутина, занял с утра деревянный флигель на дворе. В этом флигеле, слишком для него просторном, квартировала с ним вместе какая-то старая, глухая баба, которая ему и прислуживала. Хозяин дома в другом новом доме своем и в другой улице содержал трактир, а эта старуха, кажется родственница его, осталась смотреть за всем старым домом. Комнаты во флигеле были довольно чисты, но обои грязны. В той куда мы вошли мебель была сборная, разнокалиберная и совершенный брак: два ломберных стола, комод ольхового дерева, большой тесовый стол из какой-нибудь избы или кухни, стулья и диван с решетчатыми спинками и с твердыми кожаными подушками. В углу помещался старинный образ, пред которым баба еще до нас затеплила лампадку, а на стенах висели два больших, тусклых, масляных портрета, один покойного императора Николая Павловича, снятый, судя по виду, еще в двадцатых годах столетия; другой изображал какого-то архиерея.

Господин Кирилов, войдя, засветил свечу, и из своего чемодана, стоявшего в углу и еще не разобранного, достал конверт, сургуч и хрустальную печатку.

— Запечатайте вашу записку и надпишите конверт.

Я было возразил что не надо, но он настоял. Надписав конверт, я взял фуражку.

— А я думал вы чаю, сказал он,— я чай купил. Хотите?

Я не отказался. Баба скоро внесла чай, то-есть большущий чайник горячей воды, маленький чайник с обильно завареным чаем, две большие каменные, грубо разрисованные чашки, калач и целую глубокую тарелку колотого сахару.

— Я чай люблю, сказал он,— ночью, много; хожу и пью; до рассвета. За границей чай ночью неудобно.

— Вы ложитесь на рассвете?

— Всегда; давно. Я мало ем; все чай. Липутин хитер, но нетерпелив.

Меня удивило что он хотел разговаривать; я решился воспользоваться минутой.

— Давеча вышли неприятные недоразумения, заметил я.

Он очень нахмурился.

— Это глупость; это большие пустяки. Тут все пустяки, потому что Лебядкин пьян. Я Липутину не говорил, а только объяснил пустяки; потому что тот переврал. У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину верил.

— А сегодня мне? засмеялся я.

— Да ведь вы уже про все знаете давеча. Липутин или слаб, или нетерпелив, или вреден, или.... завидует.

Последнее слово меня поразило.

— Впрочем, вы столько категорий наставили, не мудрено что под которую-нибудь да подойдет.

— Или ко всем вместе.

— Да, и это правда. Липутин — это хаос! Правда, он врал давеча что вы хотите какое-то сочинение писать?

— Почему же врал? нахмурился он опять уставившись в землю.

Я извинился и стал уверять что не выпытываю. Он покраснел.

— Он правду говорил; я пишу. Только это все равно.

С минуту помолчали; он вдруг улыбнулся давешнею детскою улыбкой.

— Он это про головы сам выдумал из книги и сам сначала мне говорил, и понимает худо, а я только ищу причины почему люди не смеют убить себя; вот и все. И это все равно.

— Как не смеют? Разве мало самоубийств?

— Очень мало.

— Неужели вы так находите?

Он не ответил, встал и в задумчивости начал ходить взад и вперед.

— Что же удерживает людей, по вашему, от самоубийства? спросил я.

Он рассеянно посмотрел, как бы припоминая об чем мы говорили.

— Я.... я еще мало знаю.... два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая.

— Какая же маленькая-то?

— Боль.

— Боль? Неужто это так важно.... в этом случае?

— Самое первое. Есть два рода: те которые убивают себя или с большой грусти, или со злости, или сумашедшие, или там все равно.... те вдруг. Те мало о боли думают, а вдруг. А которые с рассудка — те много думают.

— Да разве есть такие что с рассудка?

— Очень много. Еслиб предрассудка не было, было бы больше; очень много; все.

— Ну ужь и все?

Он промолчал.

— Да разве нет способов умирать без боли?

— Представьте, остановился он предо мною, — представьте камень такой величины как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно?

— Камень с дом? Конечно страшно.

— Я не про страх; будет больно?

— Камень с гору, миллион пудов? Разумеется ничего не больно.

— А станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, все будут очень бояться. Всякий будет знать что не больно, и всякий будет очень бояться что больно.

— Ну а вторая причина, большая-то?

— Тот свет.

— То-есть наказание?

— Это все равно. Тот свет; один тот свет.

— Разве нет таких атеистов что совсем не верят в тот свет?

Опять он промолчал.

— Вы может-быть по себе судите?

— Всякий не может судить как по себе, проговорил он покраснев.— Вся свобода будет тогда когда будет все равно жить или не жить. Вот всему цель.

— Цель? Да тогда никто может и не захочет жить?

— Никто, произнес он решительно.

— Человек смерти боится, потому что жизнь любит, вот как я понимаю, заметил я,— и так природа велела.

— Это подло и тут весь обман! глаза его засверкали.— Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит, потому что боль и страх любит. И так сделали. Жизнь дается теперь за боль и страх, и тут весь обман. Теперь человек еще не тот человек. Будет новый человек, счастливый и гордый. Кому будет все равно жить или не жить тот будет новый человек. Кто победит боль и страх тот сам бог будет. А тот бог не будет.

— Стало-быть тот бог есть же по вашему?

— Его нет, но он есть. В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти. Кто победит боль и страх, тот сам станет бог. Тогда новая жизнь, тогда новый

человек, все новое.... Тогда историю будут делить на две части: от Гориллы до уничтожения бога, и от уничтожения бога до....

— До Гориллы?

— ......До перемены земли и человека физически. Будет бог — человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли и все чувства. Как вы думаете, переменится тогда человек физически?

— Если будет все равно жить или не жить, то все убьют себя, и вот в чем может-быть перемена будет.

— Это все равно. Обман убьют. Всякий кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя. Кто смеет убить себя тот тайну обмана узнал. Дальше нет свободы; тут все, а дальше нет ничего. Кто смеет убить себя тот бог. Теперь всякий может сделать что бога не будет и ничего не будет. Но никто еще ни разу не сделал.

— Самоубийц миллионы были.

— Но все не за тем, все со страхом и не для того. Не для того чтобы страх убить. Кто убьет себя только для того чтобы страх убить, тот тотчас бог станет.

— Не успеет может-быть, заметил я.

— Это все равно, ответил он тихо, с покойною гордостью, чуть не с презрением.— Мне жаль что вы как будто смеетесь, прибавил он через полминуты.

— А мне странно что вы давеча были так раздражительны, а теперь так спокойны, хотя и горячо говорите.

— Давеча? Давеча было смешно, ответил он с улыбкой; — я не люблю бранить и никогда не смеюсь, прибавил он грустно.

— Да, не весело вы проводите ваши ночи за чаем.— Я встал и взял фуражку.

— Вы думаете? улыбнулся он с некоторым удивлением,— почему же? Нет, я..... я не знаю, смешался он вдруг,— не знаю как у других, и я так чувствую, что не могу как всякий. Всякий думает и потом сейчас о другом думает. Я не могу о другом, я всю жизнь об одном. Меня бог всю жизнь мучил, заключил он вдруг с удивительною экспансивностью.

— А скажите, если позволите, почему вы не так правильно по-русски говорите? Неужели за границей в пять лет разучились?

— Разве я неправильно? Не знаю. Нет не потому что за границей. Я так всю жизнь говорил.... мне все равно.

— Еще вопрос более деликатный: я совершенно вам верю, что вы не склонны встречаться с людьми и мало с людьми говорите. Почему вы со мной теперь разговорились?

— С вами? Вы давеча хорошо сидели и вы.... впрочем все равно.... вы на моего брата очень похожи, много, чрезвычайно, проговорил он покраснев;— он семь лет умер; старший, очень, очень много.

— Должно-быть имел большое влияние на ваш образ мыслей.

— Н-нет, он мало говорил; он ничего не говорил. Я вашу записку отдам.

Он проводил меня с фонарем до ворот, чтобы запереть за мной. „Разумеется помешанный", решил я про себя. В воротах произошла новая встреча.

IX.

Только-что я занес ногу за высокий порог калитки, вдруг чья-то сильная рука схватила меня за грудь.

— Кто сей? взревел чей-то голос,— друг или недруг? Кайся!

— Это наш, наш! завизжал подле голосок Липутина,— это господин Г—в, классического воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек.

— Люблю коли с обществом, кла-сси-чес.... значит, о-бра-зо-о-ваннейший..... отставной капитан Игнат Лебядкин, к услугам мира и друзей.... если верны, если верны, подлецы!

Капитан Лебядкин, вершков десяти росту, толстый, мясистый, курчавый, красный и чрезвычайно пьяный едва стоял предо мной и с трудом выговаривал слова. Я впрочем его и прежде видал издали.

— А, и этот!—взревел он опять, заметив Кирилова, который все еще не уходил с своим фонарем; он поднял было кулак, но тотчас опустил его.

— Прощаю за ученость! Игнат Лебядкин—обра-зо-о-ваннейший......

Любви пылающей граната
Лопнула в груди Игната.
И вновь заплакал горькой мукой
По Севастополю безрукий.

— Хоть в Севастополе не был и даже не безрукий, но каковы же рифмы! лез он ко мне с своею пьяной рожей.

— Им некогда, некогда, они домой пойдут, уговаривал Липутин,—они завтра Лизавете Николаевне перескажут.

— Лизавете!.... завопил он опять;—стой-нейди! Варьянт:

И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок;
Улыбается с лошади мне
Ари-сто-кратический ребенок.

„Звезде-амазонке."

— Да ведь это же гимн! Это гимн, если ты не осел! Бездельники не понимают! Стой! уцепился он за мое пальто, хотя я рвался изо всех сил в калитку,—передай что я рыцарь чести, а Дашка..... Дашку я двумя пальцами..... крепостная раба и не смеет.....

Тут он упал, потому-что я с силой вырвался у него из рук и побежал по улице. Липутин увязался за мной.

— Его Алексей Нилыч подымут. Знаете ли что̀ я сейчас от него узнал? болтал он впопыхах;—стишки-то слышали? Ну вот он эти самые стихи к „Звезде-амазонке" запечатал и завтра посылает к Лизавете Николаевне за своею полною подписью. Каков!

— Бьюсь об заклад что вы его сами подговорили.

— Проиграете! захохотал Липутин,—влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли что началось ведь с ненависти. Он до того сперва возненавидел Лизавету Николаевну за то что она ездит верхом, что чуть не ругал ее вслух на улице; да и

ругал же! Еще третьего дня выругал, когда она проезжала;— к счастью она не расслышала, и вдруг сегодня стихи! Знаете ли что он хочет рискнуть предложение? Серьезно, серьезно!

— Я вам удивляюсь, Липутин, везде-то вы вот где только этакая дрянь заведется, везде-то вы тут руководите! проговорил я в ярости.

— Однакоже вы далеко заходите, господин Г—в; не сердчишко ли у нас ёкнуло, испугавшись соперника,— а?

— Что-о-о? закричал я останавливаясь.

— А вот же вам в наказание и ничего не скажу дальше! А ведь как бы вам хотелось услышать! Ужь одно то что этот дуралей теперь не простой капитан, а помещик нашей губернии, да еще довольно значительный, потому что Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам бог не лгу! сейчас узнал, но за то из наивернейшего источника. Ну, а теперь дощупывайтесь-ка сами; больше ничего не скажу; до свиданья-с!

X.

Степан Трофимович ждал меня в истерическом нетерпении. Уже с час как он воротился. Я застал его как бы пьяного; первые пять минут, по крайней мере, я думал что он пьян. Увы, визит к Дроздовым сбил его с последнего толку.

— Mon ami [1], я совсем потерял мою нитку.... Lise.... я люблю и уважаю этого ангела попрежнему; именно попрежнему; но, мне кажется они ждали меня обе единственно чтобы кое-что выведать, то-есть по просту вытянуть из меня, а там и ступай себе с богом.... Это так.

— Как вам не стыдно! вскричал я не вытерпев.

— Друг мой, я теперь совершенно один. Enfin c'est ridicule [2]. Представьте что и там все это напичкано тайнами. Так на меня и накинулись об этих носах и ушах и еще о каких-то петербургских тайнах. Они ведь обе только здесь в первый

[1] [Друг мой]
[2] [В конце концов это смешно.]

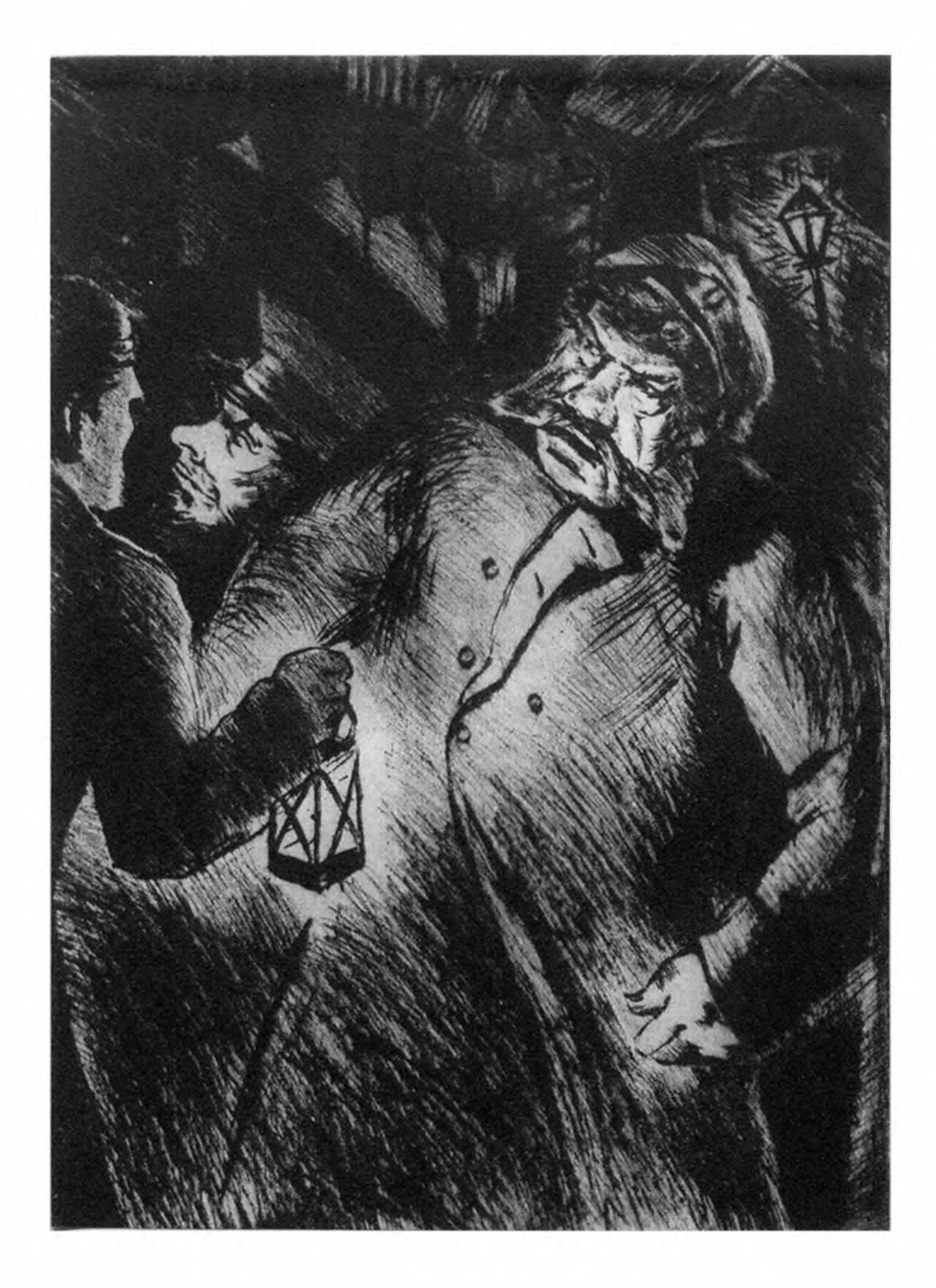
раз проведали об этих здешних историях с Nicolas четыре года назад: „Вы тут были, вы видели, правда ли что он сумашедший?“ И откуда эта идея вышла, не понимаю. Почему Прасковье непременно так хочется чтобы Nicolas оказался сумашедшим? Хочется этой женщине, хочется! Ce Maurice[1], или, как его, Маврикий Николаевич, brave homme tout de même[2], но неужели в его пользу, и после того как сама же первая писала из Парижа к cette pauvre amie.... Enfin[3], эта Прасковья, как называет ее cette chère amie[4], это тип, это бессмертной памяти Гоголева Коробочка, но только злая Коробочка, задорная Коробочка и в бесконечно увеличенном виде.

— Да ведь это сундук выйдет: уж и в увеличенном?

— Ну, в уменьшенном, все равно, только не перебивайте, потому что у меня все это вертится, там они совсем расплевались; кроме Lise; та все еще: „Тётя, тётя;“ но Lise хитра и, тут еще что-то есть. Тайны. Но со старухой рассорились. Cette pauvre тётя, правда, всех деспотирует.... а тут и губернаторша и непочтительность общества и „непочтительность“ Кармазинова; а тут вдруг эта мысль о помешательстве, ce Lipoutine, ce que je ne comprends pas....[5] и-и говорят, голову уксусом обмочила, а тут и мы с вами, с нашими жалобами и с нашими письмами.... О, как я мучил ее и в такое время! Je suis un ingrat![6] Вообразите, возвращаюсь и нахожу от нее письмо; читайте, читайте! О как неблагородно было с моей стороны.

Он подал мне только-что полученное письмо от Варвары Петровны. Она кажется раскаялась в утрешнем своем: „сидите дома.“ Письмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. После завтра, в воскресенье, она просила к себе Степана Трофимовича ровно в двенадцать часов и сове-

1 [Этот Морис]
2 [все же благородный человек]
3 [к этому бедному другу... Наконец]
4 [этот дорогой друг]
5 [этот Липутин, всего этого я не понимаю...]
6 [Я неблагодарный!]



товала привести с собой кого-нибудь из друзей своих (в скобках стояло мое имя). С своей стороны, обещалась позвать Шатова, как брата Дарьи Павловны. „Вы можете получить от нее окончательный ответ, довольно ли с вас будет? Этой ли формальности вы так добивались?“

— Заметьте эту раздражительную фразу в конце о формальности. Бедная, бедная, друг всей моей жизни! Признаюсь это *внезапное* решение судьбы меня точно придавило.... Я, признаюсь, все еще надеялся, а теперь, tout est dit[1], я ужь знаю что кончено; c'est terrible[2]. О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все постарому: вы бы ходили, а я бы тут....

— Вас сбили с толку все эти давешние Липутинские мерзости, сплетни.

— Друг мой, вы сейчас попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы, pardon, но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то-есть я вовсе не забыл, но я, по глупости моей, все время пока был у Lise старался быть счастливым и уверял себя что я счастлив. Но теперь.... о теперь я про эту великодушную, гуманную, терпеливую к моим подлым недостаткам женщину,—то-есть хоть и не совсем терпеливую, но ведь и сам-то я каков, с моим пустым, скверным характером! Ведь я блажной ребенок, со всем эгоизмом ребенка, но без его невинности. Она двадцать лет ходила за мной как нянька, cette pauvre[3] тётя, как грациозно называет ее Lise.... И вдруг, после двадцати лет, ребенок задумал жениться, жени да жени, письмо за письмом, а у ней голова в уксусе и.... и, вот и достиг, в воскресенье женатый человек, шутка сказать.... И чего сам настаивал, ну зачем я письма писал? Да, забыл: Lise боготворит Дарью Павловну, говорит по крайней мере; говорит про нее: „c'est un ange[4], но только несколько скрытный.“ Обе советовали, даже Прасковья....

[1] [все сказано]
[2] [это ужасно]
[3] [эта бедная]
[4] [это ангел]

впрочем Прасковья не советовала. О, сколько яду заперто в этой Коробочке! Да и Lise собственно не советовала: „к чему вам жениться; довольно с вас и ученых наслаждений.“ Хохочет. Я ей простил ее хохот, потому что у ней у самой скребет на сердце. Вам, однако, говорят они, без женщины невозможно. Приближаются ваши немощи, а она вас укроет, или как там.... Ma foi[1], я и сам, все это время с вами сидя, думал про себя что провидение посылает ее на склоне бурных дней моих, и что она меня укроет или как там.... enfin[2] понадобится в хозяйстве. Вон у меня такой сор, вон смотрите, все это валяется, давеча велел прибрать, и книга на полу. La pauvre amie[3] все сердилась что у меня сор.... О, теперь ужь не будет раздаваться голос ее! Vingt ans![4] И-и у них кажется анонимные письма, вообразите, Nicolas продал будто бы Лебядкину имение. C'est un monstre; et enfin[5], кто-такой Лебядкин? Lise слушает, слушает, ух как она слушает! Я простил ей ее хохот, я видел с каким лицом она слушала, и ce Maurice.... я бы не желал быть в его теперешней роли, brave homme tout de même[6], но несколько застенчив; впрочем бог с ним....

Он замолчал; он устал и сбился и сидел понурив голову, смотря неподвижно в пол усталыми глазами. Я воспользовался промежутком и расказал о моем посещении дома Филиппова, при чем резко и сухо выразил мое мнение что, действительно, сестра Лебядкина (которую я не видал) могла быть когда-то какой-нибудь жертвой Nicolas, в загадочную пору его жизни, как выражался Липутин, и что очень может-быть что Лебядкин почему-нибудь получает с Nicolas деньги, но вот и все. Насчет же сплетень о Дарье Павловне, то все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина, и что так по крайней мере с жаром утверждает Алексей Нилыч, которому нет оснований

[1] [право же]
[2] [словом]
[3] [Бедная подруга]
[4] [Двадцать лет!]
[5] [Это чудовище; и наконец]
[6] [этот Морис... все же благородный человек]

не верить. Степан Трофимович прослушал мои уверения с рассеянным видом, как будто до него не касалось. Я кстати упомянул и о разговоре моем с Кириловым и прибавил что Кирилов может-быть сумашедший.

— Он не сумашедший, но это люди с коротенькими мыслями,— вяло и как бы нехотя промямлил он. Ces gens-là supposent la nature et la société humaine autres que Dieu ne les a faites et qu'elles ne sont réelement[1]. С ними заигрывают, но по крайней мере не Степан Верховенский. Я видел их тогда в Петербурге, avec cette chère amie[2] (о, как я тогда оскорблял ее!) и не только их ругательств,— я даже их похвал не испугался. Не испугают и теперь, mais parlons d'autre chose....[3] я кажется ужасных вещей наделал; вообразите, я отослал Дарье Павловне вчера письмо и.... как я кляну себя за это!

— О чем же вы писали?

— О, друг мой, поверьте что все это с таким благородством. Я уведомил ее что я написал к Nicolas, еще дней пять назад и тоже с благородством.

— Понимаю теперь! вскричал я с жаром,— и какое право имели вы их так сопоставить?

— Но, mon cher[4], не давите же меня окончательно, не кричите на меня; я и то весь раздавлен, как.... как таракан, и наконец я думаю что все это так благородно. Предположите что там что-нибудь действительно было.... en Suisse....[5] или начиналось. Должен же я спросить сердца их предварительно чтобы.... enfin[6] чтобы не помешать сердцам и не стать столбом на их дороге.... Я единственно из благородства.

— О боже, как вы глупо сделали! невольно сорвалось у меня.

— Глупо, глупо! подхватил он даже с жадностью;— никогда

[1] [Эти люди воображают природу и человеческое общество иными, чем они созданы богом и являются в действительности.]
[2] [с этим дорогим другом]
[3] [но поговорим о другом...]
[4] [дорогой мой]
[5] [в Швейцарии...]
[6] [словом]

ничего не сказали вы умнее, c'était bête, mais que faire, tout est dit[1]. Все равно женюсь, хоть и на „чужих грехах“, так к чему же было и писать? Не правда ли?

— Вы опять за то же!

— О теперь меня не испугаете вашим криком, теперь пред вами уже не тот Степан Верховенский; тот похоронен; enfin tout est dit[2]. Да и чего кричите вы? Единственно потому что не сами женитесь и не вам придется носить известное головное украшение. Опять вас коробит? Бедный друг мой, вы не знаете женщину, а я только и делал что изучал ее. „Если хочешь победить весь мир, победи себя“, единственно что удалось хорошо сказать другому такому же как и вы романтику, Шатову, братцу супруги моей. Охотно у него заимствую его изречение. Ну, вот и я готов победить себя, и женюсь, а между тем что завоюю, вместо цельного-то мира? О друг мой, брак — это нравственная смерть всякой гордой души, всякой независимости. Брачная жизнь развратит меня, отнимет энергию, мужество в служении делу, пойдут дети, еще пожалуй не мои,— то-есть разумеется не мои; мудрый не боится заглянуть в лицо истине.... Липутин предлагал давеча спастись от Nicolas баррикадами; он глуп, Липутин. Женщина обманет само всевидящее око. Le bon Dieu[3], создавая женщину, ужь конечно знал чему подвергался, но я уверен что она сама помешала ему; сама захотела участвовать в своем создании и сама заставила себя создать в таком виде и.... с такими атрибутами; иначе кто же захотел наживать себе такие хлопоты даром? Настасья, я знаю, может и рассердится на меня за вольнодумство, но... Enfin tout est dit[4].

Он не был бы сам собою, еслибы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но не надолго.

[1] [это было глупо, но что делать, все сказано]
[2] [словом, все сказано.]
[3] [Господь-бог]
[4] [Словом, все сказано.]

— О, почему бы совсем не быть этому после завтра, этому воскресенью! воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии,— почему бы не быть хоть одной этой недели без воскресенья — si le miracle existe?[1] Ну что бы стоило провидению вычеркнуть из счета хоть одно воскресенье, ну хоть для того чтобы доказать атеисту свое могущество et que tout soit dit![2] И заметьте, мой друг, заметьте что все-то мы знаем что все это совершенный вздор, и вот самые-то умнейшие из нас поминутно произносят такие желания.... О, как я любил ее! двадцать лет, все двадцать лет, и никогда-то она не понимала меня!

— Но про кого вы говорите; и я вас не понимаю! спросил я с удивлением.

— Vingt ans![3] И ни разу не поняла меня, о это жестоко! И неужели она думает что я женюсь из страха, из нужды? О, позор! тётя, тётя, я для тебя!... О, пусть узнает она, эта тётя, что она единственная женщина, которую я обожал двадцать лет! Она должна узнать это, иначе не будет, иначе только силой потащут меня под этот ce qu'on appelle le[4] венец!

Я в первый раз слышал это признание и так энергически высказанное. Не скрою что мне ужасно хотелось засмеяться. Я был неправ.

— Один, один он мне остался теперь, одна надежда моя! всплеснул он вдруг руками, как бы внезапно пораженный новою мыслью,— теперь один только он, мой бедный мальчик, спасет меня и,— о, что же он не едет! О сын мой, о мой Петруша.... и хоть я недостоин названия отца, а скорее тигра, но.... laissez moi, mon ami[5], я немножко полежу чтобы собраться с мыслями. Я так устал, так устал, да и вам, я думаю, пора спать, voyez vous[6], двенадцать часов....

[1] [если чудо существует?]
[2] [и все да будет высказано!]
[3] [Двадцать лет!]
[4] [что называется]
[5] [оставьте меня, друг мой]
[6] [видите ли]

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Хромоножка.

I.

Шатов не заупрямился и, по записке моей, явился в полдень к Лизавете Николаевне. Мы вошли почти вместе; я тоже явился сделать мой первый визит. Они все, то-есть Лиза, мамà и Маврикий Николаевич, сидели в большой зале и спорили. Мамà требовала чтобы Лиза сыграла ей какой-то вальс на фортепиано, и когда та начала требуемый вальс, то стала уверять что вальс не тот. Маврикий Николаевич, по простоте своей, заступился за Лизу и стал уверять что вальс тот самый; старуха со злости расплакалась. Она была больна и с трудом даже ходила. У ней распухли ноги, и вот уже несколько дней только и делала что капризничала и ко всем придиралась, несмотря на то что Лизу всегда побаивалась. Приходу нашему обрадовались. Лиза покраснела от удовольствия, и проговорив мне merci, конечно за Шатова, пошла к нему, любопытно его рассматривая.

Шатов неуклюже остановился в дверях. Поблагодарив его за приход, она подвела его к мамà.

— Это господин Шатов, про которого я вам говорила, а это вот господин Г—в, большой друг мне и Степану Трофимовичу. Маврикий Николаевич вчера тоже познакомился.

— А который профессор?

— А профессора вовсе и нет, мама̀.

— Нет есть, ты сама говорила что будет профессор; верно вот этот, она брезгливо указала на Шатова.

— Вовсе никогда я вам не говорила что будет профессор. Господин Г—в служит, а господин Шатов — бывший студент.

— Студент, профессор, все одно из университета. Тебе только бы спорить. А швейцарской был в усах и с бородкой.

— Это мама̀ сына Степана Трофимовича все профессором называет, сказала Лиза и увела Шатова на другой конец залы на диван.

— Когда у ней ноги распухнут, она всегда такая, вы понимаете, больная, шепнула она Шатову, продолжая рассматривать его все с тем же чрезвычайным любопытством и особенно его вихор на голове.

— Вы военный? обратилась ко мне старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза.

— Нет-с, я служу....

— Господин Г—в большой друг Степана Трофимовича, отозвалась тотчас же Лиза.

— Служите у Степана Трофимовича? Да ведь и он профессор?

— Ах, мама̀, вам верно и ночью снятся профессора, с досадой крикнула Лиза.

— Слишком довольно и на яву. А ты вечно чтобы матери противоречить. Вы здесь когда Николай Всеволодович приезжал были, четыре года назад?

Я отвечал что был.

— А Англичанин тут был какой-нибудь вместе с вами?

— Нет, не был.

Лиза засмеялась.

— А видишь что и не было совсем Англичанина, стало-быть враки. И Варвара Петровна и Степан Трофимович оба врут. Да и все врут.

— Это тётя и вчера Степан Трофимович нашли будто бы сходство у Николая Всеволодовича с принцем Гарри, у Шекс-

пира в Генрихе IV, и мама на это говорит что не было Англичанина, объяснила нам Лиза.

— Коли Гарри не было, так и Англичанина не было. Один Николай Всеволодович куралесил.

— Уверяю вас что это мама нарочно, нашла нужным объяснить Шатову Лиза,— она очень хорошо про Шекспира знает. Я ей сама первый акт *Отелло* читала; но она теперь очень страдает. Мама, слышите, двенадцать часов бьет, вам лекарство принимать пора.

— Доктор приехал, появилась в дверях горничная.

Старуха привстала и начала звать собачку: „Земирка, Земирка, пойдем хоть ты со мной".

Скверная, старая, маленькая собачонка Земирка не слушалась и залезла под диван, где сидела Лиза.

— Не хочешь? Так и я тебя не хочу. Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени, отчества, обратилась она ко мне.

— Антон Лаврентьевич....

— Ну все равно, у меня в одно ухо вошло, в другое вышло. Не провожайте меня, Маврикий Николаевич, я только Земирку звала. Слава богу еще и сама хожу, а завтра гулять поеду.

Она сердито вышла из залы.

— Антон Лаврентьевич, вы тем временем поговорите с Маврикием Николаевичем, уверяю вас что вы оба выиграете, если поближе познакомитесь, сказала Лиза и дружески усмехнулась Маврикию Николаевичу, который так весь и просиял от ее взгляда. Я, нечего делать, остался говорить с Маврикием Николаевичем.

II.

Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только литературным. Не знаю почему, но мне все думалось что она звала его за чем-то другим. Мы, то-есть я с Маврикием Николаевичем, видя что от нас не таятся и говорят очень громко, стали прислушиваться; потом и нас пригласили в совет. Все состояло в том что Лизавета Николаевна давно уже задумала издание одной

полезной, по ее мнению, книги, но по совершенной неопытности нуждалась в сотруднике. Серьезность с которою она принялась объяснять Шатову свой план даже меня изумила. „Должно-быть из новых, подумал я, не даром в Швейцарии побывала.“ Шатов слушал со вниманием, уткнув глаза в землю, и без малейшего удивления тому что светская, рассеянная барышня берется за такие, казалось бы, неподходящие ей дела.

Литературное предприятие было такого рода. Издается в России множество столичных и провинциальных газет и других журналов, и в них ежедневно сообщается о множестве происшествий. Год отходит, газеты повсеместно складываются в шкапы, или сорятся, рвутся, идут на обертки и колпаки. Многие опубликованные факты производят впечатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются. Многие желали бы потом справиться, но какой же труд разыскивать в этом море листов, часто не зная ни дня, ни места, ни даже года случившегося происшествия? А между тем еслибы совокупить все эти факты за целый год в одну книгу, по известному плану и по известной мысли, с оглавлениями, указаниями, с разрядом по месяцам и числам, то такая совокупность в одно целое могла бы обрисовать всю характеристику русской жизни за весь год, несмотря даже на то что фактов публикуется чрезвычайно малая доля в сравнении со всем случившимся.

— Вместо множества листов выйдет несколько толстых книг, вот и все, заметил Шатов.

Но Лизавета Николаевна горячо отстаивала свой замысел, несмотря на трудность и неумелость высказаться. Книга должна быть одна, даже не очень толстая — уверяла она. Но положим хоть и толстая, но ясная, потому что главное в плане и в характере представления фактов. Конечно не все собирать и перепечатывать. Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и ограничиться лишь выбором происшествий более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, личность Рус-

ского народа в данный момент. Конечно все может войти: куриозы, пожары, пожертвования, всякие добрые и дурные дела, всякие слова и речи, пожалуй даже известия о разливах рек, пожалуй даже и некоторые указы правительства, но изо всего выбирать только то что̀ рисует эпоху; все войдет с известным взглядом, с указанием, с намерением, с мыслию, освещающею все целое, всю совокупность. И наконец, книга должна быть любопытна даже для легкого чтения, не говоря уже о том что необходима для справок. Это была бы так-сказать картина духовной, нравственной, внутренней русской жизни за целый год. „Нужно чтобы все покупали, нужно чтобы книга обратилась в настольную,“ утверждала Лиза,— „я понимаю что все дело в плане, а потому к вам и обращаюсь,“ заключила она. Она очень разгорячилась и, несмотря на то что объяснялась темно и не полно, Шатов стал понимать.

— Значит выйдет нечто с направлением, подбор фактов под известное направление, пробормотал он все еще не подымая головы.

— Отнюдь нет, не надо подбирать под направление, и никакого направления не надо. Одно беспристрастие, вот направление.

— Да направление и не беда, зашевелился Шатов,— да и нельзя его избежать чуть лишь обнаружится хоть какой-нибудь подбор. В подборе фактов и будет указание как их понимать. Ваша идея не дурна.

— Так возможна стало-быть такая книга? обрадовалась Лиза.

— Надо посмотреть и сообразить. Дело это — огромное. Сразу ничего не выдумаешь. Опыт нужен. Да и когда издадим книгу, вряд ли еще научимся как ее издавать. Разве после многих опытов; но мысль наклевывается. Мысль полезная.

Он поднял наконец глаза, и они даже засияли от удовольствия, так он был заинтересован.

— Это вы сами выдумали? ласково и как бы стыдливо спросил он у Лизы.

— Да ведь выдумать не беда, план беда, улыбалась Лиза,— я мало понимаю и не очень умна и преследую только то что мне самой ясно....

— Преследуете?

— Вероятно не то слово? быстро осведомилась Лиза.

— Можно и это слово; я ничего.

— Мне показалось еще за границей что можно и мне быть чем-нибудь полезною. Деньги у меня свои и даром лежат, почему же и мне не поработать для общего дела? К тому же мысль как-то сама собой вдруг пришла; я нисколько ее не выдумывала и очень ей обрадовалась; но сейчас увидала что нельзя без сотрудника, потому что ничего сама не умею. Сотрудник, разумеется, станет и созидателем книги. Мы пополам: ваш план и работа, моя первоначальная мысль и средства к изданию. Ведь окупится книга?

— Если откопаем верный план, то книга пойдет.

— Предупреждаю вас что я не для барышей, но очень желаю расходу книги и буду горда барышами.

— Ну, а я тут при чем?

— Да ведь я же вас и зову в сотрудники.... пополам. Вы план выдумаете.

— Почем же вы знаете что я в состоянии план выдумать?

— Мне о вас говорили, и здесь я слышала.... я знаю что вы очень умны и.... занимаетесь делом и.... думаете много; мне о вас Петр Степанович Верховенский в Швейцарии говорил, торопливо прибавила она.— Он очень умный человек, не правда ли?

Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее, но тотчас же опустил глаза.

— Мне и Николай Всеволодович о вас тоже много говорил....

Шатов вдруг покраснел.

— Впрочем вот газеты, торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку газет,— я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила.... вы увидите.

Шатов взял сверток.

— Возьмите домой, посмотрите, вы ведь где живете?

— В Богоявленской улице, в доме Филиппова.

— Я знаю. Там тоже, говорят, кажется какой-то капитан живет подле вас, господин Лебядкин? все попрежнему торопилась Лиза.

Шатов с пачкой в руке, на отлете, как взял, так и просидел целую минуту без ответа, смотря в землю.

— На эти дела вы бы выбрали другого, а я вам вовсе не годен буду, проговорил он наконец, как-то ужасно странно понизив голос, почти шепотом.

Лиза вспыхнула.

— Про какие дела вы говорите? Маврикий Николаевич! крикнула она,— пожалуйте сюда давешнее письмо.

Я тоже за Маврикием Николаевичем подошел к столу.

— Посмотрите это, обратилась она вдруг ко мне, в большом волнении развертывая письмо.— Видали ли вы когда что-нибудь похожее? Пожалуста прочтите вслух; мне надо чтоб и господин Шатов слышал.

С немалым изумлением прочел я вслух следующее послание:

Совершенству девицы Тушиной.

Милостивая государыня
Елизавета Николаевна!

О как мила она,
Елизавета Тушина,
Когда с родственником на дамском седле летает,
А локон ее с ветрами играет,
Или когда с матерью в церкви падает ниц,
И зрится румянец благоговейных лиц!
Тогда брачных и законных наслаждений желаю
И вслед ей, вместе с матерью, слезу посылаю.

Составил неученый за спором.

„Милостивая государыня!

„Всех более жалею себя что в Севастополе не лишился руки для славы, не быв там вовсе, а служил всю кампанию по сдаче подлого провианта, считаю низостью. Вы богиня в древности, а я ничто и догадался о беспредельности. Смотрите

как на стихи, но не более, ибо стихи все-таки вздор и оправдывают то что в прозе считается дерзостью. Может ли солнце рассердиться на инфузорию, если та сочинит ему из капли воды, где их множество, если в микроскоп? Даже самый клуб человеколюбия к крупным скотам в Петербурге при высшем обществе, сострадая по праву собаке и лошади, презирает кроткую инфузорию, не упоминая о ней вовсе, потому что не доросла. Не дорос и я. Мысль о браке показалась бы уморительною; но скоро буду иметь бывшие двести душ чрез человеконенавистника, которого презирайте. Могу многое сообщить и вызываюсь по документам даже в Сибирь. Не презирайте предложения. Письмо от инфузории разуметь в стихах.

„Капитан Лебядкин, покорнейший друг
и имеет досуг.“

— Это писал человек в пьяном виде и негодяй! вскричал я в негодовании,— я его знаю!

— Это письмо я получила вчера, покраснев и торопясь стала объяснять нам Лиза,— я тотчас же и сама поняла что от какого-нибудь глупца и до сих пор еще не показала maman, чтобы не расстроить ее еще более. Но если он будет опять продолжать, то я не знаю как сделать. Маврикий Николаевич хочет сходить запретить ему. Так как я на вас смотрела как на сотрудника, обратилась она к Шатову,— и так как вы там живете, то я и хотела вас расспросить чтобы судить чего еще от него ожидать можно.

— Пьяный человек и негодяй, пробормотал как бы нехотя Шатов.

— Что жь, он все такой глупый?

— И, нет, он не глупый совсем, когда не пьяный.

— Я знал одного генерала который писал точь-в-точь такие стихи, заметил я смеясь.

— Даже и по этому письму видно что себе на уме, неожиданно ввернул молчаливый Маврикий Николаевич.

— Он, говорят, с какой-то сестрой? спросила Лиза.

— Да, с сестрой.

— Он, говорят, ее тиранит, правда это?

Шатов опять поглядел на Лизу, насупился, и проворчав: „какое мне дело!“ подвинулся к дверям.

— Ах, постойте, тревожно вскричала Лиза,—куда же вы? Нам так много еще остается переговорить....

— О чем же говорить? Я завтра дам знать....

— Да о самом главном, о типографии! Поверьте же что я не в шутку, а сериозно хочу дело делать, уверяла Лиза все в возрастающей тревоге.—Если решим издавать, то где же печатать? Ведь это самый важный вопрос, потому что в Москву мы для этого не поедем, а в здешней типографии невозможно для такого издания. Я давно решилась завести свою типографию, на ваше хоть имя, и мамà, я знаю, позволит, если только на ваше имя....

— Почему же вы знаете что я могу быть типографщиком? угрюмо спросил Шатов.

— Да мне еще Петр Степанович в Швейцарии именно на вас указал, что вы можете вести типографию и знакомы с делом. Даже записку хотел от себя к вам дать, да я забыла.

Шатов, как припоминаю теперь, изменился в лице. Он постоял еще несколько секунд и вдруг вышел из комнаты.

Лиза рассердилась.

— Он всегда так выходит? повернулась она ко мне.

Я пожал было плечами, но Шатов вдруг воротился, прямо подошел к столу и положил взятый им сверток газет:

— Я не буду сотрудником, не имею времени....

— Почему же, почему же? Вы кажется рассердились? огорченным и умоляющим голосом спрашивала Лиза.

Звук ее голоса как будто поразил его; несколько мгновений он пристально в нее всматривался, точно желая проникнуть в самую ее душу.

— Все равно, пробормотал он тихо,—я не хочу....

И ушел совсем. Лиза была совершенно поражена, даже как-то совсем и не в меру; так показалось мне.

— Удивительно странный человек! громко заметил Маврикий Николаевич.

III.

Конечно „странный“, но во всем этом было чрезвычайно много неясного. Тут что-то подразумевалось. Я решительно не верил этому изданию; потом это глупое письмо, но в котором слишком ясно предлагался какой-то донос „по документам“ и о чем все они промолчали, а говорили совсем о другом, наконец эта типография и внезапный уход Шатова именно потому, что заговорили о типографии. Все это навело меня на мысль что тут еще прежде меня что-то произошло и о чем я не знаю; что стало-быть я лишний и что все это не мое дело. Да и пора было уходить, довольно было для первого визита. Я подошел откланяться Лизавете Николаевне.

Она, кажется, и забыла что я в комнате и стояла все на том же месте у стола, очень задумавшись, склонив голову и неподвижно смотря в одну выбранную на ковре точку.

— Ах и вы, до свидания, пролепетала она привычно-ласковым тоном.— Передайте мой поклон Степану Трофимовичу и уговорите его придти ко мне поскорей. Маврикий Николаевич, Антон Лаврентьевич уходит. Извините, мама не может выйти с вами проститься....

Я вышел и даже сошел уже с лестницы, как вдруг лакей догнал меня на крыльце:

— Барыня очень просили воротиться....

— Барыня или Лизавета Николаевна?

— Оне-с.

Я нашел Лизу уже не в той большой зале где мы сидели, а в ближайшей приемной комнате. В ту залу, в которой остался теперь Маврикий Николаевич один, дверь была притворена наглухо.

Лиза улыбнулась мне, но была бледна. Она стояла посреди комнаты в видимой нерешимости, в видимой борьбе; но вдруг взяла меня за руку и молча, быстро подвела к окну.

— Я немедленно хочу *ее* видеть, прошептала она, устремив на меня горячий, сильный, нетерпеливый взгляд, не допу-

скающий и тени противоречия;— я должна *ее* видеть собственными глазами и прошу вашей помощи.

Она была в совершенном исступлении и — в отчаянии.

— Кого вы желаете видеть, Лизавета Николаевна? осведомился я в испуге.

— Эту Лебядкину, эту хромую... Правда что она хромая?

Я был поражен.

— Я никогда не видал ее, но я слышал что она хромая, вчера еще слышал, лепетал я с торопливою готовностию и тоже шепотом.

— Я должна ее видеть непременно. Могли бы вы это устроить сегодня же?

Мне стало ужасно ее жалко.

— Это невозможно и к тому же я совершенно не понимал бы как это сделать, начал было я уговаривать,— я пойду к Шатову...

— Если вы не устроите к завтраму, то я сама к ней пойду, одна, потому что Маврикий Николаевич отказался. Я надеюсь только на вас и больше у меня нет никого; я глупо говорила с Шатовым.... Я уверена что вы совершенно честный и, можетбыть, преданный мне человек, только устройте.

У меня явилось страстное желание помочь ей во всем.

— Вот что я сделаю, подумал я капельку,— я пойду сам и сегодня наверно, *наверно* ее увижу! Я так сделаю что увижу, даю вам честное слово; но только — позвольте мне ввериться Шатову.

— Скажите ему что у меня такое желание и что я больше ждать не могу, но что я его сейчас не обманывала. Он можетбыть ушел потому что он очень честный и ему не понравилось что я как будто обманывала. Я не обманывала; я в самом деле хочу издавать и основать типографию....

— Он честный, честный, подтверждал я с жаром.

— Впрочем если к завтраму не устроится, то я сама пойду, что бы ни вышло и хотя бы все узнали.

— Я раньше как к трем часам не могу у вас завтра быть, заметил я несколько опомнившись.

— Стало-быть в три часа. Стало-быть правду я предположила вчера у Степана Трофимовича что вы — несколько преданный мне человек? улыбнулась она, торопливо пожимая мне на прощаньи руку и спеша к оставленному Маврикию Николаевичу.

Я вышел подавленный моим обещанием и не понимал что такое произошло. Я видел женщину в настоящем отчаянии, не побоявшуюся скомпрометтировать себя доверенностию почти к незнакомому ей человеку. Ее женственная улыбка в такую трудную для нее минуту и намек что она уже заметила вчера мои чувства точно резнул меня по сердцу; но мне было жалко, жалко,— вот и все! Секреты ее стали для меня вдруг чем-то священным и еслибы даже мне стали открывать их теперь, то я бы кажется заткнул уши и не захотел слушать ничего дальше. Я только нечто предчувствовал... И однакожь я совершенно не понимал каким образом я что-нибудь тут устрою. Мало того, я все-таки и теперь не знал чтó именно надо устроить: свиданье, но какое свиданье? Да и как их свести? Вся надежда была на Шатова, хотя я и мог знать заранее что он ни в чем не поможет. Но я все-таки бросился к нему.

IV.

Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома. К удивлению моему, у него сидели гости — Алексей Нилыч и еще один полузнакомый мне господин, некто Шигалев, родной брат жены Виргинского.

Этот Шигалев должно-быть уже месяца два как гостил в нашем городе; не знаю откуда приехал; я слышал про него только что он напечатал в одном прогрессивном петербургском журнале какую-то статью. Виргинский познакомил меня с ним случайно, на улице. В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности. Он смотрел так как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак после завтра утром, ровно

в двадцать пять минут одиннадцатого. Мы впрочем тогда почти ни слова и не сказали, а только пожали друг другу руки с видом двух заговорщиков. Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врознь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны. Если Липутин и мечтал когда-нибудь что фаланстера могла бы осуществиться в нашей губернии, то этот наверное знал день и час когда это сбудется. Он произвел на меня впечатление зловещее, встретив же его у Шатова теперь, я подивился, тем более что Шатов и вообще был до гостей не охотник.

Еще с лестницы слышно было что они разговаривают очень громко, все трое разом, и кажется спорят; но только-что я появился, все замолчали. Они спорили стоя, а теперь вдруг все сели, так что и я должен был сесть. Глупое молчание не нарушалось минуты три полных. Шигалев хотя и узнал меня, но сделал вид что не знает, и наверно не по вражде, а так. С Алексеем Нилычем мы слегка раскланялись, но молча и почему-то не пожали друг другу руки. Шигалев начал наконец смотреть на меня строго и нахмуренно, с самою наивною уверенностию что я вдруг встану и уйду. Наконец Шатов привстал со стула, и все тоже вдруг вскочили. Они вышли не прощаясь, только Шигалев уже в дверях сказал провожавшему Шатову:

— Помните что вы обязаны отчетом.

— Наплевать на ваши отчеты и никакому чорту я не обязан, проводил его Шатов и запер дверь на крюк.

— Кулики! сказал он, поглядев на меня и как-то криво усмехнувшись.

Лицо у него было сердитое, и странно мне было что он сам заговорил. Обыкновенно случалось прежде, всегда когда я заходил к нему (впрочем очень редко), что он нахмуренно садился в угол, сердито отвечал и только после долгого времени совершенно оживлялся и начинал говорить с удовольствием. За то, прощаясь, опять, всякий раз, непременно нахмуривался и выпускал вас точно выживал от себя своего личного неприятеля.

— Я у этого Алексея Нилыча вчера чай пил, заметил я; — он кажется помешан на атеизме.

— Русский атеизм никогда дальше каламбура не заходил, проворчал Шатов, вставляя новую свечу вместо прежнего огарка.

— Нет, этот, мне показалось, не каламбурщик; он и просто говорить кажется не умеет, не то что каламбурить.

— Люди из бумажки; от лакейства мысли все это, спокойно заметил Шатов, присев в углу на стуле и упершись обеими ладонями в колени.

— Ненависть тоже тут есть, произнес он, помолчав с минуту; — они первые были бы страшно несчастливы, еслибы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся.... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! Никогда еще не было сказано на Руси более фальшивого слова как про эти незримые слезы! вскричал он почти с яростью.

— Ну ужь это вы бог знает что̀! засмеялся я.

— А вы — „умеренный либерал", захохотал вдруг и Шатов. — Знаете, подхватил он вдруг, — я может и сморозил про „лакейство мысли"; вы верно мне тотчас же скажете: „Это ты родился от лакея, а я не лакей".

— Вовсе я не хотел сказать.... что̀ вы!

— Да вы не извиняйтесь, я вас не боюсь. Тогда я только от лакея родился, а теперь и сам стал лакеем, таким же как и вы. Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.

— Какие сапоги? Что̀ за аллегория?

— Какая тут аллегория! Вы, я вижу, смеетесь.... Степан Трофимович правду сказал что я под камнем лежу, раздавлен, да не задавлен и только корчусь; это он хорошо сравнил.

— Степан Трофимович уверяет что вы помешались на Немцах, смеялся я, — мы с Немцев все же что-нибудь да стащили себе в карман.

— Двугривенный взяли, а сто рублей своих отдали.

С минуту мы помолчали.

— А это он в Америке себе належал.

— Кто! Что належал?

— Я про Кирилова. Мы с ним там четыре месяца в избе на полу пролежали.

— Да разве вы ездили в Америку? удивился я;— вы никогда не говорили.

— Чего расказывать. Третьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки „чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом *личным* опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении". Вот с какою целью мы отправились.

— Господи! засмеялся я,— да вы бы лучше для этого куда-нибудь в губернию нашу отправились в страдную пору „чтоб испытать личным опытом", а то понесло в Америку!

— Мы там нанялись в работники к одному эксплуататору; всех нас Русских собралось у него человек шесть,— студенты, даже помещики из своих поместий, даже офицеры были, и все с тою же величественною целью. Ну и работали, мокли, мучились, уставали, наконец я и Кирилов ушли — заболели, не выдержали. Эксплуататор-хозяин нас при расчете обсчитал, вместо тридцати долларов по условию, заплатил мне восемь, а ему пятнадцать; тоже и бивали нас там не раз. Ну тут-то без работы мы и пролежали с Кириловым в городишке на полу четыре месяца рядом; он об одном думал, а я о другом.

— Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как должно-быть вы ругали его!

— Ничуть. Мы напротив тотчас решили с Кириловым что „мы Русские пред Американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с Американцами чтобы стать с ними в уровень". Да что: когда с нас за копеечную вещь спрашивали по доллару, то мы платили не только с удовольствием, но даже с увлечением. Мы все хвалили: спиритизм, закон Линча, револьверы,

бродяг. Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кириловым и решили что это хорошо и что нам очень нравится....

— Странно что это у нас не только заходит в голову, но и исполняется, заметил я.

— Люди из бумажки, повторил Шатов.

— Но однакожь переплывать Океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы и с целью „узнать личным опытом“ и т. д.— в этом ей богу есть как будто какая-то великодушная твердость.... Да как же вы оттуда выбрались?

— Я к одному человеку в Европу написал, и он мне прислал сто рублей.

Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в землю, даже когда и горячился. Тут же вдруг поднял голову:

— А хотите знать имя человека?

— Кто же таков?

— Николай Ставрогин.

Он вдруг встал, повернулся к своему липовому письменному столу и начал на нем что-то шарить. У нас ходил неясный, но достоверный слух, что жена его некоторое время находилась в связи с Николаем Ставрогиным в Париже и именно года два тому назад, значит когда Шатов был в Америке,—правда, уже давно после того как оставила его в Женеве. „Если так, то зачем же его дернуло теперь с именем вызваться и размазывать?“ подумалось мне.

— Я еще ему по сих пор не отдал, оборотился он ко мне вдруг опять и, поглядев на меня пристально, уселся на прежнее место в углу и отрывисто спросил совсем уже другим голосом:

— Вы конечно зачем-то пришли; что вам надо?

Я тотчас же рассказал все, в точном историческом порядке, и прибавил что хоть я теперь и успел одуматься после давешней горячки, но еще более спутался: понял что тут что-то очень важное для Лизаветы Николаевны, крепко желал бы помочь, но вся беда в том что не только не знаю как сдер-

жать данное ей обещание, но даже не понимаю теперь что именно ей обещал. Затем внушительно подтвердил ему еще раз что она не хотела и не думала его обманывать, что тут вышло какое-то недоразумение и что она очень огорчена его необыкновенным давешним уходом.

Он очень внимательно выслушал.

— Может-быть я, по моему обыкновению, действительно давеча глупость сделал.... Ну, если она сама не поняла отчего я так ушел, так.... ей же лучше.

Он встал, подошел к двери, приотворил ее и стал слушать на лестницу.

— Вы желаете эту особу сами увидеть?

— Этого-то и надо, да как это сделать? вскочил я обрадовавшись.

— А просто пойдемте, пока одна сидит. Он придет, так изобьет ее коли узнает что мы приходили. Я часто хожу потихоньку. А я его давеча прибил, когда он опять ее бить начал.

— Что вы это?

— Именно; за волосы от нее отволок; он было хотел меня за это отколотить, да я испугал его, тем и кончилось. Боюсь, пьяный воротится, припомнит — крепко ее за то исколотит.

Мы тотчас же сошли вниз.

V.

Дверь к Лебядкиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Все помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток, с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. Остальные, бывшие под харчевней комнаты, были теперь заперты, а эти две достались Лебядкину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая m-lle Лебядкиной, сам же капитан, ложась на ночь,

валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, насорено, намочено; большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же в той же луже старый истоптанный башмак. Видно было что тут никто ничем не занимается; печи не топятся, кушанье не готовится; самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться; но получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства.

M-lle Лебядкина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом, на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настежь в сени всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике, я разглядел женщину лет может-быть тридцати, болезненно худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытою длинною шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок, толщиной в кулачек двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело; кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было что m-lle Лебядкина белится и румянится и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белила, довольно резко обозначались три длинные морщинки. Я уже знал что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь, в первой молодости, это исхудавшее лицо могло быть и недурным; но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны; что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, уди-

вила меня после всего что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных, наказанных богом существ — мне стало почти приятно смотреть на нее, с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладела мною потом.

— Вот так и сидит, и буквально по целым дням одна одинешенька, и не двинется, гадает или в зеркальце смотрится,— указал мне на нее с порога Шатов,— он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради; как это со свечей ее одну оставляют!

К удивлению моему Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате.

— Здравствуй, Шатушка! приветливо проговорила m-lle Лебядкина.

— Я тебе Марья Тимофеевна гостя привел, сказал Шатов.

— Ну гостю честь и будет. Не знаю кого ты привел, чтой-то не помню этакого, поглядела она на меня пристально из-за свечки и тотчас же опять обратилась к Шатову, (а мною уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подле нее).

— Соскучилось что ли одному по светелке шагать? засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.

— И соскучилось и тебя навестить захотелось.

Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.

— Разговору я всегда рада, только все-таки смешен ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то? Дай я тебя еще причешу, вынула она из кармана гребешок,— небось, с того раза как я причесала и не притронулся?

— Да у меня и гребенки-то нет, засмеялся Шатов.

— Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни.

С самым серьозным видом принялась она его причесывать, провела даже с боку пробор, откинулась немножко назад, поглядела хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.

— Знаешь что, Шатушка, покачала она головой,— человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть; не понимаю я как это люди скучают. Тоска не скука. Мне весело.

— И с братцем весело?

— Это ты про Лебядкина? Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он, или нет. Я ему крикну: Лебядкин, принеси воды, Лебядкин, подавай башмаки, он и бежит; иной раз согрешишь, смешно на него станет.

— И это точь в точь так, опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов; — она его третирует совсем как лакея; сам я слышал как она кричала ему: „Лебядкин, подай воды" и при этом хохотала; в том только разница что он не бежит за водой, а бьет ее за это; но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные, и ей память отбивают, так что она после них все забывает что сейчас было и всегда время перепутывает. Вы думаете она помнит как мы вошли; может и помнит, но уж наверно переделала все по своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть, хоть и помнит что я Шатушка. Это ничего что я громко говорю; тех которые не с нею говорят она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя; именно бросается. Мечтательница чрезвычайная; по восьми часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит, она ее может с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала....

— Гадаю-то я гадаю, Шатушка, да не то как-то выходит, подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо и не глядя протянула левую руку к булке (тоже вероятно расслышав и про булку). Булочку она наконец захватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила не примечая опять на стол, не откусив ни разу.

— Все одно выходит: дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постеля, откуда-то письмо, нечаянное известие — враки все это я думаю, Шатушка, как по твоему? Коли люди врут,

почему картам не врать? смешала она вдруг карты.— Это самое я матери Прасковье раз говорю, почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью в карты погадать, потихоньку от мать-игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают оне, качают головами, судят-рядят, а я-то смеюсь: „ну где вам, говорю, мать Прасковья, письмо получить, коли двенадцать лет оно не приходило?“ Дочь у ней куда-то в Турцию муж завез, и двенадцать лет ни слуху ни духу. Только сижу я это на завтра вечером за чаем у мать-игуменьи (княжеского рода она у нас), сидит у ней какая-то тоже барыня заезжая, большая мечтательница, и сидит один захожий монашек афонский, довольно смешной человек по моему мнению. Чтó жь ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес,— вот тебе и валет бубновый — нечаянное-то известие! Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит мать-игуменье: „всего более, благословенная мать-игуменья, благословил господь вашу обитель тем что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее“. „Какое это сокровище?“ спрашивает мать-игуменья. „А мать-Лизавету блаженную“. А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два аршина высоты, и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето в одной посконной рубахе и все аль соломинкой али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не говорит и не чешется и не моется семнадцать лет. Зимой тулупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, вздыхают, деньги кладут. „Вот нашли сокровище, отвечает мать-игуменья (рассердилась; страх не любила Лизавету): Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и все одно притворство“. Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: „А по моему, говорю, бог и природа есть все одно“. Они мне все в один голос: „вот на!“ Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барыней, подозвала меня, приласкала, а барыня мне бантик розовый подарила, хочешь покажу? Ну а монашек стал мне тут же

говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил и с таким надо быть умом; сижу я и слушаю. „Поняла ли?“ спрашивает. „Нет, говорю, ничего я не поняла, и оставьте, говорю, меня в полном покое“. Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, Шатушка. А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: „Богородица что̀ есть, как мнишь?“ „Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого“. „Так, говорит, богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество“. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я бывало на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора, так и зовут ее горой острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное,— любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длинная и на три версты дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу....

— А разве был? подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший.

— А какже: маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том что не помню я мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещеного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу и страшно мне, и всего больше я плачу о том что родила я его, а мужа не знаю.

— А может и был? осторожно спросил Шатов.

— Смешон ты мне, Шатушка, с своим рассуждением. Был-то может и был, да что̀ в том что был, коли его все равно что и не было? Вот тебе и загадка не трудная, отгадай-ка! усмехнулась она.

— Куда же ребенка-то снесла?

— В пруд снесла, вздохнула она.

Шатов опять подтолкнул меня локтем.

— А что̀ коли и ребенка у тебя совсем не было и все это один только бред, а?

— Трудный ты вопрос задаешь мне, Шатушка, раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она,— на этот счет я тебе ничего не скажу, может и не было; по-моему, одно только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? И крупные слезы засветились в ее глазах.— Шатушка, Шатушка, а правда что жена от тебя сбежала? положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него.— Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, Шатушка, я сон какой видела: приходит он опять ко мне, манит меня, выкликает: „кошечка, говорит, моя, кошечка, выйди ко мне!“ Вот я „кошечке“-то пуще всего и обрадовалась: любит, думаю.

— Может и на яву придет, вполголоса пробормотал Шатов.

— Нет, Шатушка, это ужь сон.... не придти ему на яву. Знаешь песню:

„Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой келейке,
Ужь я стану жить-спасатися,
За тебя богу молитися.“

— Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?

— Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю.

— Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня не скажу, быстро подхватила она,— жги меня не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди!

— Ну вот видишь, всякому значит свое, еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.

— А попросил бы, может и сказала бы; может и сказала бы! восторженно повторила она.— Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может я тебе и скажу; умоли меня, Шатушка, так чтобы я сама согласилась.... Шатушка, Шатушка!

Но Шатушка молчал; с минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам; она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.

— Э, что мне до тебя, да и грех! поднялся вдруг со скамьи Шатов.— Привстаньте-ка! сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место.

— Придет так чтоб не догадался; а нам пора.

— Ах, ты все про лакея моего! засмеялась вдруг Марья Тимофеевна,— боишься! Ну прощайте, добрые гости; а послушай одну минутку что я скажу. Давеча пришел это сюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища, а мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате, а мой-то кричит: „Не виноват, за чужую вину терплю!“ Так веришь ли, все мы как были так и покатились со смеху....

— Эх, Тимофеевна, да ведь это я был заместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала.

— Постой, ведь и в самом деле смешала, может и ты. Ну чего спорить о пустяках; не все ли ему равно кто его оттаскает, засмеялась она.

— Пойдемте, вдруг дернул меня Шатов,— ворота заскрипели; застанет нас, изобьет ее.

И не успели мы еще взбежать на лестницу как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.

— Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь кричит как поросенок, должно-быть опять за порог зацепился; каждый-то раз растянется.

Без истории однако не обошлось.

VI.

Шатов стоял у запертой своей двери и прислушивался на лестницу; вдруг отскочил.

— Сюда идет, я так и знал! яростно прошептал он,— пожалуй до полночи теперь не отвяжется.

Раздалось несколько сильных ударов кулаком в двери.

— Шатов, Шатов, отопри! завопил капитан,— Шатов, друг!...

Я пришел к тебе с приветом,
Р-рассказать что солнце встало,
Что оно гор-р-рьячим светом
По... лесам... затр-р-репетало.
Рассказать тебе что я проснулся,
чорт тебя дери,
Весь пр-р-роснулся под... ветвями...

Чорт возьми точно под розгами, ха-ха!

Каждая птичка.... просит жажды.
Рассказать что̀ пить я буду,
Пить.... не знаю пить что̀ буду.

Ну да и чорт побери с глупым любопытством! Шатов, понимаешь ли ты как хорошо жить на свете!

— Не отвечайте, шепнул мне опять Шатов.

— Отвори же! Понимаешь ли ты что есть нечто высшее чем драка.... между человечеством; есть минуты блага-а-родного лица.... Шатов, я добр; я прощу тебя.... Шатов, к чорту прокламации, а?

Молчание.

— Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак любви, пятнадцать целковых; капитанская любовь требует светских приличий.... Отвори! дико заревел он вдруг и неистово застучал опять кулаками.

— Убирайся к чорту! заревел вдруг и Шатов.

— Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя раба и рабыня.... вор-ровка!

— А ты свою сестру продал.

— Врешь! Терплю напраслину, когда могу одним объяснением.... понимаешь ли кто она такова?

— Кто? с любопытством подошел вдруг к дверям Шатов.

— Да ты понимаешь ли?

— Да ужь пойму, ты скажи кто?

— Я смею сказать! Я всегда все смею в публике сказать!...

— Ну навряд смеешь, поддразнил Шатов и кивнул мне головой чтобы я слушал.

— Не смею?

— По-моему не смеешь.

— Не смею?

— Да ты говори если барских розог не боишься.... Ты ведь трус, а еще капитан!

— Я.... я.... она.... она есть.... залепетал капитан дрожащим, взволнованным голосом.

— Ну? подставил ухо Шатов.

Наступило молчание по крайней мере на полминуты.

— Па-а-адлец! раздалось наконец за дверью, и капитан быстро отретировался вниз, пыхтя как самовар, с шумом оступаясь и чуть не падая на каждой ступени.

— Нет, он хитер, и пьяный не проговорится, отошел от двери Шатов.

— Что же это такое? спросил я.

Шатов махнул рукой, отпер дверь и стал опять слушать на лестницу; долго слушал, даже сошел вниз потихоньку несколько ступеней. Наконец воротился.

— Не слыхать ничего, не дрался; значит прямо повалился дрыхнуть. Вам пора идти.

— Послушайте, Шатов, что же мне теперь заключить изо всего этого?

— Э, заключайте что хотите! ответил он усталым и брезгливым голосом, и сел за свой письменный стол.

Я ушел. Одна невероятная мысль все более и более укреплялась в моем воображении. С тоской думал я о завтрашнем дне....

VII.

Этот „завтрашний день“ то-есть то самое воскресенье в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей путаницы. Утром, как уже известно читателю, я обязан был сопровождать моего друга к Варваре Петровне, по ее собственному назначению, а в три часа пополудни я уже должен был быть у Лизаветы Николаевны, чтобы рассказать ей — я сам не знал о чем, и способствовать ей — сам не знал в чем. И между тем все разрешилось так как никто бы не предположил. Одним словом, это был день удивительно сошедшихся случайностей.

Началось с того что мы со Степаном Трофимовичем, явившись к Варваре Петровне ровно в двенадцать часов, как она назначила, не застали ее дома; она еще не возвращалась от обедни. Бедный друг мой был так настроен или, лучше сказать, так расстроен что это обстоятельство тотчас же сразило его; почти в бессилии опустился он на кресло в гостиной. Я предложил ему стакан воды; но несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках, он с достоинством отказался. Кстати, костюм его отличался на этот раз необыкновенною изысканностию: почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстух, новая шляпа в руках, свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи. Только-что мы уселись, вошел Шатов, введенный камердинером, ясное дело, тоже по официальному приглашению. Степан Трофимович привстал было

протянуть ему руку, но Шатов, посмотрев на нас обоих внимательно, поворотил в угол, уселся там и даже не кивнул нам головой. Степан Трофимович опять испуганно поглядел на меня.

Так просидели мы еще несколько минут в совершенном молчании. Степан Трофимович начал было вдруг мне что-то очень скоро шептать, но я не расслушал; да и сам он от волнения не докончил и бросил. Вошел еще раз камердинер поправить что-то на столе; а вернее — поглядеть на нас. Шатов вдруг обратился к нему с громким вопросом:

— Алексей Егорыч, не знаете, Дарья Павловна с ней отправилась?

— Варвара Петровна изволили поехать в собор одне-с, а Дарья Павловна изволили остаться у себя наверху, и не так здоровы-с, назидательно и чинно доложил Алексей Егорыч.

Бедный друг мой опять бегло и тревожно со мной переглянулся, так что я наконец стал от него отворачиваться. Вдруг у подъезда прогремела карета и некоторое отдаленное движение в доме возвестило нам что хозяйка воротилась. Все мы привскочили с кресел, но опять неожиданность: послышался шум многих шагов, значило что хозяйка возвратилась не одна, а это действительно было уже несколько странно, так как сама она назначила нам этот час. Послышалось наконец что кто-то входил до странности скоро, точно бежал, а так не могла входить Варвара Петровна. И вдруг она почти влетела в комнату запыхавшись и в чрезвычайном волнении. За нею, несколько приотстав и гораздо тише, вошла Лизавета Николаевна, а с Лизаветой Николаевной рука в руку Марья Тимофеевна Лебядкина! Еслиб я увидел это во сне, то и тогда бы не поверил.

Чтоб объяснить эту совершенную неожиданность, необходимо взять часом назад и рассказать подробнее о необыкновенном приключении происшедшем с Варварой Петровной в соборе.

Вопервых, к обедне собрался почти весь город, то-есть разумея высший слой нашего общества. Знали что пожалует губернаторша в первый раз, после своего к нам прибытия. Замечу что у нас уже пошли слухи о том что она вольно-

думка и „новых правил“. Всем дамам известно было тоже что она великолепно и с необыкновенным изяществом будет одета; а потому наряды наших дам отличались на этот раз изысканностью и пышностью. Одна лишь Варвара Петровна была скромно и по всегдашнему одета во все черное, так бессменно одевалась она в продолжение последних четырех лет. Прибыв в собор, она поместилась на обычном своем месте, налево, в первом ряду, и ливрейный лакей положил пред нею бархатную подушку для коленопреклонений, одним словом, все по обыкновенному. Но заметили тоже что на этот раз она, во все продолжение службы, как-то чрезвычайно усердно молилась; уверяли даже потом, когда все припомнили, что даже слезы стояли в глазах ее. Кончилась наконец обедня, и наш протоиерей, отец Павел, вышел сказать торжественную проповедь. У нас любили его проповеди и ценили их высоко; уговаривали его даже напечатать, но он все не решался. На этот раз проповедь вышла как-то особенно длинна.

И вот, во время уже проповеди подкатила к собору одна дама, на легковых извощичьих дрожках прежнего фасона, то-есть на которых дамы могли сидеть только с боку, придерживаясь за кушак извощика и колыхаясь от толчков экипажа как полевая былинка от ветра. Эти ваньки в нашем городе до сих пор еще разъезжают. Остановясь у угла собора, ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, дама соскочила с дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром.

— Что̀ ж, мало разве, Ваня! вскрикнула она, увидав его гримасу,—у меня все что̀ есть, прибавила она жалобно.

— Ну да бог с тобой, не рядясь садил, махнул рукой ванька и поглядел на нее как бы думая: „Да и грех тебя обижать-то“; затем сунув за пазуху кожаный кошель, тронул лошадь и укатил, напутствуемый насмешками близь стоявших извощиков. Насмешки и даже удивление сопровождали и даму все время пока она пробиралась к соборным вратам между экипажами и ожидавшим скорого выхода господ лакейством. Да и действительно было что-то необыкновенное и неожиданное для всех в появлении такой особы вдруг откуда-то на улице

средь народа. Она была болезненно худа и прихрамывала, крепко набелена и нарумянена, с совершенно оголенною длинною шеей, без платка, без бурнуса, в одном только стареньком темном платье, несмотря на холодный и ветряный, хотя и ясный сентябрьский день; с совершенно открытою головой, с волосами подвязанными в крошечный узелок на затылке, в которые с правого боку воткнута была одна только искусственная роза, из таких которыми украшают вербных херувимов. Такого вербного херувима в венке из бумажных роз я именно заметил вчера в углу, под образами, когда сидел у Марьи Тимофеевны. К довершению всего, дама шла хоть и скромно опустив глаза, но в то же время весело и лукаво улыбаясь. Еслиб она еще капельку промедлила, то ее бы может-быть и не пропустили в собор.... Но она успела проскользнуть, а войдя в храм, протиснулась незаметно вперед.

Хотя проповедь была на половине, и вся сплошная толпа наполнявшая храм слушала ее с полным и беззвучным вниманием, но все-таки несколько глаз с любопытством и недоумением покосились на вошедшую. Она упала на церковный помост, склонив на него свое набеленое лицо, лежала долго и повидимому плакала; но подняв опять голову и привстав с колен, очень скоро оправилась и развлеклась. Весело, с видимым чрезвычайным удовольствием, стала скользить она глазами по лицам, по стенам собора; с особенным любопытством вглядывалась в иных дам, приподымаясь для этого даже на цыпочки, и даже раза два засмеялась, как-то странно при этом хихикая. Но проповедь кончилась, и вынесли крест. Губернаторша пошла к кресту первая, но не дойдя двух шагов приостановилась, видимо желая уступить дорогу Варваре Петровне, с своей стороны подходившей слишком уж прямо и как бы не замечая никого впереди себя. Необычайная учтивость губернаторши, без сомнения, заключала в себе явную и остроумную в своем роде колкость; так все поняли; так поняла должно-быть и Варвара Петровна; но попрежнему никого не замечая и с самым непоколебимым видом достоинства приложилась она ко кресту и тотчас же направилась к

выходу. Ливрейный лакей расчищал пред ней дорогу, хотя и без того все расступались. Но у самого выхода, на паперти, тесно сбившаяся кучка людей, на мгновение загородила путь. Варвара Петровна приостановилась и вдруг странное, необыкновенное существо, женщина с бумажной розой на голове, протиснувшись между людей, опустилась пред ней на колени. Варвара Петровна, которую трудно было чем-нибудь озадачить, особенно в публике, поглядела важно и строго.

Поспешу заметить здесь, по возможности вкратце, что Варвара Петровна хотя и стала в последние годы излишне, как говорили, расчетлива и даже скупенька, но иногда не жалела денег, собственно на благотворительность. Она состояла членом одного благотворительного общества в столице. В недавний голодный год, она отослала в Петербург, в главный комитет для приема пособий потерпевшим, пятьсот рублей, и об этом у нас говорили. Наконец, в самое последнее время, пред назначением нового губернатора, она было совсем уже основала местный дамский комитет, для пособия самым беднейшим родильницам в городе и в губернии. У нас сильно упрекали ее в честолюбии; но известная стремительность характера Варвары Петровны и в то же время настойчивость чуть не восторжествовали над препятствиями; общество почти уже устроилось, а первоначальная мысль все шире и шире развивалась в восхищенном уме основательницы: она уже мечтала об основании такого же комитета в Москве, о постепенном распространении его действий по всем губерниям. И вот с внезапною переменой губернатора, все приостановилось; а новая губернаторша, говорят, уже успела высказать в обществе несколько колких и, главное, метких и дельных возражений насчет будто бы непрактичности основной мысли подобного комитета, что̀, разумеется с прикрасами, было уже передано Варваре Петровне. Один бог знает глубину сердец, но полагаю, что Варвара Петровна даже с некоторым удовольствием приостановилась теперь в самых соборных вратах, зная что мимо должна сейчас же пройти губернаторша, а затем и все, и „пусть сама увидит как мне все равно что̀ бы она там ни подумала и что̀

бы ни сострила еще насчет тщеславия моей благотворительности. Вот же вам всем!“

— Чтò вы милая, о чем вы просите? внимательнее всмотрелась Варвара Петровна в коленопреклоненную пред нею просительницу. Та глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговейным взглядом и вдруг усмехнулась с тем же странным хихиканьем.

— Чтò она? Кто она? Варвара Петровна обвела кругом присутствующих повелительным и вопросительным взглядом.— Все молчали.

— Вы несчастны? Вы нуждаетесь в вспоможении?

— Я нуждаюсь.... я приехала.... лепетала „несчастная“ прерывавшимся от волнения голосом.— Я приехала только чтобы вашу ручку поцеловать.... и опять хихикнула. С самым детским взглядом, с каким дети ласкаются что-нибудь выпрашивая, потянулась она схватить ручку Варвары Петровны, но как бы испугавшись, вдруг отдернула свои руки назад.

— Только за этим и прибыли? улыбнулась Варвара Петровна с сострадательною улыбкой, но тотчас же быстро выхватила из кармана свой перламутровый портмоне, а из него десятирублевую бумажку и подала незнакомке. Та взяла. Варвара Петровна была очень заинтересована и видимо не считала незнакомку какою-нибудь простонародною просительницей.

— Вишь десять рублей дала, проговорил кто-то в толпе.

— Ручку-то пожалуйте, лепетала „несчастная“, крепко прихватив пальцами левой руки за уголок полученную десятирублевую бумажку, которую свивало ветром. Варвара Петровна почему-то немного нахмурилась и с сериозным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благодарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. Вот в это-то самое время подошла губернаторша и прихлынула целая толпа наших дам и старших сановников. Губернаторша поневоле должна была на минутку приостановиться в тесноте; многие остановились.

— Вы дрожите, вам холодно?— заметила вдруг Варвара Петровна, и сбросив с себя свой бурнус, на лету подхваченный

лакеем, сняла с плеч свою черную (очень не дешевую) шаль и собственными руками окутала обнаженную шею все еще стоявшей на коленях просительницы.

— Да встаньте же, встаньте с колен, прошу вас! Та встала.

— Где вы живете? Неужели никто наконец не знает где она живет? снова нетерпеливо оглянулась кругом Варвара Петровна. Но прежней кучки уже не было; виднелись все знакомые, светские лица, разглядывавшие сцену, одни с строгим удивлением, другие с лукавым любопытством и в то же время с невинною жаждой скандальчика, а третьи начинали даже посмеиваться.

— Кажется это Лебядкиных-с, выискался наконец один добрый человек с ответом на запрос Варвары Петровны, наш почтенный и многими уважаемый купец Андреев, в очках, с седою бородой, в русском платье и с круглою цилиндрическою шляпой, которую держал теперь в руках;—они у Филипповых в доме проживают, в Богоявленской улице.

— Лебядкин? Дом Филиппова? Я что-то слышала.... благодарю вас, Никон Семеныч, но кто этот Лебядкин?

— Капитаном прозывается, человек, надо бы так-сказать, неосторожный. А это ужь наверное их сестрица. Она, полагать надо, из-под надзору теперь ушла, сбавив голос проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Варвару Петровну.

— Понимаю вас; благодарю Никон Семеныч. Вы, милая моя, госпожа Лебядкина?

— Нет; я не Лебядкина.

— Так может брат ваш Лебядкин?

— Брат мой Лебядкин.

— Вот что я сделаю, я вас теперь, моя милая, с собой возьму, а от меня вас уже отвезут к вашему семейству; хотите ехать со мной?

— Ах, хочу! сплеснула ладошками г-жа Лебядкина.

— Тётя, тётя? Возьмите и меня с собой к вам! раздался голос Лизаветы Николаевны. Замечу что Лизавета Николаевна прибыла к обедне вместе с губернаторшей, а Прасковья Ива-

новна, по предписанию доктора, поехала тем временем покататься в карете, а для развлечения увезла с собой и Маврикия Николаевича. Лиза вдруг оставила губернаторшу и подскочила к Варваре Петровне.

— Милая моя, ты знаешь я всегда тебе рада, но что скажет твоя мать? начала было осанисто Варвара Петровна, но вдруг смутилась, заметив необычайное волнение Лизы.

— Тётя, тётя, непременно теперь с вами,— умоляла Лиза, целуя Варвару Петровну.

— Mais qu'avez vous donc, Lise![1] с выразительным удивлением проговорила губернаторша.

— Ах простите, голубчик, chère cousine[2], я к тёте,— на лету повернулась Лиза к неприятно-удивленной своей chère cousine и поцеловала ее два раза.

— И maman тоже скажите чтобы сейчас же приезжала за мной к тёте; maman непременно, непременно хотела заехать, она давеча сама говорила, я забыла вас предуведомить, трещала Лиза,— виновата, не сердитесь Julie.... chère cousine[3].... тётя, я готова.

— Если вы, тётя, меня не возьмете, то я за вашею каретой побегу и закричу,— быстро и отчаянно прошептала она совсем на ухо Варваре Петровне; хорошо еще что никто не слыхал. Варвара Петровна даже на шаг отшатнулась и пронзительным взглядом посмотрела на сумашедшую девушку. Этот взгляд все решил: она непременно положила взять с собой Лизу!

— Этому надо положить конец, вырвалось у ней.—Хорошо, я с удовольствием беру тебя, Лиза,—тотчас же громко прибавила она,— разумеется если Юлия Михайловна согласится тебя отпустить, с открытым видом и с прямодушным достоинством повернулась она прямо к губернаторше.

— О, без сомнения, я не захочу лишить ее этого удовольствия, тем более что я сама.... с удивительною любезностью залепетала вдруг Юлия Михайловна,— я сама... хорошо знаю

[1] [Но что с вами, Лиза!]
[2] [дорогая кузина]
[3] [Жюли,.. дорогая кузина...]

какая на наших плечиках фантастическая и всевластная головка (Юлия Михайловна очаровательно усмехнулась)....

— Благодарю вас чрезвычайно,—отблагодарила вежливым и осанистым поклоном Варвара Петровна.

— И мне тем более приятно,—почти уже с восторгом продолжала свой лепет Юлия Михайловна, даже вся покраснев от приятного волнения,—что кроме удовольствия быть у вас, Лизу увлекает теперь такое прекрасное, такое, могу сказать, высокое чувство.... сострадание.... (она взглянула на „несчастную“).... и.... на самой паперти храма....

— Такой взгляд делает вам честь, великолепно одобрила Варвара Петровна. Юлия Михайловна стремительно протянула свою руку, и Варвара Петровна с полною готовностью дотронулась до нее своими пальцами. Всеобщее впечатление было прекрасное, лица некоторых присутствовавших просияли удовольствием, показалось несколько сладких и заискивающих улыбок.

Одним словом, всему городу вдруг ясно открылось что это не Юлия Михайловна пренебрегала до сих пор Варварой Петровной и не сделала ей визита, а сама Варвара Петровна напротив „держала в границах Юлию Михайловну, тогда как та пешком бы может побежала к ней с визитом, еслибы только была уверена что Варвара Петровна ее не прогонит“. Авторитет Варвары Петровны поднялся до чрезвычайности.

— Садитесь же, милая, указала Варвара Петровна m-lle Лебядкиной на подъехавшую карету; „несчастная“ радостно побежала к дверцам, у которых подхватил ее лакей.

— Как! Вы хромаете! вскричала Варвара Петровна совершенно как в испуге, и побледнела. (Все тогда это заметили, но не поняли....)

Карета покатилась. Дом Варвары Петровны находился очень близко от собора. Лиза сказывала мне потом что Лебядкина смеялась истерически все эти три минуты переезда, а Варвара Петровна сидела „как будто в каком-то магнетическом сне“, собственное выражение Лизы.



ГЛАВА ПЯТАЯ

Премудрый змий

I.

Варвара Петровна позвонила в колокольчик и бросилась в кресла у окна.

— Сядьте здесь, моя милая, указала она Марье Тимофеевне место, посреди комнаты, у большого круглого стола;— Степан Трофимович, что это такое? Вот, вот, смотрите на эту женщину, что это такое?

— Я.... я.... залепетал было Степан Трофимович....

Но явился лакей.

— Чашку кофею, сейчас, особенно и как можно скорее! Карету не откладывать.

— Mais chère et excellente amie, dans quelle inquiètude... [1] замирающим голосом воскликнул Степан Трофимович.

— Ах! по-французски, по-французски! Сейчас видно что высший свет! хлопнула в ладоши Марья Тимофеевна, в упоении приготовляясь послушать разговор по-французски. Варвара Петровна уставилась на нее почти в испуге.

Все мы молчали и не без волнения ждали какой-нибудь развязки. Шатов не поднимал головы, а Степан Трофимович был в смятении, как будто во всем виноватый; пот выступил на его висках. Я взглянул на Лизу (она сидела в углу, почти рядом с Шатовым). Ее глаза зорко перебегали от Варвары Петровны к хромой женщине и обратно; на губах ее криви-

[1] [Но дорогой и незаменимый друг, в каком беспокойстве...]

лась улыбка, но нехорошая. Варвара Петровна видела эту улыбку. А между тем Марья Тимофеевна увлекалась совершенно: она с наслаждением и ни мало не конфузясь рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны,— меблировку, ковры, картины на стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на столе.

— Так и ты тут, Шатушка! воскликнула она вдруг,— представь, я давно тебя вижу, да думаю: не он! Как он сюда проедет! и весело рассмеялась.

— Вы знаете эту женщину? тотчас обернулась к нему Варвара Петровна.

— Знаю-с, пробормотал Шатов, тронулся было на стуле, но остался сидеть.

— Что̀ же вы знаете? Пожалуста поскорей!

— Да что̀.... ухмыльнулся он ненужной улыбкой и запнулся.... сами видите.

— Что̀ вижу? Да ну же, говорите что-нибудь!

— Живет в том доме, где я.... с братом.... офицер один.

— Ну?

Шатов запнулся опять.

— Говорить не стоит.... промычал он и решительно смолк. Даже покраснел от своей решимости.

— Конечно от вас нечего больше ждать! с негодованием оборвала Варвара Петровна. Ей ясно было теперь что все что-то знают и между тем все что-то трусят и уклоняются пред ее вопросами, хотят что-то скрыть от нее.

Вошел лакей и поднес ей на маленьком серебряном подносе заказанную особо чашку кофе, но тотчас же, по ее мановению, направился к Марье Тимофеевне.

— Вы, моя милая, очень озябли давеча, выпейте поскорей и согрейтесь.

— Merci,— взяла чашку Марья Тимофеевна и вдруг прыснула со смеху над тем что сказала лакею merci. Но встретив грозный взгляд Варвары Петровны, оробела и поставила чашку на стол.

— Тётя, да ужь вы не сердитесь ли? пролепетала она с какою-то легкомысленною игривостью.

— Что-о-о? вспрянула и выпрямилась в креслах Варвара Петровна,— какая я вам тётя? Что̀ вы подразумевали?

Марья Тимофеевна, не ожидавшая такого гнева, так и задрожала вся мелкою конвульсивною дрожью, точно в припадке, и отшатнулась на спинку кресел.

— Я.... я думала так надо, пролепетала она, смотря во все глаза на Варвару Петровну,— так вас Лиза звала.

— Какая еще Лиза?

— А вот эта барышня, указала пальчиком Марья Тимофеевна.

— Так вам она уже Лизой стала.

— Вы так сами ее давеча звали, ободрилась несколько Марья Тимофеевна.— А во сне я точно такую же красавицу видела, усмехнулась она как бы нечаянно.

Варвара Петровна сообразила и несколько успокоилась; даже чуть-чуть улыбнулась последнему словцу Марьи Тимофеевны. Та, поймав улыбку, встала с кресел и хромая робко подошла к ней.

— Возьмите, забыла отдать, не сердитесь за неучтивость, сняла она вдруг с плеч своих черную шаль надетую на нее давеча Варварой Петровной.

— Наденьте ее сейчас же опять и оставьте навсегда при себе. Ступайте и сядьте, пейте ваш кофе и пожалуста не бойтесь меня, моя милая, успокойтесь. Я начинаю вас понимать.

— Chère amie.... позволил было себе опять Степан Трофимович.

— Ах, Степан Трофимович, тут и без вас всякий толк потеряешь, пощадите хоть вы.... Пожалуста позвоните вот в этот звонок, подле вас, в девичью.

Наступило молчание. Взгляд ее подозрительно и раздражительно скользил по всем нашим лицам. Явилась Агаша, любимая ее горничная.

— Клетчатый мне платок, который я в Женеве купила. Что̀ делает Дарья Павловна?

— Оне-с не совсем здоровы-с.

— Сходи и попроси сюда. Прибавь что очень прошу, хотя бы и нездорова.

В это мгновение из соседних комнат опять послышался какой-то необычный, стремящийся шум шагов и голосов, подобный давешнему, и вдруг на пороге показалась запыхавшаяся и „расстроенная“ Прасковья Ивановна. Маврикий Николаевич поддерживал ее под руку.

— Ох, батюшки, насилу доплелась; Лиза, что̀ ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! взвизгнула она, кладя в этот взвизг, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все что̀ накопилось раздражения.

— Матушка, Варвара Петровна, я к вам за дочерью!

Варвара Петровна взглянула на нее исподлобья, полупривстала навстречу и, едва скрывая досаду, проговорила:

— Здравствуй, Прасковья Ивановна, сделай одолжение, садись. Я так и знала ведь что приедешь.

II.

Для Прасковьи Ивановны в таком приеме не могло заключаться ничего неожиданного. Варвара Петровна и всегда, с самого детства, третировала свою бывшую пансионскую подругу деспотически и, под видом дружбы, чуть не с презрением. Но в настоящем случае и положение дел было особенное. В последние дни между обоими домами пошло на совершенный разрыв, о чем уже и было мною вскользь упомянуто. Причины начинающегося разрыва покаместь были еще для Варвары Петровны таинственны, а стало-быть еще пуще обидны; но главное в том что Прасковья Ивановна успела принять пред нею какое-то необычайно высокомерное положение. Варвара Петровна, разумеется, была уязвлена, а между тем и до нее уже стали доходить какие-то странные слухи, тоже чрезмерно ее раздражавшие и именно своею неопределенностью. Характер Варвары Петровны был прямой и гордо-открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она не могла

выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. Как бы то ни было, но вот уже пять дней как обе дамы не виделись. Последний визит был со стороны Варвары Петровны, которая и уехала „от Дроздихи“ обиженная и смущенная. Я без ошибки могу сказать что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении что Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но видно тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла заподозрить что ее почему-либо считают униженною. Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом выгодном для себя обороте дела. Правда, теперь она была нездорова, а в болезни становилась всегда раздражительнее. Прибавлю, наконец, что все мы находившиеся в гостиной не могли особенно стеснить нашим присутствием обеих подруг детства, если бы между ними возгорелась ссора; мы считались людьми своими и чуть не подчиненными. Я не без страха сообразил это тогда же. Степан Трофимович, не садившийся с самого прибытия Варвары Петровны, в изнеможении опустился на стул, услыхав взвизг Прасковьи Ивановны и с отчаянием стал ловить мой взгляд. Шатов круто повернулся на стуле и что-то даже промычал про себя. Мне кажется он хотел встать и уйти. Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного внимания на взвизг своей матери, но не от „строптивости характера“, а потому что, очевидно, вся была под властью какого-то другого могучего впечатления. Она смотрела теперь куда-то в воздух, почти рассеянно и даже на Марью Тимофеевну перестала обращать прежнее внимание.

III.

— Ох, сюда! указала Прасковья Ивановна на кресло у стола и тяжело в него опустилась с помощию Маврикия

Николаевича;— не сѣла-б у вас, матушка, еслибы не ноги! прибавила она надрывным голосом.

Варвара Петровна приподняла немного голову, с болезненным видом прижимая пальцы правой руки к правому виску и видимо ощущая в нем сильную боль (tic douloureux).

— Чтò так, Прасковья Ивановна, почему бы тебе и не сесть у меня? Я от покойного мужа твоего всю жизнь искреннею приязнию пользовалась, а мы с тобой еще девчонками вместе в куклы в пансионе играли.

Прасковья Ивановна замахала руками.

— Ужь так и знала! Вечно про пансион начнете, когда попрекать собираетесь,— уловка ваша. А по моему, одно красноречие. Терпеть не могу этого вашего пансиона.

— Ты, кажется, слишком ужь в дурном расположении приехала; чтò твои ноги? Вот тебе кофе несут, милости просим, кушай и не сердись.

— Матушка, Варвара Петровна, вы со мной точно с маленькой девочкой. Не хочу я кофею, вот!

И она задирчиво махнула рукой подносившему ей кофей слуге. (От кофею впрочем и другие отказались, кроме меня и Маврикия Николаевича. Степан Трофимович взял было, но отставил чашку на стол. Марье Тимофеевне хоть и очень хотелось взять другую чашку, она ужь и руку протянула, но одумалась и чинно отказалась, видимо довольная за это собой.)

Варвара Петровна криво улыбнулась.

— Знаешь чтò, друг мой Прасковья Ивановна, ты верно опять что-нибудь вообразила себе, с тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. Ты вот про пансион разозлилась; а помнишь как ты приехала и весь класс уверила что за тебя гусар Шаблыкин посватался, и как M-me Lefebure тебя тут же изобличила во лжи. А ведь ты и не лгала, просто навоображала себе для утехи. Ну, говори: с чем ты теперь? Что еще вообразила, чем недовольна?

— А вы, мать моя, в пансионе в попа влюбились чтò закон божий преподавал,— вот вам, коли до сих пор в вас такая злопамятность,— ха, ха, ха!

Она желчно расхохоталась и раскашлялась.

— А-а, ты не забыла про попа.... ненавистно глянула на нее Варвара Петровна.

Лицо ее позеленело. Прасковья Ивановна вдруг приосанилась.

— Мне, матушка, теперь не до смеху; зачем вы мою дочь при всем городе в ваш скандал замешали, вот зачем я приехала?

— В мой скандал? грозно выпрямилась вдруг Варвара Петровна.

— Мама, я вас тоже очень прошу быть умереннее, проговорила вдруг Лизавета Николаевна.

— Как ты сказала? приготовилась было опять взвизгнуть мамаша, но вдруг осела пред засверкавшим взглядом дочки.

— Как вы могли, мама, сказать про скандал? вспыхнула Лиза;— я поехала сама, с позволения Юлии Михайловны, потому что хотела узнать историю этой несчастной чтобы быть ей полезною.

— „Историю этой несчастной!“ со злобным смехом протянула Прасковья Ивановна;— да стать ли тебе мешаться в такие „истории“? Ох, матушка! Довольно нам вашего деспотизма, бешено повернулась она к Варваре Петровне.— Говорят, правда ли, нет ли, весь город здешний замуштровали, да видно пришла и на вас пора!

Варвара Петровна сидела выпрямившись как стрела, готовая выскочить из лука. Секунд десять строго и неподвижно смотрела она на Прасковью Ивановну.

— Ну, моли бога, Прасковья, что все здесь свои, выговорила она наконец с зловещим спокойствием,— много ты сказала лишнего.

— А я, мать моя, светского мнения не так боюсь как иные; это вы, под видом гордости, пред мнением света трепещете. А что тут свои люди, так для вас же лучше чем еслибы чужие слышали.

— Поумнела ты что ль в эту неделю?

— Не поумнела я в эту неделю, а видно правда наружу вышла в эту неделю.

— Какая правда наружу вышла в эту неделю? Слушай, Прасковья Ивановна, не раздражай ты меня, объяснись сию минуту, прошу тебя честью: какая правда наружу вышла и что̀ ты под этим подразумеваешь?

— Да вот она вся-то правда сидит! указала вдруг Прасковья Ивановна пальцем на Марью Тимофеевну, с тою отчаянною решимостию которая уже не заботится о последствиях, только чтобы теперь поразить. Марья Тимофеевна, все время смотревшая на нее с веселым любопытством, радостно засмеялась при виде устремленного на нее пальца гневливой гостьи и весело зашевелилась в креслах.

— Господи Иисусе Христе, рехнулись они все что ли! воскликнула Варвара Петровна и побледнев откинулась на спинку кресла.

Она так побледнела что произошло даже смятение. Степан Трофимович бросился к ней первый; я тоже приблизился; даже Лиза вскочила с места, хотя и осталась у своего кресла; но всех более испугалась сама Прасковья Ивановна: она вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом:

— Матушка, Варвара Петровна, простите вы мою злобную дурость! Да воды-то хоть подайте ей кто-нибудь!

— Не хнычь пожалуста, Прасковья Ивановна, прошу тебя, и отстранитесь, господа, сделайте одолжение, не надо воды! твердо, хоть и не громко выговорила побледневшими губами Варвара Петровна.

— Матушка! продолжала Прасковья Ивановна, капельку успокоившись,— друг вы мой, Варвара Петровна, я хоть и виновата в неосторожных словах, да ужь раздражили меня пуще всего безыменные письма эти, которыми меня какие-то людишки бомбардируют; ну и писали бы к вам, коли про вас же пишут, а у меня, матушка, дочь!

Варвара Петровна безмолвно смотрела на нее широко-открытыми глазами и слушала с удивлением. В это мгновение неслышно отворилась в углу боковая дверь, и появилась Дарья Павловна. Она приостановилась и огляделась кругом; ее пора-

зило наше смятение. Должно-быть она не сейчас различила и Марью Тимофеевну, о которой никто ее не предуведомил. Степан Трофимович первый заметил ее, сделал быстрое движение, покраснел и громко для чего-то возгласил: „Дарья Павловна!“ так что все глаза разом обратились на вошедшую.

— Как, так это-то ваша Дарья Павловна! воскликнула Марья Тимофеевна,— ну, Шатушка, не похожа на тебя твоя сестрица! Как же мой-то этакую прелесть крепостною девкой Дашкой зовет!

Дарья Павловна межь тем приблизилась уже к Варваре Петровне; но пораженная восклицанием Марьи Тимофеевны, быстро обернулась и так и осталась пред своим стулом, смотря на юродивую длинным, приковавшимся взглядом.

— Садись, Даша, проговорила Варвара Петровна с ужасающим спокойствием;— ближе, вот так; ты можешь и сидя видеть эту женщину. Знаешь ты ее?

— Я никогда ее не видала, тихо ответила Даша и помолчав тотчас прибавила:— должно-быть это больная сестра одного господина Лебядкина.

— И я вас, душа моя, в первый только раз теперь увидала. хотя давно уже с любопытством желала познакомиться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, с увлечением прокричала Марья Тимофеевна.— А что мой лакей бранится, так ведь возможно ли чтобы вы у него деньги взяли, такая воспитанная и милая? Потому что вы милая, милая, милая, это я вам от себя говорю! с восторгом заключила она, махая пред собою своею ручкой.

— Понимаешь ты что-нибудь? с гордым достоинством спросила Варвара Петровна.

— Я все понимаю-с....

— Про деньги слышала?

— Это верно те самые деньги, которые я, по просьбе Николая Всеволодовича, еще в Швейцарии, взялась передать этому господину Лебядкину, ее брату.

Последовало молчание.

— Тебя Николай Всеволодович сам просил передать?

— Ему очень хотелось переслать эти деньги, всего триста

рублей, господину Лебядкину. А так как он не знал его адреса, а знал лишь что он прибудет к нам в город, то и поручил мне передать, на случай, если господин Лебядкин приедет.

— Какие же деньги... пропали? Про что̀ эта женщина сейчас говорила?

— Этого ужъ я не знаю-с; до меня тоже доходило что господин Лебядкин говорил про меня вслух, будто я не все ему доставила; но я этих слов не понимаю. Было триста рублей, я и переслала триста рублей.

Дарья Павловна почти совсем уже успокоилась. И вообще замечу, трудно было чем-нибудь надолго изумить эту девушку и сбить ее с толку,— что̀ бы она там про себя ни чувствовала. Проговорила она теперь все свои ответы не торопясь, тотчас же отвечая на каждый вопрос с точностию, тихо, ровно, безо всякого следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения, которое могло бы свидетельствовать о сознании хотя бы какой-нибудь за собою вины. Взгляд Варвары Петровны не отрывался от нее все время пока она говорила. С минуту Варвара Петровна подумала:

— Если, произнесла она наконец с твердостию и видимо к зрителям, хотя и глядела на одну Дашу,— если Николай Всеволодович не обратился со своим поручением даже ко мне, а просил тебя, то конечно имел свои причины так поступить. Не считаю себя в праве о них любопытствовать, если из них делают для меня секрет. Но уже одно твое участие в этом деле совершенно меня за них успокаивает, знай это, Дарья, прежде всего. Но видишь ли, друг мой, ты и с чистою совестью могла, по незнанию света, сделать какую-нибудь неосторожность; и сделала ее, приняв на себя сношения с каким-то мерзавцем. Слухи распущенные этим негодяем подтверждают твою ошибку. Но я разузнаю о нем, и так как защитница твоя я, то сумею за тебя заступиться. А теперь это все надо кончить.

— Лучше всего когда он к вам придет, подхватила вдруг Марья Тимофеевна, высовываясь из своего кресла,— то пошлите его в лакейскую. Пусть он там на залавке в свои козыри с ними поиграет, а мы будем здесь сидеть кофей пить.

Чашку-то кофею еще можно ему послать, но я глубоко его презираю.

И она выразительно мотнула головой.

— Это надо кончить, повторила Варвара Петровна, тщательно выслушав Марью Тимофеевну;— прошу вас, позвоните, Степан Трофимович.

Степан Трофимович позвонил и вдруг выступил вперед, весь в волнении.

— Если.... если я.... залепетал он в жару, краснея, обрываясь и заикаясь,— если я тоже слышал самую отвратительную повесть или лучше сказать, клевету, то... в совершенном негодовании.... enfin c'est un homme perdu et quelque chose comme un forçat évadé...[1]

Он оборвал и не докончил; Варвара Петровна, прищурившись, оглядела его с ног до головы. Вошел чинный Алексей Егорович.

— Карету, приказала Варвара Петровна,— а ты, Алексей Егорыч, приготовься отвезти госпожу Лебядкину домой, куда она тебе сама укажет.

— Господин Лебядкин некоторое время сами их внизу ожидают-с и очень просили о себе доложить-с.

— Это невозможно, Варвара Петровна, с беспокойством выступил вдруг все время невозмутимо молчавший Маврикий Николаевич;— если позволите, это не такой человек который может войти в общество, это.... это.... это невозможный человек, Варвара Петровна.

— Повременить, обратилась Варвара Петровна к Алексею Егорычу, и тот скрылся.

— C'est un homme malhonnête et je crois même que c'est un forçat évadé ou quelque chose dans ce genre[2], пробормотал опять Степан Трофимович, опять покраснел и опять оборвался.

— Лиза, ехать пора, брезгливо возгласила Прасковья

[1] [словом, это погибший человек, нечто вроде беглого каторжника...]

[2] [Это бесчестный человек, и я даже думаю, что это беглый каторжник или нечто в этом роде]

Ивановна и приподнялась с места.— Ей, кажется, жаль уже стало что она давеча, в испуге, сама себя обозвала дурой. Когда говорила Дарья Павловна, она уже слушала с высокомерною складкой на губах. Но всего более поразил меня вид Лизаветы Николаевны с тех пор как вошла Дарья Павловна: в ее глазах засверкали ненависть и презрение, слишком уж нескрываемые.

— Повремени одну минутку, Прасковья Ивановна, прошу тебя, остановила Варвара Петровна, все с тем же чрезмерным спокойствием,— сделай одолжение присядь, я намерена все высказать, а у тебя ноги болят. Вот так, благодарю тебя. Давеча я вышла из себя и сказала тебе несколько нетерпеливых слов. Сделай одолжение прости меня; я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомянула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому что он не подписан. Если ты понимаешь иначе, я тебе не завидую. Во всяком случае, я бы не полезла на твоем месте за такою дрянью в карман, я не стала бы мараться. А ты вымаралась. Но так как ты уже начала сама, то скажу тебе что и я получила дней шесть тому назад тоже анонимное, шутовское письмо. В нем какой-то негодяй уверяет меня что Николай Всеволодович сошел с ума и что мне надо бояться какой-то хромой женщины, которая „будет играть в судьбе моей чрезвычайную роль“, я запомнила выражение. Сообразив и зная что у Николая Всеволодовича чрезвычайно много врагов, я тотчас же послала за одним здесь человеком, за одним тайным и самым мстительным и презрительным из всех врагов его, и из разговоров с ним мигом убедилась в презренном происхождении анонима. Если и тебя, моя бедная Прасковья Ивановна, беспокоили *из-за меня* такими же презренными письмами, и как ты выразилась, „бомбардировали“, то, конечно, первая жалею что послужила невинною причиной. Вот и все что я хотела тебе сказать в объяснение. С сожалением вижу что ты так устала и теперь вне себя. К тому же, я непременно решилась *впустить* сейчас этого подозрительного чело-

века, про которого Маврикий Николаевич выразился не совсем идущим словом: что его невозможно *принять*. Особенно Лизе тут нечего будет делать. Подойди ко мне, Лиза, друг мой, и дай мне еще раз поцеловать тебя.

Лиза перешла комнату и молча остановилась пред Варварой Петровной. Та поцеловала ее, взяла за руки, отдалила немного от себя, с чувством на нее посмотрела, потом перекрестила и опять поцеловала ее.

— Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти слезы), верь, что не перестану любить тебя, что̀ бы ни сулила тебе судьба отныне.... Бог с тобою. Я всегда благословляла святую десницу его....

Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. Лиза пошла было к своему месту, все в том же молчании и как бы в задумчивости, но вдруг остановилась пред мамашей.

— Я, мама, еще не поеду, а останусь на время у тёти, проговорила она тихим голосом, но в этих тихих словах прозвучала железная решимость.

— Бог ты мой, что̀ такое! возопила Прасковья Ивановна, бессильно сплеснув руками. Но Лиза не ответила и как бы даже не слышала; она села в прежний угол и опять стала смотреть куда-то в воздух.

Что̀-то победоносное и гордое засветилось в лице Варвары Петровны.

— Маврикий Николаевич, я к вам с чрезвычайною просьбой, сделайте мне одолжение, сходите взглянуть на этого человека внизу, и если есть хоть какая-нибудь возможность его *впустить*, то приведите его сюда.

Маврикий Николаевич поклонился и вышел. Через минуту он привел господина Лебядкина.

IV.

Я как-то говорил о наружности этого господина: высокий, курчавый, плотный парень, лет сорока, с багровым, несколько

опухшим и обрюзглым лицом, со вздрагивающими при каждом движении головы щеками, с маленькими, кровяными, иногда довольно хитрыми глазками, в усах, в бакенбардах и с зарождающимся мясистым кадыком, довольно неприятного вида. Но всего более поражало в нем то что̀ он явился теперь во фраке и в чистом белье. „Есть люди которым чистое белье даже неприлично-с“, как возразил раз когда-то Липутин на шутливый упрек ему Степана Трофимовича в неряшестве. У капитана были и перчатки черные, из которых правую, еще не надеванную, он держал в руке, а левая, туго напяленная и не застегнувшаяся, до половины прикрывала его мясистую, левую лапу, в которой он держал совершенно новую, глянцовитую и наверно в первый еще раз служившую круглую шляпу. Выходило стало-быть что вчерашний „фрак любви“, о котором он кричал Шатову, существовал действительно. Все это, то-есть и фрак и белье, было припасено (как узнал я после) по совету Липутина для каких-то таинственных целей. Сомнения не было что и приехал он теперь (в извощичьей карете) непременно тоже по постороннему наущению и с чьею-нибудь помощью; один он не успел бы догадаться, а равно одеться, собраться и решиться в какие-нибудь три четверти часа, предполагая даже что сцена на соборной паперти стала ему тотчас известною. Он был не пьян, но в том тяжелом, грузном, дымном состоянии человека вдруг проснувшегося после многочисленных дней запоя. Кажется, стоило бы только покачнуть его раза два рукой за плечо, и он тотчас бы опять охмелел.

Он было разлетелся в гостиную, но вдруг споткнулся в дверях о ковер. Марья Тимофеевна так и померла со смеху. Он зверски поглядел на нее, и вдруг сделал несколько быстрых шагов к Варваре Петровне.

— Я приехал, сударыня.... прогремел было он как в трубу.

— Сделайте мне одолжение, милостивый государь, выпрямилась Варвара Петровна,— возьмите место вот там, на том стуле. Я вас услышу и оттуда, а мне отсюда виднее будет на вас смотреть.

Капитан остановился, тупо глядя пред собой, но однако

повернулся и сел на указанное место, у самых дверей. Сильная в себе неуверенность, а вместе с тем наглость и какая-то беспрерывная раздражительность сказывались в выражении его физиономии. Он трусил ужасно, это было видно, но страдало и его самолюбие, и можно было угадать что из раздраженного самолюбия он может решиться, несмотря на трусость, даже на всякую наглость, при случае. Он видимо боялся за каждое движение своего неуклюжего тела. Известно что самое главное страдание всех подобных господ, когда они какимнибудь чудным случаем появляются в обществе, составляют их собственные руки и ежеминутно сознаваемая невозможность куда-нибудь прилично деваться с ними. Капитан замер на стуле с своею шляпой и перчатками в руках и не сводя бессмысленного взгляда своего со строгого лица Варвары Петровны. Ему может-быть и хотелось бы внимательнее осмотреться кругом, но он пока еще не решался. Марья Трофимовна, вероятно найдя фигуру его опять ужасно смешною, захохотала снова, но он не шевельнулся. Варвара Петровна безжалостно долго, целую минуту выдержала его в таком положении, беспощадно его разглядывая.

— Сначала позвольте узнать ваше имя от вас самих?— мерно и выразительно произнесла она.

— Капитан Лебядкин, прогремел капитан,— я приехал, сударыня.... шевельнулся было он опять.

— Позвольте! опять остановила Варвара Петровна,— эта жалкая особа, которая так заинтересовала меня, действительно ваша сестра?

— Сестра, сударыня, ускользнувшая из-под надзора, ибо она в таком положении....

Он вдруг запнулся и побагровел.

— Не примите превратно, сударыня, сбился он ужасно,— родной брат не станет марать.... в таком положении, это значит не в таком положении.... в смысле пятнающем репутацию.... на последних порах....

Он вдруг оборвал.

— Милостивый государь! подняла голову Варвара Петровна.

— Вот в каком положении! внезапно заключил он, ткнув себя пальцем в средину лба. Последовало некоторое молчание.

— И давно она этим страдает? протянула несколько Варвара Петровна.

— Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по-братски....

— По-братски?

— То-есть не по-братски, а единственно в том смысле что я брат моей сестре, сударыня, и, поверьте, сударыня, зачастил он, опять побагровев,— что я не так необразован как могу показаться с первого взгляда в вашей гостиной. Мы с сестрой ничто, сударыня, сравнительно с пышностию которую здесь замечаем. Имея к тому же клеветников. Но до репутации Лебядкин горд, сударыня, и.... и.... я приехал отблагодарить.... Вот деньги, сударыня!

Тут он выхватил из кармана бумажник, рванул из него пачку кредиток и стал перебирать их дрожащими пальцами в неистовом припадке нетерпения. Видно было что ему хотелось поскорее что-то разъяснить, да и очень надо было; но вероятно чувствуя сам что возня с деньгами придает ему еще более глупый вид, он потерял последнее самообладание: деньги никак не хотели сосчитаться, пальцы путались, и к довершению срама, одна зеленая депозитка, выскользнув из бумажника, полетела зигзагами на ковер.

— Двадцать рублей, сударыня, вскочил он вдруг с пачкой в руках и со вспотевшим от страдания лицом; заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но почему-то устыдившись, махнул рукой.

— Вашим людям, сударыня, лакею который подберет; пусть помнит Лебядкину!

— Я этого никак не могу позволить, торопливо и с некоторым испугом проговорила Варвара Петровна.

— В таком случае....

Он нагнулся, поднял, побагровел и, вдруг стеснительно приблизясь к Варваре Петровне, протянул ей отсчитанные деньги.

— Что̀ это? совсем уже наконец испугалась она и даже попятилась в креслах. Маврикий Николаевич, я и Степан Трофимович шагнули каждый вперед.

— Успокойтесь, успокойтесь, я не сумашедший, ей-богу не сумашедший! в волнении уверял капитан на все стороны.

— Нет, милостивый государь, вы с ума сошли.

— Сударыня, это вовсе не то что̀ вы думаете! Я конечно, ничтожное звено.... О, сударыня, богаты чертоги ваши, но бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей, урожденной Лебядкиной, но которую назовем пока Марией Неизвестной, пока, сударыня, только *пока,* ибо навечно не допустит сам бог! Сударыня, вы дали ей десять рублей, и она приняла, но потому что от *вас,* сударыня! Слышите, сударыня! ни от кого в мире не возьмет эта Неизвестная Мария, иначе содрогнется во гробе штаб-офицер ее дед, убитый на Кавказе, на глазах самого Ермолова, но от вас, сударыня, от вас все возьмет. Но одною рукой возьмет, а другою протянет вам уже двадцать рублей, в виде пожертвования в один из столичных комитетов благотворительности, где вы, сударыня, состоите членом.... так как и сами вы, сударыня, публиковались в *Московских Ведомостях* что у вас состоит здешняя, по нашему городу, книга благотворительного общества, в которую всякий может подписываться....

Капитан вдруг оборвал; он дышал тяжело, как после какого-то трудного подвига. Все это насчет комитета благотворительности, вероятно было заранее подготовлено, может-быть также под редакцией Липутина. Он еще пуще вспотел; буквально капли пота выступали у него на висках. Варвара Петровна пронзительно в него всматривалась.

— Эта книга, строго проговорила она,— находится всегда внизу у швейцара моего дома, там вы можете подписать ваше пожертвование, если захотите. А потому прошу вас спрятать теперь ваши деньги и не махать ими по воздуху. Вот так: Прошу вас тоже занять ваше прежнее место. Вот так. Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась на счет вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. Не пони-

маю одного только, почему от меня одной она может взять, а от других ни за что не захочет. Вы так на этом настаивали что я желаю совершенно точного объяснения.

— Сударыня, это тайна, которая может быть похоронена лишь во гробе! отвечал капитан.

— Почему же? как-то не так уже твердо спросила Варвара Петровна.

— Сударыня, сударыня!...

Он мрачно примолк, смотря в землю и приложив правую руку к сердцу. Варвара Петровна ждала, не сводя с него глаз.

— Сударыня! взревел он вдруг,— позволите ли сделать вам один вопрос, только один, но открыто, прямо, по-русски, от души?

— Сделайте одолжение.

— Страдали вы, сударыня, в жизни?

— Вы просто хотите сказать что от кого-нибудь страдали или страдаете.

— Сударыня, сударыня! вскочил он вдруг опять, вероятно и не замечая того и ударяя себя в грудь,— здесь, в этом сердце накипело столько, столько что удивится сам бог, когда обнаружится на страшном суде!

— Гм, сильно сказано.

— Сударыня, я может-быть говорю языком раздражительным....

— Не беспокойтесь, я сама знаю где вас надо будет остановить.

— Могу ли предложить вам еще вопрос, сударыня?

— Предложите еще вопрос.

— Можно ли умереть единственно от благородства своей души?

— Не знаю, не задавала себе такого вопроса.

— Не знаете! Не задавали себе такого вопроса!! прокричал он с патетическою иронией,— а коли так, коли так —

„Молчи безнадежное сердце!“

и он неистово стукнул себя в грудь.

Он уже опять заходил по комнате. Признак этих людей — совершенное бессилие сдержать в себе свои желания; напротив, неудержимое стремление тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся. Попав не в свое общество, такой господин обыкновенно начинает робея, но уступите ему на волосок, и он тотчас же перескочит на дерзости. Капитан уже горячился, ходил, махал руками, не слушал вопросов, говорил о себе шибко, шибко, так что язык его иногда подвертывался, и не договорив, он перескакивал на другую фразу. Правда, едва ли он был совсем трезв; тут сидела тоже Лизавета Николаевна, на которую он не взглянул ни разу, но присутствие которой, кажется, страшно кружило его. Впрочем это только уже предположение. Существовала же стало-быть причина по которой Варвара Петровна, преодолевая отвращение, решилась выслушивать такого человека. Прасковья Ивановна просто тряслась от страха, правда не совсем, кажется, понимая в чем дело. Степан Трофимович дрожал тоже, но напротив потому что наклонен был всегда понимать с излишком. Маврикий Николаевич стоял в позе всеобщего оберегателя. Лиза была бледненькая и не отрываясь смотрела широко раскрытыми глазами на дикого капитана. Шатов сидел в прежней позе; но что̀ страннее всего, Марья Тимофеевна нетолько перестала смеяться, но сделалась ужасно грустна. Она облокотилась правою рукой на стол и длинным грустным взглядом следила за декламировавшим братцем своим. Одна лишь Дарья Павловна казалась мне спокойною.

— Все это вздорные аллегории, рассердилась наконец Варвара Петровна,— вы не ответили на мой вопрос: „почему?“ Я настоятельно жду ответа.

— Не ответил „почему?“ Ждете ответа на „почему?“ переговорил капитан, подмигивая;— это маленькое словечко „почему“ разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу: „почему?“ и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет, сударыня?

— Это все вздор и не то! гневалась и теряла терпение Варвара Петровна,— это аллегории; кроме того вы слишком пышно изволите говорить, милостивый государь, что̀ я считаю дерзостью.

— Сударыня, не слушал капитан,— я может-быть желал бы называться Эрнестом, а между тем принужден носить грубое имя Игната,— почему это, как вы думаете? Я желал бы называться князем де-Монбаром, а между тем я только Лебядкин, от лебедя,— почему это? Я поэт, сударыня, поэт в душе, и мог бы получать тысячу рублей от издателя, а между тем принужден жить в лахани, почему, почему? Сударыня! По моему, Россия есть игра природы, не более!

— Вы решительно ничего не можете сказать определеннее?

— Я могу вам прочесть пиесу *Таракан,* сударыня!

— Что-о-о?

— Сударыня, я еще не помешан! Я буду помешан, буду, наверно, но я еще не помешан! Сударыня, один мой приятель — бла-го-роднейшее лицо,— написал одну басню Крылова, под названием *Таракан,*— могу я прочесть ее?

— Вы хотите прочесть какую-то басню Крылова?

— Нет, не басню Крылова хочу я прочесть, а мою басню, собственную, мое сочинение! Поверьте же, сударыня, без обиды себе, что я не до такой степени уже необразован и развращен чтобы не понимать что Россия обладает великим баснописцем Крыловым, которому министром просвещения воздвигнут памятник в Летнем Саду, для игры в детском возрасте. Вы вот спрашиваете, сударыня: „почему?“ Ответ на дне этой басни, огненными литерами!

— Прочтите вашу басню.

— Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан
Полный мухоедства...

— Господи, что̀ такое? воскликнула Варвара Петровна.

— То-есть когда летом, заторопился капитан, ужасно махая руками, с раздражительным нетерпением автора которому

мешают читать, когда летом в стакан налезут мухи, то происходит мухоедство, всякий дурак поймет, не перебивайте, не перебивайте, вы увидите, вы увидите.... (он все махал руками).

Место занял таракан,
Мухи возроптали,
Полон очень наш стакан,
К Юпитеру закричали.
Но пока у них шел крик,
Подошел Никифор,
Бла-го-роднейший старик...

Тут у меня еще не докончено, но все равно, словами, трещал капитан,— Никифор берет стакан и несмотря на крик, выплескивает в лахань всю комедию, и мух и таракана, что давно надо было сделать. Но заметьте, заметьте, сударыня, таракан не ропщет! Вот ответ на ваш вопрос: „почему?“ вскричал он, торжествуя: „Та-ра-кан не ропщет!“— Что же касается до Никифора, то он изображает природу, прибавил он скороговоркой и самодовольно заходил по комнате.

Варвара Петровна рассердилась ужасно.

— А в каких деньгах, позвольте вас спросить, полученных будто бы от Николая Всеволодовича и будто бы вам не доданных, вы осмелились обвинить одно лицо, принадлежащее к моему дому?

— Клевета! взревел Лебядкин, трагически подняв правую руку.

— Нет, не клевета.

— Сударыня, есть обстоятельства заставляющие сносить скорее фамильный позор, чем провозгласить громко истину. Не проговорится Лебядкин, сударыня!

Он точно ослеп: он был во вдохновении; он чувствовал свою значительность; ему наверно что-то такое представлялось. Ему уже хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, показать свою власть.

— Позвоните пожалуста, Степан Трофимович, попросила Варвара Петровна.

— Лебядкин хитер, сударыня! подмигнул он со скверною улыбкой,— хитер, но есть и у него препона, есть и у него

преддверие страстей! И это преддверие — старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случается что он отправит письмо в стихах, ве-ли-колепнейшее,— но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. Но вылетела птичка, не поймаешь за хвост! Вот в этом-то преддверии, сударыня, Лебядкин мог проговорить насчет и благородной девицы, в виде благородного негодования возмущенной обидами души, чем и воспользовались клеветники. Но хитер Лебядкин, сударыня! И напрасно сидит над ним зловещий волк, ежеминутно подливая и ожидая конца: не проговорится Лебядкин, и на дне бутылки вместо ожидаемого оказывается каждый раз — хитрость Лебядкина! Но довольно, о, довольно! Сударыня, ваши великолепные чертоги могли бы принадлежать благороднейшему из лиц, но таракан не ропщет! Заметьте же, заметьте наконец что не ропщет и познайте великий дух!

В это мгновение снизу из швейцарской раздался звонок, и почти тотчас же появился несколько замешкавший на звон Степана Трофимовича Алексей Егорыч. Старый чинный слуга был в каком-то необыкновенно возбужденном состоянии.

— Николай Всеволодович изволили сию минуту прибыть и идут сюда-с, произнес он в ответ на вопросительный взгляд Варвары Петровны.

Я особенно припоминаю ее в то мгновение: сперва она побледнела, но вдруг глаза ее засверкали. Она выпрямилась в креслах, с видом необычной решимости. Да и все были поражены. Совершенно неожиданный приезд Николая Всеволодовича, которого ждали у нас разве что через месяц, был странен не одною своею неожиданностью, а именно роковым каким-то совпадением с настоящею минутой. Даже капитан остановился как столб среди комнаты, разинув рот и с ужасно глупым видом смотря на дверь.

И вот из соседней залы, длинной и большой комнаты раздались скорые приближающиеся шаги, маленькие шаги, чрезвычайно частые; кто-то как будто катился, и вдруг влетел

в гостиную — совсем не Николай Всеволодович, а совершенно незнакомый никому молодой человек.

V.

Позволяю себе приостановиться и хотя несколько беглыми штрихами очертить это внезапно появляющееся лицо.

Это был молодой человек лет двадцати семи или около, немного повыше среднего роста, с жидкими белокурыми, довольно длинными волосами и с клочковатыми, едва обозначавшимися усами и бородкой. Одетый чисто и даже по моде, но не щегольски; как будто с первого взгляда сутуловатый и мешковатый, но однакожь совсем не сутуловатый и даже развязный. Как будто какой-то чудак, и однакоже все у нас находили потом его манеры весьма приличными, а разговор всегда идущим к делу.

Никто не скажет что он дурен собой, но лицо его никому не нравится. Голова его удлиннена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие. Выражение лица словно болезненное, но это только кажется. У него какая-то сухая складка на щеках и около скул, что придает ему вид как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. И однакоже он совершенно здоров, силен и даже никогда не был болен.

Он ходит и движется очень торопливо, но никуда не торопится. Кажется ничто не может привести его в смущение; при всяких обстоятельствах и в каком угодно обществе он останется тот же. В нем большое самодовольство, но сам он его в себе не примечает нисколько.

Говорит он скоро, торопливо, но в то же время самоуверенно, и не лезет за словом в карман. Его мысли спокойны, несмотря на торопливый вид, отчетливы и окончательны,— и это особенно выдается. Выговор у него удивительно ясен; слова его сыплются как ровные, крупные зернушки, всегда подобранные и всегда готовые к вашим услугам. Сначала это вам и нравится,

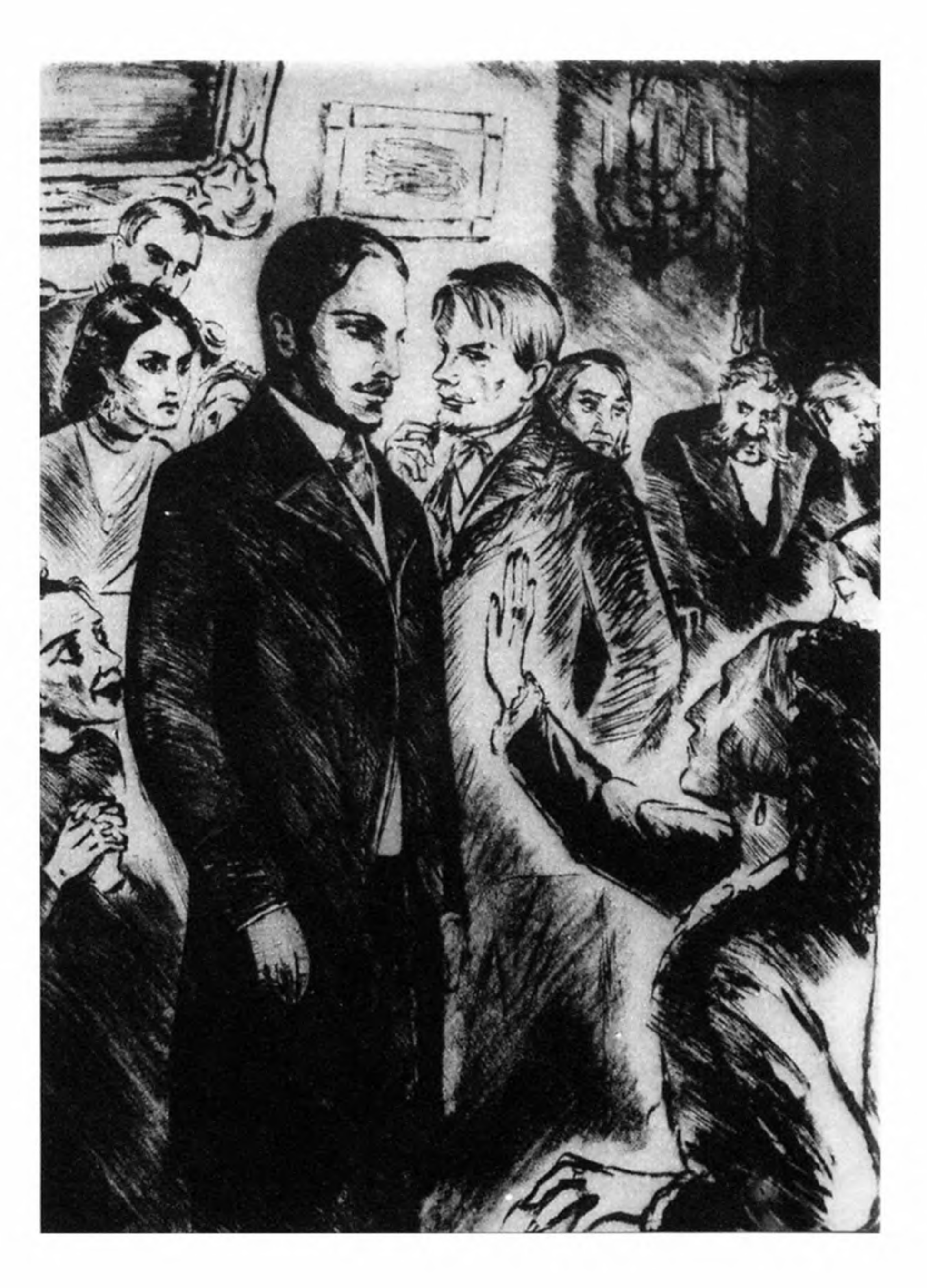
но потом станет противно, и именно от этого слишком уже ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. Вам как-то начинает представляться что язык у него во рту должно-быть какой-нибудь особенной формы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком.

Ну вот этот-то молодой человек и влетел теперь в гостиную, и право мне до сих пор кажется что он заговорил еще из соседней залы и так и вошел говоря. Он мигом очутился пред Варварой Петровной.

— ....Представьте же, Варвара Петровна, сыпал он как бисером,— я вхожу и думаю застать его здесь уже с четверть часа; он полтора часа как приехал; мы сошлись у Кирилова; он отправился, полчаса тому, прямо сюда и велел мне тоже сюда приходить через четверть часа....

— Да кто? Кто велел вам сюда приходить? допрашивала Варвара Петровна.

— Да Николай же Всеволодович! Так неужели вы в самом деле только сию минуту узнаете? Но багаж же его, по крайней мере, должен давно прибыть, как же вам не сказали? Стало-быть я первый и возвещаю. За ним можно было бы, однако, послать куда-нибудь, а впрочем наверно он сам сейчас явится и, кажется, именно в то самое время которое как раз ответствует некоторым его ожиданиям и, сколько я, по крайней мере, могу судить, его некоторым расчетам. Тут он обвел глазами комнату и особенно внимательно остановил их на капитане.— Ах, Лизавета Николаевна, как я рад что встречаю вас с первого же шагу, очень рад пожать вашу руку, быстро подлетел он к ней чтобы подхватить протянувшуюся к нему ручку весело улыбнувшейся Лизы;— и сколько замечаю, многоуважаемая Прасковья Ивановна тоже не забыла, кажется, своего „профессора“ и даже на него не сердится, как всегда сердилась в Швейцарии. Но как однакожь здесь ваши ноги, Прасковья Ивановна, и справедливо ли приговорил вам швейцарский консилиум климат родины?... как-с? примочки? это очень должно-быть полезно. Но как я жалел, Варвара Пет-



ровна (быстро повернулся он опять), что не успел вас застать тогда за границей и засвидетельствовать вам лично мое уважение, притом же так много имел сообщить.... Я уведомлял сюда моего старика, но он по своему обыкновению кажется....

— Петруша! вскричал Степан Трофимович, мгновенно выходя из оцепенения; он сплеснул руками и бросился к сыну.— Pierre, mon enfant[1], а ведь я не узнал тебя! сжал он его в объятиях, и слезы покатились из глаз его.

— Ну, не шали, не шали, без жестов, ну и довольно, довольно, прошу тебя, торопливо и несколько даже испуганно бормотал Петруша, стараясь освободиться из объятий.

— Я всегда, всегда был виноват пред тобой!

— Ну, и довольно; об этом мы после поговорим. Так ведь й знал что зашалишь. Ну будь же немного потрезвее, прошу тебя.

— Но ведь я не видал тебя десять лет!

— Тем менее причин к излияниям....

— Mon enfant![2]

— Но невозможно же быть в таких летах таким ребенком, скороговоркой сыпал Петруша. (Вся эта сцена произошла чрезвычайно быстро, почти мгновенно.) Ну верю, верю что любишь, убери свои руки. Ведь ты мешаешь другим.... Ах, вот и Николай Всеволодович, да не шали же, прошу тебя наконец!

Он вырвался. Николай Всеволодович действительно был уже в комнате; он вошел очень тихо и на мгновение приостановился в дверях, тихим взглядом окидывая собрание.

Как и четыре года назад, когда в первый раз я увидал его, так точно и теперь, я был поражен с первого на него взгляда. Я ни мало не забыл его; но кажется есть такие физиономии которые всегда, каждый раз когда появляются, как бы приносят с собою нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто раз прежде встречались. Повидимому, он был все тот же как и четыре года назад: так же изящен, так же важен, так же важно входил как и тогда, даже почти так же

[1] [Пьер, дитя мое]
[2] [Дитя мое!]

молод. Легкая улыбка его была так же официально ласкова и так же самодовольна; взгляд так же строг, вдумчив и как бы рассеян. Одним словом, казалось, мы вчера только расстались. Но одно поразило меня: прежде хоть и считали его красавцем, но лицо его действительно „походило на маску“, как выражались некоторые из злоязычных дам нашего общества. Теперь же,— теперь же не знаю почему он с первого же взгляда показался мне решительным, неоспоримым красавцем, так что уже никак нельзя было сказать что лицо его походит на маску. Не оттого ли что он стал чуть-чуть бледнее чем прежде и кажется несколько похудел? Или может-быть какая-нибудь новая мысль светилась теперь в его взгляде?

— Николай Всеволодович! вскричала, вся выпрямившись и не сходя с кресел, Варвара Петровна, останавливая его повелительным жестом,— остановись на одну минуту!

Но чтоб объяснить тот ужасный вопрос который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием,— вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне не мог бы предположить,— я попрошу читателя вспомнить что̀ такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить что несмотря на несомненную твердость души и на огромную долю рассудка и практического, так-сказать, даже хозяйственного такта, которыми она обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволительно выразиться, совершенно без удержу. Прошу взять наконец во внимание что настоящая минута действительно могла быть для нее из таких в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточивается вся сущность жизни,— всего прожитого, всего настоящего и пожалуй будущего. Напомню еще вскользь и о полученном ею анонимном письме, о котором она давеча так раздражительно проговорилась Прасковье Ивановне, причем, кажется, умолчала о дальнейшем содержании письма; а в нем-то может-быть и заключалась разгадка возможности того ужасного вопроса с которым она вдруг обратилась к сыну.

— Николай Всеволодович, повторила она, отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вызов,—прошу вас, скажите сейчас же, не сходя с этого места: правда ли что эта несчастная, хромая женщина,— вот она, вон там, смотрите на нее! Правда ли что она.... законная жена ваша?

Я слишком помню это мгновение; он не смигнул даже глазом и пристально смотрел на мать; ни малейшего изменения в лице его не последовало. Наконец он медленно улыбнулся какой-то снисходящей улыбкой и, не ответив ни слова, тихо подошел к мамаше, взял ее руку, почтительно поднес к губам и два раза поцеловал. И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние его на мать что она и тут не посмела отдернуть руки. Она только смотрела на него, вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил что еще один миг, и она не вынесет неизвестности.

Но он продолжал молчать. Поцеловав руку, он еще раз окинул взглядом всю комнату и попрежнему не спеша направился прямо к Марье Тимофеевне. Очень трудно описывать физиономии людей в некоторые мгновения. Мне, например, запомнилось что Марья Тимофеевна, вся замирая от испуга, поднялась к нему на встречу и сложила, как бы умоляя его, пред собою руки; а вместе с тем вспоминается и восторг в ее взгляде, какой-то безумный восторг, почти исказивший ее черты — восторг, который трудно людьми выносится. Может было и то и другое, и испуг и восторг; но помню что я быстро к ней придвинулся (я стоял почти подле), мне показалось что она сейчас упадет в обморок.

— Вам нельзя быть здесь,— проговорил ей Николай Всеволодович ласковым, мелодическим голосом, и в глазах его засветилась необыкновенная нежность. Он стоял пред нею в самой почтительной позе, и в каждом движении его сказывалось самое искреннее уважение. Бедняжка стремительным полушепотом, задыхаясь, пролепетала ему:

— А мне можно.... сейчас.... стать пред вами на колени?

— Нет, этого никак нельзя, великолепно улыбнулся он ей, так что и она вдруг радостно усмехнулась. Тем же мелоди-

ческим голосом и нежно уговаривая ее точно ребенка, он с важностию прибавил:

— Подумайте о том что вы девушка, а я хоть и самый преданный друг ваш, но все же посторонний вам человек, не муж, не отец, не жених. Дайте же руку вашу и пойдемте; я провожу вас до кареты и, если позволите, сам отвезу вас в ваш дом.

Она выслушала и как бы в раздумьи склонила голову.

— Пойдемте, сказала она, опять ясно смотря на него и подавая ему руку.

Но тут с нею случилось маленькое несчастие. Должно-быть она неосторожно как-нибудь повернулась и ступила на свою больную, короткую ногу,— словом, она упала всем боком на кресло, и не будь этих кресел, полетела бы на пол. Он мигом подхватил ее и поддержал, крепко взял под руку, и с участием, осторожно повел к дверям. Она видимо была огорчена своим падением, смутилась, покраснела и ужасно застыдилась. Молча смотря в землю, глубоко прихрамывая, она заковыляла за ним, почти повиснув на его руке. Так они и вышли. Лиза, я видел, для чего-то вдруг привскочила с кресла, пока они выходили, и неподвижным взглядом проследила их до самых дверей. Потом молча села опять, но в лице ее было движение как будто она дотронулась до какого-то гада.

Пока шла вся эта сцена между Николаем Всеволодовичем и Марьей Тимофеевной, все молчали в изумлении; муху бы можно услышать; но только-что они вышли, все вдруг заговорили.

VI.

Говорили впрочем мало, а более восклицали. Я немножко забыл теперь как это все происходило тогда по порядку, потому что вышла сумятица. Воскликнул что-то Степан Трофимович по-французски и сплеснул руками, но Варваре Петровне было некогда слушать. Даже пробормотал что-то отрывисто и скоро Маврикий Николаевич. Но всех более горячился Петр Степанович; он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну,

с большими жестами, но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча крикнул что-то отцу,—одним словом, очень вертелся по комнате. Варвара Петровна, вся раскрасневшись, вскочила было с места и крикнула Прасковье Ивановне: „Слышала, слышала ты что он здесь ей сейчас говорил?“ Но та ужь и отвечать не могла, а пробормотала только, махнув рукой: „Вы все начали, вы все выдумали“, или что-то в этом роде, и совсем притихла.

У бедной была своя забота: она поминутно поворачивала голову к Лизе и смотрела на нее в безотчетном страхе, а встать и уехать и думать уже не смела, пока не подымется дочь. Тем временем капитан наверно хотел улизнуть, это я подметил. Он был в настоящем испуге, с самого того мгновения как появился Николай Всеволодович; но Петр Степанович схватил его за руку и не дал уйти.

— Это необходимо, необходимо,—сыпал он своим бисером Варваре Петровне, все продолжая ее убеждать. Он стоял пред нею, а она уже опять сидела в креслах, и помню, с жадностию его слушала; он таки добился того и завладел ее вниманием.

— Это необходимо. Вы сами видите, Варвара Петровна, что тут недоразумение, и на вид много чудного, а между тем дело ясное как свечка и простое как палец. Я слишком понимаю что никем не уполномочен расказывать и имею пожалуй смешной вид, сам напрашиваясь. Но вопервых, сам Николай Всеволодович не придает этому делу никакого значения, и наконец, все же есть случаи, в которых трудно человеку решиться на личное объяснение самому, а надо непременно чтобы взялось за это третье лицо, которому легче высказать некоторые деликатные вещи. Так оно и делается обыкновенно. Поверьте, Варвара Петровна, что Николай Всеволодович нисколько не виноват не ответив на ваш давешний вопрос тотчас же, радикальным объяснением, несмотря на то что дело плевое; я знаю его еще с Петербурга. К тому же весь анекдот делает только честь Николаю Всеволодовичу, если ужь непременно надо употребить это неопределенное слово „честь“....

— Вы хотите сказать что вы были свидетелем какого-то случая, от которого произошло.... это недоумение? спросила Варвара Петровна.

— Свидетелем и участником,— поспешно подтвердил Петр Степанович.

— Если вы дадите мне слово что это не обидит деликатности Николая Всеволодовича, в известных мне чувствах его ко мне, от которой он ни-че-го не скрывает.... и если вы так притом уверены что этим даже сделаете ему удовольствие....

— Непременно удовольствие, потому-то и сам вменяю себе в особенное удовольствие. Я убежден что он сам бы меня просил.

Довольно странно было и вне обыкновенных приемов это навязчивое желание этого вдруг упавшего с неба господина расказывать чужие анекдоты. Но он поймал Варвару Петровну на удочку, дотронувшись до слишком наболевшего места. Я еще не знал тогда характера этого человека вполне, а ужь тем более его намерений.

— Вас слушают, сдержанно и осторожно возвестила Варвара Петровна, несколько страдая от своего снисхождения.

— Вещь короткая; даже если хотите, по настоящему это и не анекдот,— посыпался бисер.— Впрочем, романист от безделья мог бы испечь роман. Довольно интересная вещица, Прасковья Ивановна, и я уверен что Лизавета Николаевна с любопытством выслушает, потому что тут много если не чудных, то причудливых вещей. Лет пять тому, в Петербурге, Николай Всеволодович узнал этого господина,— вот этого самого господина Лебядкина который стоит разиня рот и кажется собирался сейчас улизнуть. Извините, Варвара Петровна. Я вам впрочем не советую улепетывать, господин отставной чиновник бывшего провиантского ведомства (видите я отлично вас помню). И мне и Николаю Всеволодовичу слишком известны ваши здешние проделки, в которых, не забудьте это, вы должны будете дать отчет. Еще раз прошу извинения, Варвара Петровна. Николай Всеволодович называл тогда этого господина своим Фальстафом; это должно-быть (пояснил он вдруг) какой-нибудь

бывший характер, burlesque[1], над которым все смеются и который сам позволяет над собою всем смеяться, лишь бы платили деньги. Николай Всеволодович вел тогда в Петербурге жизнь так-сказать насмешливую,— другим словом не могу определить ее, потому что в разочарование этот человек не впадет, а делом он и сам тогда пренебрегал заниматься. Я говорю про одно лишь тогдашнее время, Варвара Петровна. У Лебядкина этого была сестра,— вот эта самая что сейчас здесь сидела. Братец и сестрица не имели своего угла, и скитались по чужим. Он бродил под арками Гостиного двора, непременно в бывшем мундире, и останавливал прохожих с виду почище, а что наберет — пропивал. Сестрица же кормилась как птица небесная. Она там в углах помогала и за нужду прислуживала. Содом был ужаснейший; я миную картину этой угловой жизни,— жизни которой из чудачества предавался тогда и Николай Всеволодович. Я только про тогдашнее время, Варвара Петровна; а что касается до „чудачества", то это его собственное выражение. Он многое от меня не скрывает. M-lle Лебядкина которой одно время слишком часто пришлось встречать Николая Всеволодовича, была поражена его наружностью. Это был так-сказать бриллиант на грязном фоне ее жизни. Я плохой описатель чувств, а потому пройду мимо; но ее тотчас же подняли дрянные людишки на смех, и она загрустила. Там вообще над нею смеялись, но прежде она вовсе не замечала того. Голова ее уже и тогда была не в порядке, но тогда все-таки не так как теперь. Есть основание предположить что в детстве, через какую-то благодетельницу, она чуть было не получила воспитания. Николай Всеволодович никогда не обращал на нее ни малейшего внимания и играл больше в старые замасленные карты по четверть копейки в преферанс с чиновниками. Но раз, когда ее обижали, он (не спрашивая причины) схватил одного чиновника за шиворот и спустил изо второго этажа в окно. Никаких рыцарских негодований в пользу оскорбленной невинности тут не было; вся операция произошла

[1] [шуточный]

при всеобщем смехе, и смеялся всех больше Николай Всеволодович сам; когда же все кончилось благополучно, то помирились и стали пить пунш. Но угнетенная невинность сама про то не забыла. Разумеется кончилось окончательным сотрясением ее умственных способностей. Повторяю, я плохой описатель чувств, но тут главное мечта. А Николай Всеволодович как нарочно еще более раздражал мечту: вместо того чтобы рассмеяться, он вдруг стал обращаться к m-lle Лебядкиной с неожиданным уважением. Кирилов, тут бывший (чрезвычайный оригинал, Варвара Петровна, и чрезвычайно отрывистый человек; вы может-быть когда-нибудь его увидите, он теперь здесь), ну так вот этот Кирилов, который по обыкновению все молчит, а тут вдруг разгорячился, заметил, я помню, Николаю Всеволодовичу что тот третирует эту госпожу как маркизу и тем окончательно ее добивает. Прибавлю что Николай Всеволодович несколько уважал этого Кирилова. Что̀ жь вы думаете он ему ответил: „Вы полагаете, господин Кирилов, что я смеюсь над нею; разуверьтесь, я в самом деле ее уважаю, потому что она всех вас лучше“. И знаете, таким сериозным тоном сказал. Между тем в эти два-три месяца, он кроме *здравствуйте* да *прощайте,* в сущности не проговорил с ней ни слова. Я, тут бывший, наверно помню что она до того уже наконец дошла что считала его чем-то в роде жениха своего, не смеющего ее „похитить“ единственно потому что у него много врагов и семейных препятствий, или что-то в этом роде. Много тут было смеху! Кончилось тем что когда Николаю Всеволодовичу пришлось тогда отправляться сюда, он, уезжая, распорядился о ее содержании и кажется довольно значительном ежегодном пенсионе, рублей в триста по крайней мере, если не более. Одним словом, положим все это с его стороны баловство, фантазия преждевременно уставшего человека,— пусть даже наконец, как говорил Кирилов, это был новый этюд пресыщенного человека с целью узнать до чего можно довести сумашедшую калеку. „Вы, говорит, нарочно выбрали самое последнее существо, калеку, покрытую вечным позором

и побоями,— и вдобавок зная что это существо умирает к вам от комической любви своей, и вдруг вы нарочно принимаетесь ее морочить, единственно для того чтобы посмотреть что̀ из этого выйдет!“ Чем наконец так особенно виноват человек в фантазиях сумашедшей женщины, с которой, заметьте, он вряд ли две фразы во все время выговорил? Есть вещи, Варвара Петровна, о которых не только нельзя умно говорить, но о которых и начинать-то говорить не умно. Ну пусть наконец чудачество — но ведь более-то ужь ничего нельзя сказать; а между тем теперь вот из этого сделали историю.... Мне отчасти известно, Варвара Петровна, о том что̀ здесь происходит.

Расскащик вдруг оборвал и повернулся было к Лебядкину, но Варвара Петровна остановила его; она была в сильнейшей экзальтации.

— Вы кончили? спросила она.

— Нет еще; для полноты мне надо бы, если позволите, допросить тут кое в чем вот этого господина.... Вы сейчас увидите в чем дело, Варвара Петровна.

— Довольно, после, остановитесь на минуту, прошу вас. О, как я хорошо сделала что допустила вас говорить!

— И заметьте, Варвара Петровна, встрепенулся Петр Степанович,— ну мог ли Николай Всеволодович сам объяснить вам это все давеча, в ответ на ваш вопрос,— может-быть слишком уж категорический?

— О, да слишком.

— И не прав ли я был говоря что в некоторых случаях третьему человеку гораздо легче объяснить чем самому заинтересованному?

— Да, да.... Но в одном вы ошиблись и с сожалением вижу продолжаете ошибаться.

— Неужели? В чем это?

— Видите.... А впрочем еслибы вы сели, Петр Степанович.

— О, как вам угодно, я и сам устал, благодарю вас.

Он мигом выдвинул кресло и повернул его так что очутился между Варварой Петровной, с одной стороны, Прасковьей

Ивановной у стола, с другой, и лицом к господину Лебядкину, с которого он ни на минутку не спускал своих глаз.

— Вы ошибаетесь в том что называете это „чудачеством"....

— О, если только это....

— Нет, нет, нет, подождите, остановила Варвара Петровна, очевидно приготовляясь много и с упоением говорить. Петр Степанович, лишь только заметил это, весь обратился во внимание.

— Нет, это было нечто высшее чудачества, и, уверяю вас, нечто даже святое! Человек гордый и рано оскорбленный, дошедший до той „насмешливости", о которой вы так метко упомянули,— но заметьте, насмешливости прежде всего над самим собой,— одним словом, принц Гарри, как великолепно сравнил тогда Степан Трофимович, и что̀ было бы совершенно верно, еслиб он не походил еще более на Гамлета, по крайней мере по моему взгляду.

— Et vous avez raison[1], с чувством и веско отозвался Степан Трофимович.

— Благодарю вас, Степан Трофимович, вас я особенно благодарю и именно за вашу всегдашнюю веру в Nicolas, в высокость его души и призвания. Эту веру вы даже во мне подкрепляли, когда я падала духом.

— Chère, chère....[2] Степан Трофимович шагнул было уже вперед, но приостановился, рассудив что прерывать опасно.

— И еслибы всегда подле Nicolas (отчасти пела уже Варвара Петровна) находился тихий, великий в смирении своем Горацио,— другое прекрасное выражение ваше, Степан Трофимович,— то может-быть он давно уже был бы спасен от грустного и „внезапного демона иронии", который всю жизнь терзал его. (О демоне иронии, опять удивительное выражение ваше, Степан Трофимович.) Но у Nicolas никогда не было ни Горацио, ни Офелии. У него была лишь одна его мать, но что̀ же может сделать мать одна и в таких обстоятельствах?

[1] [И вы правы]
[2] [Дорогая, дорогая...]

Знаете, Петр Степанович, мне становится даже чрезвычайно понятным что такое существо как Nicolas мог являться даже и в таких грязных трущобах про которые вы рассказывали. Мне так ясно представляется теперь эта „насмешливость“ жизни (удивительно меткое выражение ваше!) эта ненасытимая жажда контраста, этот мрачный фон картины, на котором он является как бриллиант, по вашему же опять сравнению, Петр Степанович. И вот он встречает там всеми обиженное существо, калеку и полупомешанную, и в то же время может-быть с благороднейшими чувствами!...

— Гм, да, положим.

— И вам после этого непонятно что он не смеется над нею как все! О люди! Вам непонятно что он защищает ее от обидчиков, окружает ее уважением „как маркизу“ (этот Кирилов, должно-быть необыкновенно глубоко понимает людей, хотя и он не понял Nicolas)! Если хотите, тут именно через этот контраст и вышла беда; еслибы несчастная была в другой обстановке, то может-быть и не дошла бы до такой умоисступленной мечты. Женщина, женщина только может понять это, Петр Степанович, и как жаль что вы.... то-есть не то что вы не женщина, а по крайней мере на этот раз, чтобы понять!

— То-есть в том смысле что чем хуже тем лучше, я понимаю, понимаю, Варвара Петровна. Это в роде как в религии: чем хуже человеку жить или чем забитее или беднее весь народ, тем упрямее мечтает он о вознаграждении в раю, а если при этом хлопочет еще сто тысяч священников, разжигая мечту, и на нее спекулируя, то.... я понимаю вас, Варвара Петровна, будьте покойны.

— Это, положим, не совсем так, но скажите, неужели Nicolas, чтобы погасить эту мечту в этом несчастном организме (для чего Варвара Петровна тут употребила слово организм, я не мог понять): неужели он должен был сам над нею смеяться и с нею обращаться как другие чиновники? Неужели вы отвергаете то высокое сострадание, ту благородную дрожь всего организма с которою Nicolas вдруг строго отвечает Кирилову: „Я не смеюсь над нею“. Высокий, святой ответ!

— Sublime[1], пробормотал Степан Трофимович.

— И заметьте, он вовсе не так богат как вы думаете; богата я, а не он, а он у меня тогда почти вовсе не брал.

— Я понимаю, понимаю все это, Варвара Петровна, несколько уже нетерпеливо шевелился Петр Степанович.

— О, это мой характер! Я узнаю себя в Nicolas. Я узнаю эту молодость, эту возможность бурных, грозных порывов.... И если мы когда-нибудь сблизимся с вами, Петр Степанович, чего я с моей стороны желаю так искренно, тем более что вам уже так обязана, то вы может-быть поймете тогда....

— О поверьте я желаю с моей стороны, отрывисто пробормотал Петр Степанович.

— Вы поймете тогда тот порыв по которому в этой слепоте благородства вдруг берут человека даже недостойного себя во всех отношениях, человека глубоко непонимающего вас, готового вас измучить при всякой первой возможности, и такого-то человека, наперекор всему, воплощают вдруг в какой-то идеал, в свою мечту, совокупляют на нем все надежды свои, преклоняются пред ним, любят его всю жизнь, совершенно не зная за что — может-быть именно за то что он не достоин того.... О, как я страдала всю жизнь, Петр Степанович!

Степан Трофимович с болезненным видом стал ловить мой взгляд; но я во-время увернулся.

— ....И еще недавно, недавно — о, как я виновата пред Nicolas!... Вы не поверите, они измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки и друзья; друзья может-быть больше врагов. Когда мне прислали первое презренное, анонимное письмо, Петр Степанович, то вы не поверите этому, у меня не достало, наконец, презрения в ответ на всю эту злость.... Никогда, никогда не прощу себе моего малодушия!

— Я уже слышал кое-что вообще о здешних анонимных письмах, оживился вдруг Петр Степанович,— и я вам их разыщу, будьте покойны.

— Но вы не можете вообразить какие здесь начались

[1] [Возвышенно]

интриги!—они измучили даже нашу бедную Прасковью Ивановну—а ее-то ужь по какой причине? Я может-быть слишком виновата пред тобой сегодня, моя милая Прасковья Ивановна, прибавила она в великодушном порыве умиления, но не без некоторой победоносной иронии.

— Полноте, матушка, пробормотала та нехотя,—а по моему, это бы все надо кончить; слишком говорено.... и она опять робко поглядела на Лизу, но та смотрела на Петра Степановича.

— А это бедное, это несчастное существо, эту безумную, утратившую все и сохранившую одно сердце, я намерена теперь сама усыновить, вдруг воскликнула Варвара Петровна,—это долг, который я намерена свято исполнить. С этого же дня беру ее под мою защиту!

— И это даже будет очень хорошо-с в некотором смысле, совершенно оживился Петр Степанович!—Извините, я давеча не докончил. Я именно о покровительстве. Можете представить, что когда уехал тогда Николай Всеволодович (я начинаю с того именно места где остановился, Варвара Петровна), этот господин, вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя в праве распорядиться пенсионом назначенным его сестрице, без остатка; и распорядился. Я не знаю в точности как это было тогда устроено Николаем Всеволодовичем, но через год, уже из-за границы, он, узнав о происходившем, принужден был распорядиться иначе. Опять не знаю подробностей, он их сам расскажет, но знаю только что интересную особу поместили где-то в отдаленном монастыре, весьма даже комфортно, но под дружеским присмотром—понимаете? На что̀ же вы думаете решается господин Лебядкин? Он употребляет сперва все усилия чтобы разыскать где скрывают от него оброчную статью, тоесть сестрицу, недавно только достигает цели, берет ее из монастыря, предъявив какое-то на нее право, и привозит ее прямо сюда. Здесь он ее не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким-то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благодарности, кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая, в случае неплатежа пен-

сиона впредь ему прямо в руки, судом. Таким образом добровольный дар Николая Всеволодовича он принимает за дань,— можете себе это представить? Господин Лебядкин, правда ли *все* то что̀ я здесь сейчас говорил?

Капитан, до сих пор стоявший молча и потупив глаза, быстро шагнул два шага вперед и весь побагровел.

— Петр Степанович, вы жестоко со мной поступали, проговорил он точно оборвал.

— Как это жестоко, и почему-с? Но позвольте, мы о жестокости или о мягкости после, а теперь я прошу вас только ответить на первый вопрос: правда ли *все* то что̀ я говорил, или нет? Если вы находите что неправда, то вы можете немедленно сделать свое заявление.

— Я.... вы сами знаете, Петр Степанович.... пробормотал капитан, осекся и замолчал. Надо заметить что Петр Степанович сидел в креслах, заложив ногу на ногу, а капитан стоял пред ним в самой почтительной позе.

Колебания господина Лебядкина кажется очень не понравились Петру Степановичу; лицо его передернулось какой-то злобной судорогой.

— Да вы уже в самом деле не хотите ли что-нибудь заявить? тонко поглядел он на капитана,— в таком случае сделайте одолжение, вас ждут.

— Вы знаете сами, Петр Степанович, что я не могу ничего заявлять.

— Нет, я этого не знаю, в первый раз даже слышу; почему так вы не можете заявлять?

Капитан молчал, опустив глаза в землю.

— Позвольте мне уйти, Петр Степанович, проговорил он решительно.

— Но не ранее того как вы дадите какой-нибудь ответ на мой первый вопрос: правда *все* что̀ я говорил?

— Правда-с, глухо проговорил Лебядкин и вскинул глазами на мучителя. Даже пот выступил на висках его.

— *Все* правда?

— Все правда-с.

— Не найдете ли вы что-нибудь прибавить, заметить? Если чувствуете что мы несправедливы, то заявите это; протестуйте, заявляйте вслух ваше неудовольствие.

— Нет, ничего не нахожу.

— Угрожали вы недавно Николаю Всеволодовичу?

— Это.... это, тут было больше вино, Петр Степанович. (Он поднял вдруг голову.) Петр Степанович! Если фамильная честь и незаслуженный сердцем позор возопиют межь людей, то тогда, неужели и тогда виноват человек? взревел он, вдруг забывшись по-давешнему.

— А вы теперь трезвы, господин Лебядкин? пронзительно поглядел на него Петр Степанович.

— Я.... трезв.

— Что̀ это такое значит фамильная честь и незаслуженный сердцем позор?

— Это я про никого, я никого не хотел. Я про себя.... провалился опять капитан.

— Вы, кажется, очень обидились моими выражениями про вас и ваше поведение? Вы очень раздражительны, господин Лебядкин. Но позвольте, я ведь еще ничего не начинал про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить про ваше поведение, в его настоящем виде. Я начну говорить, это очень может случиться, но я ведь еще не начинал в *настоящем* виде.

Лебядкин вздрогнул и дико уставился на Петра Степановича.

— Петр Степанович, я теперь лишь начинаю просыпаться!

— Гм. И это я вас разбудил?

— Да, это вы меня разбудили, Петр Степанович, а я спал четыре года под висевшей тучей. Могу я наконец удалиться, Петр Степанович?

— Теперь можете, если только сама Варвара Петровна не найдет необходимым....

Но та замахала руками.

Капитан поклонился, шагнул два шага к дверям, вдруг остановился, приложил руку к сердцу, хотел было что-то сказать, не сказал, и быстро направился к выходу. Но в дверях как раз

столкнулся с Николаем Всеволодовичем; тот посторонился; капитан как-то весь вдруг съежился пред ним и так замер на месте, не отрывая от него глаз, как кролик от удава. Подождав немного, Николай Всеволодович слегка отстранил его рукой и вошел в гостиную.

VII.

Он был весел и спокоен. Может что-нибудь с ним случилось сейчас очень хорошее, еще нам неизвестное; но он, казалось, был даже чем-то особенно доволен.

— Простишь ли ты меня, Nicolas? не утерпела Варвара Петровна и поспешно встала ему навстречу.

Но Nicolas решительно рассмеялся.

— Так и есть! воскликнул он добродушно и шутливо,— вижу что вам уже все известно. А я как вышел отсюда и задумался в карете: „по крайней мере, надо было хоть анекдот рассказать, а то кто же так уходит?“ Но как вспомнил что у вас остается Петр Степанович, то и забота соскочила.

Говоря, он бегло осматривался кругом.

— Петр Степанович рассказал нам одну древнюю петербургскую историю из жизни одного причудника, восторженно подхватила Варвара Петровна,— одного капризного и сумашедшего человека, но всегда высокого в своих чувствах, всегда рыцарски-благородного....

— Рыцарски? Неужто у вас до того дошло? смеялся Nicolas.— Впрочем я очень благодарен Петру Степановичу на этот раз за его торопливость (тут он обменялся с ним мгновенным взглядом). Надобно вам узнать, maman, что Петр Степанович — всеобщий примиритель; это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки зрения. Догадываюсь о чем он вам тут настрочил. Он именно строчит когда рассказывает; в голове у него канцелярия. Заметьте что в качестве реалиста он не может солгать, и что истина ему дороже успеха.... разумеется кроме тех особенных случаев, когда успех дороже истины. (Говоря это, он все осма-

трився.) Таким образом вы видите ясно, maman, что не вам у меня прощения просить и что если есть тут где-нибудь сумашествие, то конечно прежде всего с моей стороны, и значит в конце концов, я все-таки первый помешанный,— надо же поддержать свою здешнюю репутацию....

Тут он нежно обнял мать.

— Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало-быть можно и перестать о нем, прибавил он, и какая-то сухая, твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку; но экзальтация ее не проходила, даже напротив.

— Я никак не ждала тебя раньше как через месяц, Nicolas!

— Я, разумеется, вам все объясню, maman, а теперь....

И он направился к Прасковье Ивановне.

Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты: с самого того мгновения как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем, Лиза вдруг принялась смеяться,— сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть; но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом; можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она впрочем видимо старалась скрепиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием.

— Вы пожалуста извините меня, ответила она скороговоркой, вы.... вы конечно видели Маврикия Николаевича.... Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!

И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так ужь непозволительно.

— Вы.... давно приехали? пробормотала она опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами.

— Часа два слишком, ответил Nicolas, пристально к ней присматриваясь. Замечу что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый.

— А где будете жить?

— Здесь.

Варвара Петровна тоже следила за Лизой, но ее вдруг поразила одна мысль.

— Где же ты был Nicolas до сих пор все эти два часа слишком? подошла она;— поезд приходит в десять часов.

— Я сначала завез Петра Степановича к Кирилову. А Петра Степановича я встретил в Матвееве (за три станции), в одном вагоне и доехали.

— Я с рассвета в Матвееве ждал, подхватил Петр Степанович,— у нас задние вагоны соскочили ночью с рельсов, чуть ног не поломали.

— Ноги сломали! вскричала Лиза,— мамà, мамà, а мы с вами хотели ехать на прошлой неделе в Матвеево, вот бы тоже ноги сломали!

— Господи помилуй! перекрестилась Прасковья Ивановна.

— Мамà, мамà, милая мамà вы не пугайтесь, если я в самом деле обе ноги сломаю; со мной это так может случиться, сами же говорите что я каждый день скачу верхом сломя голову. Маврикий Николаевич, будете меня водить хромую? захохотала она опять.— Если это случится, я никому не дам себя водить кроме вас, смело расчитывайте. Ну, положим что я только одну ногу сломаю.... Ну будьте же любезны, скажите что почтете за счастье.

— Чтò ужь за счастье с одною ногой? сериозно нахмурился Маврикий Николаевич.

— Боже, какой моралист! За то вы будете водить, один вы, никому больше!

— Вы и тогда меня водить будете, Лизавета Николаевна, еще сериознее проворчал Маврикий Николаевич.

— Боже, да ведь он хотел сказать каламбур! почти в ужасе воскликнула Лиза.— Маврикий Николаевич, не смейте никогда пускаться на этот путь! Но только до какой же степени вы эгоист! Я убеждена, к чести вашей, что вы сами на себя теперь клевещете; напротив: вы с утра до ночи будете меня тогда уверять что я стала без ноги интереснее! Одно непоправимо — вы безмерно высоки ростом, а без ноги я стану премаленькая, как же вы меня поведете под руку, мы будем не пара!

И она болезненно рассмеялась. Остроты и намеки были плоски, но ей очевидно было не до славы.

— Истерика! шепнул мне Петр Степанович,— поскорее бы воды стакан.

Он угадал; через минуту все суетились, принесли воды. Лиза обнимала свою мамà, горячо целовала ее, плакала на ее плече, и тут же опять, откинувшись и засматривая ей в лицо, принималась хохотать. Захныкала наконец и мамà. Варвара Петровна увела их обеих поскорее к себе, в ту самую дверь из которой вышла к нам давеча Дарья Павловна. Но пробыли они там не долго, минуты четыре, не более....

Я стараюсь припомнить теперь каждую черту этих последних мгновений этого достопамятного утра. Помню что когда мы остались одни без дам (кроме одной Дарьи Павловны, не тронувшейся с места),— Николай Всеволодович обошел нас всех и перездоровался с каждым, кроме Шатова, продолжавшего сидеть в своему углу, и еще больше чем давеча наклонившегося в землю. Степан Трофимович начал было с Николаем Всеволодовичем о чем-то чрезвычайно остроумном, но тот поспешно извинился и направился к Дарье Павловне. Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о чем-то быстро шептать ему, повидимому об очень важном, судя по выражению лица и по жестам сопровождавшим шепот. Николай же Всеволодович слушал очень лениво и рассеянно, с своей официальною усмешкой, а под конец даже и нетерпеливо, и все как бы порывался уйти. Он вырвался от него и ушел от окна именно когда воротились наши дамы; Лизу

Варвара Петровна усадила на прежнее место, уверяя что им минут хоть десять надо непременно повременить и отдохнуть, и что свежий воздух вряд ли будет сейчас полезен на больные нервы. Очень ужь она ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немедленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. Вот тут-то Николай Всеволодович и подошел наконец к Дарье Павловне неспешною походкой своей; Даша так и заколыхалась на месте при его приближении и быстро привскочила в видимом смущении и с румянцем во все лицо.

— Вас, кажется, можно поздравить.... или еще нет? проговорил он с какою-то особенною складкой в лице.

Даша что-то ему ответила, но трудно было расслышать.

— Простите за нескромность, возвысил он голос,— но ведь вы знаете, я был нарочно извещен. Знаете вы об этом?

— Да, я знаю что вы были нарочно извещены.

— Надеюсь, однако, что я не помешал ничему моим поздравлением, засмеялся он,— и если Степан Трофимович....

— С чем, с чем поздравить? подскочил вдруг Петр Степанович,— с чем вас поздравить, Дарья Павловна? Ба! Да ужь не с тем ли самым? Краска ваша свидетельствует что я угадал. В самом деле с чем же и поздравляют наших прекрасных и благонравных девиц и от каких поздравлений они всего больше краснеют? Ну-с, примите и от меня, если я угадал, и заплатите пари: помните, в Швейцарии бились об заклад что никогда не выйдете замуж.... Ах да, по поводу Швейцарии — что̀ жь это я? Представьте, на половину затем и ехал, а чуть не забыл: скажи ты мне, быстро повернулся он к Степану Трофимовичу,— ты-то когда же в Швейцарию?

— Я.... в Швейцарию? удивился и смутился Степан Трофимович.

— Как? разве не едешь? Да ведь ты тоже женишься.... ты писал?

— Pierre! воскликнул Степан Трофимович.

— Да что̀ Pierre.... Видишь, если тебе это приятно, то я летел заявить тебе что я вовсе не против, так как ты непре-

менно желал моего мнения как можно скорее; если же (сыпал он) тебя надо „спасать“, как ты тут же пишешь и умоляешь, в том же самом письме, то опять-таки я к твоим услугам. Правда что он женится, Варвара Петровна? быстро повернулся он к ней.— Надеюсь что я не нескромничаю; сам же пишет что весь город знает и все поздравляют, так что он, чтоб избежать, выходит лишь по ночам. Письмо у меня в кармане. Но поверите ли, Варвара Петровна, что я ничего в нем не понимаю! Ты мне только одно скажи, Степан Трофимович, поздравлять тебя надо или „спасать“? Вы не поверите, рядом с самыми счастливыми строками у него отчаяннейшие. Вопервых, просит у меня прощения; ну положим, это в их нравах.... А впрочем нельзя не сказать: вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, воображает что нарушает этим ко мне какие-то родительские обязанности, умоляет меня за тысячу верст чтоб я не сердился и разрешил ему! Ты пожалуста не обижайся, Степан Трофимович, черта времени, я широко смотрю и не осуждаю, и это, положим, тебе делает честь и т. д., и т. д., но опять-таки главное в том что ничего не понимаю. Тут что-то о каких-то „грехах в Швейцарии“. Женюсь, дескать, по грехам или из-за чужих грехов, или как у него там — одним словом „грехи“. „Девушка, говорит, перл и алмаз“, ну и разумеется „он недостоин“ — их слог; но из-за каких-то там грехов или обстоятельств „принужден идти к венцу и ехать в Швейцарию“, а потому „бросай все и лети спасать“. Понимаете ли вы что-нибудь после этого? А впрочем.... а впрочем я по выражению лиц замечаю (повертывался он с письмом в руках, с невинною улыбкой всматриваясь в лица) что по моему обыкновению я, кажется, в чем-то дал маху.... по глупой моей откровенности, или, как Николай Всеволодович говорит, торопливости. Я ведь думал что мы тут свои, то-есть твои свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то в сущности чужой, и вижу.... и вижу что все что-то знают, а я-то вот именно чего-то и не знаю.

Он все продолжал осматриваться.

— Степан Трофимович так и написал вам что он женится на „чужих грехах, совершенных в Швейцарии“ и чтобы вы летели „спасать его“, этими самыми выражениями? подошла вдруг Варвара Петровна, вся желтая, с искривившимся лицом, со вздрагивающими губами.

— То-есть видите ли-с, если тут чего-нибудь я не понял, как бы испугался и еще пуще заторопился Петр Степанович,— то виноват разумеется он что так пишет. Вот письмо. Знаете, Варвара Петровна, письма бесконечные и беспрерывные, а в последние два-три месяца просто письмо за письмом, и признаюсь, я наконец иногда не дочитывал. Ты меня прости, Степан Трофимович, за такое глупое признание, но ведь согласись пожалуста что хоть ты и ко мне адресовал, а писал ведь более для потомства, так что тебе ведь и все равно.... Ну-ну, не обижайся; мы-то с тобой все-таки свои! Но это письмо, Варвара Петровна, это письмо я дочитал. Эти „грехи“-с — эти „чужие грехи“ — это наверно какие-нибудь наши собственные грешки, и об заклад бьюсь, самые невиннейшие, но из-за которых вдруг нам вздумалось поднять ужасную историю с благородным оттенком — именно ради благородного оттенка и подняли. Тут, видите ли, что-нибудь по счетной части у нас прихрамывает — надо же наконец сознаться. Мы, знаете, в карточки очень повадливы.... а впрочем это лишнее, это совсем уже лишнее, виноват, я слишком болтлив, но ейбогу, Варвара Петровна, он меня напугал, и я действительно приготовился отчасти „спасать“ его. Мне наконец и самому совестно. Что̀ я, с ножом к горлу что ли лезу к нему? Кредитор неумолимый я что ли? Он что-то пишет тут о приданом.... А впрочем уж женишься ли ты полно, Степан Трофимович? Ведь и это станется, ведь мы наговорим, наговорим, а более для слога.... Ах, Варвара Петровна, я ведь вот уверен что вы пожалуй осуждаете меня теперь, и именно тоже за слог-с. Согласен; сам себя осудил бы-с. Но ведь еслибы вы знали, какой там-то слог! Ну прочтите, ну прочтите сами! Ах, Варвара Петровна, я ведь вот режу, а может-быть я.... любя говорю! Ну, и тут сморозил: дурак я человек, грубый я человек!...

— Напротив, напротив, я вижу что вы просто выведены из терпения, и ужь конечно имели на то причины, злобно подхватила Варвара Петровна.

Она со злобным наслаждением выслушала все „правдивые" словоизвержения Петра Степановича, очевидно игравшего роль (какую — не знал я тогда, но роль была очевидная, даже слишком ужь грубовато сыгранная).

— Напротив, продолжала она,— я вам слишком благодарна что вы заговорили; без вас я бы так ничего и не узнала. В первый раз в двадцать лет я раскрываю глаза. Николай Всеволодович, вы сказали сейчас, что и вы были нарочно извещены: уж не писал ли и к вам Степан Трофимович в этом же роде?

— Я получил от него невиннейшее и.... и.... очень благородное письмо....

— Вы затрудняетесь, ищете слов — довольно! Степан Трофимович, я ожидаю от вас чрезвычайного одолжения, вдруг обратилась она к нему с засверкавшими глазами,— сделайте мне милость, оставьте нас сейчас же, а впредь не переступайте через порог моего дома.

Прошу припомнить недавнюю „экзальтацию", еще и теперь не прошедшую. Правда, и виноват же был Степан Трофимович! Но вот что̀ решительно изумило меня тогда: то что он с удивительным достоинством выстоял и под „обличениями" Петруши, не думая прерывать их, и под „проклятием" Варвары Петровны. Откудова взялось у него столько духа? Я узнал только одно что он несомненно и глубоко оскорблен был давешнею первою встречей с Петрушей, именно давешними объятиями. Это было глубокое и *настоящее* уже горе, по крайней мере на его глаза, его сердцу. Было у него и другое горе в ту минуту, а именно язвительное собственное сознание в том что он несколько сподличал; в этом он мне сам потом признавался со всею откровенностью. А ведь *настоящее,* несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время; это ужь свойство

такого горя. А если так, то что̀ же могло произойти с таким человеком как Степан Трофимович? Целый переворот,— конечно тоже на время.

Он с достоинством поклонился Варваре Петровне и не вымолвил слова (правда, ему ничего и не оставалось более). Он так и хотел было совсем уже выйти, но не утерпел и подошел к Дарье Павловне. Та, кажется, это предчувствовала, потому что тотчас же сама, вся в испуге, начала говорить, не дав ему вымолвить слова:

— Пожалуста, Степан Трофимович, ради бога, ничего не говорите, начала она горячею скороговоркой, с болезненным выражением лица и поспешно протягивая ему руку:— будьте уверены что я вас все так же уважаю.... и все так же ценю вас, и.... думайте обо мне тоже хорошо, Степан Трофимович, и я буду очень, очень это ценить....

Степан Трофимович низко, низко ей поклонился.

— Воля твоя, Дарья Павловна, ты знаешь что во всем этом деле твоя полная воля! Была и есть, и теперь и впредь, веско заключила Варвара Петровна.

— Ба! да и я теперь все понимаю! ударил себя по лбу Петр Степанович.— Но.... но в какое же положение я был поставлен после этого? Дарья Павловна, пожалуста извините меня!... Что̀ ты наделал со мной после этого, а? обратился он к отцу.

— Pierre, ты бы мог со мной выражаться иначе, не правда ли, друг мой? совсем даже тихо промолвил Степан Трофимович.

— Не кричи пожалуста, замахал Pierre руками,— поверь что все это старые, больные нервы, и кричать ни к чему не послужит. Скажи ты мне лучше, ведь ты мог же предположить что я с первого шага заговорю: как же было не предуведомить?

Степан Трофимович проницательно посмотрел на него:

— Pierre, ты, который так много знаешь из того что̀ здесь происходит, неужели ты и вправду об этом деле так-таки ничего и не знал, ничего и не слыхал?

— Что-о-о? Вот люди! Так мы мало того что старые дети,

мы еще злые дети? Варвара Петровна, вы слышали что̀ он говорит?

Поднялся шум; но тут разразилось вдруг приключение, которого никто не мог ожидать.

VIII.

Прежде всего упомяну что в последние две-три минуты Лизаветой Николаевной овладело какое-то новое движение; она быстро шепталась о чем-то с мама̀ и с наклонившимся к ней Маврикием Николаевичем. Лицо ее было тревожно, но в то жѐ время выражало решимость. Наконец встала с места, видимо торопясь уехать и торопя мама̀, которую начал приподымать с кресел Маврикий Николаевич. Но видно не суждено им было уехать не досмотрев всего до конца.

Шатов, совершенно всеми забытый в своем углу (неподалеку от Лизаветы Николаевны) и повидимому сам не знавший для чего он сидел и не уходил, вдруг поднялся со стула и через всю комнату, не спешным, но твердым шагом направился к Николаю Всеволодовичу, прямо смотря ему в лицо. Тот еще издали заметил его приближение и чуть-чуть усмехнулся; но когда Шатов подошел к нему вплоть, то перестал усмехаться.

Когда Шатов молча пред ним остановился, не спуская с него глаз, все вдруг это заметили и затихли, позже всех Петр Степанович; Лиза и мама̀ остановились посреди комнаты. Так прошло секунд пять; выражение дерзкого недоумения сменилось в лице Николая Всеволодовича гневом, он нахмурил брови и вдруг...

И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяжелою рукой и изо всей силы ударил его по щеке. Николай Всеволодович сильно качнулся на месте.

Шатов и ударил-то по особенному, вовсе не так как обыкновенно принято давать пощечины (если только можно так выразиться), не ладонью, а всем кулаком, а кулак у него был большой, веский, костлявый, с рыжим пухом и с веснушками. Еслиб удар пришелся по носу, то раздробил бы нос. Но при-

шелся он по щеке, задев левый край губы и верхних зубов, из которых тотчас же потекла кровь.

Кажется раздался мгновенный крик, может-быть вскрикнула Варвара Петровна — этого не припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. Впрочем вся сцена продолжалась не более каких-нибудь десяти секунд.

Тем не менее в эти десять секунд произошло ужасно много.

Напомню опять читателю что Николай Всеволодович принадлежал к тем натурам которые страха не ведают. На дуэли он мог стоять под выстрелом противника хладнокровно, сам целить и убивать до зверства спокойно. Если бы кто ударил его по щеке, то как мне кажется, он бы и на дуэль невызвал, а тут же, тотчас же убил бы обидчика; он именно был из таких, и убил бы с полным сознанием, а вовсе не вне себя. Мне кажется даже что он никогда и не знал тех ослепляющих порывов гнева при которых уже нельзя рассуждать. При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он все-таки всегда мог сохранять полную власть над собой, а стало-быть и понимать что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в каторгу; тем не менее он все-таки убил бы обидчика и без малейшего колебания.

Николая Всеволодовича я изучал все последнее время и, по особым обстоятельствам, знаю о нем теперь, когда пишу это, очень много фактов. Я пожалуй сравнил бы его с иными прошедшими господами, о которых уцелели теперь в нашем обществе некоторые легендарные воспоминания. Раскадывали, например, про декабриста Л—на что он всю жизнь нарочно искал опасности, упивался ощущением ее, обратил его в потребность своей природы; в молодости выходил на дуэль ни за что; в Сибири, с одним ножом ходил на медведя, любил встречаться в сибирских лесах с беглыми каторжниками, которые, замечу мимоходом, страшнее медведя. Сомнения нет что эти легендарные господа способны были ощущать, и даже может быть в сильной степени чувство страха,— иначе были бы гораздо спокойнее, и ощущение опасности не обратили бы в потребность своей природы. Но побеждать в себе трусость —

вот что̀, разумеется, их прельщало. Беспрерывное упоение победой и сознание что нет над тобой победителя — вот что их увлекало. Этот Л—н еще прежде ссылки некоторое время боролся с голодом и тяжким трудом добывал себе хлеб, единственно из-за того что ни за что̀ не хотел подчиниться требованиям своего богатого отца, которые находил несправедливыми. Стало-быть многосторонне понимал борьбу; не с медведями только и не на однех дуэлях ценил в себе стойкость и силу характера.

Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цельных ощущений которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого времени. Николай Всеволодович может-быть отнесся бы к Л—ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся трусом, петушком,—правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника и на медведя сходил бы, еслибы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу — так же успешно и так же бесстрашно, как и Л — н, но за то ужь безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой. В злобе разумеется выходил прогресс против Л — на, даже против Лермонтова. Злобы в Николае Всеволодовиче было может-быть больше чем в тех обоих вместе, но злоба эта была холодная, спокойная и, если можно так выразиться — *разумная*, стало-быть самая отвратительная и самая страшная, какая может быть. Еще раз повторяю: я и тогда считал его и теперь считаю (когда уже все кончено) именно таким человеком который, если бы получил удар в лицо или подобную равносильную обиду, то немедленно убил бы своего противника, тотчас же, тут же на месте и без вызова на дуэль.

И однакоже в настоящем случае произошло нечто иное и чудное.

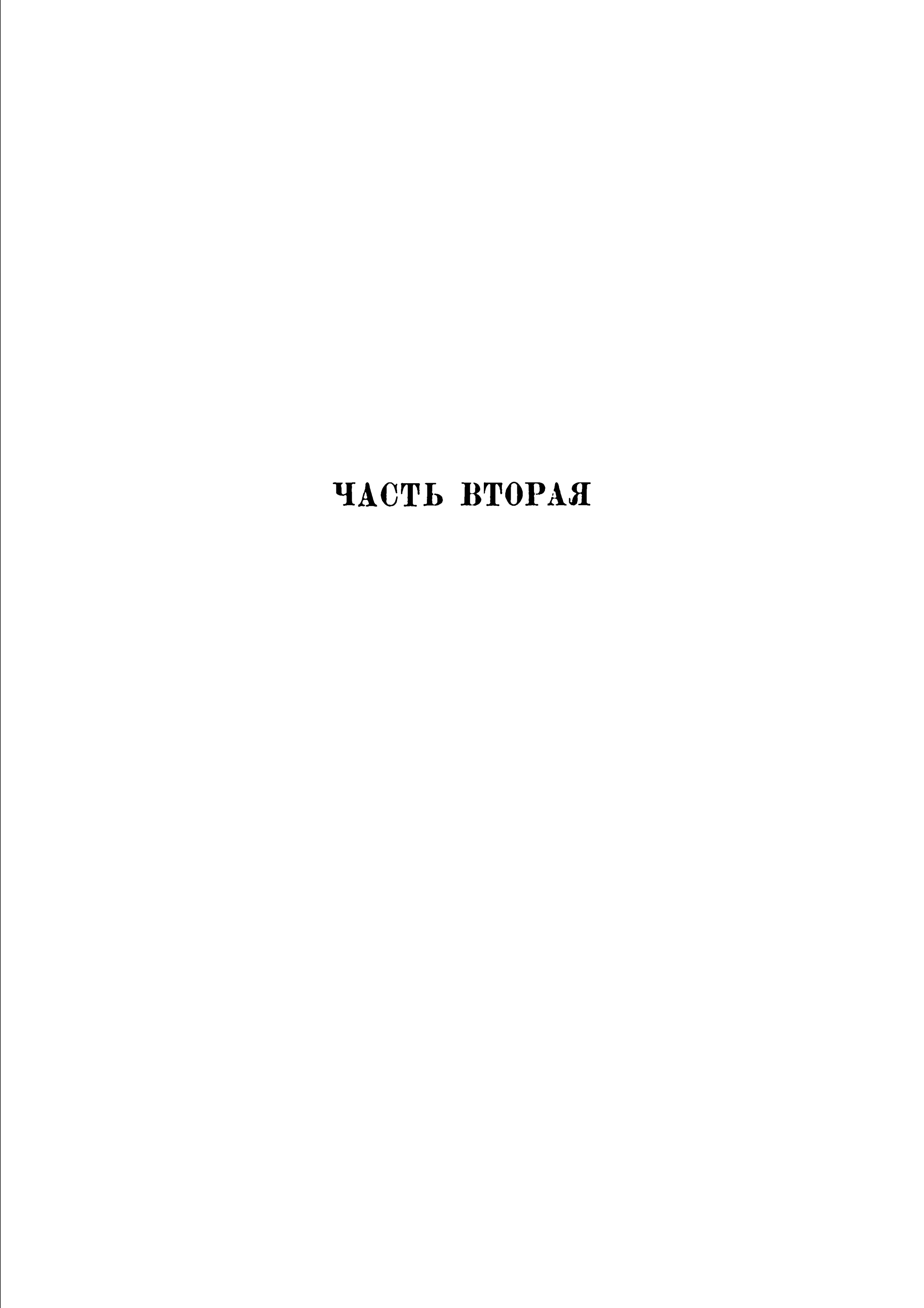
Едва только он выпрямился после того как так позорно качнулся на бок, чуть не на целую половину роста, от полу-

ченной пощечины: и не затих еще, казалось, в комнате подлый, как бы мокрый какой-то звук от удара кулака по лицу, как тотчас же он схватил Шатова обеими руками за плечи: но тотчас же, в тот же почти миг, отдернул свои обе руки назад и скрестил их у себя за спиной. Он молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. Но странно, взор его как бы погасал. Через десять секунд глаза его смотрели холодно и — я убежден что не лгу — спокойно. Только бледен он был ужасно. Разумеется я не знаю что̀ было внутри человека, я видел снаружи. Мне кажется еслибы был такой человек, который схватил бы, например, раскаленную до красна железную полосу и зажал в руке, с целию измерить свою твердость, и затем, в продолжении десяти секунд, побеждал бы нестерпимую боль и кончил тем что ее победил, то человек этот, кажется мне, вынес бы нечто похожее на то что̀ испытал теперь, в эти десять секунд, Николай Всеволодович.

Первый из них опустил глаза Шатов и видимо потому что принужден был опустить. Затем медленно повернулся и пошел из комнаты, но вовсе ужь не тою походкой которою подходил давеча. Он уходил тихо, как-то особенно неуклюже приподняв сзади плечи, опустив голову и как бы рассуждая о чем-то сам с собой. Кажется он что-то шептал. До двери дошел осторожно, ни за что̀ не зацепив и ничего не опрокинув, дверь же приотворил на маленькую щелочку, так что пролез в отверстие почти боком. Когда пролезал, то вихор его волос, стоявший торчком на затылке, был особенно заметен.

Затем, прежде всех криков раздался один страшный крик. Я видел как Лизавета Николаевна схватила было свою мама̀ за плечо, а Маврикия Николаевича за руку и раза два-три рванула их за собой, увлекая из комнаты, но вдруг вскрикнула и со всего росту упала на пол в обморок. До сих пор я как будто еще слышу как стукнулась она о ковер затылком.

Конец первой части.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Ночь.

I.

Прошло восемь дней. Теперь, когда уже все прошло, и я пишу хронику, мы уже знаем в чем дело; но тогда мы еще ничего не знали, и естественно что нам представлялись странными разные вещи. По крайней мере мы со Степаном Трофимовичем в первое время заперлись и с испугом наблюдали издали. Я-то кой-куда еще выходил и попрежнему приносил ему разные вести, без чего он и пробыть не мог.

Нечего и говорить что по городу пошли самые разнообраз-

ные слухи, то-есть насчет пощечины, обморока Лизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то: через кого это все могло так скоро и точно выйти наружу? Ни одно из присутствовавших тогда лиц не имело бы кажется ни нужды, ни выгоды нарушить секрет происшедшего. Прислуги тогда не было; один Лебядкин мог бы что-нибудь разболтать, не столько по злобе, потому что вышел тогда в крайнем испуге (а страх к врагу уничтожает и злобу к нему), а единственно по невоздержности. Но Лебядкин, вместе с сестрицей, на другой же день пропал без вести; в доме Филиппова его не оказалось, он переехал неизвестно куда и точно сгинул. Шатов, у которого я хотел было справиться о Марье Тимофеевне, заперся и кажется все эти восемь дней просидел у себя на квартире, даже прервав свои занятия в городе. Меня он не принял. Я было зашел к нему во вторник и стукнул в дверь. Ответа не получил, но уверенный, по несомненным данным, что он дома, постучался в другой раз. Тогда он, соскочив повидимому с постели, подошел крупными шагами к дверям и крикнул мне во-весь голос: „Шатова дома нет“. Я с тем и ушел.

Мы со Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились наконец на одной мысли: мы решили что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, хотя сам он некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял что застал уже историю во всех устах, преимущественно в клубе, и совершенно известною до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. Вот что̀ еще замечательно: на второй же день, в понедельник ввечеру, я встретил Липутина, и он уже знал все до последнего слова, стало-быть несомненно узнал из первых.

Многие из дам (и из самых светских) любопытствовали и о „загадочной хромоножке“, так называли Марью Тимофеевну. Нашлись даже пожелавшие непременно увидать ее лично и познакомиться, так что господа поспешившие припрятать Лебядкиных, очевидно поступили и кстати. Но на первом плане

все-таки стоял обморок Лизаветы Николаевны и этим интересовался „весь свет“, уже по тому одному что дело прямо касалось Юлии Михайловны как родственницы Лизаветы Николаевны и ее покровительницы. И чего-чего ни болтали! Болтовне способствовала и таинственность обстановки: оба дома были заперты наглухо; Лизавета Николаевна, как рассказывали, лежала в белой горячке; то же утверждали и о Николае Всеволодовиче, с отвратительными подробностями о выбитом будто бы зубе и о распухшей от флюса щеке его. Говорили даже по уголкам, что у нас может-быть будет убийство, что Ставрогин не таков чтобы снести такую обиду, и убьет Шатова, но таинственно, как в корсиканской вендетте. Мысль эта нравилась; но большинство нашей светской молодежи выслушивало все это с презрением и с видом самого пренебрежительного равнодушия, разумеется, напускного. Вообще древняя враждебность нашего общества к Николаю Всеволодовичу обозначилась ярко. Даже солидные люди стремились обвинить его, хотя и сами не знали в чем. Шепотом рассказывали что будто бы он погубил честь Лизаветы Николаевны, и что между ними была интрига в Швейцарии. Конечно осторожные люди сдерживались, но все однако же слушали с аппетитом. Были и другие разговоры, но не общие, а частные, редкие и почти закрытые, чрезвычайно странные и о существовании которых я упоминаю лишь для предупреждения читателей, единственно в виду дальнейших событий моего рассказа. Именно: говорили иные, хмуря брови и бог знает на каком основании, что Николай Всеволодович имеет какое-то особенное дело в нашей губернии, что он чрез графа К. вошел в Петербурге в какие-то высшие отношения, что он даже может-быть служит и чуть ли не снабжен от кого-то какими-то поручениями. Когда очень ужь солидные и сдержанные люди на этот слух улыбались, благоразумно замечая что человек живущий скандалами и начинающий у нас с флюса, не похож на чиновника, то им шепотом замечали что служит он не то чтоб официально, а так-сказать конфиденциально, и что в таком случае самою службой требуется чтобы слу-

жащий как можно менее походил на чиновника. Такое замечание производило эффект; у нас известно было что на земство нашей губернии смотрят в столице с некоторым особым вниманием. Повторю, эти слухи только мелькнули и исчезли бесследно, до времени, при первом появлении Николая Всеволодовича; но замечу что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесенных в клубе, недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии, Артемием Павловичем Гагановым, весьма крупным помещиком нашей губернии и уезда, столичным светским человеком и сыном покойного Павла Павловича Гаганова, того самого почтенного старшины с которым Николай Всеволодович имел, четыре слишком года тому назад, то необычайное по своей грубости и внезапности столкновение о котором я уже упоминал прежде, в начале моего рассказа.

Всем тотчас же стало известно что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит, и что у крыльца дома ей объявили что „по нездоровью не могут принять“. Также и то что дня через два после своего визита, Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны нарочного. Наконец принялась везде „защищать“ Варвару Петровну, конечно лишь в самом высшем смысле, то-есть по возможности в самом неопределенном. Все же первоначальные торопливые намеки о воскресной истории выслушала строго и холодно, так что в последующие дни, в ее присутствии, они уже не возобновлялись. Таким образом и укрепилась везде мысль что Юлии Михайловне известна не только вся эта таинственная история, но и весь ее таинственный смысл до мельчайших подробностей, и не как посторонней, а как соучастнице. Замечу кстати что она начала уже приобретать у нас, помаленьку, то высшее влияние которого так несомненно добивалась и жаждала, и уже начинала видеть себя „окруженною“. Часть общества признала за нею практический ум и такт.... но об этом после. Ее же покровительством объяснялись отчасти и весьма быстрые успехи Петра Степановича

в нашем обществе,—успехи особенно поразившие тогда Степана Трофимовича.

Мы с ним может-быть и преувеличивали. Вопервых, Петр Степанович перезнакомился почти мгновенно со всем городом, в первые же четыре дня после своего появления. Появился он в воскресенье, а во вторник я уже встретил его в коляске с Артемием Павловичем Гагановым, человеком гордым, раздражительным и заносчивым, несмотря на всю его светскость, и с которым, по характеру его, довольно трудно было ужиться. У губернатора Петр Степанович был тоже принят прекрасно, до того что тотчас же стал в положение близкого или таксказать обласканного молодого человека; обедал у Юлии Михайловны почти ежедневно. Познакомился он с нею еще в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходительства действительно заключалось нечто любопытное. Все-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли, нет ли, участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, „что̀ можно даже из газет доказать“, как злобно выразился мне при встрече Алеша Телятников, теперь, увы, отставной чиновничек, а прежде тоже обласканный молодой человек в доме старого губернатора. Но тут стоял однако же факт: бывший революционер явился в любезном отечестве не только без всякого беспокойства, но чуть ли не с поощрениями; стало-быть ничего может и не было. Липутин шепнул мне раз что, по слухам, Петр Степанович будто бы где-то принес покаяние и получил отпущение, назвав несколько прочих имен и таким образом может и успел уже заслужить вину, обещая и впредь быть полезным отечеству. Я передал эту ядовитую фразу Степану Трофимовичу, и тот, несмотря на то что был почти не в состоянии соображать, сильно задумался. В последствии обнаружилось что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами, по крайней мере привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важной петербургской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербургских старичков. Эта старушка, крестная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своем что

и граф К. хорошо знает Петра Степановича, чрез Николая Всеволодовича, обласкал его и находит „достойным молодым человеком, несмотря на бывшие заблуждения“. Юлия Михайловна до крайности ценила свои скудные и с таким трудом поддерживаемые связи с „высшим миром“, и ужь конечно была рада письму важной старушки; но все-таки оставалось тут нечто как бы и особенное. Даже супруга своего поставила к Петру Степановичу в отношения почти фамилиарные, так что г. фон-Лембке жаловался.... но об этом тоже после. Замечу тоже для памяти что и великий писатель весьма благосклонно отнесся к Петру Степановичу и тотчас же пригласил его к себе. Такая поспешность такого надутого собою человека кольнула Степана Трофимовича больнее всего; но я объяснил себе иначе: зазывая к себе нигилиста, г. Кармазинов ужь конечно имел в виду сношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшею революционною молодежью и, воображая, по незнанию дела, что в руках ее ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому что они не обращали на него никакого внимания.

II.

Петр Степанович забежал раза два и к родителю, и к несчастию моему, оба раза в мое отсутствие. В первый раз посетил его в среду, то-есть на четвертый лишь день после той первой встречи, да и то по делу. Кстати, расчет по имению окончился у них как-то неслышно и невидно. Варвара Петровна взяла все на себя и все выплатила, разумеется приобретя землицу, а Степана Трофимовича только уведомила о том что все кончено, и уполномоченный Варвары Петровны, камердинер ее Алексей Егорович, поднес ему что-то подписать, что он и исполнил молча и с чрезвычайным достоинством. Замечу по поводу достоинства что я почти не узнавал нашего прежнего старичка в эти дни. Он держал себя как никогда прежде,

стал удивительно молчалив, даже не написал ни одного письма Варваре Петровне с самого воскресенья, что̀ я счел бы чудом, а главное стал спокоен. Он укрепился на какой-то окончательной и чрезвычайной идее, придававшей ему спокойствие, это было видно. Он нашел эту идею, сидел и чего-то ждал. Сначала впрочем был болен, особенно в понедельник; была холерина. Тоже и без вестей пробыть не мог во все время; но лишь только я, оставляя факты, переходил к сути дела и высказывал какие-нибудь предположения, то он тотчас же начинал махать на меня руками и ногами, чтоб я перестал. Но оба свидания с сынком все-таки болезненно на него подействовали, хотя и не поколебали. В оба эти дня, после свиданий, он лежал на диване, обмотав голову платком намоченным в уксусе; но в высшем смысле продолжал оставаться спокойным.

Иногда, впрочем, он и не махал на меня руками. Иногда тоже казалось мне что принятая таинственная решимость как бы оставляла его, и что он начинал бороться с каким-то новым соблазнительным наплывом идей. Это было мгновениями, но я отмечаю их. Я подозревал что ему очень бы хотелось опять заявить себя, выйти из уединения, предложить борьбу, задать последнюю битву.

— Cher, я бы их разгромил! вырвалось у него в четверг вечером, после второго свидания с Петром Степановичем, когда он лежал протянувшись на диване, с головой обернутою полотенцем.

До этой минуты он во весь день еще ни слова не сказал со мной.

— „Fils, fils chéri“ [1] и так далее, я согласен что все эти выражения вздор, кухарочный словарь, да и пусть их, я сам теперь вижу. Я его не кормил и не поил, я отослал его из Берлина в —скую губернию, грудного ребенка, по почте, ну и так далее, я согласен.... „Ты, говорит, меня не поил и по почте выслал, да еще здесь ограбил“. Но, несчастный, кричу

[1] [Дорогой сын]

ему, ведь болел же я за тебя сердцем всю мою жизнь, хотя и по почте! Il rit[1]. Но я согласен, согласен.... пусть по почте, закончил он как в бреду.

— Passons[2], начал он опять через пять минут.— Я не понимаю Тургенева. У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это какая то неясная смесь Ноздрева с Байроном, c'est le mot[3]! Посмотрите на них внимательно: они кувыркаются и визжат от радости как щенки на солнце, они счастливы, они победители! Какой тут Байрон!... И притом какие будни! Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жаждишка faire du bruit autour de son nom[4], не замечая, что son nom.... О, каррикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого как есть людям взамен Христа предложить желаешь? Il rit. Il rit beaucoup, il rit trop[5]. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки. Il rit tousjours[6].

Опять наступило молчание.

— Они хитры; в воскресенье они сговорились.... брякнул он вдруг.

— О, без сомнения, вскричал я, навострив уши,— все это стачка и сшито белыми нитками, и так дурно разыграно.

— Я не про то. Знаете ли что все это было нарочно сшито белыми нитками чтобы заметили те.... кому надо. Понимаете это?

— Нет, не понимаю.

— Tant mieux. Passons[7]. Я очень раздражен сегодня.

— Да зачем же вы с ним спорили, Степан Трофимович? проговорил я укоризненно.

[1] [Он смеется.]
[2] [Пройдем мимо]
[3] [именно]
[4] [вызвать шум вокруг своего имени]
[5] [Смеется. Много смеется, слишком смеется.]
[6] [Он всегда смеется.]
[7] [Тем лучше. Пройдем мимо.]

— Je voulais convertir[1]. Конечно смейтесь. Cette pauvre тётя, elle entendra de belles choses![2] О, друг мой, поверите ли что я давеча ощутил себя патриотом! Впрочем я всегда сознавал себя русским.... да настоящий русский и не может быть иначе как мы с вами. Il y a là dédans quelque chose d'aveugle et de louche[3].

— Непременно, ответил я.

— Друг мой, настоящая правда всегда не правдоподобна, знаете ли вы это? Чтобы сделать правду чуть-чуть лишь правдоподобною, нужно непременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и поступали. Может-быть тут есть чего мы не понимаем. Как вы думаете, есть тут чего мы не понимаем в этом победоносном визге? Я бы желал чтобы было. Я бы желал.

Я промолчал. Он тоже очень долго молчал.

— Говорят, французский ум.... залепетал он вдруг точно в жару,— это ложь, это всегда так и было. Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в ряду народов. Ils sont tout simplement des paresseux[4], а не французский ум. О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты! Мы вовсе не к тому стремились; я ничего не понимаю. Я перестал понимать! Да понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли что если у вас гильйотина на первом плане и с таким восторгом то это единственно потому что рубить головы всего легче, а явиться с чем-нибудь дельным всего труднее! Vous êtes des paresseux! Votre drapeau est une guenille, une impuissance[5]. Эти телеги, или как там: „стук телег подвозящих хлеб человечеству" полезнее Сикстинской Мадонны, или как у них там.... une bêtise dans ce genre[6]. Но понимаешь ли, кричу ему, по-

[1] [Я хотел обратить.]
[2] [Эта бедная тётя услышит прекрасные вещи!]
[3] [Есть в этом нечто слепое и двусмысленное.]
[4] [Они просто лентяи]
[5] [Вы лентяи! Ваше знамя — тряпка, „бессилие".]
[6] [глупость в этом роде.]

нимаешь ли ты что человеку кроме счастья так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастие! Il rit[1]. Ты, говорит, здесь бонмо отпускаешь „нежа свои члены (он пакостнее выразился) на бархатном диване“.... И заметьте эта наша привычка на *ты* отца с сыном; хорошо когда оба согласны, ну, а если ругаются?

С минуту опять помолчали.

— Cher, заключил он вдруг быстро приподнявшись,— знаете ли что непременно чем-нибудь кончится?

— Ужь конечно, сказал я.

— Vous ne comprenez pas. Passons[2]. Но.... обыкновенно на свете кончается ничем, но здесь будет конец, непременно, непременно!

Он встал, прошелся по комнате в сильнейшем волнении, и дойдя опять до дивана, бессильно повалился на него.

В пятницу утром Петр Степанович уехал куда-то в уезд и пробыл до понедельника. Об отъезде его я узнал от Липутина, и тут же, как-то к разговору, узнал от него что Лебядкины, братец и сестрица, оба где-то за рекой, в Горшечной слободке. „Я же и перевозил“, прибавил Липутин и, прервав о Лебядкиных, вдруг возвестил мне что Лизавета Николаевна выходит за Маврикия Николаевича, и хоть это и не объявлено, но помолвка была и дело покончено. Назавтра я встретил Лизавету Николаевну верхом в сопровождении Маврикия Николаевича, выехавшую в первый раз после болезни. Она сверкнула на меня издали глазами, засмеялась и очень дружески кивнула головой. Все это я передал Степану Трофимовичу; он обратил некоторое внимание лишь на известие о Лебядкиных.

А теперь, описав наше загадочное положение в продолжении этих восьми дней, когда мы еще ничего не знали, приступлю к описанию последующих событий моей хроники, и уже, так-сказать, с знанием дела, в том виде как все это

[1] [Смеется.]
[2] [Вы не понимаете. Опустим это.]

открылось и объяснилось теперь. Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то-есть с понедельника вечером — потому что в сущности с этого вечера и началась „новая история“.

III.

Было семь часов вечера, Николай Всеволодович сидел один в своем кабинете,— комнате им еще прежде излюбленной, высокой, устланной коврами, уставленной несколько тяжелою, старинного фасона мебелью. Он сидел в углу на диване, одетый как бы для выхода, но, казалось, никуда не собирался. На столе пред ним стояла лампа с абажуром. Бока и углы большой комнаты оставались в тени. Взгляд его был задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен; лицо усталое и несколько похудевшее. Болен он был действительно флюсом; но слух о выбитом зубе был преувеличен. Зуб только шатался, но теперь снова окреп; была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому что больной не хотел принять доктора и во̀-время дать разрезать опухоль, а ждал пока нарыв сам прорвется. Он не только доктора, но и мать едва допускал к себе, и то на минуту, один раз на дню и непременно в сумерки, когда уже становилось темно, а огня еще не подавали. Не принимал он тоже и Петра Степановича, который однакоже по два и по три раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец в понедельник, возвратясь поутру после своей трехдневной отлучки, обегав весь город и отобедав у Юлии Михайловны, Петр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят, Николай Всеволодович принимал. Варвара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета; она давно желала их свиданья, а Петр Степанович дал ей слово забежать к ней от Nicolas и пересказать. Робко постучалась она к Николаю Всеволодовичу, и не получая ответа, осмелилась приотворить дверь вершка на два.

— Nicolas, могу я ввести к тебе Петра Степановича?

тихо и сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы.

— Можно, можно, конечно можно! громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своею рукой и вошел.

Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Пред ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо, над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслышав внезапный окрик Петра Степановича и поскорее накрыл письмо попавшимся под руку преспапье, но не совсем удалось: угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.

— Я нарочно крикнул изо всей силы чтобы вы успели приготовиться, торопливо с удивительною наивностью прошептал Петр Степанович, подбегая к столу, и мигом уставился на преспапье и на угол письма.

— И конечно успели поглядеть как я прятал от вас под преспапье только-что полученное мною письмо, спокойно проговорил Николай Всеволодович, не трогаясь с места.

— Письмо? Бог с вами и с вашим письмом, мне что̀! воскликнул гость,—но.... главное,—зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой, и кивая в ту сторону головой.

— Она никогда не подслушивает, холодно заметил Николай Всеволодович.

— То-есть еслиб и подслушивала! мигом подхватил, весело возвышая голос и усаживаясь в кресло, Петр Степанович.—Я ничего против этого, я только теперь бежал поговорить наедине.... Ну, наконец-то я к вам добился! Прежде всего как здоровье? Вижу что прекрасно, и завтра может-быть вы явитесь — а?

— Может-быть.

— Разрешите их наконец, разрешите меня! неистово зажестикулировал он с шутливым и приятным видом.—Еслиб вы знали что̀ я должен был им наболтать. А впрочем вы знаете. Он засмеялся.

— Всего не знаю. Я слышал только от матери что вы очень.... двигались.

— То-есть я ведь ничего определенного, вскинулся вдруг Петр Степанович, как бы защищаясь от ужасного нападения,— знаете, я пустил в ход жену Шатова, то-есть слухи о ваших связях в Париже, чем и объяснялся конечно тот случай в воскресенье.... вы не сердитесь?

— Убежден что вы очень старались.

— Ну, я только этого и боялся. А впрочем что̀ жь это значит: „очень старались“? Это ведь упрек. Впрочем вы прямо ставите, я всего больше боялся идя сюда что вы не захотите прямо поставить.

— Я ничего и не хочу прямо ставить, проговорил Николай Всеволодович с некоторым раздражением, но тотчас же усмехнулся.

— Я не про то; не про то, не ошибитесь, не про то! замахал руками Петр Степанович, сыпля словами как горохом и тотчас же обрадовавшись раздражительности хозяина.— Я не стану вас раздражать *нашим* делом, особенно в вашем теперешнем положении. Я прибежал только о воскресном случае, и то в самую необходимую меру, потому нельзя же ведь. Я с самыми открытыми объяснениями, в которых нуждаюсь главное я, а не вы,— это для вашего самолюбия, но в то же время это и правда. Я пришел чтобы быть с этих пор всегда откровенным.

— Стало-быть, прежде были неоткровенны?

— И вы это знаете сами. Я хитрил много раз.... вы улыбнулись, очень рад улыбке как предлогу для разъяснения; я ведь нарочно вызвал улыбку хвастливым словом „хитрил“, для того чтобы вы тотчас же и рассердились: как это я смел сказать, что хитрил, а мне чтобы сейчас же объясниться. Видите, видите как я стал теперь откровенен! Ну-с, угодно вам выслушать?

В выражении лица Николая Всеволодовича, презрительно спокойном и даже насмешливом, несмотря на все очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальностию своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей,— выразилось наконец несколько тревожное любопытство.

— Слушайте же, завертелся Петр Степанович пуще прежнего:— Отправляясь сюда, то-есть вообще сюда, в этот город, десять дней назад, я конечно решился взять роль. Самое бы лучшее совсем без роли, свое собственное лицо, не так ли? Ничего нет хитрее как собственное лицо, потому что никто не поверит. Я, признаться, хотел было взять дурачка, потому что дурачок легче чем собственное лицо; но так как дурачок все-таки крайность, а крайность возбуждает любопытство, то я и остановился на собственном лице окончательно. Ну-с, какое же мое собственное лицо? Золотая средина: ни глуп, ни умен, довольно бездарен и с луны соскочил, как говорят здесь благоразумные люди, не так ли?

— Что жь, может-быть и так, чуть-чуть улыбнулся Николай Всеволодович.

— А, вы согласны — очень рад; я знал вперед что это ваши собственные мысли.... Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде чтобы вызвать ваши обратные похвалы: „нет дескать вы не бездарны, нет дескать вы умны“.... А, вы опять улыбаетесь!... Я опять попался. Вы не сказали бы: „вы умны“, ну и положим; я все допускаю. Passons[1], как говорит папаша и, в скобках, не сердитесь на мое многословие. Кстати вот и пример: я всегда говорю много, то-есть много слов, и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот стало-быть у меня и бездарность,—не правда ли? Но так как этот дар бездарности и у меня уже есть натуральный, так почему мне им не воспользоваться искусственно? Я и пользуюсь. Правда, собираясь сюда, я было подумал сначала молчать; но ведь молчать — большой талант, и стало-быть мне неприлично, а вовторых, молчать все-таки ведь опасно; ну я и решил окончательно что лучше всего говорить, но именно по бездарному, то-есть много, много, много, очень торопиться доказывать и

[1] [Пройдем мимо]

под конец всегда спутаться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошел от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, вопервых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоняты — все три выгоды разом! Помилуйте, кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится на того кто скажет что я с тайными замыслами. А я к тому же иногда рассмешу — а это ужь драгоценно. Да они мне теперь все простят уже за то одно что мудрец издававший там прокламации оказался здесь глупее их всех, не так ли? По вашей улыбке вижу что вы одобряете.

Николай Всеволодович вовсе, впрочем, не улыбался, а напротив слушал нахмуренно и несколько нетерпеливо.

— А? Что̀? Вы, кажется, сказали: „все равно“? затрещал Петр Степанович (Николай Всеволодович вовсе ничего не говорил). Конечно, конечно; уверяю вас что я вовсе не для того чтобы вас товариществом компрометтировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы; я к вам прибежал с открытою и веселою душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите; уверяю же вас что сегодня ни о чем щекотливом не заговорю, слово даю наконец, и на все ваши условия заранее согласен!

Николай Всеволодович упорно молчал.

— А? Что̀? Вы что-то сказали? Вижу, вижу, что я опять кажется сморозил; вы не предлагали условий, да и не предложите, верю, верю, ну успокойтесь; я и сам ведь знаю что мне не сто̀ит их предлагать, так ли? Я за вас вперед отвечаю и — ужь конечно от бездарности; бездарность и бездарность.... Вы смеетесь? А? Что̀?

— Ничего, усмехнулся наконец Николай Всеволодович,— я припомнил сейчас что действительно обозвал вас как-то бездарным, но вас тогда не было, значит, вам передали.... Я бы вас просил поскорее к делу.

— Да, я ведь у дела и есть, я именно по поводу воскресенья! залепетал Петр Степанович,— ну чем, чем я был в воскресенье, как по вашему? Именно торопливою срединною бездарностию, и я самым бездарнейшим образом овладел раз-

говором силой. Но мне все простили, потому что я, вопервых, с луны, это кажется здесь теперь у всех решено; а вовторых, потому что милую историйку рассказал и всех вас выручил, так ли, так ли?

— То-есть именно так рассказали чтоб оставить сомнение и выказать нашу стачку и подтасовку, тогда как стачки не было и я вас ровно ни о чем не просил.

— Именно, именно! как бы в восторге подхватил Петр Степанович.— Я именно так и делал чтобы вы всю пружину эту заметили; я ведь для вас главное и ломался, потому что вас ловил и хотел компрометтировать. Я главное хотел узнать в какой степени вы боитесь.

— Любопытно почему вы так теперь откровенны?

— Не сердитесь, не сердитесь, не сверкайте глазами.... Впрочем вы не сверкаете. Вам любопытно почему я так откровенен? Да именно потому что все теперь переменилось, кончено, прошло и песком заросло. Я вдруг переменил об вас свои мысли. Старый путь кончен совсем; теперь я уже никогда не стану вас компрометтировать старым путем, теперь новым путем.

— Переменили тактику?

— Тактики нет. Теперь во всем ваша полная воля, то-есть хотите сказать *да*, а хотите скажете *нет*. Вот моя новая тактика. А о *нашем* деле не заикнусь до тех самых пор пока сами не прикажете. Вы смеетесь? На здоровье; я и сам смеюсь. Но я теперь сериозно, сериозно, сериозно, хотя тот кто так торопится конечно бездарен, не правда ли? Все равно, пусть бездарен, а я сериозно, сериозно.

Он действительно проговорил сериозно, совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством.

— Вы говорите что обо мне мысли переменили? спросил он.

— Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы взяли руки назад, и довольно, довольно, пожалуста без вопросов, больше ничего теперь не скажу.

Он было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от

вопросов; но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресла, несколько успокоившись.

— Кстати, в скобках, затараторил он тотчас же,— здесь одни болтают будто вы его убьете, и пари держат, так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила.... Довольно, довольно об этом, я только чтоб известить. Кстати опять я Лебядкиных в тот же день переправил, вы знаете; получили мою записку с их адресом?

— Получил тогда же.

— Это ужь я не по „бездарности"; это я искренно, от готовности. Если вышло бездарно, то за то было искренно.

— Да, ничего может так и надо.... раздумчиво промолвил Николай Всеволодович;— только записок больше ко мне не пишите, прошу вас.

— Невозможно было, всего одну.

— Так Липутин знает?

— Невозможно было; но Липутин, сами знаете, не смеет.... Кстати надо бы к нашим сходить, то-есть к ним, а не к *нашим*, а то вы опять лыко в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет. Я им дам знать, они соберутся, и мы вечером. Они так и ждут, разиня рты, как галчаты в гнезде, какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ. Книжки вынули, спорить собираются. Виргинский — общечеловек, Липутин — Фурьерист, при большой наклонности к полицейским делам; человек, я вам скажу, дорогой в одном отношении, но требующий во всех других строгости; и наконец, тот с длинными ушами, тот свою собственную систему прочитает. И знаете, они обижены что я к ним небрежно и водой их окачиваю, хе-хе! А сходить надо непременно.

— Вы там каким-нибудь шефом меня представили? как можно небрежнее выпустил Николай Всеволодович. Петр Степанович быстро посмотрел на него.

— Кстати, подхватил он, как бы не расслышав и поскорей заминая,— я ведь по два по три раза являлся к многоуважаемой Варваре Петровне и тоже много принужден был говорить.

— Воображаю.

— Нет, не воображайте, я просто говорил что вы не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она на другой день уже знала что я Марью Тимофеевну за реку переправил; это вы ей сказали?

— Не думал.

— Так и знал что не вы. Кто жь бы мог кроме вас? Интересно.

— Липутин разумеется.

— Н-нет, не Липутин, пробормотал, нахмурясь, Петр Степанович; — это я узнаю кто. Тут похоже на Шатова.... Впрочем вздор, оставим это! Это впрочем ужасно важно.... Кстати, я все ждал что ваша матушка так вдруг и брякнет мне главный вопрос.... Ах, да, все дни сначала она была страшно угрюма, а вдруг сегодня приезжаю — вся так и сияет. Это что̀ же?

— Это она потому что я сегодня ей слово дал через пять дней к Лизавете Николаевне посвататься, проговорил вдруг Николай Всеволодович с неожиданною откровенностию.

— А, ну.... да конечно, пролепетал Петр Степанович, как бы замявшись; — там слухи о помолвке, вы знаете? Верно однако. Но вы правы, она из-под венца прибежит, сто̀ит вам только кликнуть. Вы не сердитесь что я так?

— Нет, не сержусь.

— Я замечаю что вас сегодня ужасно трудно рассердить и начинаю вас бояться. Мне ужасно любопытно как вы завтра явитесь. Вы наверно много штук приготовили. Вы не сердитесь на меня что я так?

Николай Всеволодович совсем не ответил, что̀ совсем уже раздражило Петра Степановича.

— Кстати, это вы серьозно мамаше насчет Лизаветы Николаевны? спросил он.

Николай Всеволодович пристально и холодно посмотрел на него.

— А, понимаю, чтобы только успокоить, ну да.

— А еслибы серьозно? твердо спросил Николай Всеволодович.

— Что̀ жь и с богом, как в этих случаях говорится, делу не повредит (видите, я не сказал нашему делу, вы словцо *наше* не любите) а я.... а я что̀ жь, я к вашим услугам, сами знаете.

— Вы думаете?

— Я ничего, ничего не думаю, заторопился, смеясь, Петр Степанович,— потому что знаю что вы о своих делах сами наперед обдумали и что у вас все придумано. Я только про то что я сериозно к вашим услугам, всегда и везде и во всяком случае, то-есть во всяком, понимаете это.

Николай Всеволодович зевнул.

— Надоел я вам, вскочил вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем все еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора ударяя себя шляпой по коленке.

— Я думал еще повеселить вас Лембками, весело вскричал он.

— Нет ужь, после бы. Как однако здоровье Юлии Михайловны?

— Какой это у вас у всех однако светский прием: вам до ее здоровья все равно что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорова и вас уважает до суеверия, до суеверия многого от вас ожидает. О воскресном случае молчит и уверена что вы все сами победите одним появлением. Ей-богу она воображает что вы ужь бог знает что̀ можете. Впрочем вы теперь загадочное и романическое лицо, пуще чем когда-нибудь — чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал — было горячо, а теперь еще пуще. Кстати, спасибо еще раз за письмо. Они все графа К. боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона? Я поддакиваю, вы не сердитесь?

— Ничего.

— Это ничего; это в дальнейшем необходимо. У них здесь свои порядки. Я конечно поощряю; Юлия Михайловна во

главе, Гаганов тоже.... Вы смеетесь? Да ведь я с тактикой; я вру, вру, а вдруг и умное слово скажу, именно тогда когда они все его ищут. Они окружат меня, а я опять начну врать. На меня уже все махнули; „со способностями, говорят, но с луны соскочил". Лембке меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то-есть компрометтирую, так и лупит глаза. Юлия Михайловна поощряет. Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно. Я ему тотчас же всю правду, то-есть разумеется не всю правду. Я у него целый день в Духове прожил. Славное имение, хороший дом.

— Так он разве и теперь в Духове? вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперед.

— О, нет, нет, меня же и привез сюда давеча утром, мы вместе воротились, проговорил Петр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича.— Что̀ это, я книгу уронил, нагнулся он поднять задетый им кипсек. Женщины Бальзака, с картинками, развернул он вдруг,— не читал. Лембке тоже романы пишет.

— Да? спросил Николай Всеволодович как бы заинтересовавшись.

— На русском языке, потихоньку разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак; впрочем с приемами; у них это выработано. Это чудное явление наша администрация, как вы думаете? Экая строгость форм, экая выдержанность! Вот бы нам что-нибудь в этом роде. Вы одно подумайте: сотни этих Лембков сидят, и все превосходно идет, даже тем лучше чтобы все Лембки сидели; так ведь это ужь до щегольства дошли значит, как вы думаете?

— Вы хвалите администрацию?

— Да еще же бы нет! Единственно что̀ в России есть натурального и достигнутого, во что переварили весь организм. И кто это у них такую штуку золотую выдумал? Завидно. Ведь это есть — опека....

— Не буду, не буду, вскинулся он вдруг,— я не про то,

о деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зеленый.

— Лихорадка у меня.

— Можно поверить, ложитесь-ка. Кстати: здесь скопцы есть в уезде, любопытный народ.... Впрочем потом. А впрочем вот еще анекдотик: тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б—цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez[1]? Об атеизме говорили и ужь разумеется бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: „Если бога нет, то какой же я после того капитан?“ Взял фуражку, развел руки, и вышел.

— Довольно цельную мысль выразил, зевнул в третий раз Николай Всеволодович.

— Да? Я не понял, вас хотел спросить. Ну что бы вам еще: интересная фабрика Шпигулиных; тут, как вы знаете, пятьсот рабочих, рассадник холеры, не чистят пятнадцать лет и фабричных усчитывают; купцы миллионеры. Уверяю вас что между рабочими иные об Internationale[2] имеют понятие. Что, вы улыбнулись? Сами увидите, дайте мне только самый, самый маленький срок! Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу, и тогда.... а впрочем виноват, не буду, не буду, я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что жь я? воротился он вдруг с дороги, совсем забыл, самое главное: мне сейчас говорили что наш ящик из Петербурга пришел.

— То-есть? посмотрел Николай Всеволодович, не понимая.

— То-есть ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и бельем; пришел? Правда?

— Да, мне что-то давеча говорили.

— Ах, так нельзя ли сейчас!...

[1] [понимаете?]
[2] [Интернационале]

— Спросите у Алексея.

— Ну завтра, завтра? Там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трое панталон, от Шармера, по вашей рекомендации, помните?

— Я слышал что вы здесь, говорят, джентльменничаете? усмехнулся Николай Всеволодович.— Правда что вы у берейтера верхом хотите учиться?

Петр Степанович улыбнулся искривленною улыбкой.

— Знаете, заторопился он вдруг чрезмерно, каким-то вздрагивающим и пресекающимся голосом, знаете, Николай Всеволодович, мы оставим насчет личностей, не так ли, раз навсегда? Вы, разумеется, можете меня презирать сколько угодно, если вам так смешно, но все-таки бы лучше без личностей несколько времени, так ли?

— Хорошо, я больше не буду, промолвил Николай Всеволодович. Петр Степанович усмехнулся, стукнул по коленке шляпой, ступил с одной ноги на другую и принял прежний вид.

— Здесь иные считают меня даже вашим соперником у Лизаветы Николаевны, как же мне о наружности не заботиться? засмеялся он.— Это кто же однако вам доносит? Гм. Ровно восемь часов; ну, я в путь; я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую, а вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень, у меня впрочем извощик, потому что на улицах здесь по ночам не спокойно.... Ах как кстати: здесь в городе и около бродит теперь один Федька-каторжный, беглый из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого папаша лет пятнадцать тому в солдаты упек и деньги взял. Очень замечательная личность.

— Вы.... с ним говорили? вскинул глазами Николай Всеволодович.

— Говорил. От меня не прячется. На все готовая личность, на все; за деньги разумеется, но есть и убеждения, в своем роде конечно. Ах да, вот и опять кстати: если вы давеча серьозно о том замысле, помните насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность, во всех родах, каких угодно, и совершенно к вашим

услугам... Что это, вы за палку хватаетесь? Ах нет, вы не за палку.... Представьте, мне показалось что вы палку ищите?

Николай Всеволодович ничего не искал и ничего не говорил, но действительно он привстал как-то вдруг, с каким-то странным движением в лице.

— Если вам тоже понадобится что-нибудь насчет господина Гаганова, брякнул вдруг Петр Степанович, ужь прямехонько кивая на преспапье,— то разумеется я могу все устроить и убежден, что вы меня не обойдете.

Он вдруг вышел, не дожидаясь ответа, но высунул еще раз голову из-за двери:

— Я потому так, прокричал он скороговоркой,— что ведь Шатов, например, тоже не имел права рисковать тогда жизнью в воскресенье, когда к вам подошел, так ли? Я бы желал чтобы вы это заметили.

Он исчез опять, не дожидаясь ответа.

IV.

Может-быть он думал, исчезая, что Николай Всеволодович, оставшись один, начнет колотить кулаками в стену, и ужь конечно бы рад был подсмотреть, еслиб это было возможно. Но он очень бы обманулся: Николай Всеволодович оставался спокоен. Минуты две он простоял у стола в том же положении, повидимому, очень задумавшись; но вскоре вялая, холодная улыбка выдавилась на его губах. Он медленно уселся на диван, на свое прежнее место в углу, и закрыл глаза, как бы от усталости. Уголок письма попрежнему выглядывал из-под преспапье, но он и не пошевелился поправить.

Скоро он забылся совсем. Варвара Петровна, измучившая себя в эти дни заботами, не вытерпела, и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Nicolas, несмотря на неуказанное время. Ей все мерещилось: не скажет ли он наконец чего-нибудь окончательно? Тихо как и давеча постучалась она

в дверь, и опять не получая ответа отворила сама. Увидав что Nicolas сидит что-то слишком ужь неподвижно, она с бьющимся сердцем осторожно приблизилась сама к дивану. Ее как бы поразило что он так скоро заснул и что может так спать, так прямо сидя и так неподвижно; даже дыхания почти нельзя было заметить. Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое; брови немного сдвинуты и нахмурены; решительно он походил на бездушную восковую фигуру. Она простояла над ним минуты три, едва переводя дыхание и вдруг ее обнял страх; она вышла на цыпочках, приостановилась в дверях, наскоро перекрестила его и удалилась незамеченная, с новым тяжелым ощущением и с новою тоской.

Проспал он долго, более часу, и все в таком же оцепенении; ни один мускул лица его не двинулся, ни малейшего движения во всем теле не выказалось; брови были все так же сурово сдвинуты. Еслибы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, то наверно бы не вынесла подавляющего ощущения этой летаргической неподвижности и разбудила его. Но он вдруг сам открыл глаза, и попрежнему не шевелясь, просидел еще минут десять, как бы упорно и любопытно всматриваясь в какой-то поразивший его предмет в углу комнаты, хотя там ничего не было ни нового, ни особенного.

Наконец раздался тихий, густой звук больших стенных часов, пробивших один раз. С некоторым беспокойством повернул он голову взглянуть на циферблат, но почти в ту же минуту отворилась задняя дверь, выходившая в корридор, и показался камердинер Алексей Егорович. Он нес в одной руке теплое пальто, шарф и шляпу, а в другой серебряную тарелочку, на которой лежала записка.

— Половина десятого, возгласил он тихим голосом, и сложив принесенное платье в углу на стуле, поднес на тарелке записку, маленькую бумажку незапечатанную, с двумя строчками карандашом. Пробежав эти строки, Николай Всеволодович тоже взял со стола карандаш, черкнул в конце записки два слова и положил обратно на тарелку.

— Передать тотчас же как я выйду, и одеваться, сказал он, вставая с дивана.

Заметив что на нем легкий, бархатный пиджак, он подумал и велел подать себе другой, суконный сюртук, употреблявшийся для более церемонных вечерних визитов. Наконец одевшись совсем и надев шляпу, он запер дверь, в которую входила к нему Варвара Петровна, и вынув из-под преспапье спрятанное письмо, молча вышел в корридор в сопровождении Алексея Егоровича. Из корридора вышли на узкую каменную заднюю лестницу и спустились в сени, выходившие прямо в сад. В углу в сенях стояли припасенные фонарик и большой зонтик.

— По чрезвычайному дождю грязь по здешним улицам нестерпимая, доложил Алексей Егорович в виде отдаленной попытки в последний раз отклонить барина от путешествия. Но барин, развернув зонтик, молча вышел в темный как погреб, отсырелый и мокрый старый сад. Ветер шумел и качал вершинами полуобнаженных деревьев, узенькие песочные дорожки были топки и скользки. Алексей Егорович шел как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком.

— Не заметно ли будет? спросил вдруг Николай Всеволодович.

— Из окошек заметно не будет, окромя того что заранее все предусмотрено, тихо и размеренно ответил слуга.

— Матушка почивает?

— Заперлись по обыкновению последних дней ровно в девять часов и узнать теперь для них ничего невозможно. В каком часу вас прикажете ожидать? прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос.

— В час, в половине второго, не позже двух.

— Слушаю-с.

Обойдя зигзагами и кривыми дорожками весь сад, который оба знали наизусть, они дошли до каменной садовой ограды и тут в самом углу стены отыскали маленькую дверцу, выводившую в тесный и глухой переулок, почти всегда запер-

тую, но ключ от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича.

— Не заскрипела бы калитка? осведомился опять Николай Всеволодович.

Но Алексей Егорович доложил что вчера еще смазана маслом, „равно и сегодня". Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу.

— Если изволили предпринять путь отдаленный, то докладываю, будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой, не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного.

— Не беспокойся, Алексей Егорыч.

— Благослови вас бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел.

— Как? остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув за калитку.

Алексей Егорович твердо повторил свое желание; никогда прежде он не решился бы его выразить в таких словах вслух пред своим господином.

Николай Всеволодович запер калитку, положил ключ в карман и пошел по проулку, увязая с каждым шагом вершка на три в грязь. Он вышел наконец в длинную и пустынную улицу на мостовую. Город был известен ему как пять пальцев; но Богоявленская улица была все еще далеко. Было более десяти часов, когда он остановился наконец пред запертыми воротами темного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь, с выездом Лебядкиных, стоял совсем пустой, с заколоченными окнами, но в мезонине у Шатова светился огонь. Так как не было колокольчика, то он начал бить в ворота рукой. Отворилось оконце, и Шатов выглянул на улицу; темень была страшная, и разглядеть было мудрено; Шатов разглядывал долго, минуты две.

— Это вы? спросил он вдруг.

— Я, ответил незванный гость.

Шатов захлопнул окно, через минуту сошел вниз и отпер ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошел мимо, прямо во флигель к Кирилову.

V.

Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кирилов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех, и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в заячьей кацавейке. На руках у нее был полуторагодовой ребенок, в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклоченными волосками, только-что из колыбели. Он должно-быть недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладошки и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кирилов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал: „мя, мя!“ Кирилов ловил „мя“ и подавал ему, тот бросал уже сам своими неловкими рученками, а Кирилов бежал опять подымать. Наконец „мя“ закатился под шкаф. „Мя, мя!“ кричал ребенок. Кирилов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать „мя“ рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидав его, припал к старухе и закатился долгим, детским плачем; та тотчас же его вынесла.

— Ставрогин? сказал Кирилов, приподымаясь с полу с мячом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту,— хотите чаю?

Он приподнялся совсем.

— Очень, не откажусь, если теплый, сказал Николай Всеволодович;— я весь промок.

— Теплый, горячий даже, с удовольствием подтвердил Кирилов: — садитесь: вы грязны, ничего; пол я потом мокрою тряпкой.

Николай Всеволодович уселся и с жадностию, почти залпом выпил налитую чашку.

— Еще? спросил Кирилов.

— Благодарю.

Кирилов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил:

— Вы что̀ пришли?

— По делу. Вот прочтите это письмо, от Гаганова; помните, я вам говорил в Петербурге.

Кирилов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании.

— Этого Гаганова, начал объяснять Николай Всеволодович, — как вы знаете, я встретил месяц тому, в Петербурге, в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Не знакомясь со мной и не заговаривая, он нашел-таки возможность быть очень дерзким. Я вам тогда говорил; но вот чего вы не знаете: уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое как это, но однако неприличное в высшей степени и уже тем странное что в нем совсем не объяснено было повода по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же, тоже письмом и совершенно откровенно высказал что вероятно он на меня сердится за происшествие с его отцом, четыре года назад, здесь в клубе, и что я с моей стороны готов принести ему всевозможные извинения, на том основании что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал; но вот теперь я застаю его здесь уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец сегодня приходит это письмо, какого верно никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями: „ваша битая рожа“. Я пришел надеясь что вы не откажетесь в секунданты.

— Вы сказали письма никто не получал, заметил Кирилов:— в бешенстве можно; пишут не раз. Пушкин Гекерну написал. Хорошо, пойду. Говорите как?

Николай Всеволодович объяснил что желает завтра же, и чтобы непременно начать с возобновления извинений и даже с обещания вторичного письма с извинениями, но с тем однако что и Гаганов, с своей стороны, обещал бы не писать более писем. Полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе.

— Слишком много уступок, не согласится, проговорил Кирилов.

— Я прежде всего пришел узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия?

— Я понесу. Ваше дело. Но он не согласится.

— Знаю что не согласится.

— Он драться хочет. Говорите как драться?

— В том и дело что я хотел бы завтра непременно все кончить. Часов в девять утра вы у него. Он выслушает и не согласится, но сведет вас с своим секундантом,— положим, часов около одиннадцати. Вы с тем порешите, и затем в час или в два чтобы быть всем на месте. Пожалуста постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты, и особенно вас прошу устроить так: определить барьер в десять шагов; затем вы ставите нас каждого в десяти шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше, на ходу. Вот и все, я думаю.

— Десять шагов между барьерами близко, заметил Кирилов.

— Ну двенадцать, только не больше, вы понимаете что он хочет драться серьезно. Умеете вы зарядить пистолет?

— Умею. У меня есть пистолеты; я дам слово что вы из них не стреляли. Его секундант тоже слово про свои; две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу?

— Прекрасно.

— Хотите посмотреть пистолеты?

— Пожалуй.

Кирилов присел на корточки пред своим чемоданом в углу, все еще не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов.

— Есть все: порох, пули, патроны. У меня еще револьвер; постойте.

Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером.

— У вас довольно оружия, и очень дорогого.

— Очень. Чрезвычайно.

Бедный, почти нищий, Кирилов, никогда впрочем и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями.

— Вы все еще в тех же мыслях? спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностию.

— В тех же, коротко ответил Кирилов, тотчас же по голосу угадав о чем спрашивают и стал убирать со стола оружие.

— Когда же? еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.

Кирилов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.

— Это не от меня, как знаете; когда скажут, пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностию отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством.

— Я, конечно, понимаю застрелиться, начал опять, несколько нахмурившись Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания;— я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: Если бы сделать злодейство, или главное стыд, то-есть позор, только очень подлый и.... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут

тысячу лет, и вдруг мысль: „один удар в висок и ничего не будет“. Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?

— Вы называете что это новая мысль? проговорил Кирилов подумав.

— Я.... не называю.... когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.

— „Мысль почувствовали“? переговорил Кирилов,— это хорошо. Есть много мыслей которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу.

— Положим, вы жили на луне, перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль,— вы там, положим, сделали все эти смешные пакости.... Вы знаете наверно отсюда что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело до всего того что̀ вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?

— Не знаю, ответил Кирилов,— я на луне не был, прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.

— Чей это давеча ребенок?

— Старухина свекровь приехала; нет, сноха.... все равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячем. Мячь из Гамбурга. Я в Гамбурге купил чтобы бросать и ловить: укрепляет спину. Девочка.

— Вы любите детей?

— Люблю, отозвался Кирилов довольно впрочем равнодушно.

— Стало-быть и жизнь любите?

— Да, люблю и жизнь, а что̀?

— Если решились застрелиться.

— Что̀ же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.

— Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?

— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть

минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно.

— Вы надеетесь дойти до такой минуты?

— Да.

— Это вряд ли в наше время возможно, тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво.— В Апокалипсисе ангел клянется что времени больше не будет.

— Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.

— Куда жь его спрячут?

— Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.

— Старые философские места, одни и те же сначала веков, с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.

— Одни и те же! Одни и те же сначала веков, и никаких других никогда! подхватил Кирилов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.

— Вы, кажется, очень счастливы, Кирилов?

— Да, очень счастлив, ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.

— Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?

— Гм, я теперь не браню. Я еще не знал тогда что был счастлив. Видали вы лист, с дерева лист?

— Видал.

— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.

— Это что̀ же, аллегория?

— Н-нет... зачем? Я не аллегорию, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.

— Все?

— Все. Человек несчастлив потому что не знает что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг открыл.

— А кто с голоду умрет, а кто обидит и обесчестит девочку — это хорошо?

— Хорошо. И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо кто знает что все хорошо. Еслиб они знали что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!

— Когда же вы узнали что вы так счастливы?

— На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что уже была среда, ночью.

— По какому же поводу?

— Не помню, так; ходил по комнате... все равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.

— В эмблему того что время должно остановиться?

Кирилов промолчал.

— Они нехороши, начал он вдруг опять,— потому что не знают что они хороши. Когда узнают то не будут насиловать девочку. Надо им узнать что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

— Вот вы узнали же, стало-быть вы хороши?

— Я хорош.

— С этим я впрочем согласен, нахмуренно пробормотал Ставрогин.

— Кто научит что все хороши, тот мир закончит.

— Кто учил, того распяли.

— Он придет, и имя его человекобог.

— Богочеловек?

— Человекобог, в этом разница.

— Уж не вы ли и лампадку зажигаете?

— Да, это я зажег.

— Уверовали?

— Старуха любит чтобы лампадку.... а ей некогда, пробормотал Кирилов.

— А сами еще не молитесь?

— Я всему молюсь. Видите паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то что ползет.

Глаза его опять засверкали. Говоря, он смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгливо следил за ним, но насмешки в его взгляде не было.

— Бьюсь об заклад что когда я опять приду, то вы ужь и в бога уверуете, проговорил он, вставая и захватывая шляпу.

— Почему? привстал и Кирилов.

— Если бы вы узнали что вы в бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете что вы в бога веруете, то вы и не веруете, усмехнулся Николай Всеволодович.

— Это не то, обдумал Кирилов,— перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните что̀ вы значили в моей жизни, Ставрогин.

— Прощайте, Кирилов.

— Приходите ночью; когда?

— Да ужь вы не забыли ли про завтрашнее?

— Ах, забыл, будьте покойны, не просплю; в девять часов. Я умею просыпаться когда хочу. Я ложусь и говорю: в семь часов, и проснусь в семь часов; в десять часов — и проснусь в десять часов.

— Замечательные у вас свойства, поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович.

— Я пойду отопру ворота.

— Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов.

— А, Шатов. Хорошо, прощайте.

VI.

Крыльцо пустого дома в котором квартировал Шатов было не заперто; но, взобравшись в сени, Ставрогин очутился в совершенном мраке и стал искать рукой лестницу в мезонин.

Вдруг сверху отворилась дверь и показался свет; Шатов сам не вышел, а только свою дверь отворил. Когда Николай Всеволодович стал на пороге его комнаты, то разглядел его в углу у стола, стоящего в ожидании.

— Вы примете меня по делу? спросил он с порога.

— Войдите и садитесь, ответил Шатов,— заприте дверь, постойте, я сам.

Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару.

— Вы меня измучили, проговорил он потупясь, тихим полушепотом,— зачем вы не приходили?

— Вы так уверены были что я приду?

— Да, постойте, я бредил.... может и теперь брежу.... Постойте.

Он привстал и на верхней из своих трех полок с книгами, с краю, захватил какую-то вещь. Это был револьвер.

— В одну ночь я бредил что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямшина купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя.... У меня ни пороху ни пуль; с тех пор, так и лежит на полке. Постойте....

Он привстал и отворил было форточку.

— Не выкидывайте, зачем? остановил Николай Всеволодович,— он денег стоит, а завтра люди начнут говорить что у Шатова под окном валяются револьверы. Положите опять, вот так, садитесь. Скажите, зачем вы точно каетесь предо мной в вашей мысли, что я приду вас убить? Я и теперь не мириться пришел, а говорить о необходимом. Разъясните мне, вопервых, вы меня ударили не за связь мою с вашей женой?

— Вы сами знаете что нет, опять потупился Шатов.

— И не потому что поверили глупой сплетне насчет Дарьи Павловны?

— Нет, нет, конечно нет! Глупость! Сестра мне с самого начала сказала.... с нетерпением и резко проговорил Шатов, чуть-чуть даже топнув ногой.

— Стало-быть и я угадал и вы угадали, спокойным тоном продолжал Ставрогин,— вы правы: Марья Тимофеевна Лебядкина, моя законная, обвенчанная со мною жена, в Петербурге, года четыре с половиной назад. Ведь вы меня за нее ударили?

Шатов, совсем пораженный, слушал и молчал.

— Я угадал и не верил, пробормотал он наконец, странно смотря на Ставрогина.

— И ударили?

Шатов вспыхнул и забормотал почти без связи:

— Я за ваше падение.... за ложь. Я не для того подходил чтобы вас наказать; когда я подходил, я не знал что ударю.... Я за то что вы так много значили в моей жизни.... Я....

— Понимаю, понимаю, берегите слова. Мне жаль что вы в жару; у меня самое необходимое дело.

— Я слишком долго вас ждал, как-то весь чуть не затрясся Шатов и привстал было с места; — говорите ваше дело, я тоже скажу.... потом....

Он сел.

— Это дело не из той категории, начал Николай Всеволодович, приглядываясь к нему с любопытством; — по некоторым обстоятельствам я принужден был сегодня же выбрать такой час и итти к вам предупредить что может-быть вас убьют.

Шатов дико смотрел на него.

— Я знаю что мне могла бы угрожать опасность, проговорил он размеренно,— но вам, вам-то почему это может быть известно?

— Потому что я тоже принадлежу к ним, как и вы, и такой же член их общества как и вы.

— Вы... вы член общества?

— Я по глазам вижу что вы всего от меня ожидали, только не этого, чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович,— но позвольте, стало-быть вы уже знали что на вас покушаются?

— И не думал. И теперь не думаю, несмотря на ваши слова, хотя... хотя кто жь тут с этими дураками может в

чем-нибудь заручиться! вдруг вскричал он в бешенстве, ударив кулаком по столу.— Я их не боюсь! Я с ними разорвал. Этот забегал ко мне четыре раза и говорил что можно... но, посмотрел он на Ставрогина,— что жь собственно вам тут известно?

— Не беспокойтесь, я вас не обманываю, довольно холодно продолжал Ставрогин, с видом человека исполняющего только обязанность.— Вы экзаменуете что мне известно? Мне известно что вы вступили в это общество за границей, два года тому назад, и еще при старой его организации, как раз пред вашею поездкой в Америку и кажется тотчас же после нашего последнего разговора, о котором вы так много написали мне из Америки в вашем письме. Кстати, извините что я не ответил вам тоже письмом, а ограничился....

— Высылкой денег; подождите, остановил Шатов, поспешно выдвинул из стола ящик и вынул из-под бумаг радужный кредитный билет; — вот возьмите, сто рублей, которые вы мне выслали; без вас я бы там погиб. Я долго бы не отдал еслибы не ваша матушка: эти сто рублей подарила она мне девять месяцев назад на бедность, после моей болезни. Но продолжайте пожалуста...

Он задыхался.

— В Америке вы переменили ваши мысли, и возвратясь в Швейцарию, хотели отказаться. Они вам ничего не ответили, но поручили принять здесь, в России, от кого-то какую-то типографию и хранить ее до сдачи лицу которое к вам от них явится. Я не знаю всего в полной точности, но ведь в главном кажется так? Вы же, в надежде или под условием что это будет последним их требованием и что вас после того отпустят совсем, взялись. Все это, так-ли нет-ли, узнал я не от них, а совсем случайно. Но вот чего вы, кажется, до сих пор не знаете: Эти господа вовсе не намерены с вами расстаться.

— Это нелепость! завопил Шатов,— я объявил честно что я расхожусь с ними во всем! Это мое право, право совести и мысли... Я не потерплю! Нет силы которая бы могла....

— Знаете, вы не кричите, очень серьозно остановил его Николай Всеволодович,— этот Верховенский такой человек, что может-быть нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом, в ваших же сенях пожалуй. Даже пьяница Лебядкин чуть-ли не обязан был за вами следить, а вы может-быть за ним, не так-ли? Скажите лучше: согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?

— Он согласился; он сказал что можно и что я имею право....

— Ну, так он вас обманывает. Я знаю что даже Кирилов, который к ним почти вовсе не принадлежит, доставил об вас сведения; а агентов у них много, даже таких которые и не знают что служат обществу. За вами всегда надсматривали. Петр Верховенский между прочим приехал сюда за тем чтобы порешить ваше дело совсем, и имеет на то полномочие, а именно: истребить вас в удобную минуту, как слишком много знающего и могущего донести. Повторяю вам что это наверно; и позвольте прибавить, что они почему-то совершенно убеждены что вы шпион и если еще не донесли, то донесете. Правда это?

Шатов скривил рот, услыхав такой вопрос, высказанный таким обыкновенным тоном.

— Еслиб я и был шпион, то кому доносить? злобно проговорил он, не отвечая прямо.

— Нет, оставьте меня, к чорту меня! вскричал Шатов, вдруг схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности: — Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость! Вы член их общества! Это-ли подвиг Николая Ставрогина! вскричал он чуть не в отчаянии.

Он даже сплеснул руками, точно ничего не могло быть для него горше и безотраднее такого открытия.

— Извините, действительно удивился Николай Всеволодович,— но вы, кажется, смотрите на меня как на какое-то солнце, а на себя как на какую-то букашку сравнительно со мной. Я заметил это даже по вашему письму из Америки.

— Вы... вы знаете... Ах, бросим лучше обо мне совсем, совсем! оборвал вдруг Шатов.— Если можете что-нибудь объяснить о себе, то объясните... На мой вопрос! повторял он в жару.

— С удовольствием. Вы спрашиваете: как мог я затереться в такую трущобу? После моего сообщения я вам даже обязан некоторою откровенностию по этому делу. Видите, в строгом смысле я к этому обществу совсем не принадлежу, не принадлежал и прежде и гораздо более вас имею права их оставить, потому что и не поступал. Напротив, с самого начала заявил что я им не товарищ, а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек. Я отчасти участвовал в переорганизации общества по новому плану и только. Но они теперь одумались и решили про себя что и меня отпустить опасно и, кажется, я тоже приговорен.

— О, у них все смертная казнь и все на предписаниях, на бумагах с печатями, три с половиной человека подписывают. И вы верите что они в состоянии!

— Тут отчасти вы правы, отчасти нет, продолжал с прежним равнодушием, даже вяло Ставрогин.— Сомнения нет что много фантазии, как и всегда в этих случаях: кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то по моему, их всего и есть один Петр Верховенский, и ужь он слишком добр, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем основная идея не глупее других в этом роде. У них связи с Internationale; они сумели завести агентов в России, даже наткнулись на довольно оригинальный прием.... но разумеется только теоретически. Что же касается до их здешних намерений, то ведь движение нашей русской организации такое дело темное и почти всегда такое неожиданное что действительно у нас все можно попробовать. Заметьте что Верховенский человек упорный.

— Этот клоп, невежда, дуралей, не понимающий ничего в России! злобно вскричал Шатов.

— Вы его мало знаете. Это правда что вообще все они мало понимают в России, но ведь разве только немножко меньше чем мы; и притом Верховенский энтузиаст.

— Верховенский энтузиаст?

— О, да. Есть такая точка где он перестает быть шутом и обращается в.... полупомешанного. Попрошу вас припомнить одно собственное выражение ваше: „Знаете ли как может быть силен один человек?“ Пожалуста не смейтесь, он очень в состоянии спустить курок. Они уверены что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.

— Но ведь вы не боитесь?

— Н-нет.... Я не очень боюсь.... Но ваше дело совсем другое. Я вас предупредил, чтобы вы все-таки имели в виду. По моему, тут ужь нечего обижаться что опасность грозит от дураков; дело не в их уме: и не на таких как мы с вами у них подымалась рука. А впрочем, четверть двенадцатого,— посмотрел он на часы и встал со стула;— мне хотелось бы сделать вам один совсем посторонний вопрос.

— Ради бога! воскликнул Шатов, стремительно вскакивая с места.

— То-есть? вопросительно посмотрел Николай Всеволодович.

— Делайте, делайте ваш вопрос, ради бога, в невыразимом волнении повторял Шатов,— но с тем что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю что вы позволите.... я не могу.... делайте ваш вопрос!

Ставрогин подождал немного и начал:

— Я слышал что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну и что она любила вас видеть и слушать. Так ли это?

— Да.... слушала.... смутился несколько Шатов.

— Я имею намерение на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моем с нею.

— Разве это возможно? прошептал чуть не в ужасе Шатов.

— То-есть в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений; свидетели брака здесь. Все это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаруживалось до сих пор, то потому только что двое единственных свидетелей брака, Кирилов и Петр Верховенский,

и наконец сам Лебядкин (которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником) дали тогда слово молчать.

— Я не про то.... Вы говорите так спокойно.... но продолжайте! Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет?

— Нет, меня никто не принуждал силой, улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова.

— А что̀ она там про ребенка своего толкует? торопился в горячке и без связи Шатов.

— Про ребенка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу. У ней не было ребенка и быть не могло: Марья Тимофеевна девица.

— А! Так я и думал! Слушайте!

— Что̀ с вами, Шатов?

Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина.

— Знаете ли, знаете ли вы, по крайней мере, прокричал он,— для чего вы все это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь?

— Ваш вопрос умен и язвителен, но я вас тоже намерен удивить: да, я почти знаю для чего я тогда женился и для чего решаюсь на такую „кару“ теперь, как вы выразились.

— Оставим это.... об этом после, подождите говорить; будем о главном, о главном: я вас ждал два года.

— Да?

— Я вас слишком давно ждал, я беспрерывно думал о вас. Вы единый человек который бы мог.... Я еще из Америки вам писал об этом.

— Я очень помню ваше длинное письмо.

— Длинное чтобы быть прочитанным? Согласен; шесть почтовых листов. Молчите, молчите! Скажите: можете вы уделить мне еще десять минут, но теперь же, сейчас же.... Я слишком долго вас ждал!

— Извольте, уделю полчаса, но только не более, если это для вас возможно.

— И с тем, однако, подхватил яростно Шатов, чтобы вы

переменили ваш тон. Слышите, я требую, тогда как должен молить.... Понимаете ли вы что̀ значит требовать тогда как должно молить?

— Понимаю что таким образом вы возноситесь над всем обыкновенным, для более высших целей, чуть-чуть усмехнулся Николай Всеволодович; — я с прискорбием тоже вижу что вы в лихорадке.

— Я уважения прошу к себе, требую! кричал Шатов, — не к моей личности, — к чорту ее, а к другому, на это только время, для нескольких слов.... Мы два существа и сошлись в беспредельности.... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим. Я не для себя, а для вас. Понимаете ли что вы должны простить мне этот удар по лицу уже по тому одному что я дал вам случай познать вашу беспредельную силу.... Опять вы улыбаетесь вашею брезгливою светскою улыбкой. О, когда вы поймете меня! Прочь барича! Поймите же что я этого требую, требую, иначе не хочу говорить, не стану ни за что̀!

Исступление его доходило до бреду; Николай Всеволодович нахмурился и как бы стал осторожнее.

— Если я ужь остался на полчаса, внушительно и серьозно промолвил он, тогда как мне время таки дорого, то поверьте что намерен слушать вас по крайней мере с интересом и.... и убежден что услышу от вас много нового.

Он сел на стул.

— Садитесь! крикнул Шатов и как-то вдруг сел и сам.

— Позвольте, однако, напомнить, спохватился еще раз Ставрогин, что я начал было целую к вам просьбу насчет Марьи Тимофеевны, для нее по крайней мере очень важную....

— Ну? нахмурился вдруг Шатов, с видом человека которого вдруг перебили на самом важном месте и который, хоть и глядит на вас, но не успел еще понять вашего вопроса.

— И вы мне не дали докончить, договорил с улыбкой Николай Всеволодович.

— Э, ну, вздор, потом! брезгливо отмахнулся рукой Шатов, осмыслив наконец претензию, и прямо перешел к своей главной теме.

VII.

— Знаете ли вы, начал он почти грозно, принагнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх пред собою (очевидно не примечая ничего этого сам),— знаете ли вы кто теперь на всей земле единственный народ „богоносец“, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи жизни и нового слова.... Знаете ли вы кто этот народ и как ему имя?

— По вашему приему я необходимо должен заключить и, кажется, как можно скорее, что это народ Русский....

— И вы уже смеетесь, о, племя! рванулся было Шатов.

— Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.

— Ждали в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова?

— Очень знакомы; я слишком предвижу к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ „богоносец“ есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего слишком два года назад, за границей, незадолго пред вашим отъездом в Америку.... По крайней мере сколько я могу теперь припомнить.

— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. „Нашего“ разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был ученик, воскресший из мертвых. Я тот ученик, а вы учитель.

— Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество и только потом уехали в Америку.

— Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того к чему прирос с детства, на что̀ пошли все восторги моих

надежд и все слезы моей ненависти.... Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить и уцепился в последний раз за этот помойный клоак.... Но семя осталось и возросло. Серьозно, скажите серьозно, не дочитали письма моего из Америки? Может-быть не читали вовсе?

— Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю и кроме того бегло переглядел средину. Впрочем я все собирался....

— Э, все равно, бросьте, к чорту! махнул рукой Шатов.— Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как могли вы их тогда выговорить?... Вот что̀ давит меня теперь.

— Не шутил же я с вами и тогда; убеждая вас, я может еще больше хлопотал о себе чем о вас, загадочно произнес Ставрогин.

— Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним.... несчастным и узнал от него что в то же самое время когда вы насаждали в моем сердце бога и родину, в то же самое время, даже может-быть в те же самые дни, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кирилова, ядом.... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до исступления.... Подите, взгляните на него теперь, это ваше создание.... Впрочем вы видели.

— Вопервых, замечу вам что сам Кирилов сейчас только сказал мне что он счастлив и что он прекрасен. Ваше предположение о том что все это произошло в одно и то же время почти верно; ну, и что̀ же из всего этого? Повторяю, я вас, ни того, ни другого, не обманывал.

— Вы атеист? Теперь атеист?

— Да.

— А тогда?

— Точно так же как и тогда.

— Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом, вы бы могли понять это, в негодовании пробормотал Шатов.

— Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора,

не ушел от вас, а сижу до сих пор и смирно отвечаю на ваши вопросы и.... крики, стало-быть не нарушил еще к вам уважения.

Шатов прервал, махнув рукой:

— Вы помните выражение ваше: „атеист не может быть Русским“, „атеист тотчас же перестает быть Русским“, помните это?

— Да? как бы переспросил Николай Всеволодович.

— Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, вы сказали тогда же: „не православный не может быть Русским“.

— Я полагаю что это славянофильская мысль.

— Нет; нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали что Рим провозгласил Христа поддавшегося на третье дьяволово искушение, и что, возвестив всему свету что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню ваши разговоры.

— Еслиб я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий, очень сериозно произнес Николай Всеволодович.— Но уверяю вас что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать?

— Еслибы веровали? вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу.— Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?

— Но позвольте же и мне наконец спросить, возвысил

голос Ставрогин,— к чему ведет весь этот нетерпеливый и.... злобный экзамен?

— Этот экзамен пройдет на веки и никогда больше не напомнится вам.

— Вы все настаиваете что мы вне пространства и времени....

— Молчите! вдруг крикнул Шатов,— я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль.... О, только десять строк, одно заключение.

— Повторите, если только одно заключение....

Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.

Шатов принагнулся опять на стуле и, на мгновение, даже опять было поднял палец.

— Ни один народ, начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно и неприветливо смотреть на Ставрогина,— ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, „реки воды живой“, иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отожествляют они же. „Искание бога“, как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание

бога, бога своего, непременно собственного. и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с самого начала его и до конца. Никогда еще не было чтоб у всех или у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то-есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот имеющий своих жрецов и рабов, деспот пред которым все преклонилось с любовью и с суеверием до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Все это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало-быть особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова.

— Не думаю чтобы не изменили, осторожно заметил Ставрогин; — вы пламенно приняли и пламенно переиначили не замечая того. Ужь одно то что вы бога низводите до простого аттрибута народности....

Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.

— Низвожу бога до аттрибута народности? вскричал Шатов,— напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того чтобы дождаться бога истинного и оставили миру бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то-есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покаместь социализмом, то единственно потому лишь что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ не верует что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же перестает быть великим народом и тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало-быть только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ „богоносец“ — это Русский народ и.... и.... и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, неистово возопил он вдруг,— который ужь и различить не умеет что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских мельницах, или совершенно новое слово, по-

следнее слово, единственное слово обновления и воскресения и.... и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука! Я знаю что в России убьют Илию и Эноха.... Я знаю и верую.... О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!

Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.

— Напротив, Шатов, напротив,— необыкновенно сериозно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места,— напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз что я очень желал бы подтвердить все что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но....

— Но вам надо зайца?

— Что-о?

— Ваше же подлое выражение, злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять;— „чтобы сделать соус из зайца надо зайца, чтобы уверовать в бога надо бога“, это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.

— Нет, тот именно хвалился что ужь поймал его. Кстати, позвольте однакоже и вас обеспокоить вопросом, тем более что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?

— Не смейте меня спрашивать такими словами, спрашивайте другими, другими! весь вдруг задрожал Шатов.

— Извольте, другими, сурово посмотрел на него Николай Всеволодович;— я хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет?

— Я верую в Россию, я верую в ее православие.... Я верую в новое тело Христово.... Я верую что новое пришествие

совершится в России.... что в ней убьют Илию и Эноха.... Я верую.... залепетал в исступлении Шатов.

— А в бога? В бога?

— Я.... я буду веровать в бога.

Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом, смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом.

— Я ведь не сказал же вам что я не верую вовсе! вскричал он наконец; я только лишь знать даю что я несчастная, скучная книга и более ничего покаместь, покаместь.... Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне.... Я человек без таланта и могу только отдать свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал.... Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!...

Он не договорил и как бы в отчаянии облокотившись на стол, подпер обеими руками голову.

— Я вам только кстати замечу, как странность, перебил вдруг Ставрогин:— почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден что я мог бы „поднять у них знамя", по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина „по необыкновенной способности к преступлению",—тоже его слова.

— Как? спросил Шатов, „по необыкновенной способности к преступлению"?

— Именно.

— Гм. А правда ли что вы, злобно ухмыльнулся он,— правда ли что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, вскричал он совсем выходя из себя,— Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу! Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!

— Я эти слова говорил, но детей не я обижал, произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел и глаза его вспыхнули.

— Но вы говорили! властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз.— Правда ли, будто вы уверяли что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?

— Так отвечать невозможно.... я не хочу отвечать,—пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.

— Я тоже не знаю почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю почему ощущение этого различия стирается и теряется у таких господ как Ставрогины, не отставал весь дрожавший Шатов,— знаете ли почему вы тогда женились, так позорно и подло? Именно потому что тут позор и бессмыслица доходили до гениальности! О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. Тут был нервный надрыв.... Вызов здравому смыслу был ужь слишком тут прельстителен! Ставрогин и плюгавая, скудоумная, нищая хромоножка! Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный, шатающийся барченок, чувствовали?

— Вы психолог, бледнел все больше и больше Ставрогин,— хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись.... Кто бы впрочем мог вам доставить все эти сведения, усмехнулся он через силу,— неужто Кирилов? Но он не участвовал....

— Вы бледнеете?

— Чего однакоже вы хотите? возвысил наконец голос Николай Всеволодович,— я полчаса просидел под вашим кнутом, и по крайней мере, вы бы могли отпустить меня вежливо... если в самом деле не имеете никакой разумной цели поступать со мной таким образом.

— Разумной цели?

— Без сомнения. В вашей обязанности, по крайней мере, было объявить мне, наконец, вашу цель. Я все ждал что вы это сделаете, но нашел одну только обыкновенную злость. Прошу вас, отворите мне ворота.

Он встал со стула. Шатов неистово вскочил вслед за ним.

— Целуйте землю, облейте слезами, просите прощения! вскричал он, схватывая его за плечо.

— Я однако вас не убил.... в то утро.... я взял обе руки назад.... почти с болью проговорил Ставрогин, потупив глаза.

— Договаривайте, договаривайте! вы пришли предупредить меня об опасности, вы допустили меня говорить, вы завтра хотите объявить о вашем браке публично!... Разве я не вижу по лицу вашему что вас борет какая-то грозная новая мысль.... Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог бы я так говорить с другим? Я целомудрие имею, но я не побоялся моего нагиша, потому что со Ставрогиным говорил. Я не боялся окарикатурить великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня.... Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдете? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!

— Мне жаль что я не могу вас любить, Шатов, холодно проговорил Николай Всеволодович.

— Знаю что не можете и знаю что не лжете. Слушайте, я все поправить могу: я достану вам зайца!

Ставрогин молчал.

— Вы атеист, потому что вы барич, последний барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать.... Идет новое поколение, прямо из сердца народного, и не узнаете его вовсе, ни вы, ни Верховенские, сын и отец, ни я, потому что я тоже барич, я, сын вашего крепостного лакея Пашки.... Слушайте, добудьте бога трудом; вся суть в этом, или исчезнете как подлая плесень; трудом добудьте.

— Бога трудом? Каким трудом?

— Мужицким. Идите, бросьте ваши богатства.... А! вы смеетесь, вы боитесь что выйдет кунштик?

Но Ставрогин не смеялся.

— Вы полагаете что бога можно добыть трудом и именно мужицким? переговорил он подумав, как будто действительно встретил что-то новое и серьозное что̀ стоило обдумать. Кстати, перешел он вдруг к новой мысли,— вы мне сейчас напомнили: знаете ли что я вовсе не богат, так что нечего и бросать? Я почти не в состоянии обеспечить даже будущность Марьи Тимофеевны.... Вот что̀ еще: я пришел было вас просить, если можно вам, не оставить и впредь Марью Тимофеевну, так как вы одни могли бы иметь некоторое влияние на ее бедный ум.... Я на всякий случай говорю.

— Хорошо, хорошо, вы про Марью Тимофеевну, замахал рукой Шатов, держа в другой свечу,— хорошо, потом само собой.... Слушайте, сходите к Тихону.

— К кому?

— К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет на покое, здесь в городе, в черте города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.

— Это что̀ же такое?

— Ничего. К нему ездят и ходят. Сходите; чего вам? Ну чего вам?

— В первый раз слышу и.... никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу.

— Сюда, светил Шатов по лестнице,— ступайте, распахнул он калитку на улицу.

— Я к вам больше не приду, Шатов, тихо проговорил Ставрогин, тихо шагая чрез калитку.

Темень и дождь продолжались попрежнему.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Ночь (продолжение).

I.

Он прошел всю Богоявленскую улицу; наконец пошло под гору, ноги ехали в грязи, и вдруг открылось широкое, туманное, как бы пустое пространство — река. Дома обратились в лачужки, улица пропала во множестве беспорядочных закоулков. Николай Всеволодович долго пробирался около заборов и лачужек, не отдаляясь от берега, но твердо находя свою дорогу и даже вряд ли много о ней думая. Он занят был совсем другим и с удивлением осмотрелся, когда вдруг, очнувшись от глубокого раздумья, увидал себя чуть не на средине нашего длинного, мокрого, плашкотного моста. Ни души кругом, так что странно показалось ему, когда внезапно, почти под самым локтем у него, раздался вежливо фамильярный, довольно впрочем приятный голос, с тем услащенно-скандированным акцентом которым щеголяют у нас слишком цивилизованные мещане или молодые кудрявые прикащики из Гостиного ряда.

— Не позволите ли, милостивый господин, зонтиком вашим заодно позаимствоваться?

В самом деле какая-то фигура пролезла, или хотела показать только вид что пролезла под его зонтик. Бродяга шел с ним рядом, почти „чувствуя его локтем“,— как выражаются солдатики. Убавив шагу, Николай Всеволодович принагнулся

рассмотреть, насколько это возможно было в темноте: человек росту невысокого и в роде как бы загулявшего мещанинишки; одет не тепло и неприглядно; на лохматой курчавой голове торчал суконный мокрый картуз, с полуоторванным козырьком. Казалось это был сильный брюнет, сухощавый и смуглый; глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом как у цыган; это и в темноте угадывалось. Лет должно-быть сорока и не пьян.

— Ты меня знаешь? спросил Николай Всеволодович.

— Господин Ставрогин, Николай Всеволодович; мне вас на станции, едва лишь машина остановилась, в запрошлое воскресенье показывали. Окромя того что прежде были наслышаны.

— От Петра Степановича? Ты.... ты Федька Каторжный?

— Крестили Федором Федоровичем; доселе природную родительницу нашу имеем в здешних краях-с, старушку божию, к земле ростет, за нас ежедневно день и нощь бога молит, чтобы таким образом маневр своего старушечьего времени даром на печи не терять.

— Ты беглый с каторги?

— Переменил участь. Сдал книги и колокола и церковные дела, потому я был решен вдоль по каторге-с, так оченно долго ужь сроку приходилось дожидаться.

— Что здесь делаешь?

— Да вот день да ночь — сутки прочь. Дяденька тоже наш на прошлой неделе в остроге здешнем по фальшивым деньгам скончались, так я по нем поминки справлял, два десятка каменей собакам раскидал, — вот только и дела нашего было пока. Окромя того Петр Степанович паспортом по всей Расее, чтобы примерно купеческим, облагонадеживают, так тоже вот ожидаю их милости. Потому, говорят, папаша тебя в клубе аглицком в карты тогда проиграл; так я, говорят, несправедливым сие бесчеловечие нахожу. Вы бы мне, сударь, согреться, на чаек, три целковых соблаговолили?

— Значит ты меня здесь стерег; я этого не люблю. По чьему приказанию?

— Чтобы по приказанию, то этого не было-с ничьего, а я единственно человеколюбие ваше знавши, всему свету известное. Наши доходишки, сами знаете, либо сена клок, либо вилы в бок. Я вон в пятницу натрескался пирога как Мартын мыла, да с тех пор день не ел, другой погодил, а на третий опять не ел. Воды в реке сколько хошь, в брюхе карасей развел.... Так вот не будет ли вашей милости от щедрот; а у меня тут как раз неподалеку кума поджидает, только к ней без рублей не являйся.

— Тебе что же Петр Степаныч от меня обещал?

— Они не то чтобы пообещали-с, а говорили на словах-с, что могу пожалуй вашей милости пригодиться, если полоса такая примерно выйдет, но в чем собственно, того не объяснили чтобы в точности, потому Петр Степанович меня, примером, в терпении казацком испытывают и доверенности ко мне никакой не питают.

— Почему же?

— Петр Степаныч — астролом и все божии планиды узнал, а и он критике подвержен. Я пред вами, сударь, как пред истинным, потому об вас многим наслышаны. Петр Степанович — одно, а вы, сударь, пожалуй что и другое. У того коли сказано про человека: подлец, так ужь кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так ужь кроме дурака у него тому человеку и звания нет. А я может по вторникам да по средам только дурак, а в четверг и умнее его. Вот он знает теперь про меня что я очинно паспортом скучаю, — потому в Расее никак нельзя без документа, — так ужь и думает что он мою душу заполонил. Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очинно легко жить на свете, потому он человека сам сочинит, да с ним и живет. Окромя того больно скуп. Они в том мнении что я помимо их не посмею вас беспокоить, а я пред вами, сударь, как пред истинным, — вот уже четвертую ночь вашей милости на сем мосту поджидаю, в том предмете что и кроме них могу тихими стопами свой собственный путь найти. Лучше, думаю, я ужь сапогу поклонюсь, а не лаптю.

— А кто тебе сказал что я ночью по мосту пойду?

— А ужь это, признаться, стороной вышло, больше по глупости капитана Лебядкина, потому они никак чтоб удержать в себе не умеют.... Так три-то целковых с вашей милости, примером, за три дня и три ночи, за скуку придутся. А что одежи промокло, так мы ужь из обиды одной молчим.

— Мне налево, тебе направо; мост кончен. Слушай, Федор, я люблю чтобы мое слово понимали раз навсегда: не дам тебе ни копейки, вперед мне ни на мосту, и нигде не встречайся, нужды в тебе не имею и не буду иметь, а если ты не послушаешься — свяжу и в полицию. Марш!

— Эхма, за компанию по крайности набросьте, веселее было идти-с.

— Пошел!

— Да вы дорогу-то здешнюю знаете ли-с? Ведь тут такие проулки пойдут.... я бы мог руководствовать, потому здешний город — это все равно что чорт в корзине нес, да растрес.

— Эй, свяжу! грозно обернулся Николай Всеволодович.

— Рассудите может-быть, сударь; сироту долго ли изобидеть.

— Нет, ты видно уверен в себе!

— Я, сударь, в вас уверен, а не то чтоб очинно в себе.

— Не нужен ты мне совсем, я сказал!

— Да вы-то мне нужны, сударь, вот что-с. Подожду вас на обратном пути, так ужь и быть.

— Честное слово даю: коли встречу — свяжу.

— Так я ужь и кушачек приготовлю-с. Счастливого пути, сударь, все под зонтиком сироту обогрели, на одном этом по гроб жизни благодарны будем.

Он отстал. Николай Всеволодович дошел до места озабоченный. Этот с неба упавший человек совершенно был убежден в своей для него необходимости и слишком нагло спешил заявить об этом. Вообще с ним не церемонились. Но могло быть и то что бродяга не все лгал и напрашивался на службу в самом деле только от себя, и именно потихоньку от Петра Степановича; а ужь это было всего любопытнее.

II.

Дом до которого дошел Николай Всеволодович стоял в пустынном закоулке между заборами, за которыми тянулись огороды, буквально на самом краю города. Это был совсем уединенный небольшой деревянный домик, только что отстроенный и еще не обшитый тесом. В одном из окошек ставни были нарочно не заперты, и на подоконнике стояла свеча — видимо с целью служить маяком ожидаемому на сегодня позднему гостю. Шагов еще за тридцать Николай Всеволодович отличил стоявшую на крылечке фигуру высокого ростом человека, вероятно хозяина помещения, вышедшего в нетерпении посмотреть на дорогу. Послышался и голос его, нетерпеливый и как бы робкий:

— Это вы-с? Вы-с?

— Я, отозвался Николай Всеволодович не раньше как совсем дойдя до крыльца и свертывая зонтик.

— Наконец-то-с! затоптался и засуетился капитан Лебядкин,—это был он,—пожалуйте зонтичек; очень мокро-с; я его разверну здесь на полу в уголку, милости просим, милости просим.

Дверь из сеней в освещенную двумя свечами комнату была отворена настежь.

— Еслибы только не ваше слово о несомненном прибытии, то перестал бы верить.

— Три четверти первого, посмотрел на часы Николай Всеволодович, вступая в комнату.

— И при этом дождь и такое интересное расстояние.... Часов у меня нет, а из окна одни огороды, так что.... отстаешь от событий.... но собственно не в ропот, потому и не смею, не смею, а единственно лишь от нетерпения, снедаемого всю неделю, чтобы наконец.... разрешиться.

— Как?

— Судьбу свою услыхать, Николай Всеволодович. Милости просим.

Он склонился, указывая на место у столика пред диваном,

Николай Всеволодович осмотрелся; комната была крошечная, низенькая; мебель самая необходимая, стулья и диван деревянные, тоже совсем новой поделки, без обивки и без подушек, два липовые столика, один у дивана, а другой в углу, накрытый скатертью, чем-то весь заставленный и прикрытый сверху чистейшею салфеткой. Да и вся комната содержалась, повидимому, в большой чистоте. Капитан Лебядкин дней уже восемь не был пьян; лицо его как-то отекло и пожелтело, взгляд был беспокойный, любопытный и очевидно недоумевающий: слишком заметно было что он еще сам не знает каким тоном ему можно заговорить и в какой всего выгоднее было бы прямо попасть.

— Вот-с, указал он кругом,—живу Зосимой. Трезвость, уединение и нищета — обет древних рыцарей.

— Вы полагаете что древние рыцари давали такие обеты?

— Может-быть сбился? Увы, мне нет развития! Все погубил! Верите ли, Николай Всеволодович, здесь впервые очнулся от постыдных пристрастий — ни рюмки, ни капли! Имею угол и шесть дней ощущаю благоденствие совести. Даже стены пахнут смолой, напоминая природу. А что я был, чем я был?

„Ночью дую без ночлега,
Днем же высунув язык,“

по гениальному выражению поэта! Но.... вы так обмокли.... не угодно ли будет чаю?

— Не беспокойтесь.

— Самовар кипел с восьмого часу, но.... потух.... как и все в мире. И солнце, говорят, потухнет в свою очередь.... Впрочем, если надо, я сочиню. Агафья не спит.

— Скажите, Марья Тимофеевна....

— Здесь, здесь, тотчас же подхватил Лебядкин шепотом,— угодно будет взглянуть? указал он на припертую дверь в другую комнату.

— Не спит?

— О, нет, нет, возможно ли? Напротив, еще с самого вечера ожидает, и как только узнала давеча, тотчас же сделала

туалет, скривил было он рот в шутливую улыбочку, но мигом осекся.

— Как она вообще? нахмурясь спросил Николай Всеволодович.

— Вообще? Сами изволите знать (он сожалительно вскинул плечами), а теперь.... теперь сидит в карты гадает....

— Хорошо, потом; сначала надо кончить с вами.

Николай Всеволодович уселся на стул.

Капитан не посмел уже сесть на диване, а тотчас же придвинул себе другой стул, и в трепещущем ожидании принагнулся слушать.

— Это что жь у вас там в углу под скатертью? вдруг обратил внимание Николай Всеволодович.

— Это-с? повернулся тоже и Лебядкин,—это от ваших же щедрот, в виде, так-сказать, новоселья, взяв тоже во внимание дальнейший путь и естественную усталость, умилительно подхихикнул он, затем встал с места и на цыпочках, почтительно и осторожно снял со столика в углу скатерть. Под нею оказалась приготовленная закуска, ветчина, телятина, сардины, сыр, маленький зеленоватый графинчик и длинная бутылка бордо: все было улажено чисто, с знанием дела и почти щегольски.

— Это вы хлопотали?

— Я-с. Еще со вчерашнего дня и все что мог чтобы сделать честь.... Марья же Тимофеевна на этот счет, сами знаете, равнодушна. А главное, от ваших щедрот, ваше собственное, так как вы здесь хозяин, а не я, а я, так-сказать, в виде только вашего прикащика, ибо все-таки, все-таки, Николай Всеволодович, все-таки духом я независим! Не отнимете же вы это последнее достояние мое! докончил он умилительно.

— Гм!... вы бы сели опять.

— Блага-а-дарен, благодарен и независим! (Он сел.) Ах, Николай Всеволодович, в этом сердце накипело столько что я не знал как вас и дождаться! Вот вы теперь разрешите судьбу мою и.... той несчастной, а там.... там, как бывало прежде, встарину, изолью пред вами все, как четыре года назад!

Удостоивали же вы меня тогда слушать, читали строфы.... Пусть меня тогда называли вашим Фальстафом из Шекспира, но вы значили столько в судьбе моей!... Я же имею теперь великие страхи, и от вас одного только и жду и совета и света. Петр Степанович ужасно поступает со мной!

Николай Всеволодович любопытно слушал и пристально вглядывался. Очевидно капитан Лебядкин хоть и перестал пьянствовать, но все-таки находился далеко не в гармоническом состоянии. В подобных многолетних пьяницах утверждается под конец навсегда нечто нескладное, чадное, что-то как бы поврежденное и безумное, хотя впрочем они надувают, хитрят и плутуют почти не хуже других, если надо.

— Я вижу что вы вовсе не переменились, капитан, в эти слишком четыре года, проговорил как бы несколько ласковее Николай Всеволодович.— Видно правда что вся вторая половина человеческой жизни составляется обыкновенно из одних только накопленных в первую половину привычек.

— Высокие слова! Вы разрешаете загадку жизни! вскричал капитан, на половину плутуя, а на половину действительно в неподдельном восторге, потому что он был большой любитель словечек.— Из всех ваших слов, Николай Всеволодович, я запомнил одно попреимуществу, вы еще в Петербурге его высказали: „Нужно быть действительно великим человеком чтобы суметь устоять даже против здравого смысла“. Вот-с!

— Ну, равно и дураком.

— Так-с, пусть и дураком, но вы всю жизнь вашу сыпали остроумие, а они? Пусть Липутин, пусть Петр Степанович хоть что-нибудь подобное изрекут! О, как жестоко поступал со мной Петр Степанович!...

— Но ведь и вы, однакоже, капитан, как сами-то вы вели себя?

— Пьяный вид и к тому же бездна врагов моих! Но теперь все, все проехало, и я обновляюсь как змей. Николай Всеволодович, знаете ли что я пишу мое завещание и что я уже написал его?

— Любопытно. Что̀ же вы оставляете и кому?

— Отечеству, человечеству и студентам. Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном Американце. Он оставил все свое огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а свою кожу на барабан, с тем чтобы денно и нощно выбивать на нем американский национальный гимн. Увы, мы пигмеи сравнительно с полетом мысли Северо-Американских Штатов; Россия есть игра природы, но не ума. Попробуй я завещать мою кожу на барабан, примерно в Акмолинский пехотный полк, в котором имел честь начать службу, с тем чтобы каждый день выбивать на нем пред полком русский национальный гимн, сочтут за либерализм, запретят мою кожу.... и потому ограничился одними студентами. Хочу завещать мой скелет в академию, но с тем, с тем чтобы на лбу его был наклеен на веки веков ярлык со словами: „раскаявшийся вольнодумец". Вот-с!

Капитан говорил горячо и уже разумеется верил в красоту американского завещания, но он был и плут, и ему очень хотелось тоже рассмешить Николая Всеволодовича, у которого он прежде долгое время состоял в качестве шута. Но тот и не усмехнулся, а напротив как-то подозрительно спросил:

— Вы стало-быть намерены опубликовать ваше завещание при жизни и получить за него награду.

— А хоть бы и так, Николай Всеволодович, хоть бы и так? осторожно вглядeлся Лебядкин.— Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать, а когда-то и вы забавлялись моими стишками, Николай Всеволодович, помните, за бутылкой? Но конец перу. Написал только одно последнее стихотворение, как Гоголь *Последнюю Повесть*, помните, еще он возвещал России что она „выпелась" из груди его. Так и я, пропел и баста.

— Какое же стихотворение?

— „В случае еслиб она сломала ногу"!

— Что-о?

Того только и ждал капитан.. Стихотворения свои он уважал и ценил безмерно, но тоже, по некоторой плутовской двой-

ственности души, ему нравилось и то что Николай Всеволодович всегда бывало веселился его стишками и хохотал над ними иногда схватясь за бока. Таким образом достигались две цели — и поэтическая и служебная; но теперь была и третья, особенная и весьма щекотливая цель: капитан, выдвигая на сцену стихи, думал оправдать себя в одном пункте, которого почему-то всего более для себя опасался и в котором всего более ощущал себя провинившимся.

— „В случае еслиб она сломала ногу“, то-есть вслучае верховой езды. Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта: однажды был поражен, проходя, при встрече с наездницей и задал материальный вопрос: „что бы тогда было? то-есть в случае. Дело ясное: все искатели на попятный, все женихи прочь, морген фри, нос утри, один поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вошь и та могла бы быть влюблена и той не запрещено законами. И однакоже особа была обижена и письмом, и стихами. Даже вы, говорят, рассердились, так ли-с: это скорбно; не хотел даже верить. Ну, кому бы я мог повредить одним воображением? К тому же честью клянусь, тут Липутин: „пошли да пошли, всякий человек достоин права переписки“, я и послал.

— Вы, кажется, предлагали себя в женихи?

— Враги, враги и враги!

— Скажите стихи, сурово перебил Николай Всеволодович.

— Бред, бред прежде всего.

Однакоже он выпрямился, протянул руку и начал:

Краса красот сломала член.
И интересней вдвое стала,
И вдвое сделался влюблен
Влюбленный ужъ не мало.

— Ну, довольно, махнул рукой Николай Всеволодович.

— Мечтаю о Питере, перескочил поскорее Лебядкин, как будто и не было никогда стихов,— мечтаю о возрождении.... Благодетель! Могу ли расчитывать что не откажете в средствах к поездке? Я как солнца ожидал вас всю неделю.

— Ну, нет, уж извините, у меня совсем почти не осталось средств, да и зачем мне вам деньги давать?...

Николай Всеволодович как будто вдруг рассердился. Сухо и кратко перечислил он все преступления капитана: пьянство, вранье, трату денег назначавшихся Марье Тимофеевне, то что ее взяли из монастыря, дерзкие письма с угрозами опубликовать тайну, поступок с Дарьей Павловной и пр. и пр. Капитан колыхался, жестикулировал, начинал возражать, но Николай Всеволодович каждый раз повелительно его останавливал.

— И позвольте, заметил он наконец,— вы все пишете о „фамильном позоре“. Какой же позор для вас в том что ваша сестра в законном браке со Ставрогиным?

— Но брак под спудом, Николай Всеволодович, брак под спудом, роковая тайна. Я получаю от вас деньги и вдруг мне задают вопрос: за что̀ эти деньги? Я связан и не могу отвечать, во вред сестре, во вред фамильному достоинству.

Капитан повысил тон; он любил эту тему и крепко на нее расчитывал. Увы, он и не предчувствовал как его огорошат. Спокойно и точно, как будто дело шло о самом обыденном домашнем распоряжении, Николай Всеволодович сообщил ему что на днях, может-быть даже завтра или послезавтра, он намерен свой брак сделать повсеместно известным, „как полиции так и обществу“, а стало-быть кончится сам собою и вопрос о фамильном достоинстве, а вместе с тем и вопрос о субсидиях. Капитан вытаращил глаза; он даже и не понял; надо было растолковать ему.

— Но ведь она.... полоумная?

— Я сделаю такие распоряжения.

— Но.... как же ваша родительница?

— Ну, ужь это как хочет.

— Но ведь вы введете же вашу супругу в ваш дом?

— Может-быть и да. Впрочем все это в полном смысле не ваше дело и до вас совсем не относится.

— Как не относится! вскричал капитан;— а я-то как же?

— Ну, разумеется, вы не войдете в дом.

— Да ведь я же родственник.

— От таких родственников бегают. Зачем мне давать вам тогда деньги, рассудите сами?

— Николай Всеволодович, Николай Всеволодович, этого быть не может, вы может-быть еще рассудите, вы не захотите наложить руки.... что подумают, что скажут в свете?

— Очень я боюсь вашего света. Женился же я тогда на вашей сестре, когда захотел, после пьяного обеда, из-за пари на вино, а теперь вслух опубликую об этом.... если это меня теперь тешит?

Он произнес это как-то особенно раздражительно, так что Лебядкин с ужасом начал верить.

— Но ведь я, я-то как, главное ведь тут я!... Вы может-быть шутите-с, Николай Всеволодович?

— Нет, не шучу.

— Воля ваша, Николай Всеволодович, а я вам не верю.... тогда я просьбу подам.

— Вы ужасно глупы, капитан.

— Пусть, но ведь это все что мне остается! сбился совсем капитан,— прежде за ее службу там в углах по крайней мере нам квартиру давали, а теперь что же будет если вы меня совсем бросите?

— Ведь хотите же вы ехать в Петербург переменять карьеру. Кстати, правда я слышал что вы намерены ехать с доносом, в надежде получить прощение, объявив всех других.

Капитан разинул рот, выпучил глаза и не отвечал.

— Слушайте, капитан, чрезвычайно сериозно заговорил вдруг Ставрогин, принагнувшись к столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебядкин, искусившийся в роли шута, до последнего мгновения все-таки был капельку неуверен: сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о своем браке или только играет? Теперь же необыкновенно строгий вид Николая Всеволодовича до того был убедителен что даже озноб пробежал по спине капитана.— Слушайте и говорите правду, Лебядкин: донесли вы о чем-нибудь или

еще нет? Успели вы что-нибудь в самом деле сделать? Не послали ли какого-нибудь письма по глупости?

— Нет-с, ничего не успел и.... не думал, неподвижно смотрел капитан.

— Ну, вы лжете что не думали. Вы в Петербург для того и проситесь. Если не писали, то не сболтнули ли чего-нибудь кому-нибудь здесь? Говорите правду, я кое-что слышал.

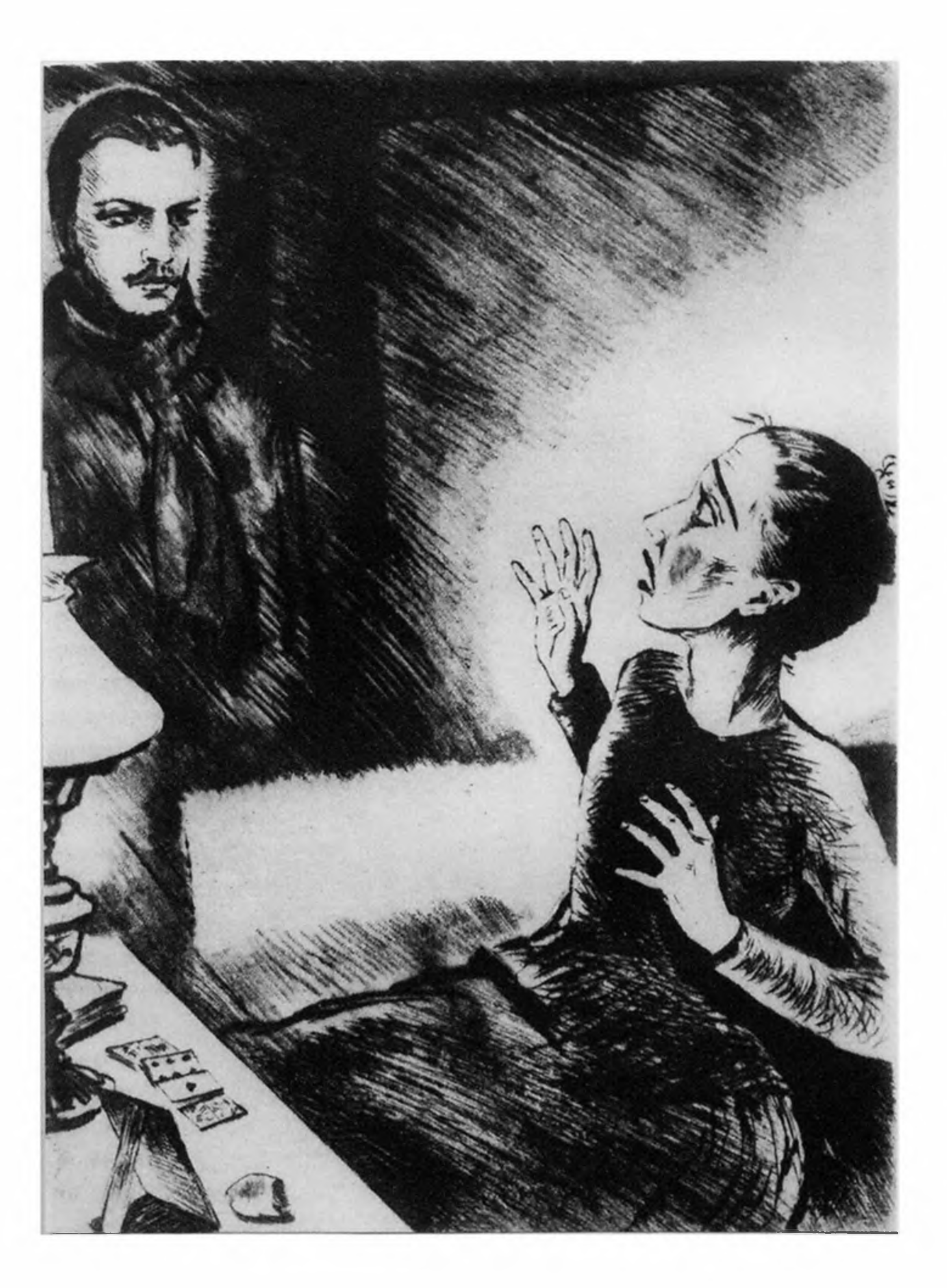
— В пьяном виде Липутину. Липутин изменник. Я открыл ему сердце, прошептал бедный капитан.

— Сердце сердцем, но не надо же быть и дуралеем. Если у вас была мысль, то держали бы про себя; нынче умные люди молчат, а не разговаривают.

— Николай Всеволодович! задрожал капитан;— ведь вы сами ни в чем не участвовали, ведь я не на вас....

— Да ужь на дойную свою корову вы бы не посмели доносить.

— Николай Всеволодович, посудите, посудите!... и в отчаянии, в слезах, капитан начал торопливо излагать свою повесть за все четыре года. Это была глупейшая повесть о дураке, втянувшемся не в свое дело и почти не понимавшем его важности до самой последней минуты, за пьянством и за гульбой. Он рассказал что еще в Петербурге „увлекся спервоначалу, просто по дружбе, как верный студент, хотя и не будучи студентом", и не зная ничего, „ни в чем неповинный", разбрасывал разные бумажки на лестницах, оставлял десятками у дверей, у звонков, засовывал вместо газет, в театр проносил, в шляпы совал, в карманы пропускал. А потом и деньги стал от них получать, „потому что средства-то, средства-то мои каковы-с!" В двух губерниях по уездам разбрасывал „всякую дрянь". О, Николай Всеволодович, восклицал он,— всего более возмущало меня что это совершенно противно гражданским и преимущественно отечественным законам! Напечатано вдруг чтобы выходили с вилами и чтобы помнили что кто выйдет по утру бедным, может вечером воротиться домой богатым,— подумайте-с! Самого содрогание берет, а разбрасываю. Или вдруг пять-шесть строк ко всей России, ни с того, ни



с сего: „запирайте скорее церкви, уничтожайте бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи“, и только, и чорт знает что̀ дальше. Вот с этою бумажкой, с пятистрочною-то, я чуть не попался, в полку офицеры поколотили, да дай бог здоровья, выпустили. А там прошлого года чуть не захватили, как я пятидесяти-рублевые французской подделки Короваеву передал; да слава богу, Короваев как раз пьяный в пруду утонул, и меня не успели изобличить. Здесь у Виргинского провозглашал свободу социальной жены. В июне месяце опять в —ском уезде разбрасывал. Говорят, еще заставят.... Петр Степанович вдруг дает знать что я должен слушаться; давно уже угрожает. Ведь как он в воскресенье тогда поступил со мной! Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не бог, тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то, средства-то мои каковы!

Николай Всеволодович прослушал все любопытно.

— Многого я вовсе не знал,— сказал он; разумеется, с вами все могло случиться.... Слушайте, сказал он, подумав,— если хотите, скажите им, ну, там кому знаете, что Липутин соврал, и что вы только меня попугать доносом собирались, полагая что я тоже скомпрометтирован и чтобы с меня таким образом больше денег взыскать.... Понимаете?

— Николай Всеволодович, голубчик, неужто же мне угрожает такая опасность? Я только вас и ждал чтобы вас спросить.

Николай Всеволодович усмехнулся.

— В Петербург вас конечно не пустят, хотя-б я вам и дал денег на поездку.... а впрочем к Марье Тимофеевне пора,— и он встал со стула.

— Николай Всеволодович,— а как же с Марьей-то Тимофеевной?

— Да так как я сказывал.

— Неужто и это правда?

— Вы все не верите?

— Неужели вы меня так и сбросите, как старый изношенный сапог?

— Я посмотрю, засмеялся Николай Всеволодович,— ну, пустите.

— Не прикажете ли я на крылечке постою-с.... чтобы как-нибудь невзначай чего не подслушать.... потому что комнатки крошечные.

— Это дело; постойте на крыльце. Возьмите зонтик.

— Зонтик, ваш.... стòит ли для меня-с? пересластил от страху капитан.

— Зонтика всякий стòит.

— Разом определяете minimum прав человеческих....

Но он уже лепетал машинально; он слишком был подавлен известиями и сбился с последнего толку. И однакоже, почти тотчас же как вышел на крыльцо и распустил над собой зонтик, стала наклевываться в легкомысленной и плутоватой голове его опять всегдашняя успокоительная мысль что с ним хитрят и ему лгут, а коли так, то не ему бояться, а его боятся.

„Если лгут и хитрят, то в чем тут именно штука?“ скреблось в его голове. Провозглашение брака ему казалось нелепостью: „Правда, с таким чудотворцем все сдеется; для зла людям живет. Ну, а если сам боится, с воскресного-то афронта, да еще так как никогда? Вот и прибежал уверять что сам провозгласит, от страха чтоб я не провозгласил. Эй, не промахнись, Лебядкин! И к чему приходить ночью, крадучись, когда сам желает огласки? А если боится, то значит теперь боится, именно сейчас, именно за эти несколько дней.... Эй, не свернись, Лебядкин!...

Пугает Петром Степановичем. Ой, жутко, ой жутко; нет, вот тут так жутко! И дернуло меня сболтнуть Липутину. Чорт знает что̀ затевают эти черти, никогда не мог разобрать. Опять заворочались, как пять лет назад. Правда, кому бы я донес? „Не написали ли кому по глупости?“ Гм. Стало-быть можно написать, под видом как бы глупости? Ужь не совет ли дает? „Вы в Петербург затем едете“. Мошенник, мне только приснилось, а ужь он и сон отгадал! Точно сам подталкивает ехать. Тут две штуки наверно, одна аль другая:

или опять-таки сам боится, потому что накуралесил, или.... или ничего не боится сам, а только подталкивает, чтоб я на них всех донес! Ох жутко, Лебядкин, ох как бы не промахнуться!...“

Он до того задумался что позабыл и подслушивать. Впрочем подслушать было трудно; дверь была толстая, одностворчатая, а говорили очень не громко; доносились какие-то неясные звуки. Капитан даже плюнул и вышел опять, в задумчивости посвистать на крыльцо.

III.

Комната Марьи Тимофеевны была вдвое более той которую занимал капитан и меблирована такою же топорною мебелью; но стол пред диваном был накрыт цветною нарядною скатертью; на нем горела лампа; по всему полу был разостлан прекрасный ковер; кровать была отделена длинною, во всю комнату, зеленою занавесью, и кроме того у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое однако Марья Тимофеевна не садилась. В углу, как и в прежней квартире, помещался образ, с зажженною пред ним лампадкой, а на столе разложены были все те же необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка. Сверх того явились две книжки с раскрашенными картинками, одна — выдержки из одного популярного путешествия, приспособленные для отроческого возраста, другая — сборник легоньких, нравоучительных и большею частию рыцарских расказов, предназначенный для елок и институтов. Был еще альбом разных фотографий. Марья Тимофеевна конечно ждала гостя, как и предварил капитан; но когда Николай Всеволодович к ней вошел, она спала, полулежа на диване, склонившись на гарусную подушку. Гость неслышно притворил за собою дверь и не сходя с места стал рассматривать спящую.

Капитан прилгнул, сообщая о том что она сделала туалет. Она была в том же темненьком платье, как и в воскресенье у Варвары Петровны. Точно так же были завязаны ее волосы

в крошечный узелок на затылке; точно так же обнажена длинная и сухая шея. Подаренная Варварой Петровной черная шаль лежала, бережно сложенная, на диване. Попрежнему была она грубо набелена и нарумянена. Николай Всеволодович не простоял и минуты, она вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. Но должно-быть что-то странное произошло и с гостем: он продолжал стоять на том же месте у дверей; неподвижно и пронзительным взглядом, безмолвно и упорно, всматривался в ее лицо. Может-быть этот взгляд был излишне суров, может-быть в нем выразилось отвращение, даже злорадное наслаждение ее испугом — если только не померещилось так со сна Марье Тимофеевне; но только вдруг, после минутного почти выжидания, в лице бедной женщины выразился совершенный ужас; по нем пробежали судороги, она подняла, сотрясая их, руки и вдруг заплакала, точь в точь как испугавшийся ребенок; еще мгновение, и она бы закричала. Но гость опомнился; в один миг изменилось его лицо, и он подошел к столу с самою приветливою и ласковою улыбкой:

— Виноват, напугал я вас, Марья Тимофеевна, нечаянным приходом, со сна, проговорил он, протягивая ей руку.

Звуки ласковых слов произвели свое действие, испуг исчез, хотя все еще она смотрела с боязнию, видимо усиливаясь что-то понять. Боязливо протянула и руку. Наконец улыбка робко шевельнулась на ее губах.

— Здравствуйте, князь, прошептала она, как-то странно в него вглядываясь.

— Должно-быть сон дурной видели? продолжал он все приветливее и ласковее улыбаться.

— А вы почему узнали, что я *про это* сон видела?...

И вдруг она опять задрожала и отшатнулась назад, подымая пред собой, как бы в защиту, руку и приготовляясь опять заплакать.

— Оправьтесь, полноте, чего бояться, неужто вы меня не узнали? уговаривал Николай Всеволодович, но на этот раз долго не мог уговорить; она молча смотрела на него, все

с тем же мучительным недоумением, с тяжелою мыслию в своей бедной голове и все так же усиливаясь до чего-то додуматься. То потупляла глаза, то вдруг окидывала его быстрым, обхватывающим взглядом. Наконец, не то что успокоилась, а как бы решилась.

— Садитесь, прошу вас, подле меня, чтобы можно было мне потом вас разглядеть, произнесла она довольно твердо, с явною и какою-то новою целью.— А теперь не беспокойтесь, я и сама не буду глядеть на вас, а буду вниз смотреть. Не глядите и вы на меня до тех пор пока я вас сама не попрошу. Садитесь же, прибавила она даже с нетерпением.

Новое ощущение видимо овладевало ею все более и более.

Николай Всеволодович уселся и ждал; наступило довольно долгое молчание.

— Гм! Странно мне это все, пробормотала она вдруг чуть не брезгливо; — меня конечно дурные сны одолели; только вы-то зачем мне в этом самом виде приснились?

— Ну, оставим сны, нетерпеливо проговорил он, поворачиваясь к ней, несмотря на запрещение, и может-быть опять давешнее выражение мелькнуло в его глазах. Он видел что ей несколько раз хотелось, и очень бы, взглянуть на него, но что она упорно крепилась и смотрела вниз.

— Слушайте, князь, возвысила она вдруг голос,— слушайте, князь....

— Зачем вы отвернулись, зачем на меня не смотрите, к чему эта комедия? вскричал он, не утерпев.

Но она как бы и не слыхала вовсе.

— Слушайте, князь, повторила она в третий раз твердым голосом, с неприятною, хлопотливою миной в лице: — Как сказали вы мне тогда в карете что брак будет объявлен, я тогда же испугалась что тайна кончится. Теперь ужь и не знаю; все думала и ясно вижу что совсем не гожусь. Нарядиться сумею, принять тоже пожалуй могу: эка беда на чашку чая пригласить, особенно коли есть лакеи. Но ведь все-таки как посмотрят со стороны. Я тогда, в воскресенье, многое в том доме утром разглядела. Эта барышня хорошенькая на меня

все время глядела, особенно когда вы вошли. Ведь это вы тогда вошли, а? Мать ее просто смешная светская старушонка. Мой Лебядкин тоже отличился; я чтобы не рассмеяться, все в потолок смотрела, хорошо там потолок расписан. Матери *его* игуменьей бы только быть; боюсь я ее, хоть и подарила черную шаль. Должно быть все они аттестовали тогда меня с неожиданной стороны; я не сержусь, только сижу я тогда и думаю: какая я им родня? Конечно с графини требуются только душевные качества,— потому что для хозяйственных у ней много лакеев,— да еще какое-нибудь светское кокетство, чтоб уметь принять иностранных путешественников. Но все-таки тогда в воскресенье они смотрели на меня с безнадежностию. Одна Даша ангел. Очень я боюсь чтоб они не огорчили *его* каким-нибудь неосторожным отзывом на мой счет.

— Не бойтесь и не тревожьтесь, скривил рот Николай Всеволодович.

— Впрочем ничего мне это не составит, если ему и стыдно за меня будет немножко, потому тут всегда больше жалости, чем стыда, судя по человеку конечно. Ведь он знает что скорей мне их жалеть, а не им меня.

— Вы, кажется, очень обиделись на них, Марья Тимофеевна?

— Кто, я? нет, простодушно усмехнулась она.— Совсем таки даже нет. Посмотрела я на вас всех тогда: все-то вы сердитесь, все-то вы перессорились; сойдутся и посмеяться по душе не умеют. Столько богатства и так мало веселья — гнусно мне это все. Мне впрочем теперь никого не жалко, кроме себя самой.

— Я слышал, вам с братом худо было жить без меня?

— Это кто вам сказал? Вздор; теперь хуже гораздо; теперь сны не хороши, а сны не хороши стали потому что вы приехали. Вы-то, спрашивается, зачем появились, скажите пожалуста?

— А не хотите ли опять в монастырь?

— Ну, я так и предчувствовала что они опять монастырь предложат! Эка невидаль мне ваш монастырь! Да и зачем

я в него пойду, с чем теперь войду? Теперь ужь одна одинешенька! Поздно мне третью жизнь начинать.

— Вы за что-то очень сердитесь, уж не боитесь ли что я вас разлюбил?

— Об вас я и совсем не забочусь. Я сама боюсь чтобы кого очень не разлюбить.

Она презрительно усмехнулась.

— Виновата я должно-быть пред *ним* в чем-нибудь очень большом, прибавила она вдруг как бы про себя,— вот не знаю только в чем виновата, вся в этом беда моя ввек. Всегда-то всегда, все эти пять лет, я боялась день и ночь что пред ним в чем-то я виновата. Молюсь я, бывало, молюсь и все думаю про вину мою великую пред ним. Ан вот и вышло что правда была.

— Да что̀ вышло-то?

— Боюсь только нет ли тут чего с *его* стороны, продолжала она, не отвечая на вопрос, даже вовсе его не расслышав.— Опять-таки не мог же он сойтись с такими людишками. Графиня съесть меня рада, хоть и в карету с собой посадила. Все в заговоре — неужто и он? Неужто и он изменил? (Подбородок и губы ее задрожали.) Слушайте вы: читали вы про Гришку Отрепьева, что̀ на семи соборах был проклят?

Николай Всеволодович промолчал.

— А впрочем я теперь поворочусь к вам и буду на вас смотреть, как бы решилась она вдруг; — поворотитесь и вы ко мне и поглядите на меня, только пристальнее. Я в последний раз хочу удостовериться.

— Я смотрю на вас уже давно.

— Гм, проговорила Марья Тимофеевна, сильно всматриваясь,— потолстели вы очень....

Она хотела было еще что-то сказать, но вдруг опять, в третий раз, давешний испуг мгновенно исказил лицо ее, и опять она отшатнулась, подымая пред собою руку.

— Да что̀ с вами? вскричал Николай Всеволодович почти в бешенстве.

Но испуг продолжался только одно мгновение; лицо ее

перекосилось какою-то странною улыбкой, подозрительною, неприятною:

— Я прошу вас, князь, встаньте и войдите, произнесла она вдруг твердым и настойчивым голосом.

— Как войдите? Куда я войду? отшатнулся на этот раз и Николай Всеволодович.

— Я все пять лет только и представляла себе как *он* войдет. Встаньте сейчас и уйдите за дверь, в ту комнату. Я буду сидеть как будто ничего не ожидая и возьму в руки книжку, и вдруг вы войдете после пяти лет путешествия. Я хочу посмотреть как это будет.

Николай Всеволодович проскрежетал про себя зубами и проворчал что-то неразборчивое.

— Довольно, сказал он, ударяя ладонью по столу.— Прошу вас, Марья Тимофеевна, меня выслушать. Сделайте одолжение, соберите, если можете, все ваше внимание. Не совсем же ведь вы сумашедшая! прорвался он в нетерпении.— Завтра я объявляю наш брак. Вы никогда не будете жить в палатах, разуверьтесь. Хотите жить со мною всю жизнь, но только очень отсюда далеко? Это в горах, в Швейцарии, там есть одно место.... Не беспокойтесь, я никогда вас не брошу и в сумашедший дом не отдам. Денег у меня достанет чтобы жить не прося. У вас будет служанка; вы не будете исполнять никакой работы. Все что̀ пожелаете из возможного, будет вам доставлено. Вы будете молиться, ходить куда угодно и делать что̀ вам угодно. Я вас не трону. Я тоже с моего места всю жизнь никуда не сойду. Хотите всю жизнь не буду говорить с вами, хотите рассказывайте мне каждый вечер, как тогда в Петербурге в углах, ваши повести. Буду вам книги читать, если пожелаете. Но за то так всю жизнь, на одном месте, а место это угрюмое. Хотите? решаетесь? Не будете раскаиваться, терзать меня слезами, проклятиями?

Она прослушала с чрезвычайным любопытством и долго молчала и думала.

— Невероятно мне это все, проговорила она, наконец, на-

смешливо и брезгливо.— Этак я пожалуй сорок лет проживу в тех горах. Она рассмеялась.

— Что жь, и сорок лет проживем, очень нахмурился Николай Всеволодович.

— Гм. Ни за что не поеду.

— Даже и со мной?

— А вы что такое чтоб я с вами ехала? Сорок лет сряду с ним на горе сиди — ишь подъехал. И какие, право, люди нынче терпеливые начались! Нет, не может того быть чтобы сокол филином стал. Не таков мой князь! гордо и торжественно подняла она голову.

Его будто осенило:

— С чего вы меня князем зовете и.... за кого принимаете? быстро спросил он.

— Как? разве вы не князь?

— Никогда им и не был.

— Так вы сами, сами, так-таки прямо в лицо, признаетесь что вы не князь!

— Говорю, никогда не был.

— Господи! всплеснула она руками,— всего от врагов *его* ожидала, но такой дерзости — никогда! Жив ли он? вскричала она в исступлении, надвигаясь на Николая Всеволодовича,— убил ты его или нет, признавайся!

— За кого ты меня принимаешь? вскочил он с места с исказившимся лицом; но ее уже было трудно испугать, она торжествовала:

— А кто тебя знает кто ты таков и откуда ты выскочил! Только сердце мое, сердце чуяло, все пять лет, всю интригу! А я-то сижу, дивлюсь: что за сова слепая подъехала? Нет, голубчик, плохой ты актер, хуже даже Лебядкина. Поклонись от меня графине пониже, да скажи чтобы присылала почище тебя. Наняла она тебя, говори? У ней при милости на кухне состоишь? Весь ваш обман насквозь вижу, всех вас, до одного, понимаю!

Он схватил ее крепко, выше локтя, за руку; она хохотала ему в лицо:

— Похож-то ты очень похож, может и родственник ему будешь,— хитрый народ! Только мой — ясный сокол и князь, а ты — сыч и купчишка! Мой-то и богу, захочет, поклонится, а захочет, и нет, а тебя Шатушка (милый он, родимый, голубчик мой!) по щекам отхлестал, мой Лебядкин рассказывал. И чего ты тогда струсил вошел-то? Кто тебя тогда напугал? как увидала я твое низкое лицо, когда упала, а ты меня подхватил,— точно червь ко мне в сердце заполз: не *он*, думаю, не *он*! Не постыдился бы сокол мой меня никогда пред светской барышней! О господи! да я ужь тем только была счастлива, все пять лет, что сокол мой где-то там, за горами живет и летает, на солнце взирает.... Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился? Я бы гроша тебе не дала. Ха-ха-ха! ха-ха-ха!...

— У, идиотка! проскрежетал Николай Всеволодович, все еще крепко держа ее за руку.

— Прочь самозванец! повелительно вскричала она, я моего князя жена, не боюсь твоего ножа!

— Ножа!

— Да, ножа! у тебя нож в кармане. Ты думал я спала, а я видела: ты как вошел давеча, нож вынимал!

— Что̀ ты сказала, несчастная, какие сны тебе снятся! возопил он и изо всей силы оттолкнул ее от себя, так что она больно ударилась плечами и головой о диван. Он бросился бежать; но она тотчас же вскочила за ним, хромая и прискакивая, в догонку, и уже с крыльца, удерживаемая изо всех сил перепугавшимся Лебядкиным, успела ему еще прокричать, с визгом и с хохотом, во след в темноту:

— Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!

IV.

„Нож, нож“! повторял он в неутомимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено; но он почему-то крепился и сдерживал смех. Он опомнился лишь

на мосту, как раз на самом том месте где давеча ему встретился Федька; тот же самый Федька ждал его тут и теперь, и завидев его, снял фуражку, весело оскалил зубы и тотчас же начал о чем-то бойко и весело растабарывать. Николай Всеволодович прошел не останавливаясь, некоторое время даже совсем и не слушал опять увязавшегося за ним бродягу. Его поразила мысль что он совершенно забыл про него и забыл именно в то время когда сам ежеминутно повторял про себя: „нож, нож". В этой мысли заключалось для него что-то очень любопытное и опять-таки ужасно смешное. Но вдруг, как бы опомнившись, он схватил бродягу за шиворот и со всею накопившеюся злобой, изо всей силы ударил его об мост. Одно мгновение тот думал было бороться, но почти тотчас же догадавшись что он пред своим противником, напавшим к тому же нечаянно,— нечто в роде соломинки, вдруг затих и примолк, даже нисколько не сопротивляясь. Стоя на коленях, придавленный к земле, с вывернутыми на спину локтями, хитрый бродяга спокойно ожидал развязки, совершенно, кажется, не веря в опасность.

Он не ошибся. Николай Всеволодович уже снял было с себя, левою рукой, теплый шарф, чтобы скрутить своему пленнику руки; но вдруг, почему-то, бросил его и оттолкнул от себя. Тот мигом вскочил на ноги, обернулся, и короткий широкий сапожный нож, мгновенно откуда-то взявшийся, блеснул в его руке.

— Долой нож, спрячь, спрячь сейчас! *приказал* с нетерпеливым жестом Николай Всеволодович, и нож исчез, также мгновенно как появился.

Николай Всеволодович опять молча и не оборачиваясь пошел своею дорогой; но упрямый негодяй все-таки не отстал от него, правда, теперь уже не растабарывая и даже почтительно наблюдая дистанцию на целый шаг позади. Оба прошли таким образом мост и вышли на берег, на этот раз повернув налево, тоже в длинный и глухой переулок, но которым короче было пройти в центр города, чем давешним путем по Богоявленской улице.

— Правда, говорят, ты церковь где-то здесь в уезде на днях обокрал? спросил вдруг Николай Всеволодович.

— Я, то-есть собственно, помолиться спервоначалу зашел-с, степенно и учтиво, как будто ничего и не произошло, отвечал бродяга; даже не то что степенно, а почти с достоинством. Давешней „дружеской“ фамильярности не было и в помине. Видно было человека делового и степенного, правда, напрасно обиженного, но умеющего забывать и обиды.

— Да как завел меня туда господь, продолжал он, эх, благодать небесная, думаю! По сиротству моему произошло это дело, так как в нашей судьбе совсем нельзя без вспомоществования. И вот, верьте богу, сударь, себе в убыток, наказал господь за грехи: за махальницу да за хлопотницу, да за дьяконов чересседельник всего только двенадцать рублев приобрел. Николая угодника подбородник, чистый серебряный, задаром пошел: семилёровый, говорят.

— Сторожа зарезал?

— То-есть мы вместе и прибирали-с с тем сторожем, да уж потом, под утро, у речки, у нас взаимный спор вышел, кому мешок нести. Согрешил, облегчил его маненечко.

— Режь еще, обкради еще.

— То же самое и Петр Степаныч, как есть в одно слово с вами, советуют-с, потому что они чрезвычайно скупой и жестокосердный на счет вспомоществования человек-с. Окромя того что уже в творца небесного, нас из персти земной создавшего, ни на грош не веруют-с, а говорят что все одна природа устроила, даже до последнего будто бы зверя, они и не понимают сверх того что по нашей судьбе нам чтобы без благодетельного вспомоществования, совершенно никак нельзя-с. Станешь ему толковать, смотрит как баран на воду, дивишься на него только. Вон поверите ли-с, у капитана Лебядкина-с, где сейчас изволили посещать-с, когда они еще до вас проживали у Филиппова-с, так иной раз дверь всю ночь настежь не запертая стоит-с, сам спит пьян мертвецки, а деньги у него изо всех карманов на пол сыплются. Своими глазами наблюдать приходилось, потому

по нашему обороту чтобы без вспомоществования, этого никак нельзя-с....

— Как своими глазами? Заходил что ли ночью?

— Может и заходил, только это никому неизвестно.

— Что жь не зарезал?

— Прикинув на счетах, остепенил себя-с. Потому раз узнамши доподлинно что сотни полторы рублев всегда могу вынуть, как же мне пускаться на то, когда и все полторы тысячи могу вынуть, если только пообождав? Потому капитан Лебядкин (своими ушами слышал-с) всегда на вас очинна надеялись в пьяном виде-с, и нет здесь такого трактирного заведения, даже последнего кабака, где бы они не объявляли о том в сем самом виде-с. Так что слышамши про то из многих уст, я тоже на ваше сиятельство всю мою надежду стал возлагать. Я, сударь, вам как отцу али родному брату, потому Петр Степаныч никогда того от меня не узнают и даже ни единая душа. Так три-то рублика, ваше сиятельство, соблаговолите аль нет-с? Развязали бы вы меня, сударь, чтоб я, то-есть знал правду истинную, потому нам чтобы без вспомоществования никак нельзя-с.

Николай Всеволодович громко захохотал, и вынув из кармана порт-моне, в котором было рублей до пятидесяти мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую. Федька подхватывал на лету, кидался, бумажки сыпались в грязь, Федька ловил и прикрикивал: „эх, эх“! Николай Всеволодович кинул в него наконец всею пачкой и, продолжая хохотать, пустился по переулку на этот раз уже один. Бродяга остался искать, ерзая на коленках в грязи, разлетевшиеся по ветру и потонувшие в лужах кредитки, и целый час еще можно было слышать в темноте его отрывистые вскрикивания: „эх, эх!“

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Поединок.

I.

На другой день, в два часа пополудни, предположенная дуэль состоялась. Быстрому исходу дела способствовало неукротимое желание Артемия Павловича Гаганова драться во что бы ни стало. Он не понимал поведения своего противника и был в бешенстве. Целый уже месяц он оскорблял его безнаказанно и все еще не мог вывести из терпения. Вызов ему был необходим со стороны самого Николая Всеволодовича, так как сам он не имел прямого предлога к вызову. В тайных же побуждениях своих, то-есть просто в болезненной ненависти к Ставрогину за фамильное оскорбление четыре года назад он почему-то совестился сознаться. Да и сам считал такой предлог невозможным, особенно в виду смиренных извинений, уже два раза предложенных Николаем Всеволодовичем. Он положил про себя что тот бесстыдный трус; понять не мог как тот мог снести пощечину от Шатова; таким образом и решился наконец послать то необычайное по грубости своей письмо которое побудило наконец самого Николая Всеволодовича предложить встречу. Отправив накануне это письмо и в лихорадочном нетерпении ожидая вызова, болезненно рассчитывая шансы к тому, то надеясь, то отчаиваясь,

он на всякий случай еще с вечера припас себе секунданта, а именно Маврикия Николаевича Дроздова, своего приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. Таким образом Кирилов, явившийся на другой день по утру в девять часов с своим поручением, нашел уже почву совсем готовую. Все извинения и неслыханные уступки Николая Всеволодовича были тотчас же с первого слова и с необыкновенным азартом отвергнуты. Маврикий Николаевич, накануне лишь узнавший о ходе дела, при таких неслыханных предложениях открыл было рот от удивления и хотел тут же настаивать на примирении, но заметив что Артемий Павлович, предугадавший его намерения, почти затрясся на своем стуле, смолчал и не произнес ничего. Еслибы не слово данное товарищу, он ушел бы немедленно; остался же в единственной надежде помочь хоть чем-нибудь при самом исходе дела. Кирилов передал вызов; все условия встречи обозначенные Ставрогиным были приняты тотчас же буквально, без малейшего возражения. Сделана была только одна прибавка, впрочем очень жестокая, именно: если с первых выстрелов не произойдет ничего решительного, то сходиться в другой раз; если не кончится ничем и в другой, сходиться в третий. Кирилов нахмурился, поторговался насчет третьего раза, но не выторговав ничего, согласился, с тем однакожь что „три раза можно, а четыре никак нельзя". В этом уступили. Таким образом в два часа пополудни состоялась встреча в Брыкове, то-есть в подгородной маленькой рощице между Скворешниками с одной стороны и фабрикой Шпигулиных с другой. Вчерашний дождь перестал совсем, но было мокро, сыро и ветрено. Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу; деревья густо и перекатно шумели вершинами и скрипели на корнях своих; очень было грустное утро.

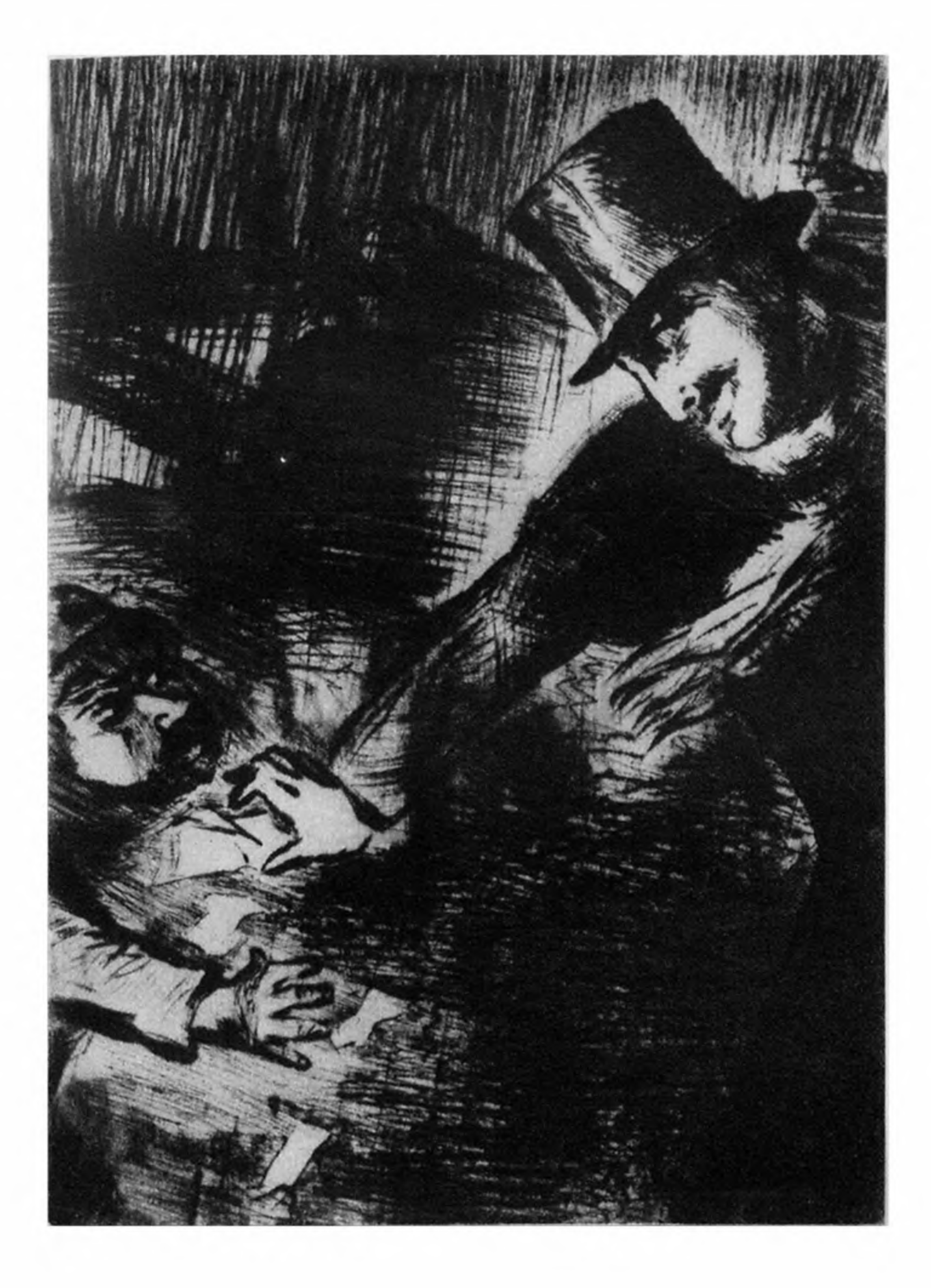
Гаганов с Маврикием Николаевичем прибыли на место в щегольском шарабане парой, которым правил Артемий Павлович; при них находился слуга. Почти в ту же минуту явились и Николай Всеволодович с Кириловым, но не в экипаже, а верхами и тоже в сопровождении верхового слуги. Кирилов,

никогда не садившийся на коня, держался в седле смело и прямо, прихватывая правою рукой тяжелый ящик с пистолетами, который не хотел доверить слуге, а левою, по неуменью, беспрерывно крутя и дергая поводья, отчего лошадь мотала головой и обнаруживала желание стать на дыбы, что̀ впрочем нисколько не пугало всадника. Мнительный, быстро и глубоко оскорблявшийся Гаганов почел прибытие верховых за новое себе оскорбление, в том смысле что враги слишком стало-быть надеялись на успех коли не предполагали даже нужды в экипаже на случай отвоза раненого. Он вышел из своего шарабана весь желтый от злости и почувствовал что у него дрожат руки, о чем и сообщил Маврикию Николаевичу. На поклон Николая Всеволодовича не ответил совсем и отвернулся. Секунданты бросили жребий: вышло пистолетам Кирилова. Барьер отмерили, противников расставили, экипаж и лошадей с лакеями отослали шагов на триста назад. Оружие было заряжено и вручено противникам.

Жаль что надо вести рассказ быстрее и некогда описывать; но нельзя и совсем без отметок. Маврикий Николаевич был грустен и озабочен. За то Кирилов был совершенно спокоен и безразличен, очень точен в подробностях принятой на себя обязанности, но без малейшей суетливости и почти без любопытства к роковому и столь близкому исходу дела. Николай Всеволодович был бледнее обыкновенного, одет довольно легко, в пальто и белой пуховой шляпе. Он казался очень усталым, изредка хмурился и нисколько не находил нужным скрывать свое неприятное расположение духа. Но Артемий Павлович был в сию минуту всех замечательнее, так что никак нельзя не сказать об нем нескольких слов совсем особенно.

II.

Нам не случилось до сих пор упомянуть о его наружности. Это был человек большого роста, белый, сытый, как говорит простонародье, почти жирный, с белокурыми жидкими волосами, лет тридцати трех и пожалуй даже с красивыми чер-





тами лица. Он вышел в отставку полковником, и еслибы дослужился до генерала, то в генеральском чине был бы еще внушительнее и очень может быть что вышел бы хорошим боевым генералом.

Нельзя пропустить, для характеристики лица, что главным поводом к его отставке послужила столь долго и мучительно преследовавшая его мысль о сраме фамилии, после обиды нанесенной отцу его, в клубе, четыре года тому назад, Николаем Ставрогиным. Он считал по совести бесчестным продолжать службу и уверен был про себя что марает собою полк и товарищей, хотя никто из них и не знал о происшествии. Правда, он и прежде хотел выйти однажды из службы, давно уже, задолго до обиды и совсем по другому поводу, но до сих пор колебался. Как ни странно написать, но этот первоначальный повод или лучше сказать позыв к выходу в отставку был манифест 19 го февраля об освобождении крестьян. Артемий Павлович, богатейший помещик нашей губернии, даже не так много и потерявший после манифеста, мало того, сам способный убедиться в гуманности меры и почти понять экономические выгоды реформы, вдруг почувствовал себя, с появления манифеста, как-бы лично обиженным. Это было что-то бессознательное, в роде какого-то чувства, но тем сильнее чем безотчетнее. До смерти отца своего он впрочем не решался предпринять что-нибудь решительное; но в Петербурге стал известен „благородным“ образом своих мыслей многим замечательным лицам, с которыми усердно поддерживал связи. Это был человек уходящий в себя, закрывающийся. Еще черта: он принадлежал к тем странным, но еще уцелевшим на Руси дворянам которые чрезвычайно дорожат древностью и чистотой своего дворянского рода и слишком серьезно этим интересуются. Вместе с этим он терпеть не мог русской истории, да и вообще весь русский обычай считал отчасти свинством. Еще в детстве его, в той специальной военной школе для более знатных и богатых воспитанников в которой он имел честь начать и кончить свое образование, укоренились в нем некоторые поэтические воззрения: ему понравились замки, сред-

невековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство, он чуть не плакал уже тогда от стыда что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно и краснел от сравнений. Этот тугой, чрезвычайно строгий человек, замечательно хорошо знавший свою службу и исполнявший свои обязанности, в душе своей был мечтателем. Утверждали что он мог бы говорить в собраниях и что имеет дар слова; но однако он все свои тридцать три года промолчал про себя. Даже в той важной петербургской среде в которой он вращался в последнее время, держал себя необыкновенно надменно. Встреча в Петербурге с воротившимся из-за границы Николаем Всеволодовичем чуть не свела его с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находился в страшном беспокойстве. Ему все казалось что еще как-нибудь не состоится дело, малейшее промедление бросало его в трепет. Болезненное впечатление выразилось в его лице, когда вдруг Кирилов, вместо того чтобы подать знак для битвы, начал вдруг говорить, правда для проформы, о чем сам заявил во всеуслышание:

— Я только для проформы; теперь, когда уже пистолеты в руках и надо командовать, не угодно ли в последний раз помириться? Обязанность секунданта.

Как нарочно Маврикий Николаевич, до сих пор молчавший, но с самого вчерашнего дня страдавший про себя за свою уступчивость и потворство, вдруг подхватил мысль Кирилова и тоже заговорил:

— Я совершенно присоединяюсь к словам господина Кирилова.... эта мысль что нельзя мириться на барьере — есть предрассудок, годный для французов.... Да я и не понимаю обиды, воля ваша, я давно хотел сказать.... потому что ведь предлагаются всякие извинения, не так ли?

Он весь покраснел. Редко случалось ему говорить так много и с таким волнением.

— Я опять подтверждаю мое предложение представить всевозможные извинения, с чрезвычайною поспешностию подхватил Николай Всеволодович.

— Разве это возможно? неистово вскричал Гаганов, обращаясь к Маврикию Николаевичу и в исступлении топнув ногой; объясните вы этому человеку, если вы секундант, а не враг мой, Маврикий Николаевич (он ткнул пистолетом в сторону Николая Всеволодовича),— что такие уступки только усиление обиды! Он не находит возможным от меня обидеться!... Он позора не находит уйти от меня с барьера! За кого же он принимает меня после этого, в ваших глазах.... а вы еще мой секундант! Вы только меня раздражаете чтоб я не попал, Маврикий Николаевич. Он топал ногами, слюна брызгала с его губ.

— Переговоры кончены. Прошу слушать команду! изо всей силы вскричал Кирилов.— Раз! Два! Три!

Со словом *три,* противники направились друг на друга. Гаганов тотчас же поднял пистолет и на пятом или шестом шаге выстрелил. На секунду приостановился, и уверившись что дал промах, быстро подошел к барьеру. Подошел и Николай Всеволодович, поднял пистолет, но как-то очень высоко и выстрелил совсем почти не целясь. Затем вынул платок и замотал в него мизинец правой руки. Тут только увидели что Артемий Павлович не совсем промахнулся, но пуля его только скользнула по пальцу, по суставной мякоти, не тронув кости; вышла ничтожная царапина. Кирилов тотчас же заявил что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается.

— Я заявляю, прохрипел Гаганов (у него пересохло горло), опять обращаясь к Маврикию Николаевичу,— что этот человек (он ткнул опять в сторону Ставрогина), выстрелил нарочно на воздух.... умышленно.... Это опять обида! Он хочет сделать дуэль невозможною!

— Я имею право стрелять как хочу, лишь бы происходило по правилам,— твердо заявил Николай Всеволодович.

— Нет не имеет! Растолкуйте ему, растолкуйте! кричал Гаганов.

— Я совершенно присоединяюсь к мнению Николая Всеволодовича, возгласил Кирилов.

— Для чего он щадит меня? бесновался Гаганов не слушая.— Я презираю его пощаду.... Я плюю.... Я....

— Даю слово что я вовсе не хотел вас оскорблять, с нетерпением проговорил Николай Всеволодович,— я выстрелил вверх потому что не хочу более никого убивать, вас ли, другого ли, лично до вас не касается. Правда, себя я не считаю обиженным, и мне жаль что вас это сердит. Но не позволю никому вмешиваться в мое право.

— Если он так боится крови, то спросите, зачем меня вызывал? вопил Гаганов, все обращаясь к Маврикию Николаевичу.

— Как вас было не вызвать? ввязался Кирилов,— вы не хотели слушать, как же от вас отвязаться?

— Замечу только одно, произнес Маврикий Николаевич с усилием и со страданием обсуждавший дело:— если противник заранее объявляет что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может.... по причинам деликатным и.... ясным....

— Я вовсе не объявлял что каждый раз буду вверх стрелять! вскричал Ставрогин, уже совсем теряя терпение.— Вы вовсе не знаете что̀ у меня на уме и как я опять сейчас выстрелю.... я ничем не стесняю дуэли.

— Коли так, встреча может продолжаться, обратился Маврикий Николаевич к Гаганову.

— Господа, займите ваши места! скомандовал Кирилов.

Опять сошлись, опять промах у Гаганова и опять выстрел вверх у Ставрогина. Про эти выстрелы вверх можно было бы и поспорить: Николай Всеволодович мог прямо утверждать что он стреляет как следует, если бы сам не сознался в умышленном промахе. Он наводил пистолет не прямо в небо или в дерево, а все-таки как бы метил в противника, хотя впрочем брал на аршин поверх его шляпы. В этот второй раз прицел был даже еще ниже, еще правдоподобнее; но уже Гаганова нельзя было разуверить.

— Опять! проскрежетал он зубами;— все равно. Я вызван и пользуюсь правом. Я хочу стрелять в третий раз.... во что̀ бы ни стало!

— Имеете полное право, отрубил Кирилов. Маврикий Николаевич не сказал ничего. Расставили в третий раз, скомандовали; в этот раз Гаганов дошел до самого барьера, и с барьера, с двенадцати шагов, стал прицеливаться. Руки его слишком дрожали для правильного выстрела. Ставрогин стоял с пистолетом опущенным вниз и неподвижно ожидал его выстрела.

— Слишком долго, слишком долго прицел! стремительно прокричал Кирилов;— стреляйте! стре-ляй-те! Но выстрел раздался, и на этот раз белая пуховая шляпа слетела с Николая Всеволодовича. Выстрел был довольно меток, тулья шляпы была пробита очень низко; четверть вершка ниже, и все бы было кончено. Кирилов подхватил и подал шляпу Николаю Всеволодовичу.

— Стреляйте, не держите противника! прокричал в чрезвычайном волнении Маврикий Николаевич, видя что Ставрогин как бы забыл о выстреле, рассматривая с Кириловым шляпу. Ставрогин вздрогнул, поглядел на Гаганова, отвернулся и уже безо всякой на этот раз деликатности выстрелил в сторону, в рощу. Дуэль кончилась. Гаганов стоял как придавленный. Маврикий Николаевич подошел к нему и стал что-то говорить, но тот как будто не понимал. Кирилов уходя снял шляпу и кивнул Маврикию Николаевичу головой; но Ставрогин забыл прежнюю вежливость; сделав выстрел в рощу, он даже и не повернулся к барьеру, сунул свой пистолет Кирилову и поспешно направился к лошадям. Лицо его выражало злобу, он молчал. Молчал и Кирилов. Сели на лошадей и поскакали в галоп.

III.

— Что̀ вы молчите? нетерпеливо окликнул он Кирилова уже неподалеку от дома.

— Что̀ вам надо? ответил тот, чуть не съерзнув с лошади, вскочившей на дыбы.

Ставрогин сдержал себя.

— Я не хотел обидеть этого.... дурака, а обидел опять, проговорил он тихо.

— Да, вы обидели опять, отрубил Кирилов;— и притом он не дурак.

— Я сделал однако все что̀ мог.

— Нет.

— Что̀ же надо было сделать?

— Не вызывать.

— Еще снести битье по лицу?

— Да, снести и битье.

— Я начинаю ничего не понимать! злобно проговорил Ставрогин,— почему все ждут от меня чего-то, чего от других не ждут? К чему мне переносить то чего никто не переносит и напрашиваться на бремена которых никто не может снести?

— Я думал вы сами ищете бремени.

— Я ищу бремени?

— Да.

— Вы.... это видели?

— Да.

— Это так заметно?

— Да.

Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень озабоченный вид, был почти поражен.

— Я потому не стрелял что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас, сказал он торопливо и тревожно, как бы оправдываясь.

— Не надо было обижать.

— Как же надо было сделать?

— Надо было убить.

— Вам жаль что я его не убил?

— Мне ничего не жаль. Я думал вы хотели убить в самом деле. Не знаете чего ищете.

— Ищу бремени, засмеялся Ставрогин.

— Не хотели сами крови, зачем ему давали убивать?

— Еслиб я не вызвал его, он бы убил меня так, без дуэли.

— Не ваше дело. Может и не убил бы.

— А только прибил?

— Не ваше дело. Несите бремя. А то нет заслуги,

— Наплевать на вашу заслугу, я ни у кого не ищу ее!

— Я думал ищете, ужасно хладнокровно заключил Кирилов.

Въехали во двор дома.

— Хотите ко мне? предложил Николай Всеволодович.

— Нет, я дома, прощайте. Он встал с лошади и взял свой ящик под мышку.

— По крайней мере вы-то на меня не сердитесь? протянул ему руку Ставрогин.

— Нисколько! воротился Кирилов чтобы пожать руку;— если мне легко бремя потому что от природы, то может-быть вам труднее бремя, потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного.

— Я знаю что я слабый характер, но я не лезу и в сильные.

— И не лезьте; вы не сильный характер. Приходите пить чай.

Николай Всеволодович вошел к себе сильно смущенный и озабоченный.

IV.

Он тотчас же узнал от Алексея Егоровича что Варвара Петровна, весьма довольная выездом Николая Всеволодовича — первым выездом после восьми дней болезни — верхом на прогулку, велела заложить карету и отправилась одна „по примеру прежних дней, подышать чистым воздухом, ибо восемь дней как уже забыла, что означает дышать чистым воздухом“.

— Одна поехала или с Дарьей Павловной? быстрым вопросом перебил старика Николай Всеволодович и крепко нахмурился, услышав что Дарья Павловна „отказались по нездоровью сопутствовать и находятся теперь в своих комнатах“.

— Слушай, старик, проговорил он как бы вдруг решаясь,— стереги ее сегодня весь день и если заметишь что она идет ко мне, тотчас же останови и передай ей что несколько дней, по крайней мере, я ее принять не могу.... что я так ее сам прошу.... а когда придет время, сам позову, слышишь?

— Передам-с, проговорил Алексей Егорович с тоской в голосе, опустив глаза вниз.

— Не раньше однакоже как если ясно увидишь что она ко мне идет сама.

— Не извольте беспокоиться, ошибки не будет. Через меня до сих пор и происходили посещения; всегда к содействию моему обращались.

— Знаю. Однакоже не раньше как если сама пойдет. Принеси мне чаю, если можешь скорее.

Только-что старик вышел, как почти в ту же минуту отворилась та же дверь и на пороге показалась Дарья Павловна. Взгляд ее был спокоен, но лицо бледное.

— Откуда вы? воскликнул Ставрогин.

— Я стояла тут же и ждала когда он выйдет, чтобы к вам войти. Я слышала о чем вы ему наказывали, а когда он сейчас вышел, я спряталась направо за выступ, и он меня не заметил.

— Я давно хотел прервать с вами, Даша.... пока.... это время. Я вас не мог принять нынче ночью, несмотря на вашу записку. Я хотел вам сам написать, но я писать не умею, прибавил он с досадой, даже как будто с гадливостью.

— Я сама думала что надо прервать. Варвара Петровна слишком подозревает о наших сношениях.

— Ну и пусть ее.

— Не надо чтоб она беспокоилась. Итак теперь до конца?

— Вы все еще непременно ждете конца?

— Да, я уверена.

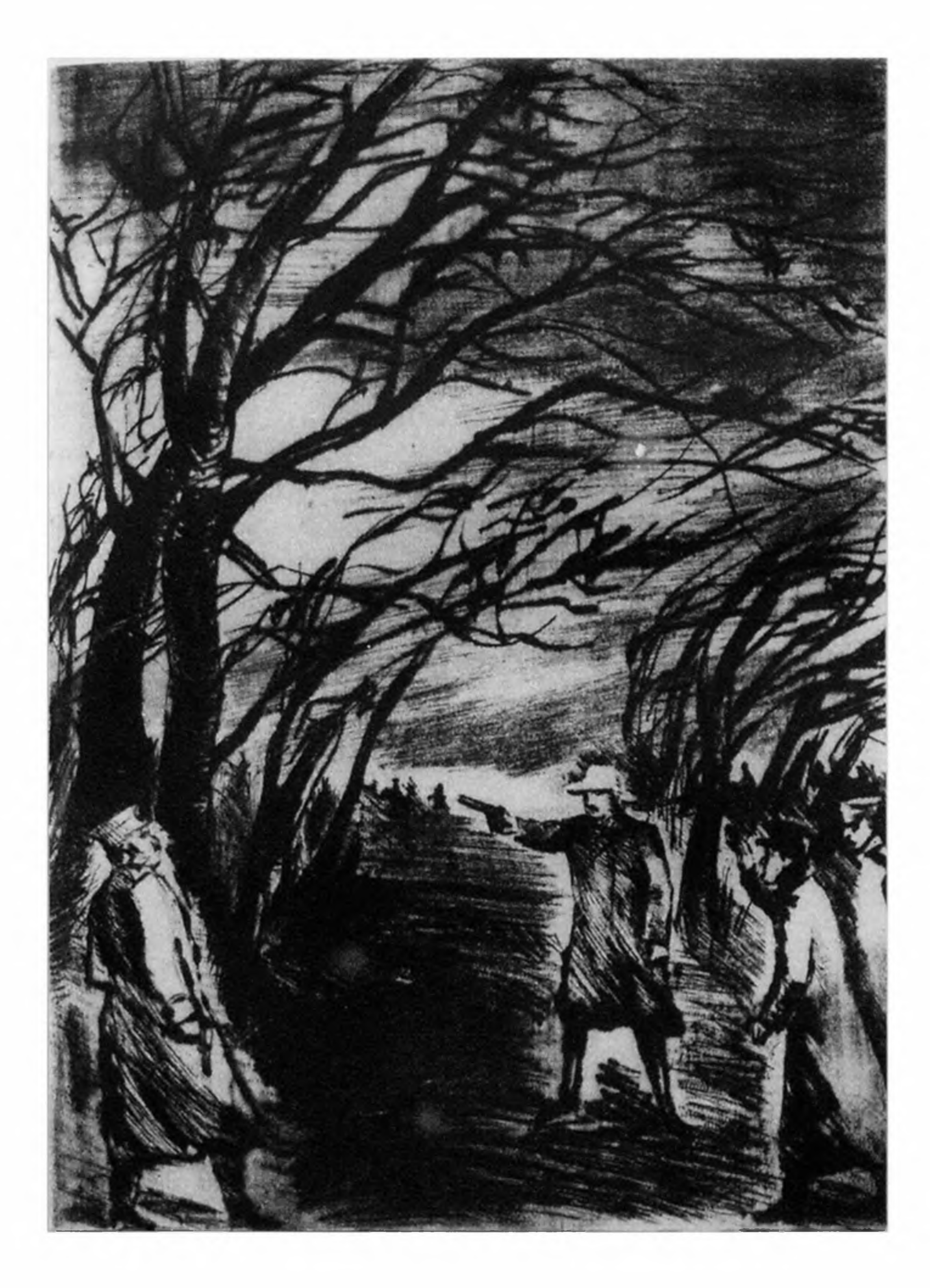
— На свете ничего не кончается.

— Тут будет конец. Тогда кликните меня, я приду. Теперь прощайте.

— А какой будет конец? усмехнулся Николай Всеволодович.

— Вы не ранены и.... не пролили крови? спросила Дарья Павловна, не отвечая на вопрос о конце.

— Было глупо; я не убил никого, не беспокойтесь. Впрочем вы обо всем услышите сегодня же ото всех. Я нездоров немного.



— Я уйду. Объявления о браке сегодня не будет? прибавила она с нерешимостью.

— Сегодня не будет; завтра не будет; после завтра, не знаю, может-быть все помрем и тем лучше. Оставьте меня, оставьте меня наконец.

— Вы не погубите другую... безумную?

— Безумных не погублю, ни той, ни другой, но разумную кажется погублю: я так подл, так слаб и гадок, Даша, что кажется вас в самом деле кликну „в последний конец", как вы говорите, а вы несмотря на ваш разум придете. Зачем вы сами себя губите?

— Я знаю что в конце концов с вами останусь одна я и.... жду того.

— А если я в конце концов вас не кликну и убегу от вас?

— Этого быть не может, вы кликните.

— Тут много ко мне презрения.

— Вы знаете что не одного презрения.

— Стало-быть презренье все-таки есть?

— Я не так выразилась. Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы чтобы вы никогда во мне не нуждались.

— Одна фраза стоит другой. Я тоже желал бы вас не губить.

— Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех, быстро и с твердостью проговорила Дарья Павловна.— Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьею женой; я не могу жить и в таких домах как этот. Я не того хочу.... Вы все знаете.

— Нет, я никогда не мог узнать чего вы хотите; мне кажется что вы интересуетесь мною как иные устарелые сиделки интересуются почему-либо одним каким-нибудь больным сравнительно перед прочими, или еще лучше как иные богомольные старушонки, шатающиеся по похоронам, предпочитают иные трупики попригляднее пред другими. Что̀ вы на меня так странно смотрите?

— Вы очень больны? с участием спросила она, как-то особенно в него вглядываясь.

— Я опять *его* видел, проговорил Ставрогин почти шепотом, отвертываясь в сторону.

— Боже мой!

— Сначала здесь в углу, вот тут у самого шкафа, а потом он сидел все рядом со мной, всю ночь, до и после моего выхода из дому... Не входи, Алексей Егорович! крикнул он старику, показавшемуся в дверях с подносом в руке.

— Этого уже три месяца с вами не было!

— Да, три месяца; больше. (Беспокойство и тревога все сильнее и сильнее овладевали им.) Что вы так засматриваете мне в лицо? Теперь начнется ряд его посещений. Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятых годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития, с полным убеждением в непобедимости своей красоты.... ничего не могло быть гаже. Я злился что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске. Никогда еще он так не приходил. Я впрочем все молчал, нарочно; я не только молчал, я был неподвижен. Он за это ужасно злился, и я очень рад что он злился. Я теперь даже рад.

Даша в совершенном испуге схватила его за руку.

— Николай Всеволодович, опомнитесь! вскричала она.

— Что вы? как бы удивился он ее волнению,— ведь вы знаете что у меня такая болезнь. Я вам одной только и открыл про нее на свете, и никто этого не знает. Постойте, неужели я вам не открывал? смотрел он на нее в недоумении, как бы что-то припоминая. Если так, то я действительно брежу или.... с ума сошел, прибавил он в невыразимой тоске, ожидая ответа.

— Нет, нет, не пугайтесь, вы мне открыли, одной мне, в Швейцарии. Я не того испугалась сейчас, а того как вы о нем говорили. Вы так говорите как он в самом деле есть. Боже сохрани вас от этого! вскричала она в отчаянии.

— О нет, я в него не верю, успокойтесь, улыбнулся он.— Пока еще не верю. Я знаю что это я сам в разных видах,

двоюсь и говорю сам с собой. Но все-таки он очень злится; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял что атеизм тому не мешает.

— В ту минуту как вы уверуете в него, вы погибли! Боже! И этот человек хочет обойтись без меня! с болью в сердце вскричала Даша.— Слушайте, когда мы будем свободны, я сяду подле вас и он никогда не придет.

— Знаете его вчерашнюю тему? Он всю ночь утверждал что я фокусничаю, ищу бремени и неудобоносимых трудов, а сам в них не верую. Но меня что̀ поразило? Представьте, сейчас вдруг Кирилов, в одно слово с семинаристом, говорит то же самое....

Он вдруг захохотал, и это было ужасно нелепо. Дарья Павловна вздрогнула и отшатнулась от него.

— Бесов было ужасно много вчера! вскричал он хохоча,— ужасно много! Изо всех болот налезли. Один предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебядкина и Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком, и концы чтобы в воду. Задатку просил три целковых, но дал ясно знать что вся операция стоить будет не меньше как полторы тысячи. Вот это так расчетливый бес! Бухгалтер! Ха, ха, ха!

— Но вы твердо уверены что это было привидение?

— О, нет, совсем ужь не привидение! Это просто был Федька-Каторжный, разбойник бежавший из каторги. Но дело не в том; как вы думаете что̀ я сделал? Я отдал ему все мои деньги из портмоне, и он теперь совершенно уверен что я ему выдал задаток!...

— Вы встретили его ночью, и он сделал вам такое предложение? Да неужто вы не видите что вы кругом оплетены их сетью!

— Ну пусть их. А знаете, у вас вертится один вопрос, я по глазам вашим вижу, прибавил он с злобною и раздражительною улыбкой.

Даша испугалась.

— Вопроса вовсе нет и сомнений вовсе нет никаких, мол-

чите лучше! вскричала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса.

— То-есть вы уверены что я не пойду к Федьке в лавочку?

— О, боже, всплеснула она руками,— за что̀ вы меня так мучаете?

— Ну, простите мне мою глупую шутку, Даша. Должно-быть я перенял дурные манеры у моего семинариста. Знаете, мне со вчерашней ночи ужасно хочется смеяться, все смеяться, беспрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом.... Чу! Мать приехала; я узнаю по стуку когда карета ее останавливается у крыльца.

Даша схватила его руку и горячо стала ее целовать.

— Да сохранит вас бог от вашего демона и... позовите, позовите меня скорей!

— О, какой это демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то?

Она поглядела на него с болью и укором и повернулась к дверям.

— Слушайте! вскричал он ей вслед, и злобная, искривленная улыбка опять показалась на губах его.— Если.... ну там, одним словом, *если*.... понимаете, ну еслибы даже и в лавочку, и потом я бы вас кликнул,— пришли бы вы после-то лавочки?

Она вышла не оборачиваясь и не отвечая, закрыв руками лицо.

— Придет и после лавочки! прошептал он подумав, и брезгливое презрение выразилось в лице его.— Сиделка! Гм!... А впрочем мне может того-то и надо.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Все в ожидании.

I.

Впечатление произведенное во всем нашем обществе быстро огласившеюся историей поединка было особенно замечательно тем единодушием с которым все поспешили заявить себя безусловно за Николая Всеволодовича. Многие из бывших врагов его решительно объявили себя его друзьями. Главною причиной такого неожиданного переворота в общественном мнении было несколько слов необыкновенно метко высказанных вслух одной особой, доселе не высказывавшеюся, и разом придавших событию значение, чрезвычайно заинтересовавшее наше крупное большинство. Случилось это так: как раз на другой же день после события, у супруги предводителя дворянства нашей губернии, в тот день имянинницы, собрался весь город. Присутствовала или вернее первенствовала и Юлия Михайловна, прибывшая с Лизаветой Николаевной, сиявшею красотой и особенною веселостью, что̀ многим из наших дам, на этот раз, тотчас же показалось особенно подозрительным. Кстати сказать: в помолвке ее с Маврикием Николаевичем не могло уже быть никакого сомнения. На шутливый вопрос одного отставного, но важного генерала, о котором речь ниже, Лизавета Николаевна сама прямо в тот вечер ответила что она

невеста. И что́ же? Ни одна решительно из наших дам этой помолвке до сих пор не хотела верить. Все упорно продолжали предполагать какой-то роман, какую-то роковую семейную тайну, совершившуюся в Швейцарии, и почему-то с непременным участием Юлии Михайловны. Трудно сказать почему там упорно держались все эти слухи, или так-сказать даже мечты, и почему именно так непременно приплетали тут Юлию Михайловну. Только-что она вошла, все обратились к ней со странными взглядами, преисполненными ожиданий. Надо заметить что по недавности события и по некоторым обстоятельствам сопровождавшим его, на вечере о нем говорили еще с некоторою осторожностию, даже не вслух. К тому же ничего еще не знали о распоряжениях власти. Оба дуэлиста, сколько известно, обеспокоены не были. Все знали, например, что Артемий Павлович рано утром отправился к себе в Духово, без всякой помехи. Между тем все, разумеется, жаждали чтобы кто-нибудь заговорил вслух первый и тем отворил бы дверь общественному нетерпению. Именно надеялись на вышеупомянутого генерала и не ошиблись.

Этот генерал, один из самых осанистых членов нашего клуба, помещик не очень богатый, но с бесподобнейшим образом мыслей, старомодный волокита за барышнями, чрезвычайно любил между прочим в больших собраниях заговаривать вслух, с генеральскою вескостью, именно о том о чем все еще говорили осторожным шепотом. В этом состояла его, как бы так-сказать, специальная роль в нашем обществе. При этом он особенно растягивал и сладко выговаривал слова, вероятно заимствовав эту привычку в путешествующих за границей Русских, или у тех прежде богатых русских помещиков которые наиболее разорились после крестьянской реформы. Степан Трофимович даже заметил однажды что чем более помещик разорился, тем слаще он подсюсюкивает и растягивает слова. Он и сам впрочем сладко растягивал и подсюсюкивал, но не замечал этого за собой.

Генерал заговорил как человек компетентный. Кроме того что с Артемием Павловичем он состоял как-то в дальней род-

не, хотя в ссоре и даже в тяжбе, он сверх того, когда-то, сам имел два поединка и даже за один из них сослан был на Кавказ в рядовые. Кто-то упомянул о Варваре Петровне, начавшей уже второй день выезжать „после болезни“, и не собственно о ней, а о превосходном подборе ее каретной серой четверни, собственного Ставрогинского завода. Генерал вдруг заметил что он встретил сегодня „молодого Ставрогина“ верхом.... Все тотчас смолкли. Генерал почмокал губами и вдруг провозгласил, вертя между пальцами золотую, жалованную табакерку:

— Сожалею что меня не было тут несколько лет назад... то-есть я был в Карлсбаде.... Гм. Меня очень интересует этот молодой человек, о котором я так много застал тогда всяких слухов. Гм. А что̀ правда что он помешан? Тогда кто-то говорил. Вдруг слышу что его оскорбляет здесь какой-то студент, в присутствии кузин, и он полез от него под стол; а вчера слышу от Степана Высоцкого что Ставрогин дрался с этим.... Гагановым. И единственно с галантною целью подставить свой лоб человеку взбесившемуся; чтобы только от него отвязаться. Гм. Это в нравах гвардии двадцатых годов. Бывает он здесь у кого-нибудь?

Генерал замолчал как бы ожидая ответа. Дверь общественному нетерпению была отперта.

— Чего же проще? возвысила вдруг голос Юлия Михайловна, раздраженная тем что все вдруг точно по команде обратили на нее свои взгляды.— Разве возможно удивление что̀ Ставрогин дрался с Гагановым и не отвечал студенту? Не мог же он вызвать на поединок бывшего крепостного своего человека!

Слова знаменательные! Простая и ясная мысль, но никому однако не приходившая до сих пор в голову. Слова имевшие необыкновенные последствия. Все скандальное и сплетническое, все мелкое и анекдотическое разом отодвинуто было на задний план; выдвигалось другое значение. Объявлялось лицо новое, в котором все ошиблись, лицо почти с идеальною строгостью понятий. Оскорбленный на смерть студентом, то-есть

человеком образованным и уже не крепостным, он презирает обиду, потому что оскорбитель — бывший крепостной его человек. В обществе шум и сплетни; легкомысленное общество с презрением смотрит на человека битого по лицу; он презирает мнением общества, не доросшего до настоящих понятий, а между тем о них толкующего.

— А между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с, с благородным азартом самообличения замечает один клубный старичек другому.

— Да-с, Петр Михайлович, да-с, с наслаждением поддакивает другой;— вот и говорите про молодежь.

— Тут не молодежь, Иван Александрович, замечает подвернувшийся третий,— тут не о молодежи вопрос: тут звезда-с; а не какой-нибудь один из молодежи; вот как понимать это надо.

— А нам того и надобно; оскудели в людях.

Тут главное состояло в том что̀ „новый человек“, кроме того что̀ оказался „несомненным дворянином“, был вдобавок и богатейшим землевладельцем губернии, а стало-быть не мог не явиться подмогой и деятелем. Я впрочем упоминал и прежде вскользь о настроении наших землевладельцев.

Входили даже в азарт:

— Он мало того что не вызвал студента, он взял руки назад, заметьте это, заметьте это особенно, ваше превосходительство, выставлял один.

— И в новый суд его не потащил-с, подбавлял другой.

— Несмотря на то что в новом суде ему за дворянскую *личную* обиду пятнадцать рублей присудили бы-с, хе, хе, хе!

— Нет, это я вам скажу тайну новых судов, приходил в исступление третий:— если кто своровал или смошенничал, явно пойман и уличен — беги скорей домой, пока время, и убей свою мать. Мигом, во всем оправдают, и дамы с эстрады будут махать батистовыми платочками; несомненная истина!

— Истина, истина!

Нельзя было и без анекдотов. Вспомнили о связях Николая Всеволодовича с графом К. Строгие, уединенные мнения гра-

фа К. насчет последних реформ были известны. Известна была и его замечательная деятельность, несколько приостановленная в самое последнее время. И вот вдруг стало всем несомненно что Николай Всеволодович помолвлен с одною из дочерей графа К., хотя ничто не подавало точного повода к такому слуху. А что касается до каких-то чудесных швейцарских приключений и Лизаветы Николаевны, то даже дамы перестали о них упоминать. Упомянем кстати что Дроздовы как раз к этому времени успели сделать все доселе упущенные ими визиты. Лизавету Николаевну уже несомненно все нашли самою обыкновенною девушкой, „франтящею" своими больными нервами. Обморок ее в день приезда Николая Всеволодовича объясняли теперь просто испугом, при безобразном поступке студента. Даже усиливали прозаичность того самого чему прежде так стремились придать какой-то фантастический колорит; а об какой-то хромоножке забыли окончательно; стыдились и помнить. „Да хоть бы и сто хромоножек,— кто молод не был!" Ставили на вид почтительность Николая Всеволодовича к матери, подыскивали ему разные добродетели, с благодушием говорили об его учености, приобретенной в четыре года по немецким университетам. Поступок Артемия Павловича окончательно объявили бестактным: „своя своих не познаша"; за Юлией же Михайловной окончательно признали высшую проницательность.

Таким образом когда наконец появился сам Николай Всеволодович, все встретили его с самою наивною серьезностью, во всех глазах на него устремленных читались самые нетерпеливые ожидания. Николай Всеволодович тотчас же заключился в самое строгое молчание, чем, разумеется, удовлетворил всех гораздо более чем еслибы наговорил с три короба. Одним словом, все ему удавалось, он был в моде. В обществе губернском если кто раз появился, то ужь спрятаться никак нельзя. Николай Всеволодович стал попрежнему исполнять все губернские порядки до утонченности. Веселым его не находили: „человек претерпел, человек не то что другие; есть о чем и задуматься". Даже гордость и та брезгливая непри-

ступность, за которую так ненавидели его у нас четыре года назад, теперь уважались и нравились.

Всех более торжествовала Варвара Петровна. Не могу сказать очень ли тужила она о разрушившихся мечтах насчет Лизаветы Николаевны. Тут помогла, конечно, и фамильная гордость. Странно одно: Варвара Петровна в высшей степени вдруг уверовала что Nicolas действительно „выбрал“ у графа К., но, и что̀ страннее всего, уверовала по слухам, пришедшим к ней, как и ко всем, по ветру; сама же боялась прямо спросить Николая Всеволодовича. Раза два-три однако не утерпела и весело исподтишка попрекнула его что он с нею не так откровенен; Николай Всеволодович улыбался и продолжал молчать. Молчание принимаемо было за знак согласия. И что̀ же: при всем этом она никогда не забывала о хромоножке. Мысль о ней лежала на ее сердце камнем, кошмаром, мучила ее странными привидениями и гаданиями, и все это совместно и одновременно с мечтами о дочерях графа К. Но об этом еще речь впереди. Разумеется в обществе к Варваре Петровне стали вновь относиться с чрезвычайным и предупредительным почтением, но она мало им пользовалась и выезжала чрезвычайно редко.

Она сделала, однако, торжественный визит губернаторше. Разумеется никто более ее не был пленен и очарован вышеприведенными знаменательными словами Юлии Михайловны на вечере у предводительши: они много сняли тоски с ее сердца и разом разрешили многое из того что̀ так мучило ее с того несчастного воскресенья. „Я не понимала эту женщину!“ изрекла она и прямо, с свойственною ей стремительностью, объявила Юлии Михайловне что приехала ее *благодарить*. Юлия Михайловна была польщена, но выдержала себя независимо. Она в ту пору уже очень начала себе чувствовать цену, даже может-быть немного и слишком. Она объявила, например, среди разговора, что никогда ничего и не слыхивала о деятельности и учености Степана Трофимовича.

— Я, конечно, принимаю и ласкаю молодого Верховенского. Он безрассуден, но он еще молод; впрочем с солидными зна-

ниями. Но все же это не какой-нибудь отставной бывший критик.

Варвара Петровна тотчас же поспешила заметить что Степан Трофимович вовсе никогда не был критиком, а напротив всю жизнь прожил в ее доме. Знаменит же обстоятельствами первоначальной своей карьеры „слишком известными всему свету“, а в самое последнее время, своими трудами по испанской истории; хочет тоже писать о положении теперешних немецких университетов и кажется еще что-то о Дрезденской Мадонне. Одним словом Варвара Петровна не захотела уступить Юлии Михайловне Степана Трофимовича.

— О Дрезденской Мадонне? Это о Сикстинской? Chère Варвара Петровна, я просидела два часа пред этою картиной и ушла разочарованная. Я ничего не поняла и была в большом удивлении. Кармазинов тоже говорит что трудно понять. Теперь все ничего не находят, и Русские и Англичане. Всю эту славу старики прокричали.

— Новая мода значит?

— А я так думаю что не надо пренебрегать и нашею молодежью. Кричат что они коммунисты, а по моему надо щадить их и дорожить ими. Я читаю теперь все — все газеты, коммуны, естественные науки,— все получаю, потому что надо же, наконец, знать где живешь и с кем имеешь дело. Нельзя же всю жизнь прожить на верхах своей фантазии. Я сделала вывод и приняла за правило ласкать молодежь и тем самым удерживать ее на краю. Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, благотворным влиянием и именно лаской можем удержать их у бездны, в которую толкает их нетерпимость всех этих старикашек. Впрочем я рада что узнала от вас о Степане Трофимовиче. Вы подаете мне мысль: он может быть полезен на нашем литературном чтении. Я, знаете, устраиваю целый день увеселений, по подписке, в пользу бедных гувернанток из нашей губернии. Они рассеяны по России; их насчитывают до шести из одного нашего уезда; кроме того две телеграфистки, две учатся в академии, остальные желали бы, но не имеют средств. Жребий русской женщины ужасен.

Варвара Петровна! Из этого делают теперь университетский вопрос и даже было заседание государственного совета. В нашей странной России можно делать все что угодно. А потому опять-таки лишь одною лаской и непосредственным теплым участием всего общества мы могли бы направить это великое общее дело в истинный путь. О, боже, много ли у нас светлых личностей! Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв, и в тот же день вечером бал. Мы хотели начать вечер живыми картинами, но кажется много издержек, и потому, для публики, будут одна или две кадрили в масках и в характерных костюмах, изображающих известные литературные направления. Эту шутливую мысль предложил Кармазинов; он много мне помогает. Знаете, он прочтет у нас свою последнюю вещь, еще никому неизвестную. Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья есть его прощание с публикой. Прелестная вещица под названием: „Merci". Название французское, но он находит это шутливее и даже тоньше. Я тоже; даже я и присоветывала. Я думаю, Степан Трофимович мог бы тоже прочесть, если покороче и.... не так чтоб очень ученое. Кажется Петр Степанович и еще кто-то что-то такое прочтут. Петр Степанович к вам забежит и сообщит программу; или лучше позвольте мне самой завезти к вам.

— А вы позвольте и мне подписаться на вашем листе. Я передам Степану Трофимовичу и сама буду просить его.

Варвара Петровна воротилась домой окончательно привороженная; она стояла горой за Юлию Михайловну и почему-то уже совсем рассердилась на Степана Трофимовича; а тот бедный и не знал ничего сидя дома.

— Я влюблена в нее, я не понимаю как я могла так ошибаться в этой женщине, говорила она Николаю Всеволодовичу и забежавшему к вечеру Петру Степановичу.

— А все-таки вам надо помириться и со стариком,—доложил Петр Степанович;— он в отчаянии. Вы его совсем сослали на кухню. Вчера он встретил вашу коляску, поклонился, а вы

отвернулись. Знаете, мы его выдвинем; у меня на него кой-какие расчеты, и он еще может быть полезен.

— О, он будет читать.

— Я не про одно это. А я и сам хотел к нему сегодня забежать. Так сообщить ему?

— Если хотите. Не знаю, впрочем, как вы это устроите, проговорила она в нерешимости.— Я была намерена сама объясниться с ним и хотела назначить день и место. Она сильно нахмурилась.

— Ну, ужь назначать день не стоит. Я просто передам.

— Пожалуй передайте. Впрочем прибавьте что я непременно назначу ему день. Непременно прибавьте.

Петр Степанович побежал ухмыляясь. Вообще, сколько припомню, он в это время был как-то особенно зол и даже позволял себе чрезвычайно нетерпеливые выходки чуть не со всеми. Странно что ему как-то все прощали. Вообще установилось мнение что смотреть на него надо как-то особенно. Замечу что он с чрезвычайною злобой отнесся к поединку Николая Всеволодовича. Его это застало врасплох; он даже позеленел когда ему расказали. Тут может-быть страдало его самолюбие: он узнал на другой лишь день, когда всем было известно.

— А ведь вы не имели права драться, шепнул он Ставрогину на пятый уже день, случайно встретясь с ним в клубе. Замечательно что в эти пять дней они нигде не встречались, хотя к Варваре Петровне Петр Степанович забегал почти ежедневно.

Николай Всеволодович молча поглядел на него с рассеянным видом, как бы не понимая в чем дело, и прошел не останавливаясь. Он проходил чрез большую залу клуба в буфет.

— Вы и к Шатову заходили.... вы Марью Тимофеевну хотите опубликовать, бежал он за ним и как-то в рассеянности ухватился за его плечо.

Николай Всеволодович вдруг стряс с себя его руку и быстро к нему оборотился, грозно нахмурившись. Петр Степанович поглядел на него улыбаясь странною, длинною улыбкой. Все продолжалось одно мгновение. Николай Всеволодович прошел далее.

II.

К старику он забежал тотчас же от Варвары Петровны, и если так поспешил, то единственно из злобы, чтоб отмстить за одну прежнюю обиду, о которой я доселе не имел понятия. Дело в том что в последнее их свидание, именно на прошлой неделе в четверг, Степан Трофимович, сам впрочем начавший спор, кончил тем что выгнал Петра Степановича палкой. Факт этот он от меня тогда утаил; но теперь, только что вбежал Петр Степанович, с своею всегдашнею улыбкой, столь наивно высокомерною, и с неприятно любопытным, шныряющим по углам взглядом, как тотчас же Степан Трофимович сделал мне тайный знак чтоб я не оставлял комнату. Таким образом и обнаружились предо мною их настоящие отношения, ибо на этот раз прослушал весь разговор.

Степан Трофимович сидел протянувшись на кушетке. С того четверга он похудел и пожелтел. Петр Степанович с самым фамильярным видом уселся подле него, бесцеремонно поджав под себя ноги, и занял на кушетке гораздо более места, чем сколько требовало уважение к отцу. Степан Трофимович молча и с достоинством посторонился.

На столе лежала раскрытая книга. Это был роман *Что̀ делать*. Увы, я должен признаться в одном странном малодушии нашего друга: мечта о том что ему следует выйти из уединения и задать последнюю битву все более и более одерживала верх в его соблазненном воображении. Я догадался что он достал и *изучает* роман единственно с тою целью чтобы в случае несомненного столкновения с „визжавшими“ знать заранее их приемы и аргументы по самому их „катехизису“, и таким образом приготовившись, торжественно их всех опровергнуть в *ее глазах*. О, как мучила его эта книга! Он бросал иногда ее в отчаянии и вскочив с места шагал по комнате почти в исступлении:

— Я согласен что основная идея автора верна, говорил он мне в лихорадке,— но ведь тем ужаснее! Та же наша идея, именно наша; мы, мы первые насадили ее, возростили, при-

готовили,— да и что бы они могли сказать сами нового, после нас! Но боже, как все это выражено, искажено, исковеркано! восклицал он, стуча пальцами по книге.— К таким ли выводам мы устремлялись? Кто может узнать тут первоначальную мысль?

— Просвещаешься? ухмыльнулся Петр Степанович, взяв книгу со стола и прочтя заглавие.— Давно пора. Я тебе и получше принесу если хочешь.

Степан Трофимович снова и с достоинством промолчал. Я сидел в углу на диване.

Петр Степанович быстро объяснил причину своего прибытия. Разумеется Степан Трофимович был поражен не в меру и слушал в испуге смешанном с чрезвычайным негодованием.

— И эта Юлия Михайловна расчитывает что я приду к ней читать!

— То-есть они ведь вовсе в тебе не так нуждаются. Напротив, это чтобы тебя обласкать и тем подлизаться к Варваре Петровне. Но ужь само собою ты не посмеешь отказаться читать. Да и самому-то, я думаю, хочется, ухмыльнулся он;— у вас всех, у старичья, адская амбиция. Но послушай однако, надо чтобы не так скучно. У тебя там что, испанская история что ли? Ты мне дня за три дай просмотреть, а то ведь усыпишь пожалуй.

Торопливая и слишком обнаженная грубость этих колкостей была явно преднамеренная. Делался вид что со Степаном Трофимовичем как будто и нельзя говорить другим, более тонким языком и понятиями. Степан Трофимович твердо продолжал не замечать оскорблений. Но сообщаемые события производили на него все более и более потрясающее впечатление.

— И она сама, *сама* велела передать это мне через.... *вас?* спросил он бледнея.

— То-есть видишь ли, она хочет назначить тебе день и место для взаимного объяснения; остатки вашего сентиментальничанья. Ты с нею двадцать лет кокетничал и приучил ее к самым смешным приемам. Но не беспокойся, теперь ужь совсем не то; она сама поминутно говорит что теперь только

начала „прозирать“. Я ей прямо растолковал что вся эта ваша дружба — есть одно только взаимное излияние помой. Она мне много, брат, расказала; фу, какую лакейскую должность исполнял ты все время. Даже я краснел за тебя.

— Я исполнял лакейскую должность? не выдержал Степан Трофимович.

— Хуже, ты был приживальщиком, то-есть лакеем добровольным. Лень трудиться, а на денежки-то у нас аппетит. Все это и она теперь понимает; по крайней мере ужас что̀ про тебя рассказала. Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней; совестно и гадко. Но ведь вы так развращены, так развращены! В милостыне есть нечто навсегда развращающее — ты явный пример!

— Она тебе показывала мои письма!

— Все. То-есть конечно где же их прочитать? Фу, сколько ты исписал бумаги, я думаю, там более двух тысяч писем.... А знаешь, старик, я думаю у вас было одно мгновение когда она готова была бы за тебя выйти? Глупейшим ты образом упустил! Я конечно говорю с твоей точки зрения, но все-таки жь лучше чем теперь, когда чуть не сосватали на „чужих грехах“, как шута для потехи, за деньги.

— За деньги! Она, она говорит что за деньги! болезненно возопил Степан Трофимович.

— А то как же? Да что̀ ты, я же тебя и защищал. Ведь это единственный твой путь оправдания. Она сама поняла что тебе денег надо было как и всякому и что ты с этой точки пожалуй и прав. Я ей доказал как дважды два что вы жили на взаимных выгодах: она капиталисткой, а ты при ней сентиментальным шутом. Впрочем за деньги она не сердится, хоть ты ее и доил как козу. Ее только злоба берет что она тебе двадцать лет верила, что ты ее так облапошил на благородстве, и заставил так долго лгать. В том что сама лгала она никогда не сознается, но за это-то тебе и достанется вдвое. Не понимаю как ты не догадался что тебе придется когда-нибудь расчитаться. Ведь был же у тебя хоть какой-нибудь ум. Я вчера посоветовал ей отдать тебя в бога-

дельню, успокойся, в приличную, обидно не будет; она кажется так и сделает. Помнишь последнее письмо твое ко мне в Х—скую губернию, три недели назад?

— Неужели ты ей показал? в ужасе вскочил Степан Трофимович.

— Ну еще же бы нет! Первым делом. То самое в котором ты уведомлял что она тебя эксплуатирует, завидуя твоему таланту, ну и там об „чужих грехах“. Ну, брат, кстати, какое однако у тебя самолюбие! Я так хохотал. Вообще твои письма прескучные; у тебя ужасный слог. Я их часто совсем не читал, а одно так и теперь валяется у меня нераспечатанным; я тебе завтра пришлю. Но это, это последнее твое письмо — это верх совершенства! Как я хохотал, как хохотал!

— Изверг, изверг! возопил Степан Трофимович.

— Фу, чорт, да с тобой нельзя разговаривать. Послушай, ты опять обижаешься как в прошлый четверг?

Степан Трофимович грозно выпрямился:

— Как ты смеешь говорить со мной таким языком?

— Каким это языком? Простым и ясным?

— Но скажи же мне наконец, изверг, сын ли ты мой или нет?

— Об этом тебе лучше знать. Конечно всякий отец склонен в этом случае к ослеплению....

— Молчи, молчи! — весь затрясся Степан Трофимович.

— Видишь ли, ты кричишь и бранишься как и в прошлый четверг, ты свою палку хотел поднять, а ведь я документ-то тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда ничего нет точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому Полячку. Но судя по ее характеру....

— Еще слово, и я надаю тебе пощечин.

— Вот люди! обратился вдруг ко мне Петр Степанович.— Видите, это здесь у нас уже с прошлого четверга. Я рад что нынче по крайней мере вы здесь и рассудите. Сначала факт: он упрекает что я говорю так о матери, но не он ли меня натолкнул на то же самое? В Петербурге, когда я был еще

гимназистом, не он ли будил меня по два раза в ночь, обнимал меня и плакал как баба, и как вы думаете что рассказывал мне по ночам-то? Вот те же скоромные анекдоты про мою мать! От него я от первого услыхал.

— О, я тогда это в высшем смысле! О, ты не понял меня. Ничего, ничего ты не понял.

— Но все-таки у тебя подлее чем у меня, ведь подлее, признайся. Ведь видишь ли, если хочешь, мне все равно. Я с твоей точки. С моей точки зрения, не беспокойся: я мать не виню; ты так ты, Поляк так Поляк, мне все равно. Я не виноват что у вас в Берлине вышло так глупо. Да и могло ли у вас выйти что-нибудь умней. Ну не смешные ли вы люди после всего! И не все ли тебе равно, твой ли я сын или нет? Послушайте, обратился он ко мне опять,—он рубля на меня не истратил всю жизнь, до шестнадцати лет меня не знал совсем, потом здесь ограбил, а теперь кричит что болел обо мне сердцем всю жизнь и ломается предо мной как актер. Да ведь я же не Варвара Петровна, помилуй!

Он встал и взял шляпу.

— Проклинаю тебя отсель моим именем! протянул над ним руку Степан Трофимович весь бледный как смерть.

— Эк ведь в какую глупость человек въедет! даже удивился Петр Степанович;—ну прощай, старина, никогда не приду к тебе больше. Статью доставь раньше, не забудь, и постарайся если можешь без вздоров: факты, факты и факты, а главное короче. Прощай.

III.

Впрочем тут влияли и посторонние поводы. У Петра Степановича действительно были некоторые замыслы на родителя. По моему, он расчитывал довести старика до отчаяния и тем натолкнуть его на какой-нибудь явный скандал, а затем компрометтировать в глазах общества в смешном виде. Это нужно было ему для целей дальнейших, посторонних, о которых еще речь впереди. Подобных разных расчетов и предначертаний

в ту пору накопилось у него чрезвычайное множество,— конечно почти все фантастических. Был у него в виду и другой мученик, кроме Степана Трофимовича. Вообще мучеников было у него не мало, как оказалось в последствии; но на этого он особенно расчитывал, и это был сам господин фон-Лембке.

Андрей Антонович фон-Лембке принадлежал к тому фаворизованному (природой) племени которого в России числится по календарю за миллион и которое может и само не знает что составляет в ней всею своею массой один строго организованный союз. Боже меня сохрани сказать заговор! Заговор сознательный, предумышленный в большей части случаев всегда оказывался пустяком и игрушкой. У нас, например, в России это вещь фантастическая. Но союз не предумышленный и не выдуманный, а существующий в целом племени сам по себе, без слов и без договору, как нечто нравственно обязательное, и состоящий во взаимной поддержке всех членов этого племени одного другим всегда, везде и главное при каких бы то ни было обстоятельствах,— есть уже нечто гораздо существеннейшее всякого заговора, и хотя конечно весьма похвальное, но, на худой конец, неодолимое.

Андрей Антонович имел честь воспитываться в одном из тех высших русских учебных заведений которые наполняются юношеством из более одаренных связями или богатством семейств. Воспитанники этого заведения почти тотчас же по окончании курса назначались к занятию довольно значительных должностей по одному отделу государственной службы. Андрей Антонович имел одного дядю инженер-подполковника, а другого булочника; но в высшую школу протерся и встретил в ней довольно подобных соплеменников. Был он товарищ веселый; учился довольно тупо, но его все полюбили. И когда уже в высших классах, многие из юношей, преимущественно русских, научились толковать о весьма высоких современных вопросах, и с таким видом что вот только дождаться выпуска и они порешат все дела,— Андрей Антонович все еще продолжал заниматься самыми невинными школьничествами. Он всех смешил, правда, выходками весьма не хитрыми, разве

лишь циническими, но поставил это себе целью. То как-нибудь удивительно высморкается когда преподаватель на лекции обратится к нему с вопросом,— чем рассмешит и товарищей и преподавателя; то в дортуаре изобразит из себя какую-нибудь циническую живую картину, при всеобщих рукоплесканиях; то сыграет единственно на своем носу (и довольно искусно), увертюру из Фра-Диаволо. Отличался тоже умышленным неряшеством, находя это почему-то остроумным. В самый последний год он стал пописывать русские стишки. Свой собственный племенной язык знал он весьма неграмматически, как и многие в России этого племени. Эта наклонность к стишкам свела его с одним мрачным и как бы забитым чем-то товарищем, сыном какого-то бедного генерала, из Русских, и который считался в заведении великим будущим литератором. Тот отнесся к нему покровительственно. Но случилось так что по выходе из заведения, уже года три спустя, этот мрачный товарищ, бросивший свое служебное поприще для русской литературы и вследствие того уже щеголявший в разорванных сапогах и стучавший зубами от холода, в летнем пальто в глубокую осень, встретил вдруг случайно у Аничкова моста своего бывшего protégé[1] „Лембку“, как все впрочем называли того в училище. И что же? Он даже не узнал его с первого взгляда и остановился в удивлении. Пред ним стоял безукоризненно одетый молодой человек, с удивительно отделанными бакенбардами рыжеватого отлива, с пенсне, в лакированных сапогах, в самых свежих перчатках, в широком шармеровском пальто и с портфелем под мышкой. Лембке обласкал товарища, сказал ему адрес и позвал к себе когда-нибудь вечерком. Оказалось тоже что он уже не „Лембка“, а фон-Лембке. Товарищ к нему однако отправился, может-быть единственно из злобы. На лестнице, довольно некрасивой и совсем уже не парадной, но устланной красным сукном, его встретил и опросил швейцар. Звонко прозвенел на верх колокол. Но вместо богатств, которые посетитель ожидал встретить, он нашел сво-

[1] [покровительствуемый]

его „Лембку“ в боковой очень маленькой комнатке, имевшей темный и ветхий вид, разгороженной надвое большою темнозеленою занавесью, меблированной хоть и мягкою, но очень ветхою темнозеленою мебелью, с темнозелеными сторами на узких и высоких окнах. Фон-Лембке помещался у какого-то очень дальнего родственника, протежировавшего его генерала. Он встретил гостя приветливо, был сериозен и изящно вежлив. Поговорили и о литературе, но в приличных пределах. Лакей в белом галстуке принес жидковатого чаю, с маленьким, кругленьким сухим печеньем. Товарищ из злобы попросил зельтерской воды. Ему подали, но с некоторыми задержками, причем Лембке как бы сконфузился призывая лишний раз лакея и ему приказывая. Впрочем сам предложил не хочет ли гость чего закусить и видимо был доволен когда тот отказался и наконец ушел. Просто-за-просто Лембке начинал свою карьеру, а у единоплеменного, но важного генерала приживал.

Он в то время вздыхал по пятой дочке генерала, и ему, кажется, отвечали взаимностью. Но Амалию все-таки выдали, когда пришло время, за одного старого заводчика Немца, старого товарища старому генералу. Андрей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Все было сделано из бумаги, все выдумано и сработано самим фон-Лембке; он просидел над театром полгода. Генерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли напоказ, все пять генеральских дочек, с новобрачною Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими Немцами внимательно рассматривали и хвалили театр; затем танцовали. Лембке был очень доволен и скоро утешился.

Прошли годы, и карьера его устроилась. Он все служил по видным местам и все под начальством единоплеменников, и дослужился наконец до весьма значительного, сравнительно с его летами, чина. Давно уже он желал жениться и давно уже осторожно высматривал. Втихомолку от начальства послал

было повесть в редакцию одного журнала, но ее не напечатали. За то склеил целый поезд железной дороги, и опять вышла преудачная вещица: публика выходила из вокзала, с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и входила в вагоны. Кондукторы и служители расхаживали, звенел колокольчик, давался сигнал, и поезд трогался в путь. Над этою хитрою штукой он просидел целый год. Но все-таки надо было жениться. Круг знакомств его был довольно обширен, все больше в немецком мире; но он вращался и в русских сферах, разумеется, по начальству. Наконец, когда уже стукнуло ему тридцать восемь лет, он получил и наследство. Умер его дядя, булочник, и оставил ему тринадцать тысяч по завещанию. Дело стало за местом. Господин фон-Лембке, несмотря на довольно высокий пошиб своей служебной сферы, был человек очень скромный. Он очень бы удовольствовался каким-нибудь самостоятельным казенным местечком, с зависящим от его распоряжений приемом казенных дров, или чем-нибудь сладеньким в этом роде, и так бы на всю жизнь. Но тут, вместо какой-нибудь ожидаемой Минны или Эрнестины, подвернулась вдруг Юлия Михайловна. Карьера его разом поднялась степенью виднее. Скромный и аккуратный фон-Лембке почувствовал что и он может быть самолюбивым.

У Юлии Михайловны, по старому счету, было двести душ, и кроме того с ней являлась большая протекция. С другой стороны, фон-Лембке был красив, а ей уж за сорок. Замечательно что он мало-по-малу влюбился в нее и в самом деле, по мере того как все более и более ощущал себя женихом. В день свадьбы утром послал ей стихи. Ей все это очень нравилось, даже стихи: сорок лет не шутка. В скорости он получил известный чин и известный орден, а затем назначен был в нашу губернию.

Собираясь к нам, Юлия Михайловна старательно поработала над супругом. По ее мнению, он был не без способностей, умел войти и показаться, умел глубокомысленно выслушать и промолчать, схватил несколько весьма приличных осанок, даже мог сказать речь, даже имел некоторые обрывки и кон-

чики мыслей, схватил лоск новейшего административного либерализма. Но все-таки ее беспокоило что он как-то ужь очень мало восприимчив, и после долгого, вечного искания карьеры, решительно начинал ощущать потребность покоя. Ей хотелось перелить в него свое честолюбие, а он вдруг начал клеить кирку: пастор выходил говорить проповедь, молящиеся слушали набожно сложив пред собою руки, одна дама утирала платочком слезы, один старичок сморкался; под конец звенел органчик, который нарочно был заказан и уже выписан из Швейцарии, несмотря на издержки. Юлия Михайловна даже с каким-то испугом отобрала всю работу, только лишь узнала о ней, и заперла к себе в ящик; взамен того позволила ему писать роман, но потихоньку. С тех пор прямо стала расчитывать только на одну себя. Беда в том что тут было порядочное легкомыслие и мало мерки. Судьба слишком уже долго продержала ее в старых девах. Идея за идеей замелькали теперь в ее честолюбивом и несколько раздраженном уме. Она питала замыслы, она решительно хотела управлять губернией, мечтала быть сейчас же окруженною, выбрала направление. Фон-Лембке даже несколько испугался, хотя скоро догадался, с своим чиновничьим тактом, что собственно губернаторства пугаться ему вовсе нечего. Первые два, три месяца протекли даже весьма удовлетворительно. Но тут подвернулся Петр Степанович и стало происходить нечто странное.

Дело в том что молодой Верховенский с первого шагу обнаружил решительную непочтительность к Андрею Антоновичу и взял над ним какие-то странные права, а Юлия Михайловна, всегда столь ревнивая к значению своего супруга, вовсе не хотела этого замечать; по крайней мере не придавала важности. Молодой человек стал ее фаворитом, ел, пил и почти спал в доме. Фон-Лембке стал защищаться, называл его при людях „молодым человеком“, покровительственно трепал по плечу, но этим ничего не внушил: Петр Степанович все как будто смеялся ему в глаза, даже разговаривая повидимому сериозно, а при людях говорил ему самые неожиданные вещи. Однажды возвратясь домой, он нашел молодого человека

у себя в кабинете, спящим на диване без приглашения. Тот объяснил что зашел, но не застав дома, „кстати выспался". Фон-Лембке был обижен и снова пожаловался супруге: осмеяв его раздражительность, та колко заметила что он сам видно не умеет стать на настоящую ногу; по крайней мере с ней „этот мальчик" никогда не позволяет себе фамильярностей, а впрочем „он наивен и свеж, хотя и вне рамок общества". Фон-Лембке надулся. В тот раз она их помирила. Петр Степанович не то чтобы попросил извинения, а отделался какою-то грубою шуткой, которую в другой раз можно было бы принять за новое оскорбление, но в настоящем случае приняли за раскаяние. Слабое место состояло в том что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в первые дни знакомства прочел ему однажды вечером две главы. Тот выслушал не скрывая скуки, невежливо зевал, ни разу не похвалил, но уходя выпросил себе рукопись, чтобы дома на досуге составить мнение, а Андрей Антонович отдал. С тех пор он рукописи не возвращал, хотя и забегал ежедневно, а на вопрос отвечал только смехом; под конец объявил что потерял ее тогда же на улице. Узнав о том, Юлия Михайловна рассердилась на своего супруга ужасно.

— Ужь не сообщил ли ты ему и о кирке? всполохнулась она чуть не в испуге.

Фон-Лембке решительно начал задумываться, а задумываться ему было вредно и запрещено докторами. Кроме того что оказывалось много хлопот по губернии, о чем скажем ниже,— тут была особая материя, даже страдало сердце, а не то что одно начальническое самолюбие. Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что̀ бы не предположил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. Он почувствовал что не в состоянии переносить семейных громов. Юлия Михайловна объяснилась с ним наконец откровенно.

— Сердиться ты на это не можешь, сказала она,—уже

потому что ты втрое его рассудительнее и неизмеримо выше на общественной лестнице. В этом мальчике еще много остатков прежних вольнодумных замашек, а по моему, просто шалость; но вдруг нельзя, а надо постепенно. Надо дорожить нашею молодежью; я действую лаской и удерживаю их на краю.

— Но он чорт знает что̀ говорит, возражал фон-Лембке.— Я не могу относиться толерантно когда он при людях и в моем присутствии утверждает что правительство нарочно опаивает народ водкой, чтоб его абрютировать и тем удержать от восстания. Представь мою роль когда я принужден при всех это слушать.

Говоря это, фон-Лембке припомнил недавний разговор свой с Петром Степановичем. С невинною целию обезоружить его либерализмом, он показал ему свою собственную интимную коллекцию всевозможных прокламаций, русских и из-за границы, которую он тщательно собирал с пятьдесят девятого года, не то что как любитель, а просто из полезного любопытства. Петр Степанович, угадав его цель, грубо выразился что в одной строчке иных прокламаций более смысла чем в целой какой-нибудь канцелярии, „не исключая, пожалуй, и вашей".

Лембку покоробило.

— Но это у нас рано, слишком рано, произнес он почти просительно, указывая на прокламации.

— Нет, не рано; вот вы же боитесь, стало-быть не рано.

— Но однакоже тут, например, приглашение к разрушению церквей.

— Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек и конечно сами не веруете, а слишком хорошо понимаете что вера вам нужна чтобы народ абрютировать. Правда честнее лжи.

— Согласен, согласен я с вами совершенно согласен, но это у нас рано, рано.... поморщился фон-Лембке.

— Так какой же вы после этого чиновник правительства, если сами согласны ломать церкви и идти с дрекольем на Петербург, а всю разницу ставите только в сроке?

Так грубо пойманный Лембке был сильно пикирован.

— Это не то, не то, увлекался он все более и более раздражаясь в своем самолюбии; — вы как молодой человек, и главное, незнакомый с нашими целями, заблуждаетесь. Видите, милейший Петр Степанович, вы называете нас чиновниками от правительства? Так. Самостоятельными чиновниками? Так. Но позвольте, как мы действуем? На нас ответственность, а в результате мы так же служим общему делу как и вы. Мы только сдерживаем то что̀ вы расшатываете и то что без нас расползлось бы в разные стороны. Мы вам не враги, отнюдь нет, мы вам говорим: идите вперед, прогрессируйте, даже расшатывайте, то-есть все старое, подлежащее переделке; но мы вас когда надо и сдержим в необходимых пределах и тем вас же спасем от самих себя, потому что без нас вы бы только расколыхали Россию, лишив ее приличного вида, а наша задача в том только и состоит чтобы заботиться о приличном виде. Проникнитесь что мы и вы взаимно друг другу необходимы. В Англии виги и тории тоже взаимно друг другу необходимы. Что̀ же: мы тории, а вы виги, я именно так понимаю.

Андрей Антонович вошел даже в пафос. Он любил поговорить умно и либерально еще с самого Петербурга, а тут, главное, никто не подслушивал. Петр Степанович молчал и держал себя как-то не по обычному сериозно. Это еще более подзадорило оратора.

— Знаете ли что я, „хозяин губернии“, продолжал он, расхаживая по кабинету; — знаете ли что я по множеству обязанностей не могу исполнить ни одной, а с другой стороны могу так же верно сказать что мне здесь нечего делать. Вся тайна в том что тут все зависит от взглядов правительства. Пусть правительство основывает там хоть республику, ну там из политики или для усмирения страстей, а с другой стороны, параллельно, пусть усилит губернаторскую власть, и мы, губернаторы, поглотим республику; да что̀ республику: все, что̀ хотите поглотим; я по крайней мере чувствую что я готов.... Одним словом, пусть правительство провозгласит мне

по телеграфу activité dévorante[1], и я даю activité dévorante. Я здесь прямо в глаза сказал: „Милостивые государи, для уравновешения и процветания всех губернских учреждений необходимо одно: усиление губернаторской власти“. Видите, надо чтобы все эти учреждения — земские ли, судебные ли — жили так-сказать двойственною жизнью, то-есть надобно чтоб они были (я согласен что это необходимо), ну а с другой стороны, надо чтоб их и не было. Все судя по взгляду правительства. Выйдет такой стих что вдруг учреждения окажутся необходимыми и они тотчас же у меня явятся налицо. Пройдет необходимость, и их никто у меня не отыщет. Вот как я понимаю activité dévorante, а ее не будет без усиления губернаторской власти. Мы с вами глаз на глаз говорим. Я, знаете, уже заявил в Петербурге о необходимости особого часового у дверей губернаторского дома. Жду ответа.

— Вам надо двух, проговорил Петр Степанович.

— Для чего же двух? остановился пред ним фон-Лембке.

— Пожалуй одного-то мало чтобы вас уважали. Вам надо непременно двух.

Андрей Антонович скривил лицо.

— Вы.... вы бог знает что̀ позволяете себе, Петр Степанович. Пользуясь моей добротой вы говорите колкости и разыгрываете какого-то bourru bienfaisant[2]....

— Ну это как хотите, пробормотал Петр Степанович, — а все-таки вы нам прокладываете дорогу и приготовляете наш успех.

— То-есть кому же нам и какой успех? в удивлении уставился на него фон-Лембке, но ответа не получил.

Юлия Михайловна, выслушав отчет о разговоре, была очень недовольна.

— Но не могу же я, защищался фон-Лембке, — третировать начальнически твоего фаворита, да еще когда остается глаз на глаз.... Я мог проговориться.... от доброго сердца.

[1] [кипучую деятельность]
[2] [благодетельного брюзгу...]

— От слишком ужь доброго. Я не знала что у тебя коллекция прокламаций, сделай одолжение покажи.

— Но.... но он их выпросил к себе на один день.

— И вы опять дали! рассердилась Юлия Михайловна; — что̀ за бестактность!

— Я сейчас пошлю к нему взять.

— Он не отдаст.

— Я потребую! вскипел фон-Лембке и вскочил даже с места. — Кто он чтобы так его опасаться, и кто я чтобы не сметь ничего сделать?

— Садитесь и успокойтесь, остановила Юлия Михайловна, — я отвечу на ваш первый вопрос: он отлично мне зарекомендован, он со способностями и говорит иногда чрезвычайно умные вещи. Кармазинов уверял меня что он имеет связи почти везде и чрезвычайное влияние на столичную молодежь. А если я через него привлеку их всех и сгруппирую около себя, то я отвлеку их от погибели, указав новую дорогу их честолюбию. Он предан мне всем сердцем и во всем меня слушается.

— Но ведь пока их ласкать, они могут.... чорт знает что̀ сделать.

— Для нас же постараются. Увидят в Петербурге до чего распустили — к нам же опять и воротятся.

— Конечно, это идея.... смутно защищался фон-Лембке, — но.... вот я слышу в — ском уезде появились какие-то прокламации.

— Но ведь этот слух был еще летом, — прокламации, фальшивые ассигнации, мало ли что̀, однако до сих пор не доставили ни одной. Кто вам сказал?

— Я от фон-Блюмера слышал.

— Ах, избавьте меня от вашего Блюмера и никогда не смейте о нем упоминать!

Юлия Михайловна вскипела и даже с минуту не могла говорить. Фон-Блюмер был чиновником при губернаторской канцелярии, которого она особенно ненавидела. Об этом ниже.

— Пожалуста не беспокойся о Верховенском, заключила

она разговор,— если б он участвовал в каких-нибудь шалостях, то не стал бы так говорить как он с тобою и со всеми здесь говорит. Фразеры неопасны и даже я так скажу, случись что-нибудь, я же первая чрез него и узнаю. Он фанатически, фанатически предан мне.

Замечу, предупреждая события, что еслибы не самомнение и честолюбие Юлии Михайловны, то пожалуй и не было бы всего того что̀ успели натворить у нас эти дурные людишки. Тут она во многом ответственна!

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Перед праздником.

I.

День праздника задуманного Юлией Михайловной по подписке в пользу гувернанток нашей губернии уже несколько раз назначали вперед и откладывали. Около нее вертелись бессменно Петр Степанович, состоявший на побегушках маленький чиновник Лямшин, в оно время посещавший Степана Трофимовича и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фортепиано; отчасти Липутин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей, независимой губернской газеты; несколько дам и девиц и наконец даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с довольным видом объявил что приятно изумит всех, когда начнется кадриль литературы. Подпищиков и жертвователей объявилось чрезвычайное множество, все избранное городское общество; но допускались и самые неизбранные, если только являлись с деньгами. Юлия Михайловна заметила что иногда даже должно допустить смешение сословий, „иначе кто жь их просветит?“ Образовался негласный домашний комитет, на котором порешено было что праздник будет демократический. Чрезмерная подписка манила на расходы; хотели сделать что-то чудесное — вот почему и откладывалось. Все еще не решались где устроить вечерний бал: в огромном ли доме пред-

водительши, который та уступала для этого дня, или у Варвары Петровны в Скворешниках? В Скворешники было бы далеконько, но многие из комитета настаивали что там будет „вольнее“. Самой Варваре Петровне слишком хотелось бы чтобы назначили у нее. Трудно решить почему эта гордая женщина почти заискивала у Юлии Михайловны. Ей вероятно нравилось что та в свою очередь почти принижается пред Николаем Всеволодовичем и любезничает с ним как ни с кем. Повторю еще раз: Петр Степанович все время и постоянно, шепотом, продолжал укоренять в губернаторском доме одну пущенную еще прежде идею что Николай Всеволодович человек имеющий самые таинственные связи в самом таинственном мире и что наверно здесь с каким-нибудь поручением.

Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие и нельзя сказать чтобы мало-по-малу. Как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов. Потом, когда все кончилось, обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние; но вряд ли все произошло от одной только Юлии Михайловны. Напротив, все взапуски хвалили тогда новую губернаторшу за то что умеет соединить общество и что стало вдруг веселее. Произошло даже несколько скандальных случаев, в которых вовсе ужь была невиновата Юлия Михайловна; но все тогда только хохотали и тешились, а останавливать было некому. Устояла, правда, в стороне довольно значительная кучка лиц, с своим собственным взглядом на течение тогдашних дел; но и эти еще тогда не ворчали; даже улыбались.

Я помню, образовался тогда как-то сам собою довольно обширный кружок, центр которого пожалуй и вправду что находился в губернаторском доме. В этом интимном кружке, толпившемся около Юлии Михайловны, конечно между молодежью, позволялось и даже вошло в правило делать разные шалости — действительно иногда довольно развязные. В кружке было несколько даже очень милых дам. Молодежь устраивала

пикники, вечеринки, иногда разъезжали по городу целою кавалькадой, в экипажах и верхами. Искали приключений, даже нарочно подсочиняли и составляли их сами, единственно для веселого анекдота. Город наш третировали они как какой-нибудь город Глупов. Их звали насмешниками или надсмешниками, потому что они мало чем брезгали. Случилось, например, что жена одного местного поручика, очень еще молоденькая брюнеточка, хотя и испитая от дурного содержания у мужа, на одной вечеринке, по легкомыслию, села играть в ералаш по большой, в надежде выиграть себе на мантилью, и вместо выигрыша проиграла пятнадцать рублей. Боясь мужа и не имея чем заплатить, она, припомнив прежнюю смелость, решилась потихоньку попросить взаймы, тут же на вечеринке, у сына нашего городского головы, прескверного мальчишки, истаскавшегося не по летам. Тот не только ей отказал, но еще пошел, хохоча вслух, сказать мужу. Поручик, действительно бедовавший на одном только жалованьи, приведя домой супругу, натешился над нею до сыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении. Эта возмутительная история возбудила везде в городе только смех, и хотя бедная поручица и не принадлежала к тому обществу которое окружало Юлию Михайловну, но одна из дам этой „кавалькады“, эксцентричная и бойкая личность, знавшая как-то поручицу, заехала к ней и просто-запросто увезла ее к себе в гости. Тут ее тотчас же захватили наши шалуны, заласкали, задарили и продержали дня четыре не возвращая мужу. Она жила у бойкой дамы и по целым дням разъезжала с нею и со всем разрезвившимся обществом в прогулках по городу, участвовала в увеселениях, в танцах. Ее все подбивали тащить мужа в суд, завести историю. Уверяли что все поддержат ее, пойдут свидетельствовать. Муж молчал, не осмеливаясь бороться. Бедняжка смекнула наконец что закопалась в беду, и еле живая от страха убежала на четвертый день в сумерки от своих покровителей к своему поручику. Неизвестно в точности что̀ произошло между супругами; но две ставни низенького деревянного домика в котором поручик на-

нимал квартиру, не отпирались две недели. Юлия Михайловна посердилась на шалунов, когда обо всем узнала, и была очень недовольна поступком бойкой дамы, хотя та представляла ей же поручицу в первый день ее похищения. Впрочем об этом скоро забыли.

В другой раз, у одного мелкого чиновника, почтенного с виду семьянина, заезжий из другого уезда молодой человек, тоже мелкий чиновник, высватал дочку, семнадцатилетнюю девочку, красотку известную в городе всем. Но вдруг узнали что в первую ночь брака молодой супруг поступил с красоткой весьма невежливо, мстя ей за свою поруганную честь. Лямшин, почти бывший свидетелем дела, потому что на свадьбе запьянствовал и остался в доме ночевать, чуть свет утром обежал всех с веселым известием. Мигом образовалась компания человек в десять, все до одного верхами, иные на наемных казацких лошадях, как например Петр Степанович и Липутин, который несмотря на свою седину, участвовал тогда почти на всех скандальных похождениях нашей ветреной молодежи. Когда молодые показались на улице, на дрожках парой, делая визиты, узаконенные нашим обычаем непременно на другой же день после венца, несмотря ни на какие случайности,— вся эта кавалькада окружила дрожки с веселым смехом и сопровождала их целое утро по городу. Правда, в дома не входили, а ждали на конях у ворот; от особенных оскорблений жениху и невесте удержались, но все-таки произвели скандал. Весь город заговорил. Разумеется все хохотали. Но тут рассердился фон-Лембке и имел с Юлией Михайловной опять оживленную сцену. Та тоже рассердилась чрезвычайно и вознамерилась было отказать шалунам от дому. Но на другой же день всем простила, вследствие увещаний Петра Степановича и нескольких слов Кармазинова. Тот нашел „шутку“ довольно остроумною.

— Это в здешних нравах, сказал он,— по крайней мере характерно и.... смело; и, смотрите, все смеются, а негодуете одна вы.

Но были шалости уже нестерпимые, с известным оттенком.

В городе появилась книгоноша, продававшая евангелие, почтенная женщина, хотя и из мещанского звания. О ней заговорили, потому что о книгоношах только-что появились любопытные отзывы в столичных газетах. Опять тот же плут Лямшин, с помощью одного семинариста, праздношатавшегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы, нарочно пожертвованных для сего случая, как узнали потом, одним весьма почтенным старичком, фамилию которого упускаю, с важным орденом на шее и любившим, по его выражению, „здоровый смех и веселую шутку". Когда бедная женщина стала вынимать святые книги у нас в Гостином ряду, то посыпались и фотографии. Поднялся смех, ропот; толпа стеснилась, стали ругаться, дошло бы и до побоев, если бы не подоспела полиция. Книгоношу заперли в каталашку, и только вечером, стараниями Маврикия Николаевича, с негодованием узнавшего интимные подробности этой гадкой истории, освободили и выпроводили из города. Тут ужь Юлия Михайловна решительно прогнала было Лямшина, но в тот же вечер наши целою компанией привели его к ней, с известием что он выдумал новую особенную штучку на фортепьяно, и уговорили ее лишь выслушать. Штучка в самом деле оказалась забавною, под смешным названием: „Франко-Прусская война". Начиналась она грозными звуками *Марсельезы:*

„Qu'un sang impur abreuve nos sillons!" [1]

Слышался напыщенный вызов, упоение будущими победами. Но вдруг, вместе с мастерски варьированными тактами гимна, где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень близко, послышались гаденькие звуки Mein lieber Augustin [2]. Марсельеза не замечает их, Марсельеза на высшей точке упоения своим величием; но Augustin укрепляется, Augustin все нахальнее, и вот

[1] [„Да напоит нечистая кровь наши борозды!"]
[2] [Мой милый Августин]

такты Augustin как-то неожиданно начинают совпадать с тактами Марсельезы. Та начинает как бы сердиться; она замечает наконец Augustin, она хочет сбросить ее, отогнать как навязчивую ничтожную муху, но Mein lieber Augustin уцепилась крепко; она весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и Марсельеза как-то вдруг ужасно глупеет: она уже не скрывает что раздражена и обижена; это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками:

Pas un pouce de notre terrain, pas une pierre de nos forteresses![1]

Но она уже принуждена петь с Mein lieber Augustin в один такт. Ее звуки как-то глупейшим образом переходят в Augustin, она склоняется, погасает. Изредка лишь, прорывом, послышится опять: „qu'un sang impur...“[2], но тотчас же преобидно перескочит в гаденький вальс. Она смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все.... Но тут уже свирепеет и Augustin: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; Augustin переходит в неистовый рев.... Франко-Прусская война оканчивается. Наши аплодируют, Юлия Михайловна улыбается и говорит: „ну как его прогнать?“ Мир заключен. У мерзавца действительно был талантик. Степан Трофимович уверял меня однажды что самые высокие художественные таланты могут быть ужаснейшими мерзавцами и что одно другому не мешает. Был потом слух что Лямшин украл эту пиеску у одного талантливого и скромного молодого человека, знакомого ему проезжего, который так и остался в неизвестности; но это в сторону. Этот негодяй, который несколько лет вертелся пред Степаном Трофимовичем, представляя на его вечеринках, по востребованию, разных жидков, исповедь глухой бабы или родины ребенка,

[1] [Ни пяди нашей земли, ни единого камня наших крепостей!]
[2] [„Пусть нечистая кровь...“]

теперь уморительно каррикатурил иногда у Юлии Михайловны между прочим и самого Степана Трофимовича, под названием: „Либерал сороковых годов“. Все покатывались со смеху, так что под конец его решительно нельзя было прогнать: слишком нужным стал человеком. К тому же он раболепно заискивал у Петра Степановича, который в свою очередь приобрел к тому времени до странности сильное влияние на Юлию Михайловну....

Но я не заговорил бы об этом мерзавце особливо и не стоил бы он того чтобы на нем останавливаться; но тут произошла одна возмущающая история, в которой он, как уверяют, тоже участвовал, а истории этой я никак не могу обойти в моей хронике.

В одно утро пронеслась по всему городу весть об одном безобразном и возмутительном кощунстве. При входе на нашу огромную рыночную площадь находится ветхая церковь Рождества богородицы, составляющая замечательную древность в нашем древнем городе. У врат ограды издавна помещалась большая икона богоматери, вделанная за решеткой в стену. И вот икона была в одну ночь ограблена, стекло киота выбито, решетка изломана и из венца и ризы было вынуто несколько камней и жемчужин, не знаю очень ли драгоценных. Но главное в том что кроме кражи совершено было бессмысленное, глумительное кощунство: за разбитым стеклом иконы нашли, говорят, утром живую мышь. Положительно известно теперь, четыре месяца спустя, что преступление совершено было каторжным Федькой, но почему-то прибавляют тут и участие Лямшина. Тогда никто не говорил о Лямшине и совсем не подозревали его, а теперь все утверждают что это он впустил тогда мышь. Помню, все наше начальство немного потерялось. Народ толпился у места преступления с утра. Постоянно стояла толпа, хоть и не бог знает какая, но все-таки человек во сто. Одни приходили, другие уходили. Подходившие крестились, прикладывались к иконе; стали подавать, и явилось церковное блюдо, а у блюда монах, и только к трем часам пополудни начальство догадалось что можно народу при-

казать и не останавливаться толпой, а помолившись, приложившись и пожертвовав проходить мимо. На фон-Лембке этот несчастный случай произвел самое мрачное впечатление. Юлия Михайловна, как передавали мне, выразилась потом что с этого зловещего утра она стала замечать в своем супруге то странное уныние, которое не прекращалось у него потом вплоть до самого выезда, два месяца тому назад, по болезни, из нашего города, и кажется сопровождает его теперь и в Швейцарии, где он продолжает отдыхать после краткого, но сильного своего поприща в нашей губернии.

Помню в первом часу пополудни я зашел тогда на площадь; толпа была молчалива и лица важно-угрюмые. Подъехал на дрожках купец, жирный и желтый, вылез из экипажа, отдал земной поклон, приложился, пожертвовал рубль, охая взобрался на дрожки и опять уехал. Подъехала и коляска с двумя нашими дамами в сопровождении двух наших шалунов. Молодые люди (из коих один был уже не совсем молодой) вышли тоже из экипажа и протеснились к иконе, довольно небрежно отстраняя народ. Оба шляп не скинули, а один надвинул на нос пенсне. В народе зароптали, правда, глухо, но неприветливо. Молодец в пенсне вынул из портмоне, туго-набитого кредитками, медную копейку и бросил на блюдо; оба, смеясь и громко говоря, повернулись к коляске. В эту минуту вдруг подскакала в сопровождении Маврикия Николаевича Лизавета Николаевна. Она соскочила с лошади, бросила повод своему спутнику, оставшемуся по ее приказанию на коне, и подошла к образу именно в то время когда брошена была копейка. Румянец негодования залил ее щеки; она сняла свою круглую шляпу, перчатки, упала на колени пред образом, прямо на грязный тротуар, и благоговейно положила три земных поклона. Затем вынула свой портмоне, но так как в нем оказалось только несколько гривенников, то мигом сняла свои бриллиантовые серьги и положила на блюдо.

— Можно, можно? На украшение ризы? вся в волнении спросила она монаха.

— Позволительно, отвечал тот; всякое даяние благо.

Народ молчал, не выказывая ни порицания, ни одобрения. Лизавета Николаевна села на коня в загрязненном своем платье и ускакала.

II.

Два дня спустя после сейчас описанного случая, я встретил ее в многочисленной компании, отправлявшейся куда-то в трех колясках, окруженных верховыми. Она поманила меня рукой, остановила коляску и настоятельно потребовала чтоб я присоединился к их обществу. В коляске нашлось мне место, и она отрекомендовала меня смеясь своим спутницам, пышным дамам, а мне пояснила что все отправляются в чрезвычайно интересную экспедицию. Она хохотала и казалась что-то ужь не в меру счастливою. В самое последнее время она стала весела как-то до резвости. Действительно предприятие было эксцентрическое: все отправлялись за реку, в дом купца Севостьянова, у которого во флигеле, вот ужь лет с десять, проживал на покое, в довольстве и в холе, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и даже в столицах Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно заезжие, добиваясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. Пожертвования, иногда значительные, если не распоряжался ими тут же сам Семен Яковлевич, были набожно отправляемы в храм божий и по преимуществу в наш Богородский монастырь; от монастыря с этою целью постоянно дежурил при Семене Яковлевиче монах. Все ожидали большого веселия. Никто из этого общества еще не видал Семена Яковлевича. Один Лямшин был у него когда-то прежде и уверял теперь что тот велел его прогнать метлой и пустил ему вслед собственною рукой двумя большими вареными картофелинами. Между верховыми я заметил и Петра Степановича, опять на наемной казацкой лошади, на которой он весьма скверно держался, и Николая Всеволодовича, тоже верхом. Этот не уклонялся от всеобщих увеселений и в таких случаях всегда имел прилично веселую мину, хотя попрежнему говорил мало и редко. Когда экспедиция поравнялась, спу-

скаясь к мосту, с городскою гостиницей, кто-то вдруг объявил что в гостинице, в нумере, сейчас только нашли застрелившегося проезжего и ждут полицию. Тотчас же явилась мысль посмотреть на самоубийцу. Мысль поддержали; наши дамы никогда не видали самоубийц. Помню, одна из них сказала тут же вслух что „все так ужь прискучило что нечего церемониться с развлечениями, было бы занимательно“. Только немногие остались ждать у крыльца; остальные же гурьбой вошли в грязный корридор, и между прочими я к удивлению увидал и Лизавету Николаевну. Нумер застрелившегося был отперт, и разумеется нас не посмели не пропустить. Это был еще молоденький мальчик, лет девятнадцати, никак не более, очень должно-быть хорошенький собой, с густыми белокурыми волосами, с правильным овальным обликом, с чистым прекрасным лбом. Он уже окоченел, и беленькое личико его казалось как будто из мрамора. На столе лежала записка, его рукой, чтобы не винили никого в его смерти и что он застрелился потому что „прокутил“ четыреста рублей. Слово прокутил так и стояло в записке: в четырех ее строчках нашлось три грамматических ошибки. Тут особенно охал над ним какой-то повидимому сосед его, толстый помещик, стоявший в другом нумере по своим делам. Из слов того оказалось что мальчик отправлен был семейством, вдовою матерью, сестрами и тетками, из деревни их в город, чтобы, под руководством проживавшей в городе родственницы, сделать разные покупки для приданого старшей сестры, выходившей замуж, и доставить их домой. Ему вверили эти четыреста рублей, накопленные десятилетиями, охая от страху и напутствуя его бесконечными назиданиями, молитвами и крестами. Мальчик доселе был скромен и благонадежен. Приехав три дня тому назад в город, он к родственнице не явился, остановился в гостинице и пошел прямо в клуб, в надежде отыскать где-нибудь в задней комнате какого-нибудь заезжего банкомета или по крайней мере стуколку. Но стуколки в тот вечер не было, банкомета тоже. Возвратясь в нумер уже около полуночи, он потребовал шампанского, гаванских сигар и заказал ужин из

шести или семи блюд. Но от шампанского опьянел, от сигары его стошнило, так что до внесенных кушаний и не притронулся, а улегся спать чуть не без памяти. Проснувшись на завтра, свежий как яблоко, тотчас же отправился в цыганский табор, помещавшийся за рекой в слободке, о котором услыхал вчера в клубе, и в гостинницу не являлся два дня. Наконец вчера, часам к пяти пополудни, прибыл хмельной, тотчас лег спать и проспал до десяти часов вечера. Проснувшись спросил котлетку, бутылку шато-дикему и винограду, бумаги, чернил и счет. Никто не заметил в нем ничего особенного; он был спокоен, тих и ласков. Должно-быть он застрелился еще около полуночи, хотя странно что никто не слыхал выстрела, а хватились только сегодня в час пополудни, и не достучавшись, выломали дверь. Бутылка шато-дикему была на половину опорожнена, винограду оставалось тоже с полтарелки. Выстрел был сделан из трехствольного маленького револьвера прямо в сердце. Крови вытекло очень мало; револьвер выпал из рук на ковер. Сам юноша полулежал в углу на диване. Смерть должно-быть произошла мгновенно; никакого смертного мучения не замечалось в лице; выражение было спокойное, почти счастливое, только-бы жить. Все наши рассматривали с жадным любопытством. Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз — и даже кто-бы вы ни были. Наши дамы рассматривали молча, спутники же отличались остротой ума и высшим присутствием духа. Один заметил что это наилучший исход, и что умнее мальчик и не мог ничего выдумать; другой заключил что хоть миг да хорошо пожил. Третий вдруг брякнул: почему у нас так часто стали вешаться и застреливаться,— точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул? На резонера неприветливо посмотрели. За то Лямшин, ставивший себе за честь роль шута, стянул с тарелки кисточку винограду, за ним смеясь другой, а третий протянул было руку и к шато-дикему. Но остановил прибывший полицеймейстер, и даже, сгоряча конечно, попросил „очистить комнату“. Так как все уже нагляделись, то тотчас же без спору и вышли, хотя Лям-



шин и пристал было с чем-то к полицеймейстеру. Всеобщее веселье, смех и резвый говор в остальную половину дороги почти вдвое оживились.

Прибыли к Семену Яковлевичу ровно в час пополудни. Ворота довольно большого купеческого дома стояли настежь, и доступ во флигель был открыт. Тотчас же узнали что Семен Яковлевич изволит обедать, но принимает. Вся наша толпа вошла разом. Комната в которой принимал и обедал блаженный была довольно просторная, в три окна, и разгорожена поперег на две равные части деревянною решеткой от стены до стены, по пояс высотой. Обыкновенные посетители оставались за решеткой, а счастливцы допускались, по указанию блаженного, чрез дверцы решетки в его половину, и он сажал их, если хотел, на свои старые кожаные кресла и на диван; сам же заседал неизменно в старинных истертых вольтеровских креслах. Это был довольно большой, одутловатый, желтый лицом человек, лет пятидесяти пяти, белокурый и лысый, с жидкими волосами, бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большою бородавкой близь левой ноздри, с узенькими глазками и спокойным, солидным, заспанным выражением лица. Одет был по-немецки, в черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубашка; ноги, кажется, больные, держал в туфлях. Я слышал что когда-то он был чиновником и имеет чин. Он только-что откушал уху из легкой рыбки и принялся за второе свое кушанье — картофель в мундире с солью. Другого ничего и никогда не вкушал; пил только много чаю, которого был любителем. Около него сновало человека три прислуги, содержавшейся от купца; один из слуг был во фраке, другой похож на артельщика, третий на причетника. Был еще и мальчишка лет шестнадцати, весьма резвый. Кроме прислуги присутствовал и почтенный седой монах с кружкой, немного слишком полный. На одном из столов кипел огромнейший самовар, и стоял поднос чуть не с двумя дюжинами стаканов. На другом столе, противоположном, помещались приношения: несколько

голов и фунтиков сахару, фунта два чаю, пара вышитых туфлей, фуляровый платок, отрезок сукна, штука холста и пр. Денежные пожертвования почти все поступали в кружку монаха. В комнате было людно — человек до дюжины одних посетителей, из коих двое сидели у Семена Яковлевича за решеткой; то были седенький старичок, богомолец, из „простых“, и один маленький, сухенький захожий монашек, сидевший чинно и потупив очи. Прочие посетители все стояли по сю сторону решетки, все тоже больше из простых, кроме одного толстого купца, приезжего из уездного города, бородача одетого порусски, но которого знали за стотысячника; одной пожилой и убогой дворянки и одного помещика. Все ждали своего счастия, не осмеливаясь заговорить сами. Человека четыре стояли на коленях, но всех более обращал на себя внимание помещик, человек толстый, лет сорока пяти, стоявший на коленях у самой решетки, ближе всех на виду и с благоговением ожидавший благосклонного взгляда или слова Семена Яковлевича. Стоял он уже около часу, а тот все не замечал.

Наши дамы стеснились у самой решетки, весело и смешливо шушукая. Стоявших на коленях и всех других посетителей оттеснили или заслонили, кроме помещика, который упорно остался на виду, ухватясь даже руками за решетку. Веселые и жадно-любопытные взгляды устремились на Семена Яковлевича, равно как лорнеты, пенсне и даже бинокли; Лямшин по крайней мере рассматривал в бинокль. Семен Яковлевич спокойно и лениво окинул всех своими маленькими глазками.

— Миловзоры! миловзоры! изволил он выговорить сиплым баском и с легким восклицанием.

Все наши засмеялись: „Что̀ значит миловзоры?“ Но Семен Яковлевич погрузился в молчание и доедал свой картофель. Наконец утерся салфеткой, и ему подали чаю.

Кушал он чай обыкновенно не один, а наливал и посетителям, но далеко не всякому, обыкновенно указывая сам кого из них осчастливить. Распоряжения эти всегда поражали своею неожиданностью. Минуя богачей и сановников, приказывал иногда подавать мужику или какой-нибудь ветхой старушонке;

другой раз, минуя нищую братию, подавал какому-нибудь одному жирному купцу-богачу. Наливалось тоже разно, одним в накладку, другим в прикуску, а третьим и вовсе без сахара. На этот раз осчастливлены были захожий монашек стаканом в накладку, и старичок богомолец, которому дали совсем без сахара. Толстому же монаху с кружкой из монастыря почему-то не поднесли вовсе, хотя тот, до сих пор, каждый день получал свой стакан.

— Семен Яковлевич, скажите мне что-нибудь, я так давно желала с вами познакомиться, пропела с улыбкой и прищуриваясь та пышная дама из нашей коляски которая заметила давеча что с развлечениями нечего церемониться, было бы занимательно. Семен Яковлевич даже не поглядел на нее. Помещик стоявший на коленях звучно и глубоко вздохнул, точно приподняли и опустили большие мехи.

— В накладку! указал вдруг Семен Яковлевич на купца стотысячника; тот выдвинулся вперед и стал рядом с помещиком.

„Еще ему сахару!“ приказал Семен Яковлевич, когда уже налили стакан; положили еще порцию. „Еще, еще ему!“ Положили еще в третий раз и наконец в четвертый. Купец беспрекословно стал пить свой сироп.

— Господи! зашептал и закрестился народ. Помещик опять звучно и глубоко вздохнул.

— Батюшка! Семен Яковлевич! раздался вдруг горестный, но резкий до того что трудно было и ожидать, голос убогой дамы, которую наши оттерли к стене.— Целый час, родной, благодати ожидаю. Изреки ты мне, рассуди меня сироту.

— Спроси, указал Семен Яковлевич слуге причетнику. Тот подошел к решетке:

— Исполнили ли то что̀ приказал в прошлый раз Семен Яковлевич? спросил он вдову тихим и размеренным голосом.

— Какое, батюшка Семен Яковлевич, исполнила, исполнишь с ними! завопила вдова,— людоеды, просьбу на меня в окружной подают, в сенат грозят; это на родную-то мать!..

— Дать ей!... указал Семен Яковлевич на голову сахару. Мальчишка подскочил, схватил голову и потащил ко вдове.

— Ох, батюшка, велика твоя милость. И куда мне столько? завопила было вдовица.

— Еще, еще! награждал Семен Яковлевич.

Притащили еще голову. „Еще, еще“, приказывал блаженный: принесли третью и наконец четвертую. Вдовицу обставили сахаром со всех сторон. Монах от монастыря вздохнул: все это бы сегодня же могло попасть в монастырь, по прежним примерам.

— Да куда мне столько? приниженно охала вдовица,— стошнит одну-то!... Да ужь не пророчество ли какое, батюшка?

— Так и есть, пророчество, проговорил кто-то в толпе.

— Еще ей фунт, еще! не унимался Семен Яковлевич.

На столе оставалась еще целая голова, но Семен Яковлевич указал подать фунт, и вдове подали фунт.

— Господи, господи! вздыхал и крестился народ.— Видимое пророчество.

— Усладите вперед сердце ваше добротой и милостию и потом уже приходите жаловаться на родных детей, кость от костей своих, вот что̀, должно полагать, означает эмблема сия, тихо, но самодовольно проговорил толстый, но обнесенный чаем монах от монастыря, в припадке раздраженного самолюбия взяв на себя толкование.

— Да что̀ ты, батюшка, озлилась вдруг вдовица,— да они меня на аркане в огонь тащили, когда у Верхишиных загорелось. Они мне мертву кошку в укладку заперли, то-есть всякое-то бесчинство готовы....

— Гони, гони! вдруг замахал руками Семен Яковлевич.

Причетник и мальчишка выврались за решетку. Причетник взял вдову под руки, и она, присмирев, потащилась к дверям, озираясь на дареные сахарные головы, которые за нею поволок мальчишка.

— Одну отнять, отними! приказал Семен Яковлевич остававшемуся при нем артельщику. Тот бросился за уходившими, и все трое слуг воротились через несколько времени, неся

обратно раз подаренную и теперь отнятую у вдовицы одну голову сахару; она унесла однако же три.

— Семен Яковлевич, раздался чей-то голос сзади у самых дверей,— видел я во сне птицу, галку, вылетела из воды и полетела в огонь. Что̀ сей сон значит?

— К морозу, произнес Семен Яковлевич.

— Семен Яковлевич, что̀ же вы мне-то ничего не ответили, я так давно вами интересуюсь, начала было опять наша дама.

— Спроси, указал вдруг, не слушая ее, Семен Яковлевич на помещика стоявшего на коленях.

Монах от монастыря, которому указано было спросить, степенно подошел к помещику.

— Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить?

— Не драться, рукам воли не давать, сипло отвечал помещик.

— Исполнили? спросил монах.

— Не могу выполнить, собственная сила одолевает.

— Гони, гони! Метлой его, метлой! замахал руками Семен Яковлевич. Помещик, не дожидаясь исполнения кары, вскочил и бросился вон из комнаты.

— На месте златницу оставили, провозгласил монах, подымая с полу полуимпериал.

— Вот кому! ткнул пальцем на стотысячника купца Семен Яковлевич. Стотысячник не посмел отказаться и взял.

— Злато к злату, не утерпел монах от монастыря.

— А этому в накладку, указал вдруг Семен Яковлевич на Маврикия Николаевича. Слуга налил чаю и поднес было ошибкой франту в пенсне.

— Длинному, длинному, поправил Семен Яковлевич.

Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему все наши так и покатились со смеху.

— Маврикий Николаевич! обратилась к нему вдруг Лиза; — тот господин на коленях ушел, станьте на его место на колени.

Маврикий Николаевич в недоумении посмотрел на нее.

— Прошу вас, вы сделаете мне большое удовольствие. Слушайте, Маврикий Николаевич, начала она вдруг настойчивою, упрямою, горячею скороговоркой,— непременно станьте, я хочу непременно видеть как вы будете стоять. Если не станете — и не приходите ко мне: Непременно хочу, непременно хочу!...

Я не знаю что̀ она хотела этим сказать; но она требовала настойчиво, неумолимо, точно была в припадке. Маврикий Николаевич растолковывал, как увидим ниже, такие капризные порывы ее, особенно частые в последнее время, вспышками слепой к нему ненависти, и не то чтоб от злости,— напротив, она чтила, любила и уважала его, и он сам это знал,— а от какой-то особенной бессознательной ненависти, с которою она никак не могла справиться минутами.

Он молча передал чашку какой-то сзади него стоявшей старушонке, отворил дверцу решетки, без приглашения шагнул в интимную половину Семена Яковлевича и стал среди комнаты на колени, на виду у всех. Думаю что он слишком был потрясен в деликатной и простой душе своей грубою, глумительною выходкой Лизы, в виду всего общества. Может-быть ему подумалось что ей станет стыдно за себя, видя его унижение, на котором она так настаивала. Конечно, никто не решился бы исправлять таким наивным и рискованным способом женщину, кроме него. Он стоял на коленях с своею невозмутимою важностью в лице, длинный, нескладный, смешной. Но наши не смеялись; неожиданность поступка произвела болезненный эффект. Все глядели на Лизу.

— Елей, елей! пробормотал Семен Яковлевич.

Лиза вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку. Тут произошла быстрая, истерическая сцена: она изо всех сил стала подымать Маврикия Николаевича с колен, дергая его обеими своими руками за локоть.

— Вставайте, вставайте! вскрикивала она как без памяти,— встаньте сейчас, сейчас! Как вы смели стать!

Маврикий Николаевич приподнялся с колен. Она стиснула

своими руками его руки выше локтей и пристально смотрела ему в лицо. Страх был в ее взгляде.

— Миловзоры, миловзоры! повторил еще раз Семен Яковлевич.

Она втащила наконец Маврикия Николаевича обратно за решетку; во всей нашей толпе произошло сильное движение. Дама из нашей коляски, вероятно желая перебить впечатление, в третий раз звонко и визгливо вопросила Семена Яковлевича, попрежнему с жеманною улыбкой:

— Что же, Семен Яковлевич, неужто не „изречете" и мне чего-нибудь? А я так много на вас расчитывала.

— В... тебя, в.... тебя!... произнес вдруг, обращаясь к ней, Семен Яковлевич крайне нецензурное словцо. Слова сказаны были свирепо и с ужасающею отчетливостью. Наши дамы взвизгнули и бросились стремглав бегом вон, кавалеры гомерически захохотали. Тем и кончилась наша поездка к Семену Яковлевичу.

И однако же тут, говорят, произошел еще один чрезвычайно загадочный случай и, признаюсь, для него-то более я и упомянул так подробно об этой поездке.

Говорят что когда все гурьбой бросились вон, то Лиза, поддерживаемая Маврикием Николаевичем, вдруг столкнулась в дверях, в тесноте, с Николаем Всеволодовичем. Надо сказать, со времени воскресного утра и обморока, они оба хоть и встречались не раз, но друг к другу не подходили и ничего между собою не сказали. Я видел как они столкнулись в дверях: мне показалось что они оба на мгновение приостановились и как-то странно друг на друга поглядели. Но я мог худо видеть в толпе. Уверяли, напротив, и совершенно серьезно что Лиза взглянув на Николая Всеволодовича, быстро подняла кулак, так-таки вровень с его лицом и наверно бы ударила еслибы тот не успел отстраниться. Может-быть ей не понравилось выражение лица его или какая-нибудь усмешка его, особенно сейчас, после такого эпизода с Маврикием Николаевичем. Признаюсь, я сам не видел ничего, но за то все уверяли что видели, хотя все-то ужь никак не могли этого уви-

дать за суматохой, а разве иные. Только я этому тогда не поверил. Помню однако что Николай Всеволодович во всю обратную дорогу был несколько бледен.

III.

Почти в то же время и именно в этот же самый день состоялось наконец и свидание Степана Трофимовича с Варварой Петровной, которое та давно держала в уме и давно уже возвестила о нем своему бывшему другу, но почему-то до сих пор все откладывала. Оно произошло в Скворешниках. Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом, вся в хлопотах: накануне определено было окончательно что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Но Варвара Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме что после праздника никто не помешает ей дать свой особый праздник, уже в Скворешниках, и снова созвать весь город. Тогда все могли бы убедиться на деле чей дом лучше и где умеют лучше принять и с бо̀льшим вкусом дать бал. Вообще ее узнать нельзя было. Казалось она точно переродилась и из прежней недоступной „высшей дамы" (выражение Степана Трофимовича) обратилась в самую обыкновенную, взбалмошную светскую женщину. Впрочем это только могло казаться.

Прибыв в пустой дом, она обошла комнаты в сопровождении верного и старинного Алексея Егоровича и Фомушки, человека видавшего виды и специалиста по декоративному делу. Начались советы и соображения: что̀ из мебели перенести из городского дома; какие вещи, картины; где их расставить; как всего удобнее распорядиться оранжереей и цветами; где сделать новые драпри, где устроить буфет и один или два? и пр. и пр. И вот, среди самых горячих хлопот, ей вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем.

Тот был уже давно извещен и готов и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. Садясь в карету он перекрестился; решалась судьба его. Он застал своего друга в большой зале, на маленьком диванчике в нише, пред малень-

ким мраморным столиком, с карандашом и бумагой в руках: Фомушка вымеривал аршином высоту хор и окон, а Варвара Петровна сама записывала цифры и делала на полях отметки. Не отрываясь от дела, она кивнула головой в сторону Степана Трофимовича, и когда тот пробормотал какое-то приветствие, подала ему наскоро руку и указала, не глядя, подле себя место.

— Я сидел и ждал минут пять, „сдавив мое сердце", рассказывал он мне потом.— Я видел не ту женщину, которую знал двадцать лет. Полнейшее убеждение что всему конец, придало мне силы, изумившие даже ее. Клянусь, она была удивлена моею стойкостью в этот последний час.

Варвара Петровна вдруг положила карандаш на столик и быстро повернулась к Степану Трофимовичу.

— Степан Трофимович, нам надо говорить о деле. Я уверена что вы приготовили все ваши пышные слова и разные словечки, но лучше бы к делу прямо, не так ли?

Его передернуло. Она слишком спешила заявить свой тон, что̀ же могло быть далее?

— Подождите, молчите, дайте мне сказать, потом вы, хотя право не знаю что̀ бы вы могли мне ответить? продолжала она быстрою скороговоркой.— Тысячу двести рублей вашего пенсиона я считаю моею священною обязанностью до конца вашей жизни; то-есть зачем священною обязанностью, просто договором, это будет гораздо реальнее, не так ли? Если хотите мы напишем. На случай моей смерти сделаны особые распоряжения. Но вы получаете от меня теперь сверх того квартиру и прислугу и все содержание. Переведем это на деньги, будет тысяча пятьсот рублей, не так ли? Кладу еще экстренных триста рублей, итого полных три тысячи. Довольно с вас в год? Кажется не мало? В самых экстренных случаях я впрочем буду набавлять. Итак, возьмите деньги, пришлите мне моих людей и живите сами по себе где хотите, в Петербурге, в Москве, за границей, или здесь, только не у меня. Слышите?

— Недавно так же настойчиво и так же быстро передано было мне из тех же уст другое требование, медленно и с

грустною отчетливостью проговорил Степан Трофимович.— Я смирился и.... плясал казачка вам в угоду. Oui, la comparaison peut être permise. C'était comme un petit cozak du Don, qui sautait sur sa propre tombe[1]. Теперь....

— Остановитесь, Степан Трофимович. Вы ужасно многоречивы. Вы не плясали, а вы вышли ко мне в новом галстуке, белье, в перчатках, напомаженный и раздушенный. Уверяю вас что вам очень хотелось самому жениться; это было на вашем лице написано, и поверьте, выражение самое неизящное. Если я не заметила вам тогда же, то единственно из деликатности. Но вы желали, вы желали жениться, несмотря на мерзости которые вы писали интимно обо мне и о вашей невесте. Теперь вовсе не то. И к чему тут Cozak du Don[2] над какою-то вашею могилой? Не понимаю что̀ за сравнение. Напротив, не умирайте, а живите; живите как можно больше, я очень буду рада.

— В богадельне?

— В богадельне? В богадельню нейдут с тремя тысячами дохода. Ах, припоминаю, усмехнулась она;— в самом деле, Петр Степанович как-то расшутился раз о богадельне. Ба, это действительно особенная богадельня, о которой стоит подумать. Это для самых почтенных особ, там есть полковники, туда даже теперь хочет один генерал. Если вы поступите со всеми вашими деньгами, то найдете покой, довольство, служителей. Вы там будете заниматься науками и всегда можете составить партию в преферанс....

— Passons[3].

— Passons? покоробило Варвару Петровну.— Но в таком случае все; вы извещены, мы живем с этих пор совершенно порознь.

— И все? Все что̀ осталось от двадцати лет? Последнее прощание наше?

[1] [Да, сравнение допустимо. Это был как бы донской казачок, отплясывающий трепака на собственной могиле.]

[2] [донской казак]

[3] [Мимо.]

— Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши двадцать лет! Двадцать лет обоюдного самолюбия и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг, а дружба — это только прославленное слово, в сущности: взаимное излияние помой....

— Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки! И на вас уже надели они свой мундир! Вы тоже в радости, вы тоже на солнце; chère, chère[1], за какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу!

— Я не попугай чтобы повторять чужие слова, вскипела Варвара Петровна.— Будьте уверены что у меня свои слова накопились. Что̀ сделали вы для меня в эти двадцать лет? Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными. Что̀ давали вы мне читать когда я, в первые годы, просила вас руководить меня? Все Капфиг да Капфиг. Вы ревновали даже к моему развитию и брали меры. А между тем над вами же все смеются. Признаюсь, я всегда вас считала только за критика; вы литературный критик и ничего более. Когда дорогой в Петербург я вам объявила что намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг ужасно высокомерны.

— Это было не то, не то... мы тогда боялись преследований...

— Это было то самое, а преследований в Петербурге вы ужь никак не могли бояться. Помните потом в феврале, когда пронеслась весть, вы вдруг прибежали ко мне перепуганный и стали требовать чтоб я тотчас же дала вам удостоверение, в виде письма, что затеваемый журнал до вас совсем не касается, что молодые люди ходят ко мне, а не к вам, а что вы только домашний учитель, который живет в доме, потому что ему еще не додано жалованье, не так ли? Помните это

[1] [дорогая, дорогая]

вы? Вы отменно отличались всю вашу жизнь, Степан Трофимович.

— Это была только одна минута малодушия, минута глаз на глаз, горестно воскликнул он,— но неужели, неужели же все порвать из-за таких мелких впечатлений? Неужели же ничего более не уцелело между нами за столь долгие годы?

— Вы ужасно расчетливы: вы все хотите так сделать, чтоб я еще оставалась в долгу. Когда вы воротились из-за границы, вы смотрели предо мною свысока и не давали мне выговорить слова, а когда я сама поехала и заговорила с вами потом о впечатлении после Мадонны, вы не дослушали и высокомерно стали улыбаться в свой галстук, точно я ужь не могла иметь таких же точно чувств как и вы.

— Это было не то, вероятно не то.... J'ai oublié[1].

— Нет, это было то самое, да и хвалиться-то было нечем предо мною, потому что все это вздор и одна только ваша выдумка. Нынче никто, никто ужь Мадонной не восхищается и не теряет на это времени, кроме закоренелых стариков. Это доказано.

— Уж и доказано?

— Она совершенно ни к чему не служит. Эта кружка полезна, потому что в нее можно влить воды; этот карандаш полезен, потому что им можно все записать, а тут женское лицо хуже всех других лиц в натуре. Попробуйте нарисовать яблоко и положите тут же рядом настоящее яблоко — которое вы возьмете? Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши теории, только что озарил их первый луч свободного исследования.

— Так, так.

— Вы усмехаетесь иронически. А что̀ например говорили вы мне о милостыне? А между тем наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властию и сравнением своего значения с значением нищего. Милостыня развращает и подаю-

[1] [Я позабыл.]

щего и берущего и сверх того не достигает цели, потому что только усиливает нищенство. Лентяи не желающие работать толпятся около дающих как игроки у игорного стола надеясь выиграть. А межь тем жалких грошей которые им бросают не достает и на сотую долю. Много ль вы роздали в вашу жизнь? Гривен восемь не более, припомните-ка. Постарайтесь вспомнить когда вы подавали в последний раз; года два назад, а пожалуй четыре будет. Вы кричите и только делу мешаете. Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена. В новом устройстве совсем не будет бедных.

— О, какое извержение чужих слов! Так ужь и до нового устройства дошло? Несчастная, помоги вам бог!

— Да, дошло, Степан Трофимович; вы тщательно скрывали от меня все новые идеи, теперь всем уже известные, и делали это единственно из ревности, чтоб иметь надо мною власть. Теперь даже эта Юлия на сто верст впереди меня. Но теперь и я прозрела. Я защищала вас, Степан Трофимович, сколько могла; вас решительно все обвиняют.

— Довольно! поднялся было он с места,— довольно! И что̀ еще пожелаю вам, неужто раскаяния?

— Сядьте на минуту, Степан Трофимович, мне надо еще вас спросить. Вам передано было приглашение читать на литературном утре; это чрез меня устроилось. Скажите что̀ именно вы прочтете?

— А вот именно об этой царице цариц, об этом идеале человечества, Мадонне Сикстинской, которая не сто̀ит, по вашему, стакана или карандаша.

— Так вы не из истории? горестно изумилась Варвара Петровна.— Но вас слушать не будут. Далась же вам эта Мадонна! Ну что̀ за охота если вы всех усыпите? Будьте уверены, Степан Трофимович, что я единственно в вашем интересе говорю. То ли дело если бы вы взяли какую-нибудь коротенькую, но занимательную средневековую придворную историйку, из испанской истории, или лучше сказать, один анекдот и наполнили бы его еще анекдотами и острыми сло-

вечками от себя. Там были пышные дворы, там были такие дамы, отравления. Кармазинов говорит что странно будет если ужь и из испанской истории не прочесть чего-нибудь занимательного?

— Кармазинов, этот исписавшийся глупец, ищет для меня темы!

— Кармазинов, этот почти государственный ум! Вы слишком дерзки на язык, Степан Трофимович.

— Ваш Кармазинов, это старая, исписавшаяся, обозленная баба! Chère, chère[1], давно ли вы так поработились ими, о, боже!

— Я и теперь его терпеть не могу за важничание, но я отдаю справедливость и его уму. Повторяю, я защищала вас изо всех сил, сколько могла. И к чему непременно заявлять себя смешным и скучным? Напротив, выйдите на эстраду с почтенною улыбкой, как представитель прошедшего века, и раскажите три анекдота, со всем вашим остроумием, так как вы только умеете иногда расказать. Пусть вы старик, пусть вы отжившего века, пусть наконец отстали от них; но вы сами с улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят что вы милый, добрый, остроумный обломок... Одним словом, человек старой соли и настолько передовой что сам способен оценить во что̀ следует все безобразие иных понятий, которым до сих пор он следовал. Ну сделайте мне удовольствие, я вас прошу.

— Chère, довольно! Не просите, не могу. Я прочту о Мадонне, но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня!

— Наверно одного вас, Степан Трофимович.

— Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее который первый взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и... пищеварения. Пусть прогремит мое проклятие, и тогда, тогда...

[1] [Дорогая, дорогая]

— В сумашедший дом?

— Может-быть. Но во всяком случае, останусь ли я побежденным или победителем, я в тот же вечер возьму мою суму, нищенскую суму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания будущих благ и уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером, либо умереть где-нибудь с голоду под забором. Я сказал. Alea jacta est![1]

Он приподнялся снова.

— Я была уверена, поднялась засверкав глазами Варвара Петровна,— уверена уже годы что вы именно на то только и живете, чтобы под конец опозорить меня и мой дом клеветой! Что вы хотите сказать вашим гувернерством у купца или смертью под забором? Злость, клевета и ничего больше!

— Вы всегда презирали меня; но я кончу как рыцарь верный моей даме, ибо ваше мнение было мне всегда дороже всего. С этой минуты не принимаю ничего, а чту бескорыстно.

— Как это глупо!

— Вы всегда не уважали меня. Я мог иметь бездну слабостей. Да, я вас объедал; я говорю языком нигилизма; но объедать никогда не было высшим принципом моих поступков. Это случилось так, само собою, я не знаю как... Я всегда думал что между нами остается нечто высшее еды, и — никогда, никогда не был я подлецом! Итак, в путь, чтобы поправить дело! В поздний путь, на дворе поздняя осень, туман лежит над полями, мерзлый, старческий иней покрывает будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле.... Но в путь, в путь, в новый путь:

„Полон чистою любовью,
Верен сладостной мечте....“

О, прощайте мечты мои! Двадцать лет! Alea jacta est.

Лицо его было обрызгано прорвавшимися вдруг слезами; он взял свою шляпу.

[1] [Жребий брошен!]

— Я ничего не понимаю по-латыни, проговорила Варвара Петровна, изо всех сил скрепляя себя.

Кто знает, может-быть ей тоже хотелось заплакать, но негодование и каприз еще раз взяли верх:

— Я знаю только одно, именно что все это шалости. Никогда вы не в состоянии исполнить ваших угроз полных эгоизма. Никуда вы не пойдете, ни к какому купцу, а преспокойно кончите у меня на руках, получая пенсион и собирая ваших ни на что не похожих друзей по вторникам. Прощайте, Степан Трофимович.

— Alea jacta est! глубоко поклонился он ей и воротился домой еле живой от волнения.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Петр Иванович в хлопотах.

I.

День праздника был назначен окончательно, а фон-Лембке становился все грустнее и задумчивее. Он был полон странных и зловещих предчувствий, и это сильно беспокоило Юлию Михайловну. Правда, не все обстояло благополучно. Прежний мягкий губернатор наш оставил управление не совсем в порядке; в настоящую минуту надвигалась холера; в иных местах объявился сильный скотский падеж; все лето свирепствовали по городам и селам пожары, а в народе все сильнее и сильнее укоренялся глупый ропот о поджогах. Грабительство возросло вдвое против прежних размеров. Но все бы это, разумеется, было более чем обыкновенно, еслибы при этом не было других более веских причин, нарушавших спокойствие доселе счастливого Андрея Антоновича.

Всего более поражало Юлию Михайловну что он с каждым днем становился молчаливее и, странное дело, скрытнее. И чего бы, кажется, ему было скрывать? Правда, он редко ей возражал и большею частию совершенно повиновался. По ее настоянию были, например, проведены две или три меры, чрезвычайно рискованные и чуть ли не противозаконные, в видах усиления губернаторской власти. Было сделано несколько зловещих потворств с тою же целию; люди, например, достой-

ные суда и Сибири, единственно по ее настоянию, были представлены к награде. На некоторые жалобы и запросы положено было систематически не отвечать. Все это обнаружилось в последствии. Лембке не только все подписывал, но даже и не обсуждал вопроса о мере участия своей супруги в исполнении его собственных обязанностей. За то вдруг начинал временами дыбиться из-за „совершенных пустяков“ и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. Увы! ей было не до того, и от этого произошло много недоумений.

Мне не-стать, да и не сумею я расказывать об иных вещах. Об административных ошибках рассуждать тоже не мое дело, да и всю эту административную сторону я устраняю совсем. Начав хронику, я задался другими задачами. Кроме того многое обнаружится назначенным теперь в нашу губернию следствием, стоит только немножко подождать. Однако все-таки нельзя миновать иных разъяснений.

Но продолжаю о Юлии Михайловне. Бедная дама (я очень сожалею о ней) могла достигнуть всего что̀ так влекло и манило ее (славы и прочего) вовсе без таких сильных и эксцентрических движений какими она задалась у нас с самого первого шага. Но от избытка ли поэзии, от долгих ли грустных неудач первой молодости, она вдруг, с переменой судьбы, почувствовала себя как-то слишком ужъ особенно призванною, чуть ли не помазанною, „над коей вспыхнул сей язык,“ а в языке-то этом и заключалась беда: все-таки ведь он не шиньйон, который может накрыть каждую женскую голову. Но в этой истине всего труднее уверить женщину; напротив, кто захочет поддакивать, тот и успеет, а поддакивали ей в запуски. Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний, в то же время вполне воображая себя оригинальною. Многие мастера погрели около нее руки и воспользовались ее простодушием в краткий срок ее губернаторства. И что̀

за каша выходила тут под видом самостоятельности! Ей нравились и крупное землевладение, и аристократический элемент, и усиление губернаторской власти, и демократический элемент, и новые учреждения, и порядок, и вольнодумство, и социальные идейки, и строгий тон аристократического салона, и развязность чуть не трактирная окружавшей ее молодежи. Она мечтала *дать счастье* и примирить непримиримое, вернее же, соединить всех и все в обожании собственной ее особы. Были у ней и любимцы; Петр Степанович, действуя между прочим грубейшею лестью, ей очень нравился. Но он нравился ей и по другой причине, самой диковинной и самой характерно-рисующей бедную даму: она все надеялась что он укажет ей целый государственный заговор! Как ни трудно это представить, а это было так. Ей почему-то казалось, что в губернии непременно укрывается государственный заговор. Петр Степанович своим молчанием в одних случаях и намеками в других способствовал укоренению ее странной идеи. Она же воображала его в связях со всем что̀ есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие „лаской“ на молодежь для удержания ее на краю,— все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича (в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и других. Никто, никто из них не погибнет, она спасет их всех; она их рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей справедливости, и даже может-быть история и весь русский либерализм благословят ее имя; а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разом.

Но все-таки требовалось чтобы хоть к празднику Андрей Антонович стал посветлее. Надо было непременно его развеселить и успокоить. С этою целию она командировала к нему Петра Степановича, в надежде повлиять на его уныние каким-нибудь ему известным, успокоительным способом. Может-быть даже какими-нибудь сообщениями так-сказать прямо из первых уст. На его ловкость она вполне надеялась. Петр

Степанович уже давно не был в кабинете господина фон-Лембке. Он разлетелся к нему именно в ту самую минуту когда пациент находился в особенно тугом настроении.

II.

Произошла одна комбинация, которую господин фон-Лембке никак не мог разрешить. В уезде (в том самом в котором пировал недавно Петр Степанович) один подпоручик подвергся словесному выговору своего ближайшего командира. Случилось это пред всею ротой. Подпоручик был еще молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощекий. Он не вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то дико наклонив голову; ударил и изо всей силы укусил его в плечо; насилу могли оттащить. Сомнения не было что сошел с ума, по крайней мере обнаружилось что в последнее время он замечен был в самых невозможных странностях. Выбросил, например, из квартиры своей два хозяйские образа и один из них изрубил топором; в своей же комнате разложил на подставках, в виде трех налоев, сочинения Фохта, Молешота и Бюхнера, и пред каждым налоем зажигал восковые церковные свечки. По количеству найденных у него книг можно было заключить что человек он начитанный. Еслиб у него было пятьдесят тысяч франков, то он уплыл бы может-быть на Маркизские острова, как тот „кадет“ о котором упоминает с таким веселым юмором г. Герцен в одном из своих сочинений. Когда его взяли, то в карманах его и в квартире нашли целую пачку самых отчаянных прокламаций.

Прокламации сами по себе тоже дело пустое и, по моему, вовсе не хлопотливое. Мало ли мы их видали. Притом же это были и не новые прокламации: такие же точно, как говорили потом, были недавно рассыпаны в Х—ской губернии, а Липутин, ездивший месяца полтора назад в уезд и в сосед-

нюю губернию, уверял что уже тогда видел там такие же точно листки. Но поразило Андрея Антоновича главное то что управляющий на Шпигулинской фабрике доставил как раз в то же время в полицию две или три пачки совершенно таких же точно листочков как и у подпоручика, подкинутых ночью на фабрике. Пачки были еще и не распакованы, и никто из рабочих не успел прочесть ни одной. Факт был глупенький, но Андрей Антонович усиленно задумался. Дело представлялось ему в неприятно сложном виде.

В этой фабрике Шпигулиных только-что началась тогда та самая „шпигулинская история" о которой так много у нас прокричали и которая с такими вариантами перешла и в столичные газеты. Недели с три назад заболел там и умер один рабочий азиятскою холерой; потом заболело еще несколько человек. Все в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу что у нас были приняты самые удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошенной гостьи. Но фабрику Шпигулиных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. И вот вдруг все стали вопить, что в ней-то и таится корень и рассадник болезни, что на самой фабрике и особенно в помещениях рабочих такая закоренелая нечистота что еслиб и не было совсем холеры, то она должна была бы там сама зародиться. Меры, разумеется, были тотчас же приняты, и Андрей Антонович энергически настоял на немедленном их исполнении. Фабрику очистили недели в три, но Шпигулины неизвестно почему ее закрыли. Один брат Шпигулин постоянно проживал в Петербурге, а другой, после распоряжения начальства об очистке, уехал в Москву. Управляющий приступил к расчету работников и, как теперь оказывается, нагло мошенничал. Работники стали роптать, хотели расчета справедливого, по глупости ходили в полицию, впрочем без большого крика и вовсе уже не так волновались. Вот в это-то время и доставлены были Андрею Антоновичу прокламации от управляющего.

Петр Степанович влетел в кабинет не доложившись, как

добрый друг и свой человек, да и к тому же с поручением от Юлии Михайловны. Увидев его, фон-Лембке угрюмо нахмурился и неприветливо остановился у стола. До этого он расхаживал по кабинету и толковал о чем-то глаз на глаз с чиновником своей канцелярии Блюмом, чрезвычайно неуклюжим и угрюмым Немцем, которого привез с собой из Петербурга, несмотря на сильнейшую оппозицию Юлии Михайловны. Чиновник при входе Петра Степановича отступил к дверям, но не вышел. Петру Степановичу даже показалось что он как-то знаменательно переглянулся с своим начальником.

— Ого, поймал-таки вас; скрытный градоначальник! возопил смеясь Петр Степанович и накрыл ладонью лежавшую на столе прокламацию,— это умножит вашу коллекцию, а?

Андрей Антонович вспыхнул. Что-то вдруг как бы перекосилось в его лице.

— Оставьте, оставьте сейчас! вскричал он, вздрогнув от гнева,— и не смейте.... сударь....

— Чего вы так? Вы кажется сердитесь?

— Позвольте вам заметить, милостивый государь, что я вовсе не намерен отселе терпеть вашего sans façon [1] и прошу вас припомнить....

— Фу чорт, да ведь он и в самом деле!

— Молчите же, молчите! затопал по ковру ногами фон-Лембке,— и не смейте....

Бог знает до чего бы дошло. Увы, тут было еще одно обстоятельство, помимо всего, совсем неизвестное ни Петру Степановичу, ни даже самой Юлии Михайловне. Несчастный Андрей Антонович дошел до такого расстройства что, в последние дни, про себя стал ревновать свою супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты.

— А я думал, если человек два дня сряду за полночь читает вам наедине свой роман и хочет вашего мнения, то ужь

[1] [„без церемоний“]

сам по крайней мере вышел из этих официальностей-то.... Меня Юлия Михайловна принимает на короткой ноге; как вас тут распознаешь? с некоторым даже достоинством произнес Петр Степанович.— Вот вам кстати и ваш роман, положил он на стол большую, вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синею бумагой.

Лембке покраснел и замялся.

— Где же вы отыскали? осторожно спросил он с приливом радости, которую сдержать не мог, но сдерживал однакожь изо всех сил.

— Вообразите, как была в трубке, так и скатилась за комод. Я, должно-быть, как вошел, бросил ее тогда неловко на комод. Только третьего дня отыскали, полы мыли, задали же вы мне однако работу!

Лембке строго опустил глаза.

— Две ночи сряду не спал по вашей милости. Третьего дня еще отыскали, а я удержал, все читал, днем-то некогда, так я по ночам. Ну-с, и — недоволен: мысль не моя. Да наплевать однако, критиком никогда не бывал, но — оторваться, батюшка, не мог, хоть и недоволен! Четвертая и пятая главы это.... это.... это.... чорт знает что̀ такое! И сколько юмору у вас напихано, хохотал. Как вы однакожь умеете поднять на смех sans que cela paraisse![1] Ну, там, в девятой, десятой, это все про любовь, не мое дело; эффектно однако; за письмом Игренева чуть не занюнил, хотя вы его так тонко выставили.... Знаете, оно чувствительно, а в то же время вы его как бы фальшивым боком хотите выставить, ведь так? Угадал я или нет? Ну, а за конец просто избил бы вас. Ведь вы что̀ проводите? Ведь это то же прежнее обоготворение семейного счастия, приумножения детей, капиталов, стали жить поживать да добра наживать, помилуйте! Читателя очаруете, потому что даже я оторваться не мог, да ведь тем сквернее. Читатель глуп попрежнему, следовало бы его умным людям расталкивать, а вы.... Ну да довольно однако, прощайте. Не

[1] [совершенно незаметно]

сердитесь в другой раз; я пришел было вам два словечка нужных сказать; да вы какой-то такой....

Андрей Антонович между тем взял свой роман и запер на ключ в дубовый книжный шкаф, успев между прочим, мигнуть Блюму чтобы тот стушевался. Тот исчез с вытянутым и грустным лицом.

— Я не какой-то такой, а я просто.... все неприятности, пробормотал он нахмурясь, но уже без гнева и подсаживаясь к столу;— садитесь и скажите ваши два слова. Я вас давно не видал, Петр Степанович, и только не влетайте вы вперед с вашею манерой.... иногда при делах оно....

— Манеры у меня свои....

— Знаю-с, и верю что вы без намерения, но иной раз находишься в хлопотах.... Садитесь же.

Петр Степанович разлегся на диване и мигом поджал под себя ноги.

III.

— Это в каких же вы хлопотах; неужто эти пустяки? кивнул он на прокламацию.— Я вам таких листков сколько угодно натаскаю, еще в Х—ской губернии познакомился.

— То-есть в то время как вы там проживали?

— Ну, разумеется, не в мое отсутствие. Еще она с виньеткой, топор наверху нарисован. Позвольте (он взял прокламацию); ну да, топор и тут; та самая, точнехонько.

— Да, топор. Видите топор.

— Что жь, топора испугались?

— Я не топора-с.... и не испугался-с, но дело это.... дело такое, тут обстоятельства.

— Какие? Что с фабрики-то принесли? Хе, хе. А знаете, у вас на этой фабрике сами рабочие скоро будут писать прокламации.

— Как это? строго уставился фон-Лембке.

— Да так. Вы и смотрите на них. Слишком вы мягкий человек, Андрей Антонович; романы пишете. А тут надо бы по-старинному.

— Что такое по-старинному, что за советы? Фабрику вычистили; я велел, и вычистили.

— А между рабочими бунт. Перепороть их сплошь, и дело с концом.

— Бунт? Вздор это; я велел, и вычистили.

— Эх, Андрей Антонович, мягкий вы человек!

— Я вопервых вовсе не такой ужь мягкий, а вовторых.... укололся было опять фон-Лембке. Он разговаривал с молодым человеком через силу, из любопытства не скажет ли тот чего новенького.

— А-а, опять старая знакомая! перебил Петр Степанович, нацелившись на другую бумажку под пресспанье, тоже в роде прокламации очевидно заграничной печати, но в стихах;— ну эту я наизусть знаю: *Светлая Личность!* Посмотрим; ну так *Светлая Личность* и есть. Знаком с этой личностью еще с заграницы. Где откопали?

— Вы говорите что видели за границей? встрепенулся фон-Лембке.

— Еще бы, четыре месяца назад, или даже пять.

— Как много вы однако за границей видели, тонко посмотрел фон-Лембке. Петр Степанович, не слушая развернул бумажку и прочел вслух стихотворение:

Светлая личность.

Он не знатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью,
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.

И восстанье начиная,
Он бежал в чужие краи,
Из царева казимата,
От кнута, щипцов и ката.
А народ восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.

Ждал его он поголовно,
Чтоб идти беспрекословно
Порешить в конец боярство,
Порешить совсем и царство,
Сделать общими именья
И предать на веки мщенью
Церкви, браки и семейство —
Мира старого злодейство!

— Должно-быть у того офицера взяли, а? спросил Петр Степанович.

— А вы и того офицера изволите знать?

— Еще бы. Я там с ними два дня пировал. Ему так и надо было сойти съума.

— Он может-быть и не сходил съума.

— Не потому ли что кусаться начал?

— Но позвольте, если вы видели эти стихи за границей и потом оказывается здесь у того офицера....

— Что? замысловато! Вы, добрый мой Андрей Антонович, меня, как вижу, экзаменуете? Видите-с, начал он вдруг с необыкновенною важностью.— О том что̀ я видел за границей, я возвратясь уже кой-кому объяснил, и объяснения мои найдены удовлетворительными, иначе я не осчастливил бы моим присутствием здешнего города. Считаю что дела мои в этом смысле покончены и никому не обязан отчетом. И не потому покончены что я доносщик, а потому что не мог иначе поступить. Те которые писали Юлие Михайловне, зная дело, писали обо мне как о человеке честном.... Ну, это все однако же к чорту, а я вам пришел сказать одну серьозную вещь, и хорошо что вы этого трубочиста вашего выслали. Дело для меня важное, Андрей Антонович; будет одна моя чрезвычайная просьба к вам.

— Просьба? Гм, сделайте одолжение, я жду и, признаюсь, с любопытством. И вообще прибавлю, вы меня довольно удивляете, Петр Степанович.

Фон-Лембке был в некотором волнении. Петр Степанович закинул ногу за ногу.

— В Петербурге, начал он,— я насчет многого был откровенен, но насчет чего-нибудь или вот этого, например (он

стукнул пальцем по *Светлой Личности*) я умолчал, вопервых, потому что не стоило говорить, а вовторых, потому что объявлял только о том, о чем спрашивали. Не люблю в этом смысле сам вперед забегать; в этом и вижу разницу между подлецом и честным человеком, которого просто-за-просто накрыли обстоятельства.... Ну, одним словом, это в сторону. Ну-с, а теперь.... теперь когда эти дураки.... ну, когда это вышло наружу и уже у вас в руках, и от вас, я вижу, не укроется — потому что вы человек с глазами, и вас вперед не распознаешь,— а эти глупцы между тем продолжают, я.... я.... ну, да я, одним словом, пришел вас просить спасти одного человека, одного тоже глупца, пожалуй сумашедшего, во имя его молодости, несчастий, во имя вашей гуманности.... Не в романах же одних собственного изделия вы так гуманны! — с грубым сарказмом и в нетерпении оборвал он вдруг речь.

Одним словом, было видно человека прямого, но неловкого и не политичного, от избытка гуманных чувств и излишней может-быть щекотливости, главное, человека недалекого, как тотчас же с чрезвычайною тонкостью оценил фон-Лембке и как давно уже об нем полагал, особенно когда в последнюю неделю, один в кабинете, по ночам особенно, ругал его изо всех сил про себя за необъяснимые успехи у Юлии Михайловны.

— За кого же вы просите и что же это все означает? сановито осведомился он, стараясь скрыть свое любопытство.

— Это.... это.... чорт.... Я не виноват ведь что в вас верю! Чем же я виноват что почитаю вас за благороднейшего человека, и главное толкового.... способного то-есть понять.... чорт....

Бедняжка, очевидно, не умел с собой справиться.

— Вы, наконец, поймите, продолжал он,— поймите что называя вам его имя, я вам его ведь предаю; ведь предаю, не так ли? Не так ли?

— Но как же, однако, я могу угадать, если вы не решаетесь высказаться?

— То-то вот и есть, вы всегда подкосите вот этою вашею

логикой, чорт.... ну, чорт.... эта „светлая личность“, этот „студент“ — это Шатов.... вот вам и все!

— Шатов? То-есть как это Шатов?

— Шатов, это „студент“, вот про которого здесь упоминается. Он здесь живет; бывший крепостной человек, ну, вот пощечину дал.

— Знаю, знаю! прищурился Лембке, — но, позвольте, в чем же собственно он обвиняется и о чем вы-то, главнейше, ходатайствуете?

— Да спасти же его прошу, понимаете! Ведь я его восемь лет тому еще знал, ведь я ему другом может-быть был, выходил из себя Петр Степанович. — Ну, да я вам не обязан отчетами в прежней жизни, махнул он рукой, — все это ничтожно, все это три с половиной человека, а с заграничными и десяти не наберется, а главное — я понадеялся на вашу гуманность, на ум. Вы поймете, и сами покажете дело в настоящем виде, а не как бог знает что̀, как глупую мечту сумазбродного человека.... от несчастий, заметьте, от долгих несчастий, а не как чорт знает там какой небывалый государственный заговор!...

Он почти задыхался.

— Гм. Вижу что он виновен в прокламациях с топором, почти величаво заключил Лембке; — позвольте, однако же, еслиб один, то как мог он их разбросать и здесь, и в провинциях, и даже в Х-й губернии и.... и наконец главнейшее, где взял?

— Да; говорю же вам что их, очевидно, всего-на-все пять человек, ну, десять, почему я знаю?

— Вы не знаете?

— Да почему мне знать, чорт возьми?

— Но вот знали же, однако, что Шатов один из сообщников?

— Эх! махнул рукой Петр Степанович, как бы отбиваясь от подавляющей прозорливости вопрошателя; — ну, слушайте, я вам всю правду скажу: о прокламациях ничего не знаю, то-есть ровнешенько ничего, чорт возьми, понимаете, что̀ значит ничего?... Ну, конечно, тот подпоручик, да еще кто-нибудь,

да еще кто-нибудь здесь.... ну, и может Шатов, ну, и еще кто-нибудь, ну, вот и все, дрянь и мизер.... но я за Шатова пришел просить, его спасти надо, потому что это стихотворение — его, его собственное сочинение и за границей через него отпечатано; вот что̀ я знаю наверно, а о прокламациях ровно ничего не знаю.

— Если стихи — его, то наверно и прокламации. Какие же, однако, данные заставляют вас подозревать господина Шатова?

Петр Степанович, с видом окончательно выведенного из терпения человека, выхватил из кармана бумажник, а из него записку.

— Вот данные! крикнул он, бросив ее на стол. Лембке развернул; оказалось что записка писана, с полгода назад, отсюда куда-то за границу, коротенькая, в двух словах:

„*Светлую Личность* отпечатать здесь не могу, да и ничего не могу; печатайте за границей.

Ив. Шатов“.

Лембке пристально уставился на Петра Степановича. Варвара Петровна правду отнеслась что у него был бараний взгляд, иногда особенно.

— То-есть это вот что̀, рванулся Петр Степанович,— значит что он написал здесь, полгода назад, эти стихи, но здесь не мог отпечатать, ну, в тайной типографии какой-нибудь — и потому просит напечатать за границей.... Кажется, ясно?

— Да-с, ясно, но кого же он просит? вот это еще неясно? с хитрейшею иронией заметил Лембке.

— Да Кирилова же, наконец; записка писана к Кирилову за границу.... Не знали что ли? Ведь что̀ досадно, что вы, может-быть, предо мною только прикидываетесь, а давным давно уже сами знаете про эти стихи, и все! Как же очутились они у вас на столе? Съумели очутиться! За что̀ же вы меня истязуете, если так?

Он судорожно утер платком пот со лба.

— Мне может и известно нечто.... ловко уклонился Лембке;— но кто же этот Кирилов?

— Ну да вот инженер приезжий, был секундантом у Ставрогина, маньяк, сумашедший; подпоручик ваш, действительно, только может в белой горячке, ну, а этот ужь совсем сумасшедший,— совсем, в этом гарантирую. Эх, Андрей Антонович, еслибы знало правительство, какие это сплошь люди, так на них бы рука не поднялась. Всех как есть целиком на седьмую версту; я еще в Швейцарии да на конгрессах нагляделся.

— Там, откуда управляют здешним движением?

— Да кто управляет-то? три человека с полчеловеком. Ведь на них глядя только скука возьмет. И каким это здешним движением? Прокламациями что̀ ли? Да и кто навербован-то, подпоручики в белой горячке, да два-три студента! Вы умный человек, вот вам вопрос: Отчего не вербуются к ним люди значительнее, отчего все студенты да недоросли двадцати двух лет? Да и много ли? Небось миллион собак ищет, а много ль всего отыскали? Семь человек. Говорю вам, скука возьмет.

Лембке выслушал со вниманием, но с выражением говорившим: „Соловья баснями не накормишь".

— Позвольте, однако же, вот вы изволите утверждать что записка адресована была за границу; но здесь адреса нет; почему же вам стало известно что записка адресована к господину Кирилову, и, наконец, за границу и.... и.... что писана она действительно господином Шатовым?

— Так достаньте сейчас руку Шатова, да и сверьте. У вас в канцелярии непременно должна отыскаться какая-нибудь его подпись. А что к Кирилову, так мне сам Кирилов тогда же и показал.

— Вы стало-быть сами....

— Ну да, конечно, стало-быть сам. Мало ли что̀ мне там показывали. А что эти вот стихи, так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы на память встречи, в похвалу, в рекомендацию, ну, чорт.... а Шатов и распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне мнение.

— Те-те-те, догадался, наконец, совсем Лембке,— то-то я думаю: прокламация — это понятно, а стихи зачем?

— Да как ужь вам не понять. И чорт знает для чего я вам разболтал! Слушайте, мне Шатова отдайте, а там чорт дери их всех остальных, даже с Кириловым, который заперся теперь в доме Филиппова, где и Шатов, и таится. Они меня не любят, потому что я воротился.... но обещайте мне Шатова, и я вам их всех на одной тарелке подам. Пригожусь, Андрей Антонович! Я эту всю жалкую кучку полагаю человек в девять — в десять. Я сам за ними слежу, от себя-с. Нам ужь трое известны: Шатов, Кирилов и тот подпоручик. Остальных я еще только *разглядываю*.... впрочем не совсем близорук. Это как в Х — й губернии; там схвачено с прокламациями два студента, один гимназист, два двадцатилетних дворянина, один учитель и один отставной майор, лет шестидесяти, одуревший от пьянства, вот и все, и ужь поверьте что все; даже удивились, что тут и все. Но надо шесть дней. Я уже смекнул на счетах; шесть дней и не раньше. Если хотите какого-нибудь результата — не шевелите их еще шесть дней, и я вам их в один узел свяжу, а пошевелите раньше — гнездо разлетится. Но дайте Шатова. Я за Шатова.... А всего бы лучше призвать его секретно и дружески, хоть сюда в кабинет, и проэкзаменовать, поднявши пред ним завесу.... Да он наверно сам вам в ноги бросится и заплачет! Это человек нервный, несчастный; у него жена гуляет со Ставрогиным. Приголубьте его, и он все сам откроет, но надо шесть дней.... А главное, главное — ни полсловечка Юлии Михайловне. Секрет. Можете секрет?

— Как? вытаращил глаза Лембке, да разве вы Юлии Михайловне ничего не.... открывали?

— Ей? Да сохрани меня и помилуй! Э-эх, Андрей Антонович! Видите-с: я слишком ценю ее дружбу, и высоко уважаю.... ну и там все это.... но я не промахнусь. Я ей не противоречу, потому что ей противоречить, сами знаете, опасно. Я ей может и закинул словечко, потому что она это любит, но чтоб я выдал ей, как вам теперь, имена, или там что-нибудь, э-эх, батюшка! Ведь я почему обращаюсь теперь к вам?

Потому что вы все-таки мущина, человек серьозный, с старинною твердою служебною опытностью. Вы видали виды. Вам каждый шаг в таких делах, я думаю, наизуст известен еще с петербургских примеров. А скажи я ей эти два имени, например, и она бы так забарабанила.... Ведь она отсюда хочет Петербург удивить. Нет-с, горяча слишком, вот что-с.

— Да, в ней есть несколько этой фуги,— не без удовольствия пробормотал Андрей Антонович, в то же время ужасно жалея что этот неуч осмеливается, кажется, выражаться об Юлии Михайловне немного ужь вольно. Петру же Степановичу, вероятно, казалось что этого еще мало и что надо еще поддать пару чтобы польстить и совсем ужь покорить Лембку.

— Именно фуги, поддакнул он,— пусть она женщина может-быть гениальная, литературная, но — воробьев она распугает. Шести часов не выдержит, не то что шести дней. Э-эх, Андрей Антонович, не налагайте на женщину срока в шесть дней! Ведь признаете же вы за мною некоторую опытность, то-есть в этих делах; ведь знаю же я кое-что, и вы сами знаете что я могу знать кое-что. Я у вас не для баловства шести дней прошу, а для дела.

— Я слышал.... не решался высказать мысль свою Лембке,— я слышал что вы, возвратясь из-за границы, где следует изъявили.... в роде раскаяния?

— Ну там что̀ бы ни было.

— Да и я, разумеется, не желаю входить... но мне всё казалось, вы здесь до сих пор говорили совсем в ином стиле, о христианской вере например, об общественных установлениях и наконец о правительстве...

— Мало ли что̀ я говорил. Я и теперь то же говорю, только не так эти мысли следует проводить, как те дураки, вот в чем дело. А то что̀ в том что укусил в плечо? Сами же вы соглашались со мной, только говорили что рано.

— Я не про то собственно соглашался и говорил рано.

— Однако же у вас каждое слово на крюк привешено, хе-хе! осторожный человек! весело заметил вдруг Петр Степанович.— Слушайте, отец родной, надо же было с вами познакомиться,

ну вот потому я в моем стиле и говорил. Я не с одним с вами, а со многими так знакомлюсь. Мне может ваш характер надо было распознать.

— Для чего бы вам мой характер?

— Ну почем я знаю для чего (он опять рассмеялся). Видите ли, дорогой и многоуважаемый Андрей Антонович, вы хитры, но до *этого* еще не дошло и наверно не дойдет, понимаете? Может-быть и понимаете? Я хоть и дал где следует объяснения, возвратясь из-за границы, и право не знаю почему бы человек известных убеждений не мог действовать в пользу искренних своих убеждений... но мне никто еще *там* не заказывал вашего характера и никаких подобных заказов *оттуда* я еще не брал на себя. Вникните сами: ведь мог бы я не вам открыть первому два-то имени, а прямо *туда* махнуть, то-есть туда где первоначальные объяснения давал; и ужь еслиб я старался из-за финансов, али там из-за выгоды, то ужь конечно вышел бы с моей стороны не расчет, потому что благодарны-то будут теперь вам, а не мне. Я единственно за Шатова, с благородством прибавил Петр Степанович,— за одного Шатова, по прежней дружбе.... ну а там, пожалуй, когда возьмете перо чтобы *туда* отписать, ну похвалите меня если хотите.... противоречить не стану, хе-хе! Adieu [1], однако же засиделся, и не надо бы столько болтать! прибавил он не без приятности и встал с дивана.

— Напротив, я очень рад что дело так-сказать определяется, встал и фон-Лембке, тоже с любезным видом, видимо под влиянием последних слов.— Я с признательностию принимаю ваши услуги и, будьте уверены, все что̀ можно с моей стороны насчет отзыва о вашем усердии...

— Шесть дней, главное шесть дней сроку, и чтобы в эти дни вы не шевелились, вот что̀ мне надо!

— Пусть.

— Разумеется я вам рук не связываю, да и не смею. Не можете же вы не следить; только не пугайте гнезда раньше

[1] [Прощайте]

времени, вот в чём я надеюсь на ваш ум и на опытность. А довольно у вас должно-быть своих-то гончих припасено, и всяких там ищеек, хе-хе! весело и легкомысленно (как молодой человек) брякнул Петр Степанович.

— Не совсем это так, приятно уклонился Лембке.— Это — предрассудок молодости, что слишком много припасено.... Но кстати позвольте одно словцо: ведь если этот Кирилов был секундантом у Ставрогина, то и господин Ставрогин в таком случае...

— Что Ставрогин?

— То-есть если они такие друзья?

— Э, нет, нет, нет! Вот тут маху дали, хоть вы и хитры. И даже меня удивляете. Я ведь думал что вы насчет этого не без сведений... Гм, Ставрогин — это совершенно противоположное, то-есть совершенно... Avis au lecteur[1].

— Неужели! и может ли быть? с недоверчивостью произнес Лембке.— Мне Юлия Михайловна сообщила что, по ее сведениям из Петербурга, он человек с некоторыми так-сказать наставлениями....

— Я ничего не знаю, ничего не знаю, совсем ничего. Adieu. Avis au lecteur! вдруг и явно уклонился Петр Степанович. Он полетел к дверям.

— Позвольте, Петр Степанович, позвольте, крикнул Лембке,— еще одно крошечное дельце, и я вас не задержу.

Он вынул из столового ящика конверт.

— Вот-с один экземплярчик, по той же категории, и я вам тем самым доказываю что вам в высшей степени доверяю. Вот-с, и каково ваше мнение?

В конверте лежало письмо,— письмо странное, анонимное, адресованное к Лембке и вчера только им полученное. Петр Степанович к крайней досаде своей прочел следующее:

„Ваше превосходительство!

„Ибо по чину вы так. Сим объявляю в покушении на жизнь генеральских особ и отечества; ибо прямо ведет к тому. Сам разбрасывал непрерывно множество лет. Тоже и безбожие.

[1] [Сообщение читателю.]

Приготовляется бунт, а прокламаций несколько тысяч, и за каждой побежит сто человек, высуня язык, если заранее не отобрать начальством, ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ, почитая виновника, разоряет того и другого, и боясь обеих сторон, раскаялся в чем не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. Если хотите чтобы донос для спасения отечества, а также церквей и икон, то я один только могу. Но с тем чтобы мне прощение из третьего отделения по телеграфу немедленно одному из всех, а другие пусть отвечают. На окошке у швейцара для сигнала в семь часов ставьте каждый вечер свечу. Увидав поверю и приду облобызать милосердную длань из столицы, но с тем чтобы пенсион, ибо чем же я буду жить? Вы же не раскаетесь, потому что вам выйдет звезда. Надо потихоньку, а не то свернут голову.

„Вашего превосходительства отчаянный человек.

„Припадает к стопам

„раскаявшийся вольнодумец Incognito“.

Фон-Лембке объяснил что письмо очутилось вчера в швейцарской, когда там никого не было.

— Так вы как же думаете? спросил чуть не грубо Петр Степанович.

— Я бы предположил что это анонимный пашквиль, в насмешку.

— Вероятнее всего что так. Вас не надуешь.

— Я главное потому что так глупо.

— А вы получали здесь еще какие-нибудь пашквили?

— Получал раза два, анонимные.

— Ну ужь разумеется не подпишут. Разным слогом? Разных рук?

— Разным слогом и разных рук.

— И шутовские были, как это?

— Да, шутовские, и знаете... очень гадкие.

— Ну коли ужь были, так наверно и теперь то же самое.

— А главное потому что так глупо. Потому что те люди образованные и наверно так глупо не напишут.

— Ну да, ну да.

— А что̀ если это и в самом деле кто-нибудь хочет действительно донести?

— Невероятно, сухо отрезал Петр Степанович.— Что̀ значит телеграмма из третьего отделения и пенсион. Пашквиль очевидный.

— Да, да, устыдился Лембке.

— Знаете что̀, оставьте-ка это у меня. Я вам наверно разыщу. Раньше чем тех разыщу.

— Возьмите, согласился фон-Лембке, с некоторым впрочем колебанием.

— Вы кому-нибудь показывали?

— Нет, как можно, никому.

— То-есть Юлии Михайловне?

— Ах, боже сохрани, и ради бога не показывайте ей сами! вскричал Лембке в испуге.— Она будет так потрясена.... и рассердится на меня ужасно.

— Да, на вас первого и рассердится, скажет что сами заслужили, коли вам так пишут. Знаем мы женскую логику. Ну прощайте. Я вам может даже дня через три этого сочинителя представлю. Главное уговор!

IV.

Петр Степанович был человек может-быть и не глупый, но Федька Каторжный верно выразился о нем что он „человека сам сочинит, да с ним и живет“. Ушел он от фон-Лембке вполне уверенный что по крайней мере на шесть дней того успокоил, а срок этот был ему до крайности нужен. Но идея была ложная, и все основано было только на том что он сочинил себе Андрея Антоновича, с самого начала, и раз навсегда совершеннейшим простачком.

Как и каждый страдальчески мнительный человек, Андрей Антонович всякий раз бывал чрезвычайно и радостно доверчив в первую минуту выхода из неизвестности. Новый оборот вещей представился ему сначала в довольно приятном виде, несмотря на некоторые вновь наступавшие хлопотливые слож-

ности. По крайней мере старые сомнения падали в прах. К тому же он так устал за последние дни, чувствовал себя таким измученным и беспомощным что душа его поневоле жаждала покоя. Но увы, он уже опять был не спокоен. Долгое чиновничье житье в Петербурге оставило в душе его следы неизгладимые. Официальная и даже секретная история „нового поколения“ ему была довольно известна,—человек был любопытный и прокламации собирал,—но никогда не понимал он в ней самого первого слова. Теперь же был как в лесу: он всеми инстинктами своими предчувствовал что в словах Петра Степановича заключалось нечто совершенно несообразное, вне всяких форм и условий,—„хотя ведь чорт знает что̀ может случиться в этом „новом поколении“ и чорт знает как это у них там совершается!“ раздумывал он, теряясь в соображениях.

А тут как нарочно снова просунул к нему голову Блюм. Все время посещения Петра Степановича он выжидал недалеко. Блюм этот приходился даже родственником Андрею Антоновичу, дальним, но всю жизнь тщательно и боязливо скрываемым. Прошу прощения у читателя в том что этому ничтожному лицу отделю здесь хоть несколько слов. Блюм был из странного рода „несчастных“ Немцев — и вовсе не по крайней своей бездарности, а именно неизвестно почему. „Несчастные“ Немцы не миф, а действительно существуют, даже в России, и имеют свой собственный тип. Андрей Антонович всю жизнь питал к нему самое трогательное сочувствие, и везде, где только мог, по мере собственных своих успехов по службе, выдвигал его на подчиненное, подведомственное ему местечко; но тому нигде не везло. То место оставлялось за штатом, то переменялось начальство, то чуть не упекли его однажды с другими под суд. Был он аккуратен, но как-то слишком без нужды и во вред себе мрачен; рыжий, высокий, сгорбленный, унылый, даже чувствительный и, при всей своей приниженности, упрямый и настойчивый как вол, хотя всегда невпопад. К Андрею Антоновичу питал он с женой и с многочисленными детьми многолетнюю и благоговейную привязанность. Кроме Андрея Антоновича никто никогда не любил его. Юлия

Михайловна сразу его забраковала, но одолеть упорство своего супруга не могла. Это была их первая супружеская ссора, и случилась она тотчас после свадьбы, в самые первые медовые дни, когда вдруг обнаружился пред нею Блюм, до тех пор тщательно от нее припрятанный, с обидною тайной своего к ней родства. Андрей Антонович умолял сложа руки, чувствительно рассказал всю историю Блюма и их дружбы с самого детства, но Юлия Михайловна считала себя опозоренною на веки и даже пустила в ход обмороки. Фон-Лембке не уступил ей ни шагу и объявил что не покинет Блюма ни за что на свете и не отдалит от себя, так что она наконец удивилась и принуждена была позволить Блюма. Решено было только что родство будет скрываемо еще тщательнее чем до сих пор, если только это возможно, и что даже имя и отчество Блюма будут изменены, потому что его тоже почему-то звали Андреем Антоновичем. Блюм у нас ни с кем не познакомился кроме одного только Немца аптекаря, никому не сделал визитов и, по обычаю своему, зажил скупо и уединенно. Ему давно уже были известны и литературные грешки Андрея Антоновича. Он преимущественно призывался выслушивать его роман в секретных чтениях наедине, просиживал по шести часов сряду столбом; потел, напрягал все свои силы чтобы не заснуть и улыбаться; придя домой стенал вместе с длинноногою и сухопарою женой о несчастной слабости их благодетеля к русской литературе.

Андрей Антонович со страданием посмотрел на вошедшего Блюма.

— Я прошу тебя, Блюм, оставить меня в покое, начал он тревожною скороговоркой, очевидно желая отклонить возобновление давешнего разговора, прерванного приходом Петра Степановича.

— И однакожь это может-быть устроено деликатнейше, совершенно не гласно; вы же имеете все полномочия, почтительно, но упорно настаивал на чем-то Блюм, сгорбив спину и придвигаясь все ближе и ближе мелкими шагами к Андрею Антоновичу.

— Блюм, ты до такой степени предан мне и услужлив что я всякий раз смотрю на тебя вне себя от страха.

— Вы всегда говорите острые вещи и в удовольствии от сказанного засыпаете спокойно, но тем самым себе повреждаете.

— Блюм, я сейчас убедился что это вовсе не то, вовсе не то.

— Не из слов ли этого фальшивого, порочного молодого человека, которого вы сами подозреваете? Он вас победил льстивыми похвалами вашему таланту в литературе.

— Блюм, ты не смыслишь ничего; твой проект нелепость, говорю тебе. Мы не найдем ничего, а крик подымется страшный, затем смех, а затем Юлия Михайловна....

— Мы несомненно найдем все чего ищем, твердо шагнул к нему Блюм, приставляя к сердцу правую руку;— мы сделаем осмотр внезапно, рано поутру, соблюдая всю деликатность к лицу и всю предписанную строгость форм закона. Молодые люди, Лямшин и Телятников, слишком уверяют что мы найдем все желаемое. Они посещали там многократно. К господину Верховенскому никто внимательно не расположен. Генеральша Ставрогина явно отказала ему в своих благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в этом грубом городе, убежден что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. У него хранятся все запрещенные книги, *Думы* Рылеева, все сочинения Герцена.... Я на всякий случай имею приблизительный каталог....

— О боже, эти книги есть у всякого; как ты прост, мой бедный Блюм!

— И многие прокламации, продолжал Блюм, не слушая замечаний.— Мы кончим тем что непременно нападем на след настоящих здешних прокламаций. Этот молодой Верховенский мне весьма, весьма подозрителен.

— Но ты смешиваешь отца с сыном. Они не в ладах; сын смеется над отцом явно.

— Это одна только маска.

— Блюм, ты поклялся меня замучить! Подумай, он лицо все-таки здесь заметное. Он был профессором, он человек известный, он раскричится, и тотчас же пойдут насмешки по го-

роду, ну и все пропало.... и подумай что будет с Юлией Михайловной!

Блюм лез вперед и не слушал.

— Он был лишь доцентом, всего лишь доцентом, и по чину всего только коллежский ассессор при отставке, ударял он себя рукой в грудь,—знаков отличия не имеет, уволен от службы по подозрению в замыслах против правительства. Он состоял под тайным надзором и несомненно еще состоит. И в виду обнаружившихся теперь беспорядков вы несомненно обязаны долгом. Вы же наоборот, упускаете ваше отличие, потворствуя настоящему виновнику.

— Юлия Михайловна! Убирайся, Блюм! вскричал вдруг фон-Лембке, заслышавший голос своей супруги в соседней комнате.

Блюм вздрогнул, но не сдался.

— Дозвольте же, дозвольте, приступал он, еще крепче прижимая обе руки к груди.

— Убирайся! проскрежетал Андрей Антонович,—делай что хочешь.... после.... О боже мой!

Поднялась портьера и появилась Юлия Михайловна. Она величественно остановилась при виде Блюма, высокомерно и обидчиво окинула его взглядом, как будто одно присутствие этого человека здесь было ей оскорблением. Блюм молча и почтительно отдал ей глубокий поклон и, согбенный от почтения, направился к дверям на цыпочках и расставив несколько врозь свои руки.

Оттого ли что он и в самом деле понял последнее истерическое восклицание Андрея Антоновича за прямое дозволение поступить так как он спрашивал, или покривил душой в этом случае для прямой пользы своего благодетеля, слишком уверенный что конец увенчает дело; но, как увидим ниже, из этого разговора начальника с своим подчиненным произошла одна самая неожиданная глупость, насмешившая многих, получившая огласку, возбудившая жестокий гнев Юлии Михайловны, и всем этим сбившая окончательно с толку Андрея Антоновича, ввергнув его, в самое горячее время, в самую плачевную нерешительность.

V.

День для Петра Степановича выдался хлопотливый. От фон-Лембке он поскорее побежал в Богоявленскую улицу, но проходя по Быковой улице, мимо дома в котором квартировал Кармазинов, он вдруг приостановился, усмехнулся и вошел в дом. Ему ответили: „ожидают-с“, что̀ очень заинтересовало его, потому что он вовсе не предупреждал о своем прибытии.

Но великий писатель действительно его ожидал и даже еще вчера и третьего дня. Четвертого дня он вручил ему свою рукопись „Merci“ (которую хотел прочесть на литературном утре в день праздника Юлии Михайловны) и сделал это из любезности, вполне уверенный что приятно польстит самолюбию человека, дав ему узнать великую вещь заранее. Петр Степанович давно уже примечал что этот тщеславный, избалованный и оскорбительно-недоступный для неизбранных господин, этот „почти государственный ум“, просто-за-просто в нем заискивает и даже с жадностию. Мне кажется, молодой человек наконец догадался что тот, если и не считал его коноводом всего тайно-революционного в целой России, то по крайней мере одним из самых посвященных в секреты русской революции и имеющим неоспоримое влияние на молодежь. Настроение мыслей „умнейшего в России человека“ интересовало Петра Степановича, но доселе он, по некоторым причинам, уклонялся от разъяснений.

Великий писатель квартировал в доме своей сестры, жены камергера и помещицы, оба они, и муж и жена, благоговели пред знаменитым родственником, но в настоящий приезд его находились оба в Москве, к великому их сожалению, так что принять его имела честь старушка, очень дальняя и бедная родственница камергера, проживавшая в доме и давно уже заведывавшая всем домашним хозяйством. Весь дом заходил на цыпочках с приездом господина Кармазинова. Старушка извещала в Москву чуть не каждый день о том как он почивал и что̀ изволил скушать, а однажды отправила телеграмму с известием что он, после званого обеда у градского головы,

принужден был принять ложку одного лекарства. В комнату к нему она осмеливалась входить редко, хотя он обращался с нею вежливо, впрочем сухо, и говорил с нею только по какой-нибудь надобности. Когда вошел Петр Степанович, он кушал утреннюю свою котлетку с полстаканом красного вина. Петр Степанович уже и прежде бывал у него и всегда заставал его за этою утреннею котлеткой, которую тот и съедал в его присутствии, но ни разу его самого не попотчевал. После котлетки подавалась еще маленькая чашечка кофе. Лакей, внесший кушанье, был во фраке, в мягких неслышных сапогах и в перчатках.

— А-а! приподнялся Кармазинов с дивана, утираясь салфеткой, и с видом чистейшей радости полез лобызаться — характерная привычка русских людей, если они слишком ужь знамениты. Но Петр Степанович помнил по бывшему уже опыту что он лобызаться-то лезет, а сам подставляет щеку, и потому сделал на сей раз то же самое; обе щеки встретились. Кармазинов, не показывая виду что заметил это, уселся на диван и с приятностию указал Петру Степановичу на кресло против себя, в котором тот и развалился.

— Вы ведь не.... Не желаете ли завтракать? спросил хозяин, на этот раз изменяя привычке, но с таким разумеется видом которым ясно подсказывался вежливый отрицательный ответ. Петр Степанович тотчас же пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг; он нервно позвонил слугу и несмотря на все свое воспитание брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой завтрак.

— Вам чего, котлетку или кофею? осведомился он еще раз.

— И котлетку и кофею, и вина прикажите еще прибавить, я проголодался, отвечал Петр Степанович, с спокойным вниманием рассматривая костюм хозяина. Господин Кармазинов был в какой-то домашней куцавеечке на вате, в роде как бы жакеточки, с перламутровыми пуговками, но слишком ужь коротенькой, что̀ вовсе и не шло к его довольно сытенькому брюшку и к плотно округленным частям начала его ног; но вкусы

бывают различны. На коленях его был развернут до полу шерстяной клетчатый плэд, хотя в комнате было тепло.

— Больны что ли? заметил Петр Степанович.

— Нет не болен, но боюсь стать больным в этом климате, ответил писатель своим крикливым голосом, впрочем нежно скандируя каждое слово и приятно, по барски, шепелявя;— я вас ждал еще вчера.

— Почему же? я ведь не обещал.

— Да, но у вас моя рукопись. Вы.... прочли?

— Рукопись? какая?

Кармазинов удивился ужасно.

— Но вы однако принесли ее с собою? встревожился он вдруг до того что оставил даже кушать и смотрел на Петра Степановича с испуганным видом.

— Ах, это про эту „Bonjour“ что ли....

— „Merci“.

— Ну пусть. Совсем забыл и не читал, некогда. Право не знаю, в карманах нет.... должно-быть у меня на столе. Не беспокойтесь, отыщется.

— Нет ужь я лучше сейчас к вам пошлю. Она может пропасть и, наконец, украсть могут.

— Ну, кому надо! Да чего вы так испугались, ведь у вас, Юлия Михайловна говорила, заготовляется всегда по нескольку списков, один за границей у нотариуса, другой в Петербурге, третий в Москве, потом в банк что ли отсылаете.

— Но ведь и Москва сгореть может, а с ней моя рукопись. Нет, я лучше сейчас пошлю.

— Стойте, вот она! вынул Петр Степанович из заднего кармана пачку почтовых листиков,— измялась немножко. Вообразите, как взял тогда у вас, так и пролежала все время в заднем кармане с носовым платком; забыл.

Кармазинов с жадностию схватил рукопись, бережно осмотрел ее, сосчитал листки и с уважением положил покамест подле себя, на особый столик, но так чтоб иметь ее каждый миг на виду.

— Вы, кажется, не так много читаете? прошипел он не вытерпев.

— Нет, не так много.

— А ужь по части русской беллетристики — ничего?

— По части русской беллетристики? Позвольте, я что-то читал.... „По пути“.... или „В путь“.... или „На перепутьи“ что ли не помню. Давно читал, лет пять. Некогда.

Последовало некоторое молчание.

— Я, как приехал, уверил их всех что вы чрезвычайно умный человек, и теперь кажется все здесь от вас без ума.

— Благодарю вас, спокойно отозвался Петр Степанович.

Принесли завтрак. Петр Степанович с чрезвычайным аппетитом набросился на котлетку, мигом съел ее, выпил вино и выхлебнул кофе.

„Этот неуч“, в раздумьи оглядывал его искоса Кармазинов, доедая последний кусочек и выпивая последний глоточек, „этот неуч вероятно понял сейчас всю колкость моей фразы.... да и рукопись конечно прочитал с жадностию, а только лжет из видов. Но может быть и то что не лжет, а совершенно искренно глуп. Гениального человека я люблю несколько глупым. Ужь не гений ли он какой у них в самом деле, чорт его впрочем дери.“

Он встал с дивана и начал прохаживаться по комнате из угла в угол, для моциону, что̀ исполнял каждый раз после завтрака.

— Скоро отсюда? спросил Петр Степанович с кресел, закурив папироску.

— Я собственно приехал продать имение и завишу теперь от моего управляющего.

— Вы ведь, кажется, приехали потому что там эпидемии после войны ожидали?

— Н-нет, не совсем потому, продолжал господин Кармазинов, благодушно скандируя свои фразы и при каждом обороте из угла в другой угол бодро дрыгая правою ножкой, впрочем чуть-чуть.— Я действительно, усмехнулся он не без яду,— намереваюсь прожить как можно дольше. В русском барстве

есть нечто чрезвычайно быстро изнашивающееся, во всех отношениях. Но я хочу износиться как можно позже и теперь перебираюсь за границу совсем; там и климат лучше и строение каменное и все крепче. На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?

— Я почем знаю.

— Гм. Если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю что на мой век его хватит), то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а все расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как Русским богом; но Русский бог, по последним сведениям, весьма неблагонадежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере сильно покачнулся. А тут железные дороги, а тут вы.... ужь в Русского-то бога я совсем не верую.

— А в Европейского?

— Я ни в какого не верую. Меня оклеветали пред русскою молодежью. Я всегда сочувствовал каждому движению ее. Мне показывали эти здешние прокламации. На них смотрят с недоумением, потому что всех пугает форма, но все однако уверены в их могуществе, хотя бы и не сознавая того. Все давно падают и все давно знают что̀ не за что̀ ухватиться. Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды что Россия есть теперь попреимуществу то место в целом мире где все что̀ угодно может произойти без малейшего отпору. Я понимаю слишком хорошо почему Русские с состоянием все хлынули за границу и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь страна деревянная, нищая и.... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках. Она обрадуется всякому выходу, сто̀ит только растолковать. Одно правительство еще хочет сопротивляться, но машет дубиной в темноте и бьет по своим. Тут все обречено и при-

говорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался Немцем и вменяю это себе в честь.

— Нет, вы вот начали о прокламациях; скажите все, как вы на них смотрите?

— Их все боятся, стало-быть они могущественны. Они открыто обличают обман и доказывают что̀ у нас не за что ухватиться и не на что̀ опереться. Они говорят громко, когда все молчат. В них всего победительнее (несмотря на форму) эта неслыханная до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы: там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым „правом на бесчестье" его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого и признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим, по малодушию; нужно же как-нибудь дожить век.

Он вдруг приостановился.

„Однако я говорю-говорю", подумал он,—„а он все молчит и высматривает. Он пришел за тем чтоб я задал ему прямой вопрос. А я и задам".

— Юлия Михайловна просила меня как-нибудь обманом у вас выпытать, какой это сюрприз вы готовите к балу послезавтра? вдруг спросил Петр Степанович.

— Да, это действительно будет сюрприз, и я действительно изумлю.... приосанился Кармазинов,—но я не скажу вам в чем секрет.

Петр Степанович не настаивал.

— Здесь есть какой-то Шатов, осведомился великий писатель, и вообразите я его не видал.

— Очень хорошая личность. А что?

— Так, он про что-то там говорит. Ведь это он по щеке ударил Ставрогина?

— Он.

— А о Ставрогине как вы полагаете?

— Не знаю; волокита какой-то.

Кармазинов возненавидел Ставрогина, потому что тот взял привычку совершенно не замечать его.

— Этого волокиту, сказал он хихикая,—если у нас осуществится когда-нибудь то о чем проповедуют в прокламациях, вероятно вздернут первого на сук.

— Может и раньше, вдруг сказал Петр Степанович.

— Так и следует, уже не смеясь и как-то слишком серьозно поддакнул Кармазинов.

— А вы ужь это раз говорили и, знаете, я ему передал.

— Как, неужто передали? рассмеялся опять Кармазинов.

— Он сказал что если его на сук, то вас довольно и высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут.

Петр Степанович взял шляпу и встал с места. Кармазинов протянул ему на прощание обе руки.

— А что, пропищал он вдруг медовым голоском и с какою-то особенною интонацией, все еще придерживая его руки в своих,— что если назначено осуществиться всему тому.... о чем замышляют, то.... когда это могло бы произойти?

— Почем я знаю, несколько грубо ответил Петр Степанович. Оба пристально смотрели друг другу в глаза.

— Примерно? приблизительно? еще слаще пропищал Кармазинов.

— Продать имение успеете и убраться тоже успеете, еще грубее пробормотал Петр Степанович. Оба еще пристальнее смотрели друг на друга.

Произошла минута молчания.

— К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится, вдруг проговорил Петр Степанович.

— Благодарю вас искренно, проникнутым голосом произнес Кармазинов, сжав ему руки.

„Успеешь, крыса, выселиться из корабля!“ думал Петр Степанович выходя на улицу. Ну коли ужь этот „почти государственный ум“, так уверенно осведомляется о дне и часе и так почтительно благодарит за полученное сведение, то ужь нам-то в себе нельзя после того сомневаться. (Он усмехнулся.) Гм. А он в самом деле у них не глуп и.... всего только переселяющаяся крыса; такая не донесет!

Он побежал в Богоявленскую улицу в дом Филиппова.

VI.

Петр Степанович прошел сперва к Кирилову. Тот был по обыкновению один и в этот раз проделывал среди комнаты гимнастику, то-есть расставив ноги вертел каким-то особенным образом над собою руками. На полу лежал мяч. На столе стоял не прибранный утренний чай, уже холодный. Петр Степанович постоял с минуту на пороге.

— Вы однакожь о здоровьи своем сильно заботитесь, проговорил он громко и весело входя в комнату; — какой славный однакоже мяч, фу, как отскакивает; он тоже для гимнастики?

Кирилов надел сертук.

— Да, тоже для здоровья, пробормотал он сухо; — садитесь.

— Я на минуту. А впрочем сяду. Здоровье здоровьем, но я пришел напомнить об уговоре. Приближается „в некотором смысле“ наш срок-с, заключил Петр Степанович с неловким вывертом.

— Какой уговор?

— Как какой уговор? всполохнулся Петр Степанович, даже испугался.

— Это не уговор и не обязанность, я ничем не вязал себя, с вашей стороны ошибка.

— Послушайте что̀ же вы это делаете? вскочил ужь совсем Петр Степанович.

— Свою волю.

— Какую?

— Прежнюю.

— То-есть как же это понять? Значит ли что вы в прежних мыслях?

— Значит. Только уговору нет и не было, и я ничем не вязал. Была одна моя воля и теперь одна моя воля.

Кирилов объяснялся резко и брезгливо.

— Я согласен, согласен, пусть воля, лишь бы эта воля не изменилась, уселся опять с удовлетворенным видом Петр Степанович.— Вы сердитесь за слова. Вы что-то очень стали последнее время сердиты; я потому избегал посещать. Впрочем был совершенно уверен что не измените.

— Я вас очень не люблю; но совершенно уверены можете быть. Хоть и не признаю измены и не-измены.

— Однако знаете, всполохнулся опять Петр Степанович,— надо бы опять поговорить толком, чтобы не сбиться. Дело требует точности, а вы меня ужасно как горошите. Позволяете поговорить?

— Говорите, отрезал Кирилов, смотря в угол.

— Вы давно уже положили лишить себя жизни.... то-есть у вас такая была идея. Так что ли я выразился? Нет ли какой ошибки?

— У меня и теперь такая же идея.

— Прекрасно. Заметьте при этом что вас никто не принуждал к тому.

— Еще бы; как вы говорите глупо.

— Пусть, пусть; я очень глупо выразился. Без сомнения было бы очень глупо к тому принуждать; я продолжаю: вы были членом Общества еще при старой организации и открылись тогда же одному из членов Общества.

— Я не открывался, я просто сказал.

— Пусть. И смешно бы было в этом „открываться", что за исповедь? Вы просто сказали, и прекрасно.

— Нет не прекрасно, потому что вы очень мямлите. Я вам не обязан никаким отчетом, и мыслей моих вы не можете понимать. Я хочу лишить себя жизни потому что такая у меня мысль, потому что я не хочу страха смерти, потому.... потому

что вам нечего тут знать.... Чего вы? Чай хотите пить? Холодный. Дайте я вам другой стакан принесу.

Петр Степанович действительно схватился было за чайник и искал порожней посудины. Кирилов сходил в шкаф и принес чистый стакан.

— Я сейчас у Кармазинова завтракал, заметил гость,— потом слушал как он говорил, и вспотел, а сюда бежал тоже вспотел, смерть хочется пить.

— Пейте. Чай холодный хорошо.

Кирилов опять уселся на стул и опять уперся глазами в угол.

— В Обществе произошла мысль, продолжал он тем же голосом,— что я могу быть тем полезен если убью себя, и что когда вы что-нибудь тут накутите, и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо что это я все сделал, так что вас целый год подозревать не могут.

— Хоть несколько дней; и день один дорог.

— Хорошо. В этом смысле мне сказали чтоб я, если хочу, подождал. Я сказал что подожду пока скажут срок от Общества, потому что мне все ровно.

— Да, но вспомните что вы обязались, когда будете сочинять предсмертное письмо, то не иначе как вместе со мной, и прибыв в Россию будете в моем.... ну одним словом, в моем распоряжении, то-есть на один только этот случай разумеется, а во всех других вы конечно свободны, почти с любезностию прибавил Петр Степанович.

— Я не обязался, а согласился, потому что мне все равно.

— И прекрасно, прекрасно, я нисколько не имею намерения стеснять ваше самолюбие, но....

— Тут не самолюбие.

— Но вспомните что вам собрали сто двадцать талеров на дорогу, стало-быть вы брали деньги.

— Совсем нет, вспыхнул Кирилов,— деньги не с тем. За это не берут.

— Берут иногда.

— Врете вы. Я заявил письмом из Петербурга, а в Петер-

бурге заплатил вам сто двадцать талеров, вам в руки.... и они туда отосланы, если только вы не задержали у себя.

— Хорошо, хорошо, я ни в чем не спорю, отосланы. Главное что вы в тех же мыслях как прежде.

— В тех самых. Когда вы придете и скажете: „пора", я все исполню. Что̀, очень скоро?

— Не так много дней.... Но помните, записку мы сочиняем вместе, в ту же ночь.

— Хоть и днем. Вы сказали, надо взять на себя прокламации?

— И кое-что̀ еще.

— Я не все возьму на себя.

— Чего же не возьмете? всполохнулся опять Петр Степанович.

— Чего не захочу; довольно. Я не хочу больше о том говорить.

Петр Степанович скрепился и переменил разговор.

— Я о другом, предупредил он,— будете вы сегодня вечером у наших? Виргинский именинник, под тем предлогом и соберутся.

— Не хочу.

— Сделайте одолжение будьте. Надо. Надо внушить и числом и лицом.... У вас лицо.... ну, одним словом, у вас лицо фатальное.

— Вы находите? рассмеялся Кирилов,— хорошо, приду; только не для лица. Когда?

— О, пораньше, в половине седьмого. И знаете, вы можете войти, сесть и ни с кем не говорить, сколько бы там их ни было. Только знаете, не забудьте захватить с собою бумагу и карандаш.

— Это зачем?

— Ведь вам все равно; а это моя особенная просьба. Вы только будете сидеть, ни с кем ровно не говоря, слушать и изредка делать как бы отметки; ну хоть рисуйте что-нибудь.

— Какой вздор, зачем?

— Ну коли вам все равно; ведь вы все говорите что вам все равно.

— Нет, зачем?

— А вот затем что тот член от Общества, ревизор, засел в Москве, а я там кой-кому объявил что может-быть посетит ревизор; и они будут думать что вы-то и есть ревизор, а так как вы уже здесь три недели, то еще больше удивятся.

— Фокусы. Никакого ревизора у нас нет в Москве.

— Ну пусть нет, чорт его и дери, вам-то какое дело и чем это вас затруднит? Сами же член Общества.

— Скажите им что я ревизор; я буду сидеть и молчать, а бумагу и карандаш не хочу.

— Да почему?

— Не хочу.

Петр Степанович разозлился, даже позеленел, но опять скрепил себя, встал и взял шляпу.

— *Этот* у вас? произнес он вдруг вполголоса.

— У меня.

— Это хорошо. Я скоро его выведу, не беспокойтесь.

— Я не беспокоюсь. Он только ночует. Старуха в больнице, сноха померла; я два дня один. Я ему показал место в заборе где доска вынимается; он пролезет, никто не видит.

— Я его скоро возьму.

— Он говорит что у него много мест ночевать.

— Он врет, его ищут, а здесь пока незаметно. Разве вы с ним пускаетесь в разговоры?

— Да, всю ночь. Он вас очень ругает. Я ему ночью Апокалипсис читал, и чай. Очень слушал; даже очень, всю ночь.

— А, чорт, да вы его в христианскую веру обратите!

— Он и то христианской веры. Не беспокойтесь, зарежет. Кого вы хотите зарезать?

— Нет, он не для того у меня; он для другого.... А Шатов про Федьку знает?

— Я с Шатовым ничего не говорю и не вижу.

— Злится что ли?

— Нет, не злимся, а только отворачиваемся. Слишком долго вместе в Америке пролежали.

— Я сейчас к нему зайду.

— Как хотите.

— Мы со Ставрогиным к вам тоже может зайдем оттуда, этак часов в десять.

— Приходите.

— Мне с ним надо поговорить о важном.... Знаете, подарите-ка мне ваш мяч; к чему вам теперь? Я тоже для гимнастики. Я вам пожалуй заплачу деньги.

— Возьмите так.

Петр Степанович положил мяч в задний карман.

— А я вам не дам ничего против Ставрогина, пробормотал вслед Кирилов, выпуская гостя. Тот с удивлением посмотрел на него, но не ответил.

Последние слова Кирилова смутили Петра Степановича чрезвычайно; он еще не успел их осмыслить, но еще на лестнице к Шатову постарался переделать свой недовольный вид в ласковую физиономию. Шатов был дома и немного болен. Он лежал на постели, впрочем одетый.

— Вот неудача! вскричал Петр Степанович с порога;— серьезно больны?

Ласковое выражение его лица вдруг исчезло; что-то злобное засверкало в глазах.

— Нисколько, нервно привскочил Шатов,— я вовсе не болен, немного голова....

Он даже потерялся; внезапное появление такого гостя решительно испугало его.

— Я именно по такому делу что хворать не следует, начал Петр Степанович быстро и как бы властно;— позвольте сесть (он сел), а вы садитесь опять на вашу койку, вот так. Сегодня под видом дня рождения Виргинского соберутся у него из наших; другого впрочем оттенка не будет вовсе, приняты меры. Я приду с Николаем Ставрогиным. Вас бы я конечно не потащил туда, зная ваш теперешний образ мыслей.... то-есть в том смысле чтобы вас там не мучить, а не из того что мы

думаем что вы донесете. Но вышло так что вам придется идти. Вы там встретите тех самых с которыми окончательно и порешим каким образом вам оставить Общество и кому сдать что у вас находится. Сделаем неприметно; я вас отведу куда-нибудь в угол; народу много, а всем незачем знать. Признаться, мне пришлось таки из-за вас язык поточить; но теперь кажется и они согласны, с тем разумеется чтобы вы сдали типографию и все бумаги. Тогда ступайте себе на все четыре стороны.

Шатов выслушал нахмуренно и злобно. Нервный недавний испуг оставил его совсем.

— Я не признаю никакой обязанности давать чорт знает кому отчет, проговорил он наотрез,— никто меня не может отпускать на волю.

— Не совсем. Вам многое было доверено. Вы не имели права прямо разрывать. И наконец вы никогда не заявляли о том ясно, так что вводили их в двусмысленное положение.

— Я как приехал сюда заявил ясно письмом.

— Нет не ясно, спокойно оспаривал Петр Степанович — я вам прислал например *Светлую Личность,* чтобы здесь напечатать и экземпляры сложить до востребования где-нибудь тут у вас; тоже две прокламации. Вы воротили с письмом двусмысленным, ничего не обозначающим.

— Я прямо отказался печатать.

— Да, но не прямо. Вы написали: „не могу“, но не объяснили по какой причине. „Не могу“ не значит „не хочу“. Можно было подумать что вы просто от материальных причин не можете. Так это и поняли и сочли что вы все-таки согласны продолжать связь с Обществом, а стало-быть могли опять вам что-нибудь доверить, следовательно себя компрометтировать. Здесь они говорят что вы просто хотели обмануть, с тем чтобы, получив какое-нибудь важное сообщение, донести. Я вас защищал изо всех сил и показал ваш письменный ответ в две строки, как документ в вашу пользу. Но и сам должен был сознаться, перечитав теперь, что эти две строчки не ясны и вводят в обман.

— А у вас так тщательно сохранилось это письмо?

— Это ничего что оно у меня сохранилось; оно и теперь у меня.

— Ну и пускай, чорт!... яростно вскричал Шатов.— Пускай ваши дураки считают что я донес, какое мне дело! Я бы желал посмотреть что̀ вы мне можете сделать?

— Вас бы отметили и при первом успехе революции повесили.

— Это когда вы захватите верховную власть и покорите Россию?

— Вы не смейтесь. Повторяю, я вас отстаивал. Так ли, эдак, а все-таки я вам явиться сегодня советую. К чему напрасные слова из-за какой-то фальшивой гордости? Не лучше ли расстаться дружелюбно? Ведь ужь во всяком случае вам придется сдавать станок и буквы и старые бумажки, вот о том и поговорим.

— Приду, проворчал Шатов, в раздумьи понурив голову. Петр Степанович искоса рассматривал его с своего места.

— Ставрогин будет? спросил вдруг Шатов, подымая голову.

— Будет непременно.

— Хе, хе!

Опять с минуту помолчали. Шатов брезгливо-раздражительно ухмылялся.

— А эта ваша подлая *Светлая Личность,* которую я не хотел здесь печатать, напечатана?

— Напечатана.

— Гимназистов уверять что вам сам Герцен в альбом написал?

— Сам Герцен.

Опять помолчали минуты с три. Шатов встал наконец с постели:

— Ступайте вон от меня, я не хочу сидеть вместе с вами.

— Иду, даже как-то весело проговорил Петр Степанович, немедленно подымаясь,— одно только слово: Кирилов кажется один одинешенек теперь во флигеле без служанки?

— Один одинешенек. Ступайте, я не могу оставаться в одной с вами комнате.

„Ну, хорош же ты теперь!“ весело обдумывал Петр Степанович выходя на улицу; „хорош будешь и вечером, а мне именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя, лучше желать нельзя! Сам Русский бог помогает!“

VII.

Вероятно он очень много хлопотал в этот день по разным побегушкам; и должно-быть успешно — что̀ и отозвалось в самодовольном выражении его физиономии, когда вечером, ровно в шесть часов, он явился к Николаю Всеволодовичу. Но к тому его не сейчас допустили; с Николаем Всеволодовичем только-что заперся в кабинете Маврикий Николаевич. Это известие мигом его озаботило. Он уселся у самых дверей кабинета, с тем чтобы ждать выхода гостя. Разговор был слышен, но слов нельзя было уловить. Визит продолжался недолго; вскоре послышался шум, раздался чрезвычайно громкий и резкий голос, вслед затем отворилась дверь и вышел Маврикий Николаевич с совершенно бледным лицом. Он не заметил Петра Степановича и быстро прошел мимо. Петр Степанович тотчас же вбежал в кабинет.

Не могу обойти подробного отчета об этом, чрезвычайно кратком свидании двух „соперников“,— свидании, повидимому, невозмо́жном при сложившихся обстоятельствах, но однакоже состоявшемся.

Произошло это так: Николай Всеволодович дремал в своем кабинете после обеда на кушетке, когда Алексей Егорович доложил о приходе неожидаемого гостя. Услышав возвещенное имя, он вскочил даже с места и не хотел верить. Но вскоре улыбка сверкнула на губах его — улыбка высокомерного торжества и в то же время какого-то тупого недоверчивого изумления. Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражен выражением этой улыбки, по крайней мере вдруг

приостановился среди комнаты, как бы не решаясь: идти ли дальше или воротиться? Хозяин тотчас же успел изменить свое лицо и с видом серьезного недоумения шагнул ему навстречу. Тот не взял протянутой ему руки, неловко придвинул стул и, не сказав ни слова, сел еще прежде хозяина, не дождавшись приглашения. Николай Всеволодович уселся наискось на кушетке и всматриваясь в Маврикия Николаевича молчал и ждал.

— Если можете, то женитесь на Лизавете Николаевне, подарил вдруг Маврикий Николаевич, и что было всего любопытнее — никак нельзя было узнать по интонации голоса что это такое: просьба, рекомендация, уступка или приказание.

Николай Всеволодович продолжал молчать; но гость, очевидно, сказал уже все для чего пришел, и глядел в упор ожидая ответа.

— Если не ошибаюсь (впрочем это слишком верно), Лизавета Николаевна уже обручена с вами, проговорил наконец Ставрогин.

— Помолвлена и обручилась, твердо и ясно подтвердил Маврикий Николаевич.

— Вы.... поссорились?... Извините меня, Маврикий Николаевич.

— Нет, она меня „любит и уважает", ее слова. Ее слова драгоценнее всего.

— В этом нет сомнения.

— Но знайте что если она будет стоять у самого налоя под венцом, а вы ее кликните, то она бросит меня и всех и пойдет к вам.

— Из-под венца?

— И после венца.

— Не ошибаетесь ли?

— Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и.... безумие.... самая искренняя и безмерная любовь и — безумие! Напротив из-за любви которую она ко мне чувствует, тоже искренно, каждое мгновение сверкает ненависть,— самая вели-

кая! Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти.... метаморфозы.

— Но я удивляюсь как могли вы, однако, придти и располагать рукой Лизаветы Николаевны? Имеете ли вы на то право? Или она вас уполномочила?

Маврикий Николаевич нахмурился и на минуту потупил голову.

— Ведь это только одни слова с вашей стороны, проговорил он вдруг,— мстительные и торжествующие слова; я уверен, вы понимаете недосказанное в строках, и неужели есть тут место мелкому тщеславию? Мало вам удовлетворения? Неужели надо размазывать, ставить точки на i. Извольте я поставлю точки, если вам так нужно мое унижение: права я не имею, полномочие невозможно; Лизавета Николаевна ни о чем не знает, а жених ее потерял последний ум и достоин сумашедшего дома, и в довершение сам приходит вам об этом рапортовать. На всем свете только вы одни можете сделать ее счастливою, и только я один — несчастною. Вы ее оспариваете, вы ее преследуете, но не знаю почему не женитесь. Если это любовная ссора, бывшая за границей, и чтобы пресечь ее, надо принести меня в жертву,— приносите. Она слишком несчастна, и я не могу того вынести. Мои слова не позволение, не предписание, а потому и самолюбию вашему нет оскорбления. Еслибы вы хотели взять мое место у налоя, то могли это сделать безо всякого позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. Тем более что и свадьба наша после теперешнего моего шага уже никак невозможна. Не могу же я вести ее к алтарю подлецом? То что̀ я делаю здесь и то что̀ я предаю ее вам, может-быть, непримиримейшему ее врагу, на мой взгляд такая подлость которую я, разумеется, не перенесу никогда.

— Застрелитесь, когда нас будут венчать?

— Нет, позже гораздо. К чему марать моею кровью ее брачную одежду. Может я и совсем не застрелюсь, ни теперь, ни позже.

— Говоря так, желаете, вероятно, меня успокоить?

— Вас? Один лишний брызг крови что для вас может значить?

Он побледнел и глаза его засверкали. Последовало минутное молчание.

— Извините меня за предложенные вам вопросы, начал вновь Ставрогин;— некоторые из них я не имел никакого права вам предлагать, но на один из них я имею, кажется, полное право: скажите мне, какие данные заставили вас заключить о моих чувствах к Лизавете Николаевне? Я разумею о той степени этих чувств уверенность в которой позволила вам придти ко мне и.... рискнуть таким предложением.

— Как? даже вздрогнул немного Маврикий Николаевич;— разве вы не домогались? Не домогаетесь и не хотите домогаться?

— Вообще о чувствах моих к той или другой женщине я не могу говорить вслух третьему лицу, да и кому бы то ни было, кроме той одной женщины. Извините, такова ужь странность организма. Но взамен того я скажу вам всю остальную правду: я женат, и жениться или „домогаться" мне уже невозможно.

Маврикий Николаевич был до того изумлен что отшатнулся на спинку кресла и некоторое время смотрел неподвижно на лицо Ставрогина.

— Представьте, я никак этого не подумал, пробормотал он,— вы сказали тогда, в то утро, что не женаты.... я так и поверил что не женаты....

Он ужасно бледнел; вдруг он ударил изо всей силы кулаком по столу.

— Если вы после такого признания не оставите Лизавету Николаевну, и сделаете ее несчастною сами, то я убью вас палкой, как собаку под забором!

Он вскочил и быстро вышел из комнаты. Вбежавший Петр Степанович застал хозяина в самом неожиданном расположении духа.

— А, это вы! громко захохотал Ставрогин; хохотал он, казалось, одной только фигуре Петра Степановича, вбежавшего с таким стремительным любопытством.

— Вы у дверей подслушивали? Постойте, с чем это вы прибыли? Ведь я что-то вам обещал.... А, ба! Помню: к „нашим“! Идем, очень рад, и ничего вы не могли придумать теперь более кстати.

Он схватил шляпу, и оба немедля вышли из дому.

— Вы заранее смеетесь что увидите „наших“? весело юлил Петр Степанович, то стараясь шагать рядом с своим спутником по узкому кирпичному тротуару, то сбегая даже на улицу в самую грязь, потому что спутник совершенно не замечал что идет один по самой средине тротуара, а стало-быть занимает его весь одною своею особой.

— Нисколько не смеюсь, громко и весело отвечал Ставрогин,—напротив, убежден что у вас там самый серьезный народ.

— „Угрюмые тупицы“, как вы изволили раз выразиться.

— Ничего нет веселее иной угрюмой тупицы.

— А, это вы про Маврикия Николаевича! Я убежден что он вам сейчас невесту приходил уступать, а? Это я его подъуськал косвенно, можете себе представить. А не уступит, так мы у него сами возьмем — а?

Петр Степанович, конечно, знал что рискует пускаясь в такие выверты, но ужь когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся.

— А вы все еще расчитываете мне помогать? спросил он.

— Если кликнете. Но знаете что есть один самый лучший путь?

— Знаю ваш путь.

— Ну нет, это покаместь секрет. Только помните что секрет денег стоит.

— Знаю сколько и стоит, проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал.

— Сколько? чт вы сказали? встрепенулся Петр Степанович.

— Я сказал: ну вас к чорту и с секретом! Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю что мы на именины идем, но кто там именно?

— О, в высшей степени всякая всячина! Даже Кирилов будет.

— Все члены кружков?

— Чорт возьми, как вы торопитесь! Тут и одного кружка еще не состоялось.

— Как же вы разбросали столько прокламаций?

— Там куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски, и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал который надо организовать да и убираться. Впрочем вы сами устав писали, вам нечего объяснять.

— Что жь, трудно что ли идет? Заколодило?

— Идет? Как не надо легче. Я вас посмешу: первое что ужасно действует — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила разумеется сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики; нет-нет да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники; ну эти пожалуй хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется. Ну и наконец самая главная сила — цемент все связующий — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто это „миленький“ трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают.

— А коли так, из чего вы хлопочете?

— А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить! Будто серьозно не верите что возможен успех? Эх, вера-то есть, да надо хотенья. Да, именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него что недостаточно либерален. Дураки попрекают что я всех здесь надул центральным комитетом и „бесчисленными разветвлениями“. Вы

сами раз этим меня корили, а какое тут надувание: центральный комитет — я да вы, а разветвлений будет сколько угодно.

— И все этакая-то сволочь!

— Материал. Пригодятся и эти.

— А вы на меня все еще расчитываете?

— Вы начальник, вы сила; я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна.... или как там у них, чорт, поется в этой песне....

— Запнулся! захохотал Ставрогин. — Нет, я вам скажу лучше присказку. Вы вот высчитываете по пальцам из каких сил кружки составляются? Все это чиновничество и сентиментальность — все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Ха, ха, ха!

„Однако же ты.... однако же ты мне эти слова должен выкупить“, подумал про себя Петр Степанович, „и даже сегодня же вечером. Слишком ты много ужь позволяешь себе“.

Так, или почти так должен был задуматься Петр Степанович. Впрочем ужь подходили к дому Виргинского.

— Вы, конечно, меня там выставили каким-нибудь членом из-за границы, с связях с Internationale, ревизором? спросил вдруг Ставрогин.

— Нет не ревизором; ревизором будете не вы; но вы член-учредитель из-за границы, которому известны важнейшие тайны — вот ваша роль. Вы конечно станете говорить?

— Это с чего вы взяли?

— Теперь обязаны говорить.

Ставрогин даже остановился в удивлении среди улицы, недалеко от фонаря. Петр Степанович дерзко и спокойно выдержал его взгляд. Ставрогин плюнул и пошел далее.

— А вы будете говорить? вдруг спросил он Петра Степановича.

— Нет, ужь я вас послушаю.

— Чорт вас возьми! Вы мне в самом деле даете идею!

— Какую? выскочил Петр Степанович.

— Там-то я пожалуй поговорю, но за то потом вас отколочу и знаете — хорошо отколочу.

— Кстати, я давеча сказал про вас Кармазинову что будто вы говорили про него что его надо высечь, да и не просто из чести, а как мужика секут, больно.

— Да я этого никогда не говорил, ха-ха!

— Ничего. Se non e vero.

— Ну спасибо, искренно благодарю.

— Знаете еще что̀ говорит Кармазинов: что̀ в сущности наше учение есть отрицание чести, и что откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно.

— Превосходные слова! Золотые слова! вскричал Ставрогин; — прямо в точку попал! Право на бесчестье, — да это все к нам прибегут, ни одного там не останется! А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?

— Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает.

— Понимаю, да ведь мы у себя.

— Нет, покамест не из высшей полиции. Довольно, пришли. Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин; я всегда сочиняю, когда к ним вхожу. Побольше мрачности и только, больше ничего не надо; очень не хитрая вещь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

У наших.

I.

Виргинский жил в собственном доме, то-есть в доме своей жены, в Муравьиной улице. Дом был деревянный, одноэтажный и посторонних жильцов в нем не было. Под видом дня рождения хозяина, собралось гостей человек до пятнадцати; но вечеринка совсем не походила на обыкновенную провинциальную именинную вечеринку. Еще с самого начала своего сожития, супруги Виргинские положили взаимно, раз навсегда, что собирать гостей в именины совершенно глупо, да и „нечему вовсе радоваться“. В несколько лет они как-то успели совсем отдалить себя от общества. Он, хотя и человек со способностями и вовсе не „какой-нибудь бедный“, казался всем почему-то чудаком полюбившим уединение, и сверх того говорившим „надменно“. Сама же Mme Виргинская, занимавшаяся повивальною профессией, уже тем одним стояла ниже всех на общественной лестнице; даже ниже попадьи, несмотря на офицерский чин мужа. Соответственно же ее званию смирения не примечалось в ней вовсе. А после глупейшей и непростительно откровенной связи ее, из принципа, с каким-то мошенником, капитаном Лебядкиным, даже самые снисходительные из наших дам отвернулись от нее с замечательным пренебрежением. Но Mme Виргинская приняла все так как

будто ей того и надо было. Замечательно что те же самые строгие дамы, в случаях интересного своего положения, обращались по возможности к Арине Прохоровне (то-есть к Виргинской), минуя остальных трех акушерок нашего города. Присылали за нею даже из уезда к помещицам — до того все веровали в ее знание, счастье и ловкость в решительных случаях. Кончилось тем что она стала практиковать единственно только в самых богатых домах; деньги же любила до жадности. Ощутив вполне свою силу, она подконец уже нисколько не стесняла себя в характере. Может-быть даже нарочно, на практике в самых знатных домах, пугала слабонервных родильниц каким-нибудь неслыханным нигилистическим забвением приличий или наконец насмешками над „всем священным“ и именно в те минуты когда „священное“ наиболее могло бы пригодиться. Наш штаб-лекарь Розанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал что однажды, когда родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя божие, именно одно из таких вольнодумств Арины Прохоровны, внезапных „в роде выстрела из ружья“, подействовав на больную испугом, способствовало быстрейшему ее разрешению от бремени. Но хоть и нигилистка, а в нужных случаях Арина Прохоровна вовсе не брезговала не только светскими, но и стародавними, самыми предрассудочными обычаями, если таковые могли принести ей пользу. Ни за что не пропустила бы она, например, крестин повитого ею младенца, причем являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а шиньйон расчесывала в локоны и в букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своем неряшестве. И хотя во время совершения таинства сохраняла всегда „самый наглый вид“, так что конфузила причет, но по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась) и попробовали бы вы, взяв бокал, не положить ей „на кашу“.

Собравшиеся на этот раз к Виргинскому гости (почти все мужчины) имели какой-то случайный и экстренный вид. Не было ни закуски, ни карт. Посреди большой гостиной комнаты, оклеенной отменно старыми голубыми обоями, сдвинуты

были два стола и покрыты большою скатертью не совсем впрочем чистою, а на них кипели два самовара. Огромный поднос с двадцатью пятью стаканами и корзина с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей, в роде как в благородных мужских и женских пансионах для воспитанников, занимали конец стола. Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и белобрысая, существо молчаливое и ядовитое, но разделявшая новые взгляды и которой ужасно боялся сам Виргинский в домашнем быту. Всех дам в комнате было три: сама хозяйка, безбровая ее сестрица и родная сестра Виргинского, девица Виргинская, как раз только-что прикатившая из Петербурга. Арина Прохоровна, видная дама лет двадцати семи, собою недурная, несколько растрепанная, в шерстяном непраздничном платье зеленоватого оттенка, сидела обводя смелыми очами гостей и как бы спеша проговорить своим взглядом: „видите как я совсем ничего не боюсь". Прибывшая девица Виргинская, тоже недурная собой, студентка и нигилистка, сытенькая и плотненькая как шарик, с очень красными щеками и низенького роста, поместилась подле Арины Прохоровны, еще почти в дорожном своем костюме, с каким-то свертком бумаг в руке, и разглядывала гостей нетерпеливыми прыгающими глазами. Сам Виргинский в этот вечер был несколько нездоров, однакоже вышел посидеть в креслах за чайным столом. Все гости тоже сидели, и в этом чинном размещении на стульях вокруг стола, предчувствовалось заседание. Видимо все чего-то ждали, а в ожидании вели хотя и громкие, но как бы посторонние речи. Когда появились Ставрогин и Верховенский все вдруг затихло.

Но позволю себе сделать некоторое пояснение для определенности.

Я думаю что все эти господа действительно собрались тогда в приятной надежде услышать что-нибудь особенно любопытное и собрались предуведомленные. Они представляли собою цвет самого ярко-красного либерализма в нашем древнем городе и были весьма тщательно подобраны Виргинским

для этого „заседания“. Замечу еще что некоторые из них (впрочем очень немногие) прежде совсем не посещали его. Конечно большинство гостей не имело ясного понятия для чего их предуведомляли. Правда, все они принимали тогда Петра Степановича за приехавшего заграничного эмисара, имеющего полномочия; эта идея как-то сразу укоренилась и натурально льстила. А между тем в этой собравшейся кучке граждан, под видом празднования именин, уже находились некоторые которым были сделаны и определенные предложения. Петр Верховенский успел слепить у нас „пятерку“, на подобие той которая уже была у него заведена в Москве и еще, как оказалось теперь, в нашем уезде между офицерами. Говорят тоже была одна у него и в Х-ской гуебрнии. Эти пятеро избранных сидели теперь за общим столом и весьма искусно умели придать себе вид самых обыкновенных людей, так что никто их не мог узнать. То были,— так как теперь это не тайна,— вопервых Липутин, затем сам Виргинский, длинноухий Шигалев, брат г-жи Виргинской, Лямшин и наконец некто Толкаченко,— странная личность, человек уже лет сорока и славившийся огромным изучением народа, преимущественно мошенников и разбойников, ходивший нарочно по кабакам (впрочем не для одного изучения народного) и щеголявший между нами дурным платьем, смазными сапогами, прищуренно-хитрым видом и народными фразами с завитком. Раз или два еще прежде Лямшин приводил его к Степану Трофимовичу на вечера, где впрочем он особенного эффекта не произвел. В городе появлялся он временами, преимущественно когда бывал без места, а служил по железным дорогам. Все эти пятеро деятелей составили свою первую кучку с теплою верой что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных по России, и что все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь связано органически с европейскою всемирною революцией. Но к сожалению я должен признаться что между ними даже и в то уже время начал обнаруживаться разлад. Дело в том что они хоть и ждали еще с весны Петра Верхо-

венского, возвещенного им сперва Толкаченкой, а потом приехавшим Шигалевым; хоть и ждали от него чрезвычайных чудес, и хоть и пошли тотчас же все, без малейшей критики и по первому его зову, в кружок, но только-что составили пятерку, все как бы тотчас же и обиделись, и именно я полагаю за быстроту своего согласия. Пошли они разумеется из великодушного стыда чтобы не сказали потом что они не посмели пойти; но все-таки Петр Верховенский должен бы был оценить их благородный подвиг и по крайней мере рассказать им в награждение какой-нибудь са́мый главный анекдот. Но Верховенский вовсе не хотел удовлетворить их законного любопытства и лишнего ничего не рассказывал; вообще третировал их с замечательною строгостью и даже небрежностью. Это решительно раздражило, и член Шигалев уже подбивал остальных „потребовать отчета“, но разумеется не теперь у Виргинского, где собралось столько посторонних.

По поводу посторонних у меня тоже есть одна мысль, что вышеозначенные члены первой пятерки наклонны были подозревать в этот вечер в числе гостей Виргинского еще членов каких-нибудь им неизвестных групп, тоже заведенных в городе, по той же тайной организации и тем же самым Верховенским, так что в конце-концов все собравшиеся подозревали друг друга и один пред другим принимали разные осанки, что̀ и придавало всему собранию весьма сбивчивый и даже отчасти романический вид. Впрочем тут были люди и вне всякого подозрения. Так, например, один служащий майор, близкий родственник Виргинского, совершенно невинный человек, которого и не приглашали, но который сам пришел к имениннику, так что никак нельзя было его не принять. Но именинник все-таки был спокоен, потому что майор „никак не мог донести“; ибо несмотря на всю свою глупость, всю жизнь любил сновать по всем местам где водятся крайние либералы; сам не сочувствовал, но послушать очень любил. Мало того, был даже компрометтирован: случилось так что чрез его руки, в молодости, прошли целые склады *Колокола* и прокламаций, и хоть он их даже развер-

нуть боялся, но отказаться распространять их почел бы за совершенную подлость — и таковы иные русские люди даже и до сего дня. Остальные гости или представляли собою тип придавленного до желчи благородного самолюбия, или тип первого благороднейшего порыва пылкой молодости. То были два или три учителя, из которых один хромой, лет уже сорока пяти, преподаватель в гимназии, очень ядовитый и замечательно тщеславный человек, и два или три офицера. Из последних один очень молодой артиллерист, всего только на днях приехавший из одного учебного военного заведения, мальчик молчаливый и даже робкий и еще не успевший составить знакомства, вдруг очутился теперь у Виргинского с карандашом в руках и, почти не участвуя в разговоре, поминутно отмечал что-то в своей записной книжке. Все это видели, но все почему-то старались делать вид что не примечают. Был еще тут праздношатающийся семинарист, который с Лямшиным подсунул книгоноше мерзостные фотографии, крупный парень с развязною, но в то же время недоверчивою манерой, с бессменно обличительною улыбкой, а вместе с тем и со спокойным видом торжествующего совершенства заключенного в нем самом. Был не знаю для чего и сын нашего городского головы, тот самый скверный мальчишка, истаскавшийся не по летам и о котором я уже упоминал, рассказывая историю маленькой поручицы. Этот весь вечер молчал. И наконец в заключение один гимназист, очень горячий и взъерошенный мальчик лет восемнадцати, сидевший с мрачным видом оскорбленного в своем достоинстве молодого человека и видимо страдая за свои восемнадцать лет. Этот крошка был уже начальником самостоятельной кучки заговорщиков образовавшейся в высшем классе гимназии, что̀ и обнаружилось, ко всеобщему удивлению, в последствии. Я не упомянул о Шатове: он расположился тут же в заднем углу стола, несколько выдвинув из ряду свой стул, смотрел в землю, мрачно молчал, от чаю и хлеба отказался и все время не выпускал из рук свой картуз, как бы желая тем заявить что он не гость, а пришел по делу, и когда захочет, встанет

и уйдет. Недалеко от него поместился и Кирилов, тоже очень молчаливый, но в землю не смотрел, а напротив, в упор рассматривал каждого говорившего своим неподвижным взглядом без блеску и выслушивал все без малейшего волнения или удивления. Некоторые из гостей, никогда не видавшие его прежде, разглядывали его задумчиво и украдкой. Неизвестно, знала ли что-нибудь сама Mme Виргинская о существовавшей пятерке? Полагаю что знала все и именно от супруга. Студентка же, конечно, ни в чем не участвовала, но у ней была своя забота; она намеревалась прогостить всего только день или два, а затем отправиться дальше и дальше, по всем университетским городам, чтобы „принять участие в страданиях бедных студентов и возбудить их к протесту". Она везла с собою несколько сот экземпляров литографированного воззвания и кажется собственного сочинения. Замечательно что гимназист возненавидел ее с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел ее в первый раз в жизни, а она равномерно его. Майор приходился ей родным дядей и встретил ее сегодня в первый раз после десяти лет. Когда вошли Ставрогин и Верховенский, щеки ее были красны как клюква: она только-что разбранилась с дядей за убеждения по женскому вопросу.

II.

Верховенский замечательно небрежно развалился на стуле в верхнем углу стола, почти ни с кем не поздоровавшись. Вид его был брезгливый и даже надменный. Ставрогин раскланялся вежливо, но несмотря на то что все только их и ждали, все как по команде сделали вид что их почти не примечают. Хозяйка строго обратилась к Ставрогину, только что он уселся.

— Ставрогин, хотите чаю?

— Дайте, ответил тот.

— Ставрогину чаю, скомандовала она разливательнице,— а вы хотите? (это ужь к Верховенскому).

— Давайте, конечно, кто жь про это гостей спрашивает? Да дайте и сливок, у вас всегда такую мерзость дают вместо чаю: а еще в доме именинник.

— Как, и вы признаете именины? засмеялась вдруг студентка; — сейчас о том говорили.

— Старо, проворчал гимназист с другого конца стола.

— Чтó такое старо? Забывать предрассудки не старо, хотя бы самые невинные, а напротив, к общему стыду, до сих пор еще ново, мигом заявила студентка, так и дернувшись вперед со стула.— К тому же нет невинных предрассудков, прибавила она с ожесточением.

— Я только хотел заявить, заволновался гимназист ужасно,— что предрассудки хотя, конечно, старая вещь и надо истреблять, но насчет именин все уже знают что глупости и очень старо чтобы терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие на предмет более нуждающийся....

— Слишком долго тянете, ничего не поймешь, прокричала студентка.

— Мне кажется, всякий имеет право голоса наравне с другим, и если я желаю заявить мое мнение, как и всякий другой, то....

— У вас никто не отнимает права вашего голоса, резко оборвала уже сама хозяйка,— вас только приглашают не мямлить, потому что вас никто не может понять.

— Однако же, позвольте заметить что вы меня не уважаете; если я и не мог докончить мысль, то это не оттого что у меня нет мыслей, а скорее от избытка мыслей.... чуть не в отчаянии пробормотал гимназист и окончательно спутался.

— Если не умеете говорить, то молчите, хлопнула студентка.

Гимназист даже привскочил со стула.

— Я только хотел заявить, прокричал он, весь горя от стыда и боясь осмотреться вокруг,— что вам только хотелось выскочить с вашим умом потому что вошел господин Ставрогин — вот чтò!

— Ваша мысль грязна и безнравственна и означает все

ничтожество вашего развития. Прошу более ко мне не относиться, протрещала студентка.

— Ставрогин, начала хозяйка,— до вас тут кричали сейчас о правах семейства,— вот этот офицер (она кивнула на родственника своего майора). И ужь, конечно, не я стану вас беспокоить таким старым вздором, давно порешенным. Но откуда, однако, могли взяться права и обязанности семейства в смысле того предрассудка в котором теперь представляются? Вот вопрос. Ваше мнение?

— Как откуда могли взяться? переспросил Ставрогин.

— То-есть мы знаем, например, что предрассудок о боге произошел от грома и молнии, вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина; — слишком известно что первоначальное человечество пугаясь грома и молнии обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость. Но откуда произошел предрассудок о семействе? Откуда могло взяться само семейство?

— Это не совсем то же самое.... хотела было остановить хозяйка.

— Я полагаю что ответ на такой вопрос не скромен, отвечал Ставрогин.

— Как так? дернулась вперед студентка.

Но в учительской группе послышалось хихиканье, которому тотчас же отозвались с другого конца Лямшин и гимназист, а за ними сиплым хохотом и родственник майор.

— Вам бы писать водевили, заметила хозяйка Ставрогину.

— Слишком не к чести вашей относится, не знаю как вас зовут, отрезала в решительном негодовании студентка.

— А ты не выскакивай! брякнул майор,— ты барышня, тебе должно скромно держать себя, а ты ровно на иголку села.

— Извольте молчать и не смейте обращаться ко мне фамильярно с вашими пакостными сравнениями. Я вас в первый раз вижу и знать вашего родства не хочу.

— Да ведь я жь тебе дядя; я тебя на руках еще грудного ребенка таскал!

— Какое мне дело что̀ бы вы там ни таскали. Я вас тогда не

просила таскать, значит вам, господин неучтивый офицер, самому тогда доставляло удовольствие. И позвольте мне заметить что вы не смеете говорить мне *ты*, если не от гражданства, и я вам раз навсегда запрещаю.

— Вот все они так! стукнул майор кулаком по столу, обращаясь к сидевшему напротив Ставрогину.— Нет-с, позвольте, я либерализм и современность люблю и люблю послушать умные разговоры, но предупреждаю — от мущин. Но от женщин, но вот от современных этих разлетаек — нет-с, это боль моя! Ты не вертись! крикнул он студентке, которая порывалась со стула,— нет, я тоже слова прошу, я обижен-с.

— Вы только мешаете другим, а сами ничего не умеете сказать, с негодованием проворчала хозяйка.

— Нет, ужь я выскажу, горячился майор, обращаясь к Ставрогину.— Я на вас, господин Ставрогин, как на нового вошедшего человека расчитываю, хотя и не имею чести вас знать. Без мущин они пропадут как мухи — вот мое мнение. Весь их женский вопрос это — один только недостаток оригинальности. Уверяю же вас что женский этот весь вопрос выдумали им мущины, с дуру, сами на свою шею,— слава только богу что я не женат! Ни малейшего разнообразия-с, узора простого не выдумают; и узоры за них мущины выдумывают! Вот-с, я ее на руках носил, с ней десятилетней мазурку танцовал, сегодня она приехала, натурально лечу обнять, а она мне со второго слова объявила что бога нет. Да хоть бы с третьего, а не со второго слова, а то спешит! Ну, положим, умные люди не веруют, так ведь это от ума, а ты-то, говорю, пузырь, ты что̀ в боге понимаешь? Ведь тебя студент научил, а научил бы лампадки зажигать, ты бы и зажигала.

— Вы всё лжете, вы очень злой человек, а я давеча доказательно выразила вам вашу несостоятельность, ответила студентка с пренебрежением и как бы презирая много объясняться с таким человеком.— Я вам именно говорила давеча что нас всех учили по катехизису: „Если будешь почитать своего отца и своих родителей, то будешь долголетним и тебе дано будет богатство“. Это в десяти заповедях. Если бог нашел не-

обходимым за любовь предлагать награду, стало-быть ваш бог безнравствен. Вот в каких словах я вам давеча доказала, и не со второго слова, а потому что вы заявили права свои. Кто жь виноват что вы тупы и до сих пор не понимаете. Вам обидно и вы злитесь — вот вся разгадка вашего поколения.

— Дурында! проговорил майор.

— А вы дурак.

— Ругайся!

— Но позвольте, Капитон Максимович, ведь вы сами же говорили мне что в бога не веруете, пропищал с конца стола Липутин.

— Что жъ что я говорил, я другое дело! я может и верую, но только не совсем. Я хоть и не верую вполне, но все-таки не скажу что бога расстрелять надо. Я еще в гусарах служа насчет бога задумывался. Во всех стихах принято что гусар пьет и кутит; так-с, я может и пил, но, верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы бог веру послал, потому не мог я и тогда быть спокойным: есть бог или нет? До того оно мне солоно доставалось! Но утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет, да и вообще я заметил что днем всегда вера пропадает.

— А не будет ли у вас карт? зевнул во весь рот Верховенский, обращаясь к хозяйке.

— Я слишком, слишком сочувствую вашему вопросу! рванулась студентка, рдея в негодовании от слов майора.

— Теряется золотое время слушая глупые разговоры, отрезала хозяйка и взыскательно посмотрела на мужа.

Студентка подобралась:

— Я хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах....

— Ничего нет ни нравственного, ни безнравственного! тотчас же не вытерпел гимназист, как только начала студентка.

— Это я знала, господин гимназист, гораздо прежде чем вас тому научили.

— А я утверждаю, остервенился тот,— что вы приехавший из Петербурга ребенок с тем чтобы нас всех просветить, тогда как мы и сами знаем. О заповеди: „Чти отца твоего и матерь твою“, которую вы не умели прочесть, и что она безнравственна — уже с Белинского всем в России известно.

— Кончится ли это когда-нибудь? решительно проговорила Mme Виргинская мужу. Как хозяйка, она краснела за ничтожество разговоров, особенно заметив несколько улыбок и даже недоумение между новопозванными гостями.

— Господа, возвысил вдруг голос Виргинский,— еслибы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу, или имеет что̀ заявить, то я предлагаю приступить, не теряя времени.

— Осмелюсь сделать один вопрос, мягко проговорил доселе молчавший и особенно чинно сидевший хромой учитель:— я желал бы знать составляем ли мы здесь, теперь, какое-нибудь заседание, или, просто, мы собрание обыкновенных смертных пришедших в гости? Спрашиваю более для порядку и чтобы не находиться в неведении.

„Хитрый“ вопрос произвел впечатление; все переглянулись, каждый как бы ожидая один от другого ответа, и вдруг все как по команде обратили взгляды на Верховенского и Ставрогина.

— Я просто предлагаю вотировать ответ на вопрос: „заседание мы или нет?“ проговорила Mme Виргинская.

— Совершенно присоединяюсь к предложению, отозвался Липутин,— хотя оно и несколько неопределенно.

— И я присоединяюсь, и я, послышались голоса.

— И мне кажется действительно будет более порядку, скрепил Виргинский.

— Итак на голоса! объявила хозяйка.— Лямшин, прошу вас, сядьте за фортепьяно: вы и оттуда можете подать ваш голос, когда начнут вотировать.

— Опять! крикнул Лямшин;— довольно я вам барабанил.

— Я вас прошу настойчиво, сядьте играть; вы не хотите быть полезным делу?

— Да уверяю же вас, Арина Прохоровна, что никто не под-

слушивает. Одна ваша фантазия. Да и окна высоки, да и кто тут поймет что-нибудь еслиб и подслушивал.

— Мы и сами-то не понимаем в чем дело, проворчал чей-то голос.

— А я вам говорю что предосторожность всегда необходима. Я на случай, еслибы шпионы, обратилась она с толкованием к Верховенскому,— пусть услышат с улицы что у нас именины и музыка.

— Э, чорт! выругался Лямшин, сел за фортепьяно и начал барабанить вальс, зря и чуть не кулаками стуча по клавишам.

— Тем кто желает чтобы было заседание, я предлагаю поднять правую руку вверх, предложила Mme Виргинская.

Одни подняли, другие нет. Были и такие что подняли и опять взяли назад. Взяли назад и опять подняли.

— Фу, чорт! я ничего не понял, крикнул один офицер.

— И я не понимаю, крикнул другой.

— Нет, я понимаю, крикнул третий,—если *да*, то руку вверх.

— Да что *да*-то значит?

— Значит заседание.

— Нет, не заседание.

— Я вотировал заседание, крикнул гимназист, обращаясь к Mme Виргинской.

— Так зачем же вы руку не подняли?

— Я все на вас смотрел, вы не подняли, так и я не поднял.

— Как глупо, я потому что я предлагала, потому и не подняла. Господа, предлагаю вновь обратно: кто хочет заседание пусть сидит и не подымает руки, а кто не хочет, тот пусть подымет правую руку.

— Кто не хочет? переспросил гимназист.

— Да вы это нарочно что ли? крикнула в гневе Mme Виргинская.

— Нет-с, позвольте, кто хочет или кто не хочет, потому что это надо точнее определить? раздались два-три голоса.

— Кто не хочет, *не* хочет.

— Ну да, но что̀ надо делать, подымать или не подымать если *не* хочет? крикнул офицер.

— Эх, к конституции-то мы еще не привыкли! заметил майор.

— Господин Лямшин, сделайте одолжение, вы так стучите, никто не может расслышать, заметил хромой учитель.

— Да ей-богу же, Арина Прохоровна, никто не подслушивает, вскочил Лямшин.—Да не хочу же играть! Я к вам в гости пришел, а не барабанить!

— Господа, предложил Виргинский,— отвечайте все голосом: заседание мы или нет?

— Заседание, заседание! раздалось со всех сторон.

— А если так, то нечего и вотировать, довольно. Довольны ли вы господа, надо ли еще вотировать?

— Не надо, не надо, поняли!

— Может-быть кто не хочет заседания?

— Нет, нет, все хотим.

— Да что̀ такое заседание? крикнул голос. Ему не ответили.

— Надо выбрать президента, крикнули с разных сторон.

— Хозяина, разумеется хозяина!

— Господа, коли так, начал выбранный Виргинский,— то я предлагаю давешнее первоначальное мое предложение: если-бы кто пожелал начать о чем-нибудь более идущем к делу, или имеет что̀ заявить, то пусть приступит не теряя времени.

Общее молчание. Взгляды всех вновь обратились на Ставрогина и Верховенского.

— Верховенский, вы не имеете ничего заявить? прямо спросила хозяйка.

— Ровно ничего, потянулся он зевая на стуле.— Я впрочем желал бы рюмку коньяку.

— Ставрогин, вы не желаете?

— Благодарю, я не пью.

— Я говорю желаете вы говорить или нет, а не про коньяк.

— Говорить, об чем? Нет, не желаю.

— Вам принесут коньяку, ответила она Верховенскому.

Поднялась студентка. Она уже несколько раз подвскакивала.

— Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их повсеместно к протесту....

Но она осеклась; на другом конце стола явился уже другой

конкуррент, и все взоры обратились к нему. Длинноухий Шигалев с мрачным и угрюмым видом медленно поднялся с своего места и меланхолически положил толстую и чрезвычайно мелко исписанную тетрадь на стол. Он не садился и молчал. Многие с замешательством смотрели на тетрадь, но Липутин, Виргинский и хромой учитель были, казалось, чем-то довольны.

— Прошу слова, угрюмо но твердо заявил Шигалев.

— Имеете, разрешил Виргинский.

Оратор сел, помолчал с полминуты и произнес важным голосом:

— Господа....

— Вот коньяк! брезгливо и презрительно отрубила родственница разливавшая чай, уходившая за коньяком, и ставя его теперь пред Верховенским вместе с рюмкой, которую принесла в пальцах, без подноса и без тарелки.

Прерванный оратор с достоинством приостановился.

— Ничего, продолжайте, я не слушаю, крикнул Верховенский, наливая себе рюмку.

— Господа, обращаясь к вашему вниманию, начал вновь Шигалев,— и, как увидите ниже, испрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен произнести предисловие.

— Арина Прохоровна, нет у вас ножниц? спросил вдруг Петр Степанович.

— Зачем вам ножниц? выпучила та на него глаза.

— Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь, промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти.

Арина Прохоровна вспыхнула, но девице Виргинской как бы что-то понравилось.

— Кажется, я их здесь, на окне давеча видела, встала она из-за стола, пошла отыскала ножницы и тотчас же принесла с собой. Петр Степанович даже не посмотрел на нее, взял ножницы и начал возиться с ними. Арина Прохоровна поняла что это реальный прием и устыдилась своей обидчивости. Собрание переглядывалось молча. Хромой учитель злобно и завистливо наблюдал Верховенского. Шигалев стал продолжать:

— Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187... года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке, и в том странном животном которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия, все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого. Но так как будущая общественная форма необходима именно теперь, когда все мы наконец собираемся действовать чтоб уже более не задумываться, то я и предлагаю собственную мою систему устройства мира. Вот она! стукнул он по тетради.— Я хотел изложить собранию мою книгу по возможности в сокращенном виде; но вижу что потребуется еще прибавить множество изустных разъяснений, а потому все изложение потребует по крайней мере десяти вечеров, по числу глав моей книги. (Послышался смех.) Кроме того объявляю заранее что система моя не окончена. (Смех опять.) Я запутался в собственных данных, и мое заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю однакожь что кроме моего разрешения общественной формулы не может быть никакого.

Смех разростался сильней и сильней, но смеялись более молодые и так-сказать мало посвященные гости. На лицах хозяйки, Липутина и хромого учителя выразилась некоторая досада.

— Если вы сами не сумели слепить свою систему и пришли к отчаянию, то нам-то тут чего делать? осторожно заметил один офицер.

— Вы правы, господин служащий офицер, резко оборотился к нему Шигалев,— и всего более тем что употребили слово отчаяние. Да, я приходил к отчаянию; тем не менее все что̀ изложено в моей книге — незаменимо и другого выхода нет; никто ничего не выдумает. И потому спешу, не теряя времени, пригласить все общество, по выслушании моей книги в продолжении десяти вечеров, заявить свое мнение. Если же члены

не захотят меня слушать, то разойдемся в самом начале,— мущины чтобы заняться государственною службой, женщины в свои кухни, потому что отвергнув книгу мою, другого выхода они не найдут. Ни-ка-кого! Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся.

Началось движение: „Что он, помешанный что ли?" раздались голоса.

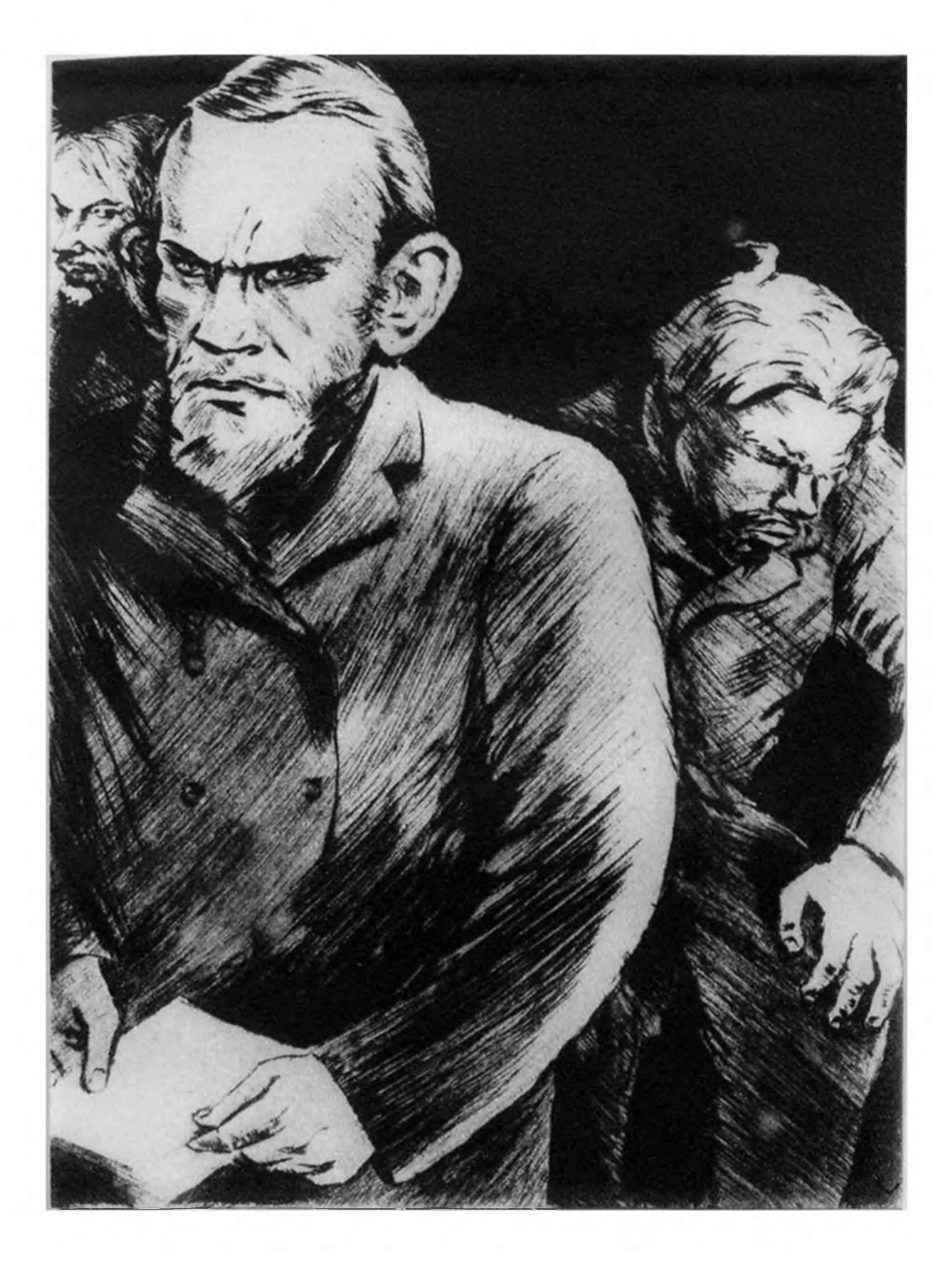
— Значит все дело в отчаянии Шигалева, заключил Лямшин,— а насущный вопрос в том: быть или не быть ему в отчаянии?

— Близость Шигалева к отчаянию есть вопрос личный, заявил гимназист.

— Я предлагаю вотировать насколько отчаяние Шигалева касается общего дела, а с тем вместе стоит ли слушать его или нет? весело решил офицер.

— Тут не то-с, ввязался наконец хромой. Вообще он говорил с некоторой, как бы насмешливою улыбкой, так что пожалуй трудно было и разобрать искренно он говорит или шутит.— Тут господа не то-с. Г. Шигалев слишком серьозно предан своей задаче и притом слишком скромен. Мне книга его известна. Он предлагает, в виде конечного разрешения вопроса — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться в роде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, в роде как бы первобытного рая, хотя впрочем и будут работать. Меры предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усумниться трудно. Жаль что условие десяти вечеров совершенно несовместимо с обстоятельствами, а то бы мы могли услышать много любопытного.

— Неужели вы серьозно? обратилась к хромому Mme Вир-



гинская, в некоторой даже тревоге.— Если этот человек, не зная куда деваться с людьми, обращает их девять десятых в рабство? Я давно подозревала его.

— То-есть вы про вашего братца? спросил хромой.

— Родство? Вы смеетесь надо мною или нет?

— И кроме того работать на аристократов и повиноваться им как богам — это подлость! яростно заметила студентка.

— Я предлагаю не подлость, а рай, земной рай, и другого на земле быть не может, властно заключил Шигалев.

— А я бы вместо рая, вскричал Лямшин,— взял бы этих девять десятых человечества, если ужь некуда с ними деваться, и взорвал их на воздух, а оставил бы только кучку людей образованных, которые и начали бы жить-поживать по-ученому.

— Так может говорить только шут! вспыхнула студентка.

— Он шут, но полезен, шепнула ей Mme Виргинская.

— И может-быть это было бы самым лучшим разрешением задачи! горячо оборотился Шигалев к Лямшину;— вы конечно и не знаете какую глубокую вещь удалось вам сказать, господин веселый человек. Но так как ваша идея почти невыполнима, то и надо ограничиться земным раем, если ужь так это назвали.

— Однако порядочный вздор! как бы вырвалось у Верховенского. Впрочем он совершенно равнодушно и не подымая глаз продолжал обстригать свои ногти.

— Почему же вздор-с? тотчас же подхватил хромой, как будто так и ждал от него первого слова чтобы вцепиться.— Почему же именно вздор? Г. Шигалев отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните что у Фурье, у Кабета особенно и даже у самого Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Г. Шигалев даже может-быть гораздо трезвее их разрешает дело. Уверяю вас что, прочитав книгу его, почти невозможно не согласиться с иными вещами. Он, может-быть, менее всех удалился от реализма, и его земной рай — есть почти настоящий, тот самый, о потере которого вздыхает человечество, если только он когда-нибудь существовал.

— Ну я так и знал что нарвусь, пробормотал опять Верховенский.

— Позвольте-с, вскипал все более и более хромой,— разговоры и суждения о будущем социальном устройстве — почти настоятельная необходимость всех мыслящих современных людей. Герцен всю жизнь только о том и заботился. Белинский, как мне достоверно известно, проводил целые вечера с своими друзьями, дебатируя и предрешая заранее даже самые мелкие так-сказать кухонные подробности в будущем социальном устройстве.

— Даже с ума сходят иные, вдруг заметил майор.

— Все-таки хоть до чего-нибудь договориться можно, чем сидеть и молчать в виде диктаторов, прошипел Липутин, как бы осмеливаясь наконец начать нападение.

— Я не про Шигалева сказал что вздор, промямлил Верховенский.— Видите, господа, приподнял он капельку глаза,— по-моему все эти книги Фурье, Кабеты, все эти „права на работу“, Шигалевщина — все это в роде романов, которых можно написать сто тысяч. Эстетическое препровождение времени. Я понимаю что вам здесь в городишке скучно, вы и бросаетесь на писанную бумагу.

— Позвольте-с, задергался на стуле хромой,— мы хоть и провинциалы и ужь конечно достойны тем сожаления, но однакоже знаем что на свете покамест ничего такого нового не случилось о чем бы нам плакать что проглядели. Нам вот предлагают, чрез разные подкидные листки иностранной фактуры, сомкнуться и завести кучки с единственною целию всеобщего разрушения, под тем предлогом что как мир ни лечи, все не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку. Мысль прекрасная, без сомнения, но по крайней мере столь же несовместимая с действительностию как и „Шигалевщина“, о которой вы сейчас отнеслись так презрительно.

— Ну да я не для рассуждений приехал, промахнулся значительным словцом Верховенский, и как бы вовсе не замечая своего промаха, подвинул к себе свечу, чтобы было светлее.

— Жаль-с, очень жаль что не для рассуждений приехали и очень жаль что вы так теперь заняты своим туалетом.

— А чего вам мой туалет?

— Сто миллионов голов так же трудно осуществить как и переделать мир пропагандой. Даже может-быть и труднее, особенно если в России, рискнул опять Липутин.

— На Россию-то теперь и надеются, проговорил офицер.

— Слышали мы и о том что надеются, подхватил хромой.— Нам известно что на наше прекрасное отечество обращен таинственный index[1], как на страну наиболее способную к исполнению великой задачи. Только вот что-с: в случае постепенного разрешения задачи пропагандой я хоть что-нибудь лично выигрываю, ну хоть приятно поболтаю, а от начальства так и чин получу за услуги социальному делу. А во втором, в быстром-то разрешении посредством ста миллионов голов, мне-то собственно какая будет награда? Начнешь пропагандировать, так еще пожалуй язык отрежут.

— Вам непременно отрежут, сказал Верховенский.

— Видите-с. А так как при самых благоприятных обстоятельствах раньше пятидесяти лет, ну тридцати, такую резню не докончишь, потому что ведь не бараны же те-то, пожалуй и не дадут себя резать,— то не лучше ли, собравши свой скарб, переселиться куда-нибудь за тихие моря на тихие острова и закрыть там свои глаза безмятежно? Поверьте-с, постучал он значительно пальцем по столу,— вы только эмиграцию такою пропагандой вызовете, а более ничего-с!

Он закончил видимо торжествуя. Это была сильная губернская голова. Липутин коварно улыбался, Виргинский слушал несколько уныло, остальные все с чрезвычайным вниманием следили за спором, особенно дамы и офицеры. Все понимали что агента ста миллионов голов приперли к стене и ждали что̀ из этого выйдет.

— Это вы впрочем хорошо сказали, еще равнодушнее чем прежде, даже как бы со скукой промямлил Верховенский.—

[1] [указательный палец]

Эмигрировать — мысль хорошая. Но все-таки, если несмотря на все явные невыгоды, которые вы предчувствуете, солдат на общее дело является все больше и больше с каждым днем, то и без вас обойдется. Тут, батюшка, новая религия идет взамен старой, оттого так много солдат и является, и дело это крупное. А вы эмигрируйте! И знаете, я вам советую в Дрезден, а не на тихие острова. Вопервых, это город никогда не видавший никакой эпидемии, а так как вы человек развитый, то наверно смерти боитесь, вовторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы; втретьих, заключает в себе так-называемые сокровища искусств, а вы человек эстетический, бывший учитель словесности кажется; ну и наконец, заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию — это ужь для поэтических вдохновений, потому наверно стишки пописываете. Одним словом, клад в табатерке!

Произошло движение; особенно офицеры зашевелились. Еще мгновение, и все бы разом заговорили. Но хромой раздражительно накинулся на приманку:

— Нет-с, мы еще, может-быть, и не уедем от общего дела! Это надо понимать-с....

— Как так, вы разве пошли бы в пятерку, еслиб я вам предложил? брякнул вдруг Верховенский и положил ножницы на стол.

Все как бы вздрогнули. Загадочный человек слишком вдруг раскрылся. Даже прямо про „пятерку“ заговорил.

— Всякий чувствует себя честным человеком и не уклонится от общего дела, закривился хромой,— но....

— Нет-с, тут ужь дело не в *но,* властно и резко перебил Верховенский.— Я объявляю, господа, что мне нужен прямой ответ. Я слишком понимаю что я, прибыв сюда и собрав вас сам вместе, обязан вам объяснениями (опять неожиданное раскрытие), но я не могу дать никаких прежде чем не узнаю какого образа мыслей вы держитесь. Минуя разговоры — потому что не тридцать же лет опять болтать, как болтали до сих пор тридцать лет — я вас спрашиваю что̀ вам милее: медленный

ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб человеческих на тысячи лет вперед на бумаге, тогда как деспотизм тем временем будет глотать жареные куски, которые вам сами в рот летят и которые вы мимо рта пропускаете, или вы держитесь решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться и уже на деле, а не на бумаге? Кричат: „Сто миллионов голов“, это может-быть еще и метафора, но чего их бояться, если при медленных бумажных мечтаниях деспотизм в какие-нибудь во сто лет съест не сто, а пятьсот миллионов голов? Заметьте еще что неизлечимый больной все равно не вылечится, какие бы ни прописывали ему на бумаге рецепты, а напротив, если промедлить, до того загниет что и нас заразит, перепортит все свежие силы, на которые теперь еще можно расчитывать, так что мы все наконец провалимся. Я согласен совершенно что либерально и красноречиво болтать чрезвычайно приятно, а действовать немного кусается.... Ну да впрочем я говорить не умею; я прибыл сюда с сообщениями, а потому прошу всю почтенную компанию не то что вотировать, а прямо и просто заявить что̀ вам веселее, черепаший ли ход в болоте или на всех парах через болото?

— Я положительно за ход на парах! крикнул в восторге гимназист.

— Я тоже, отозвался Лямшин.

— В выборе разумеется нет сомнения, пробормотал один офицер, за ним другой, за ним еще кто-то. Главное всех поразило что Верховенский с „сообщениями“ и сам обещал сейчас говорить.

— Господа, я вижу что почти все решают в духе прокламаций, проговорил он озирая общество.

— Все, все, раздалось большинство голосов.

— Я, признаюсь, более принадлежу к решению гуманному, проговорил майор,—но так как ужь все, то и я со всеми.

— Выходит стало-быть что и вы не противоречите? обратился Верховенский к хромому.

— Я не то чтобы.... покраснел было несколько тот,— но я если и согласен теперь со всеми, то единственно чтобы не нарушить....

— Вот вы все таковы! Полгода спорить готов для либерального красноречия, а кончит ведь тем что вотирует со всеми! Господа, рассудите однако, правда ли что вы все готовы?

(К чему готовы? вопрос неопределенный, но ужасно заманчивый.)

— Конечно все.... раздались заявления. Все впрочем поглядывали друг на друга.

— А может потом и обидитесь что скоро согласились? Ведь это почти всегда так у вас бывает.

Заволновались в различном смысле, очень заволновались. Хромой налетел на Верховенского.

— Позвольте вам однако заметить что ответы на подобные вопросы обусловливаются. Если мы и дали решение, то заметьте что все-таки вопрос заданный таким странным образом....

— Каким странным образом?

— Таким что подобные вопросы не так задаются.

— Научите пожалуста. А знаете, я так ведь и уверен был что вы первый обидитесь.

— Вы из нас вытянули ответ на готовность к немедленному действию, а какие однакоже права вы имели так поступать? Какие полномочия чтобы задавать такие вопросы?

— Так вы об этом раньше бы догадались спросить! Зачем же вы отвечали? Согласились да и спохватились.

— А по-моему, легкомысленная откровенность вашего главного вопроса дает мне мысль что вы вовсе не имеете ни полномочий, ни прав, а лишь от себя любопытствовали.

— Да вы про что̀, про что̀? вскричал Верховенский, как бы начиная очень тревожиться.

— А про то что аффилиации, какие бы ни были, делаются по крайней мере глаз-на-глаз, а не в незнакомом обществе двадцати человек! брякнул хромой. Он высказался весь, но уже слишком был раздражен. Верховенский быстро оборотился к обществу с отлично подделанным встревоженным видом:

— Господа, считаю долгом всем объявить что все это глупости и разговор наш далеко зашел. Я еще ровно никого не аффильировал и никто про меня не имеет права сказать что я аффильирую, а мы просто говорили о мнениях. Так ли? Но так или этак, а вы меня очень тревожите, повернулся он опять к хромому: — я никак не думал что здесь о таких почти невинных вещах надо говорить глаз-на-глаз. Или вы боитесь доноса? Неужели между нами может заключаться теперь доносчик?

Волнение началось чрезвычайное; все заговорили.

— Господа, еслибы так, продолжал Верховенский, — то ведь всех более компрометтировал себя я, а потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля.

— Какой вопрос? какой вопрос? загалдели все.

— А такой вопрос что после него станет ясно: оставаться нам вместе или молча разобрать наши шапки и разойтись в свои стороны.

— Вопрос, вопрос?

— Еслибы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома ожидая событий? Тут взгляды могут быть разные. Ответ на вопрос скажет ясно — разойтись нам или оставаться вместе и уже далеко не на один этот вечер. Позвольте обратиться к вам первому, обернулся он к хромому.

— Почему же ко мне первому?

— Потому что вы все и начали. Сделайте одолжение не уклоняйтесь, ловкость тут не поможет. Но впрочем как хотите; ваша полная воля.

— Извините, но подобный вопрос даже обиден.

— Нет ужь, нельзя ли поточнее.

— Агентом тайной полиции никогда не бывал-с, скривился тот еще более.

— Сделайте одолжение точнее, не задерживайте.

Хромой до того озлился что даже перестал отвечать. Молча

злобным взглядом из-под очков в упор смотрел он на истязателя.

— Да или нет? Донесли бы или не донесли? крикнул Верховенский.

— Разумеется *не* донесу! крикнул вдвое сильнее хромой.

— И никто не донесет, разумеется не донесет, послышались многие голоса.

— Позвольте обратиться к вам господин майор, донесли бы вы или не донесли? продолжал Верховенский.— И заметьте, я нарочно к вам обращаюсь.

— Не донесу-с.

— Ну а еслибы вы знали что кто-нибудь хочет убить и ограбить другого, обыкновенного смертного, ведь вы бы донесли, предуведомили?

— Конечно-с, но ведь это гражданский случай, а тут донос политический. Агентом тайной полиции не бывал-с.

— Да и никто здесь не бывал, послышались опять голоса.— Напрасный вопрос. У всех один ответ. Здесь не доносчики!

— Отчего встает этот господин? крикнула студентка.

— Это Шатов. Отчего вы встали, Шатов? крикнула хозяйка.

Шатов встал действительно, он держал свою шапку в руке и смотрел на Верховенского. Казалось он хотел ему что-то сказать, но колебался. Лицо его было бледно и злобно, но он выдержал, не проговорил ни слова и молча пошел вон из комнаты.

— Шатов, ведь это для вас же не выгодно! загадочно крикнул ему вслед Верховенский.

— За то тебе выгодно, как шпиону и подлецу! прокричал ему в дверях Шатов и вышел совсем.

Опять крики и восклицания.

— Вот она проба-то! крикнул голос.

— Пригодилась! крикнул другой.

— Не поздно ли пригодилась-то? заметил третий.

— Кто его приглашал?— Кто принял?— Кто таков?— Кто такой Шатов?— Донесет или не донесет? сыпались вопросы.

— Еслибы доносчик, он бы прикинулся, а то он наплевал да и вышел, заметил кто-то.

— Вот и Ставрогин встает, Ставрогин тоже не отвечал на вопрос, крикнула студентка.

Ставрогин действительно встал, а с ним вместе с другого конца стола поднялся и Кирилов.

— Позвольте, господин Ставрогин, резко обратилась к нему хозяйка, мы все здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите?

— Я не вижу надобности отвечать на вопрос который вас интересует, пробормотал Ставрогин.

— Но мы себя компрометтировали, а вы нет, закричало несколько голосов.

— А мне какое дело что вы себя компрометтировали? засмеялся Ставрогин, но глаза его сверкали.

— Как какое дело? Как какое дело? раздались восклицания. Многие вскочили со стульев.

— Позвольте, господа, позвольте, кричал хромой,— ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал.

Замечание произвело эффект поразительный. Все переглянулись. Ставрогин громко засмеялся в глаза хромому и вышел, а за ним Кирилов. Верховенский выбежал вслед за ними в переднюю.

— Что̀ вы со мной делаете? пролепетал он, схватив Ставрогина за руку и изо всей силы стиснув ее в своей. Тот молча вырвал руку.

— Будьте сейчас у Кирилова, я приду.... Мне необходимо, необходимо, необходимо!

— Мне нет необходимости, отрезал Ставрогин.

— Ставрогин будет, покончил Кирилов.— Ставрогин, вам есть необходимость. Я вам там покажу.

Они вышли.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Иван-Царевич.

Они вышли. Петр Степанович бросился было в „заседание“, чтоб унять хаос, но вероятно рассудив что не стоит возиться, оставил все и через две минуты уже летел по дороге вслед за ушедшими. На бегу ему припомнился переулок которым можно было еще ближе пройти к дому Филиппова; увязая по колена в грязи, он пустился по переулку и в самом деле прибежал в ту самую минуту когда Ставрогин и Кирилов проходили в ворота.

— Вы уже здесь? заметил Кирилов;— это хорошо. Входите.

— Как же вы говорили что живете один? спросил Ставрогин, проходя в сенях мимо наставленного и уже закипавшего самовара.

— Сейчас увидите с кем я живу,— пробормотал Кирилов,— входите.

Едва вошли, Верховенский тотчас же вынул из кармана давешнее анонимное письмо взятое у Лембке и положил пред Ставрогиным. Все трое сели. Ставрогин молча прочел письмо.

— Ну? спросил он.

— Этот негодяй сделает как по-писанному, пояснил Верховенский.— Так как он в вашем распоряжении, то научите как поступить. Уверяю вас что он может-быть завтра же пойдет к Лембке.

— Ну и пусть идет.

— Как пусть? Особенно если можно обойтись.

— Вы ошибаетесь, он от меня не зависит. Да и мне все равно; мне он ничем не угрожает, а угрожает лишь вам.

— И вам.

— Не думаю.

— Но вас могут другие не пощадить, неужто не понимаете? Слушайте Ставрогин, это только игра на словах. Неужто вам денег жалко?

— А надо разве денег?

— Непременно, тысячи две или minimum полторы. Дайте мне завтра или даже сегодня, и завтра к вечеру я спроважу его вам в Петербург, того-то ему и хочется. Если хотите, с Марьей Тимофеевной — это заметьте.

Было в нем что-то совершенно сбившееся, говорил он как-то неосторожно, вырывались слова необдуманные. Ставрогин присматривался к нему с удивлением.

— Мне незачем отсылать Марью Тимофеевну.

— Может-быть даже и не хотите? иронически улыбнулся Петр Степанович.

— Может-быть и не хочу.

— Одним словом, будут или не будут деньги? в злобном нетерпении и как бы властно крикнул Петр Степанович. Ставрогин оглядел его серьозно.

— Денег не будет.

— Эй, Ставрогин! Вы что-нибудь знаете или что-нибудь уже сделали! Вы — кутите!

Лицо его искривилось, концы губ вздрогнули и он вдруг рассмеялся каким-то совсем беспредметным, ни к чему не идущим смехом.

— Ведь вы от отца вашего получили же деньги за имение, спокойно заметил Николай Всеволодович. — Maman выдала вам тысяч шесть или восемь за Степана Трофимовича. Вот и заплатите полторы тысячи из своих. Я не хочу наконец платить за чужих, я и так много роздал, мне это обидно.... усмехнулся он сам на свои слова.

— А, вы шутить начинаете....

Ставрогин встал со стула, мигом вскочил и Верховенский и машинально стал спиной к дверям, как бы загораживая выход. Николай Всеволодович уже сделал жест чтоб оттолкнуть его от двери и выйти, но вдруг остановился.

— Я вам Шатова не уступлю, сказал он. Петр Степанович вздрогнул; оба глядели друг на друга.

— Я вам давеча сказал для чего вам Шатова кровь нужна, засверкал глазами Ставрогин.— Вы этою мазью ваши кучки слепить хотите. Сейчас вы отлично выгнали Шатова: вы слишком знали что он не сказал бы: „не донесу", а солгать пред вами почел бы низостью. Но я-то, я-то для чего вам теперь понадобился? Вы ко мне пристаете почти что с заграницы. То чем вы это объясняли мне до сих пор, один только бред. Межь тем вы клоните чтоб я, отдав полторы тысячи Лебядкину, дал тем случай Федьке его зарезать. Я знаю, у вас мысль что мне хочется зарезать заодно и жену. Связав меня преступлением вы конечно думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? На кой чорт я вам понадобился? Раз навсегда рассмотрите ближе: ваш ли я человек, и оставьте меня в покое.

— К вам Федька сам приходил? одышливо проговорил Верховенский.

— Да он приходил; его цена тоже полторы тысячи.... Да вот он сам подтвердит, вот стоит.... протянул руку Ставрогин.

Петр Степанович быстро обернулся. На пороге, из темноты, выступила новая фигура — Федька, в полушубке, но без шапки, как дома. Он стоял и посмеивался, скаля свои ровные белые зубы. Черные с желтым отливом глаза его осторожно шмыгали по комнате наблюдая господ. Он чего-то не понимал; его очевидно сейчас привел Кирилов, и к нему-то обращался его вопросительный взгляд; стоял он на пороге, но переходить в комнату не хотел.

— Он здесь у вас припасен вероятно чтобы слышать наш торг или видеть даже деньги в руках, ведь так? спросил

Ставрогин, и не дожидаясь ответа, пошел вон из дому. Верховенский нагнал его у ворот почти в сумашествии.

— Стой! Ни шагу! крикнул он хватая его за локоть. Ставрогин рванул руку, но не вырвал. Бешенство охватило им: схватив Верховенского за волосы левою рукой, он бросил его изо всей силы об-земь и вышел в ворота. Но он не прошел еще тридцати шагов как тот опять нагнал его.

— Помиримтесь, помиримтесь, прошептал он ему судорожным шепотом.

Николай Всеволодович вскинул плечами, но не остановился и не оборотился.

— Слушайте, я вам завтра же приведу Лизавету Николаевну, хотите? Нет? Что̀ же вы не отвечаете? Скажите чего вы хотите, я сделаю. Слушайте: я вам отдам Шатова, хотите?

— Стало-быть правда что вы его убить положили? вскричал Николай Всеволодович.

— Ну зачем вам Шатов? Зачем? задыхающейся скороговоркой продолжал исступленный, поминутно забегая вперед и хватаясь за локоть Ставрогина, вероятно и не замечая того. Слушайте: я вам отдам его, помиримтесь. Ваш счет велик, но.... помиримтесь!

Ставрогин взглянул на него наконец и был поражен. Это был не тот взгляд, не тот голос как всегда или как сейчас там в комнате; он видел почти другое лицо. Интонация голоса была не та: Верховенский молил, упрашивал. Это был еще неопомнившийся человек, у которого отнимают или уже отняли самую драгоценную вещь.

— Да что̀ с вами? вскричал Ставрогин. Тот не ответил, но бежал за ним и глядел на него прежним умоляющим, но в то же время и непреклонным взглядом.

— Помиримтесь! прошептал он еще раз. Слушайте, у меня в сапоге, как у Федьки нож припасен, но я с вами помирюсь.

— Да на что̀ я вам наконец, чорт! вскричал в решительном гневе и изумлении Ставрогин.—Тайна что ль тут какая? Что̀ я вам за талисман достался?

— Слушайте, мы сделаем смуту, бормотал тот быстро и

почти как в бреду.—Вы не верите что мы сделаем смуту? Мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ. Кармазинов прав, что не за что ухватиться. Кармазинов очень умен. Всего только десять таких же кучек по России, и я неуловим.

— Это таких же все дураков, нехотя вырвалось у Ставрогина.

— О, будьте поглупее, Ставрогин, будьте поглупее сами! Знаете, вы вовсе ведь не так и умны чтобы вам этого желать: вы боитесь, вы не верите, вас пугают размеры. И почему они дураки? Они не такие дураки; нынче у всякого ум не свой. Нынче ужасно мало особливых умов. Виргинский это человек чистейший, чище таких как мы в десять раз; ну и пусть его впрочем. Липутин мошенник, но я у него одну точку знаю. Нет мошенника у которого бы не было своей точки. Один Лямшин безо всякой точки, за то у меня в руках. Еще несколько таких кучек, и у меня повсеместно паспорты и деньги, хотя бы это? Хотя бы это одно? И сохранные места, и пусть ищут. Одну кучку вырвут, а на другой сядут. Мы пустим смуту.... Неужто вы не верите что нас двоих совершенно достаточно?

— Возьмите Шигалева, а меня бросьте в покое....

— Шигалев гениальный человек! Знаете ли что это гений в роде Фурье; но смелее Фурье, но сильнее Фурье; я им займусь. Он выдумал „равенство!“

С ним лихорадка и он бредит; с ним что-то случилось очень особенное, посмотрел на него еще раз Ставрогин. Оба шли не останавливаясь.

— У него хорошо в тетради, продолжал Верховенский,— у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способ-

ности не могут не быть деспотами и всегда развращали более чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями, вот Шигалевщина! Рабы должны быть равны: Без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот Шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за Шигалевщину!

Ставрогин старался ускорить шаг и добраться поскорее домой. „Если этот человек пьян, то где же он успел напиться", приходило ему на ум. „Неужели коньяк?"

— Слушайте, Ставрогин: горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Я за Шигалева! Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только не достает, послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство. „Мы научились ремеслу и мы честные люди, нам не надо ничего другого" вот недавний ответ английских рабочих. Необходимо лишь необходимое, вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое; в Шигалевщине не будет желаний. Желание и страдание для нас, а для рабов Шигалевщина.

— Себя вы исключаете? сорвалось опять у Ставрогина.

— И вас. Знаете ли, я думал было отдать мир папе. Пусть он выйдет пеш и бос и покажется черни: „Вот дескать до чего меня довели!" и все повалит за ним, даже войско. Папа вверху, мы кругом, а под нами Шигалевщина. Надо только чтобы с папой Internationale согласилась, так и будет. А ста-

рикашка согласится мигом. Да другого ему и выхода нет, вот помяните мое слово, ха-ха-ха, глупо? говорите, глупо или нет?

— Довольно, пробормотал Ставрогин с досадой.

— Довольно! Слушайте, я бросил папу! К чорту Шигалевщину! К чорту папу! Нужно злобу дня, а не Шигалевщину, потому что Шигалевщина ювелирская вещь. Это идеал, это в будущем. Шигалев ювелир и глуп как всякий филантроп. Нужна черная работа, а Шигалев презирает черную работу. Слушайте: папа будет на западе, а у нас, у нас будете вы!

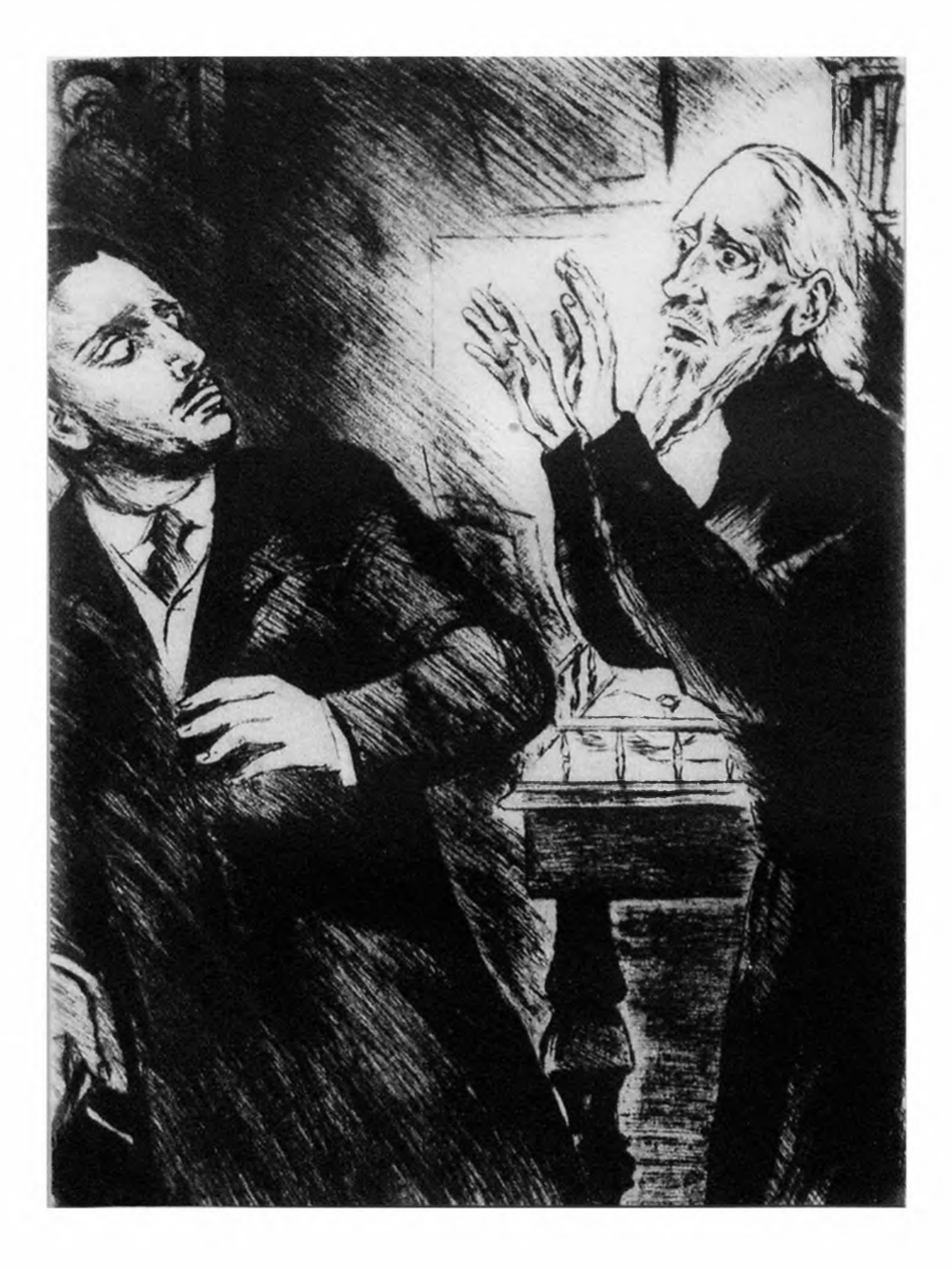
— Отстаньте от меня, пьяный человек! пробормотал Ставрогин и ускорил шаг.

— Ставрогин, вы красавец! вскричал Петр Степанович почти в упоении,— знаете ли что вы красавец! В вас всего дороже то что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто с боку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть! Вы должно-быть страдаете и страдаете искренно, от того простодушия. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят, ну а я люблю идола! Вы мой идол! Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся, это хорошо. К вам никто не подойдет вас потрепать по плечу. Вы ужасный аристократ. Аристократ когда идет в демократию обаятелен! Вам ничего не значит пожертвовать жизнью и своею и чужою. Вы именно таков какого надо. Мне, мне именно такого надо как вы. Я никого кроме вас не знаю. Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк....

Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина и он в испуге вырвал свою руку. Они остановились.

— Помешанный! прошептал Ставрогин.

— Может и брежу, может и брежу! подхватил тот скороговоркой, но я выдумал первый шаг. Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает как его сделать. Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы,



вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, Колумб без Америки.

Ставрогин стоял и пристально глядел в его безумные глаза.

— Слушайте, мы сначала пустим смуту, торопился ужасно Верховенский, поминутно схватывая Ставрогина за левый рукав.— Я уже вам говорил: мы проникнем в самый народ. Знаете ли, что мы ужь и теперь ужасно сильны? Наши не те только которые режут и жгут, да делают классические выстрелы или кусаются. Такие только мешают. Я без дисциплины ничего не понимаю. Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель смеющийся с детьми над их богом и над их колыбелью уже наш. Адвокат защищающий образованного убийцу тем что он развитее своих жертв и чтобы денег добыть не мог не убить, уже наш. Школьники убивающие мужика чтоб испытать ощущение, наши, наши. Присяжные оправдывающие преступников сплошь, наши. Прокурор трепещущий в суде что он не достаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о, наших много, ужасно много, и сами того не знают! С другой стороны, послушание школьников, и дурачков достигло высшей черты; у наставников раздавлен пузырь с желчью; везде тщеславие размеров непомерных, аппетит зверский, неслыханный. Знаете ли, знаете ли, сколько мы одними готовыми идейками возьмем? Я поехал — свирепствовал тезис Littré что преступление есть помешательство; приезжаю — и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг, по крайней мере благородный протест. „Ну как развитому убийце не убить, если ему денег надо!“ Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред „дешевкой“. Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: „двести розог, или тащи ведро“. О, дайте, дайте взрости поколению! Жаль только что некогда ждать, а то пусть бы они еще попьянее стали! Ах как жаль что нет пролетариев! Но будут, будут, к этому идет....

— Жаль тоже что мы поглупели, пробормотал Ставрогин и двинулся прежнею дорогой.

— Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы пожалуй и вылечим.... если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним.... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут еще „свеженькой кровушки", чтоб попривык. Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и Шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха, ха, ха! Жаль только что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха, ха! Знаете ли что я вам скажу, Ставрогин: в Русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял.

— Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас и слушаю с изумлением, промолвил Николай Всеволодович,— вы стало-быть и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический.... честолюбец?

— Мошенник, мошенник. Вас заботит кто я такой? Я вам скажу сейчас кто я такой, к тому и веду. Не даром же я у вас руку поцеловал. Но надо чтоб и народ уверовал что мы знаем чего хотим, а что те только „машут дубиной и бьют по своим". Эх кабы время! Одна беда — времени нет. Мы провозгласим разрушение.... почему, почему, опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары.... Мы пустим легенды... Тут каждая шелудивая „кучка" пригодится. Я вам в этих же самых кучках таких охотников отыщу что на всякий выстрел пойдут, да еще за честь благодарны останутся. Ну-с и начнется смута! Раскачка такая пойдет какой еще мир не видал.... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам.... Ну-с тут-то мы и пустим.... Кого?

— Кого?

— Ивана-Царевича.

— Кого-о?

— Ивана-Царевича; вас, вас.

Ставрогин подумал с минуту.

— Самозванца? вдруг спросил он, в глубоком удивлении смотря на исступленного.— Э, так вот наконец ваш план.

— Мы скажем что он „скрывается“, тихо, каким-то любовным шопотом проговорил Верховенский, в самом деле как будто пьяный.— Знаете ли вы что значит это словцо: „он скрывается“? Но он явится, явится. Мы пустим легенду получше чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О, какую легенду можно пустить! А главное — новая сила идет. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. А тут сила, да еще какая, неслыханная! Нам ведь только на раз рычаг чтобы землю поднять. Все подымется!

— Так это вы серьозно на меня расчитывали? усмехнулся злобно Ставрогин.

— Чего вы смеетесь, и так злобно? Не пугайте меня Я теперь как ребенок, меня можно до смерти испугать одною вот такою улыбкой. Слушайте, я вас никому не покажу, никому: так надо. Он есть, но никто не видал его, он скрывается. А знаете что можно даже и показать, из ста тысяч одному например. И пойдет по всей земле: „видели, видели“. И Ивана Филипповича бога-саваофа видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, „собственными“ глазами видели. А вы не Иван Филиппович; вы красавец, гордый как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, „скрывающийся“. Главное, легенду! Вы их победите, взглянете и победите. Новую правду несет и „скрывается“. А тут мы два-три соломоновских приговора пустим. Кучки-то, пятерки-то — газет не надо! Если из десяти тысяч одну только просьбу удовлетворить, то все пойдут с просьбами. В каждой волости каждый мужик будет знать что есть дескать где-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: „новый правый закон идет“, и взволнуется море и рухнет ба-

лаган, и тогда подумаем как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить *мы* будем, мы, одни мы!

— Неистовство! проговорил Ставрогин.

— Почему, почему вы не хотите? Боитесь? Ведь я потому и схватился за вас что вы ничего не боитесь. Неразумно что ли? Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен?

Ставрогин молчал. Межь тем пришли к самому дому и остановились у подъезда.

— Слушайте, наклонился к его уху Верховенский:— я вам без денег; я кончу завтра с Марьей Тимофеевной.... без денег, и завтра же приведу к вам Лизу. Хотите Лизу, завтра же?

„Что он вправду помешался?" улыбнулся Ставрогин. Двери крыльца отворились.

— Ставрогин, наша Америка? схватил в последний раз его за руку Верховенский.

— Зачем? сериозно и строго проговорил Николай Всеволодович.

— Охоты нет, так я и знал! вскричал тот в порыве неистовой злобы.— Врете вы, дрянной, блудливый, изломанный барченок, не верю, аппетит у вас волчий!... Поймите же что ваш счет теперь слишком велик, и не могу же я от вас отказаться! Нет на земле иного как вы! Я вас с заграницы выдумал; выдумал на вас же глядя. Еслибы не глядел я на вас из угла, не пришло бы мне ничего в голову!...

Ставрогин не отвечая пошел вверх по лестнице.

— Ставрогин! крикнул ему вслед Верховенский,— даю вам день.... ну два.... ну три; больше трех не могу, а там — ваш ответ!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

У Тихона.

I.

Николай Всеволодович в эту ночь не спал и всю просидел на диване, часто устремляя неподвижный взор в одну точку в углу у комода. Всю ночь у него горела лампа. Часов в семь по утру заснул сидя, и, когда Алексей Егорович, по обычаю раз навсегда заведенному, вошел к нему ровно в половину десятого с утреннею чашкою кофею и появлением своим разбудил его, то, открыв глаза, он, казалось, неприятно был удивлен, что мог так долго проспать и что так уже поздно. Наскоро выпил он кофей, наскоро оделся и торопливо вышел из дому. На осторожный спрос Алексея Егоровича, „не будет ли каких приказаний“, ничего не ответил. По улице пошел, смотря в землю, в глубокой задумчивости и, лишь мгновениями, подымая голову, вдруг выказывал какое-то неопределенное, но сильное беспокойство. На одном перекрестке, еще недалеко от дому, ему пересекла дорогу толпа проходивших мужиков, человек в пятьдесят или более; они шли чинно, почти молча, в нарочном порядке. У лавочки, возле которой с минуту пришлось ему подождать, кто-то сказал, что это „Шпигулинские рабочие“. Он едва обратил на них внимание. Наконец, около половины одиннадцатого дошел к вратам нашего

Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города, у реки. Тут только он как бы что-то вспомнил тревожное и хлопотливое, остановился, наскоро пощупал что-то в своем боковом кармане и — усмехнулся. Войдя в ограду, он спросил у первого попавшегося ему служки: как пройти к проживавшему в монастыре на спокое архиерею Тихону. Служка принялся кланяться и тотчас же повел. У крылечка, в конце длинного двухъэтажного монастырского корпуса, властно и проворно отбил его у служки повстречавшийся с ними толстый и седой монах и повел длинным узким корридором, тоже все кланяясь (хотя по толстоте своей не мог наклоняться низко, а только дергал часто и отрывисто головой), и все приглашая пожаловать, хотя Николай Всеволодович и без того за ним шел. Монах предлагал какие-то вопросы и говорил об отце архимандрите; не получая же ответов становился все почтительнее. Ставрогин заметил что его здесь знают, хотя, сколько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве. Когда дошли до двери в самом конце корридора, монах отворил ее как бы властною рукой, фамильярно осведомился у подскочившего келейника, можноль войти и даже не выждав ответа отмахнул совсем дверь и наклонившись пропустил мимо себя „дорогого“ посетителя; получив же благодарность быстро скрылся, точно бежал. Николай Всеволодович вступил в небольшую комнату и почти в ту же минуту в дверях соседней комнаты показался высокий и сухощавый человек, лет пятидесяти пяти, в простом домашнем подряснике и на вид как будто несколько больной, с неопределенною улыбкой и с странным, как бы застенчивым взглядом. Это и был тот самый Тихон, о котором Николай Всеволодович в первый раз услыхал от Шатова и о котором он, с тех пор, успел и сам мимоходом собрать кое-какие сведения.

Сведения были разнообразны и противуположны, но имели и нечто общее, именно то что любившие и нелюбившие Тихона (а таковые были), все о нем как-то умалчивали — нелюбившие, вероятно, от пренебрежения, а приверженцы и даже горячие — от какой-то скромности, что-то как будто хотели

утаить, какую-то его слабость, может-быть юродство. Николай Всеволодович узнал что он уже лет шесть как проживает в монастыре, и что приходят к нему и из самого простого народа, и из знатнейших особ; что даже в отдаленном Петербурге есть у него горячие почитатели и преимущественно почитательницы. Зато услышал от одного осанистого нашего „клубного" старичка, и старичка богомольного, и такой отзыв: что „этот Тихон чуть-ли не сумашедший и без сомнения выпивает". Прибавлю от себя, забегая вперед, что последнее — решительный вздор, а есть одна только закоренелая ревматическая болезнь в ногах и по временам какие-то нервные судороги. Узнал тоже Николай Всеволодович что проживавший на спокое архиерей по слабости-ли характера или „по непростительной и несвойственной его сану рассеянности" не съумел внушить к себе в самом монастыре особливого уважения. Говорили что отец архимандрит, человек суровый и строгий относительно своих настоятельских обязанностей и, сверх того, известный ученостью, даже питал к нему некоторое будто бы враждебное чувство и осуждал его (не в глаза, а косвенно) в небрежном житии и чуть ли не в ереси. Монастырская же братия тоже как будто относилась к больному святителю не то чтоб очень небрежно, а так-сказать фамильярно. Две комнаты, составлявшие келью Тихона, были убраны тоже как-то странно. Рядом с дубоватою старинною мебелью с протертой кожей стояли три-четыре изящные вещицы: богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, столики, этажерки, все разумеется дареное. Был дорогой бухарский ковер, а рядом с ним и цыновки. Были гравюры „светского" содержания и из времен мифологических, а тут же в углу большой киот, с сиявшими золотом и серебром иконами, из которых одна древнейших времен с мощами. Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многоразлично и противуположно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства, находились сочинения театральные и романы, „а может-быть и гораздо хуже".

После первых приветствий, произнесенных почему-то с явною обоюдною неловкостию, поспешно и даже неразборчиво, Тихон провел гостя в свой кабинет и все как будто спеша усадил на диване, перед столом, а сам поместился подле, в плетеных креслах. Тут к удивлению, Николай Всеволодович совсем потерялся. Похоже было что он как бы решался из всех сил на что-то чрезвычайное и неоспоримое, и в то же время почти для него невозможное. Он с минуту осматривался в кабинете, видимо не замечая рассматриваемого; он задумался, но, может-быть, не зная о чем. Его разбудила тишина и ему вдруг показалось что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза с какой-то совсем ненужной улыбкой. Это мгновенно возбудило в нем отвращение и бунт; он хотел встать и уйти; по мнению его Тихон был решительно пьян. Но тот вдруг поднял глаза и посмотрел на него таким твердым и полным мысли взглядом, а вместе с тем, с таким неожиданным и загадочным выражением что он чуть не вздрогнул. И вот ему вдруг показалось совсем другое: что Тихон уже знает зачем он пришел, уже предуведомлен (хотя в целом мире никто не мог знать этой причины) и если не заговаривает первый сам, то щадя его, пугаясь его унижения.

— Вы меня знаете? спросил он вдруг отрывисто,— рекомендовался я вам или нет, когда вошел. Извините, я так рассеян....

— Вы не рекомендовались, но я имел удовольствие видеть вас однажды еще года четыре назад, здесь в монастыре.... случайно.

Тихон говорил очень неспешно и ровно, голосом мягким, ясно и отчетливо выговаривая слова.

— Я не был в здешнем монастыре четыре года назад, с какой-то ненужною грубостью возразил Николай Всеволодович;— я был здесь только маленьким, когда вас еще тут совсем не было.

— Может-быть, забыли? осторожно и не настаивая заметил Тихон.

— Нет, не забыл; и смешно еслиб я не помнил, как-то не в меру настаивал со своей стороны Ставрогин,— вы, может-

быть обо мне только слышали и составили какое-нибудь понятие, а потому и сбились что сами видели.

Тихон смолчал. Тут Николай Всеволодович заметил, что по лицу его проходит иногда нервное содрагание, признак давнишнего нервного расслабления.

— Я вижу только что вы сегодня нездоровы, сказал он,— и кажется лучше еслиб я ушел.

Он даже привстал было с места.

— Да, я чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах и ночью спал мало....

Тихон остановился. Гость его внезапно впал в какую-то неопределенную задумчивость. Молчание продолжалось долго, минуты две.

— Вы наблюдали за мной? спросил он вдруг тревожно и подозрительно.

— Я на вас смотрел и припоминал черты лица вашей родительницы. При несходстве внешнем, много сходства внутреннего, духовного.

— Никакого сходства, особенно духовного. Даже со-вер-шенно никакого! затревожился опять без нужды и не в меру настаивая, сам не зная зачем Николай Всеволодович.— Это вы говорите так.... из сострадания к моему положению, брякнул он вдруг.— Ба! разве мать моя у вас бывает?

— Бывает.

— Не знал. Никогда не слыхал от нее. Часто?

— Почти ежемесячно; и чаще.

— Никогда, никогда не слыхал. Не слыхал,— он как бы ужасно встревожился этим фактом. А вы конечно слышали от нее что я помешанный, брякнул он опять.

— Нет не то чтобы как о помешанном. Впрочем и об этой идее слышал, но от других.

— Вы стало-быть очень памятливы, коли могли о таких пустяках припомнить. А о пощечине слышали?

— Слышал нечто.

— То-есть все. Ужасно много у вас времени слушать. И об дуэли?

— И о дуэли.

— Вот где газет не надо. Шатов предупреждал вас обо мне?

— Нет. Я впрочем знаю господина Шатова, но давно уже не видал его.

— Гм. Что это у вас там за карта? Ба, карта последней войны. Вам-то это зачем?

— Справлялся по ландкарте с текстом. Интереснейшее описание.

— Покажите; да, изложение не дурное. Странное однако же для вас чтение.

Он придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно объемистое и талантливое изложение обстоятельств последней войны, не столько впрочем в военном, сколько в чисто-литературном отношении. Повертев книгу он вдруг нетерпеливо отбросил ее.

— Я решительно не знаю зачем я пришел сюда? брезгливо произнес он, смотря прямо в глаза Тихону, будто ожидая от него же ответа.

— Вы тоже как бы не очень здоровы?

— Да, нездоров пожалуй.

И вдруг он, впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так что иное трудно было и понять, рассказал что он подвержен, особенно по ночам, некоторого рода галюсинациям что он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и „разумное“, „в разных лицах и в разных характерах, но оно одно и то же, а я всегда злюсь!...“

Дики и сбивчивы были эти открытия и действительно как бы шли от помешанного. Но при этом Николай Всеволодович говорил с такою странною откровенностью, невиданною в нем никогда, с таким простодушием, совершенно ему несвойственным что казалось, в нем вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно. Он нисколько не постыдился обнаружить тот страх, с которым говорил о своем привидении. Но все это было мгновенно и так же вдруг исчезло как и явилось.

— Все это вздор, быстро и с неловкой досадой проговорил он, спохватившись.— Я схожу к доктору.

— Несомненно сходите, подтвердил Тихон.

— Вы так говорите утвердительно.... Вы видали таких, как я, с такими видениями?

— Видывал, но очень редко. Запомню лишь одного такого же в моей жизни, из военных офицеров, после потери им своей супруги, незаменимой для него подруги жизни. О другом лишь слышал. Оба лечились потом заграницей.... И давно вы сему подвержены?

— Около году, но все это вздор. Я схожу к доктору. И все это вздор, вздор ужасный. Это я сам в разных видах и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту.... фразу, то вы наверно думаете что я все еще сомневаюсь и не уверен что это я, а не в самом деле бес?

Тихон посмотрел вопросительно.

— И.... вы видите его действительно? спросил он, то-есть устраняя всякое сомнение в том что это несомненно фальшивая и болезненная галюсинация,— видите ли вы в самом деле какой-нибудь образ?

— Странно что вы об этом настаиваете, тогда как я уже сказал вам что вижу, стал опять раздражаться с каждым словом Ставрогин,— разумеется вижу, вижу так как вас.... а иногда вижу и не уверен, что вижу, хоть и вижу.... а иногда не знаю, что̀ правда: я или он.... вздор все это. А вы разве никак не можете предположить что это в самом деле бес! прибавил он, засмеявшись и слишком резко переходя в насмешливый тон,— ведь это было бы сообразнее с вашей профессией?

— Вероятнее что болезнь, хотя....

— Хотя что?

— Беси существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное.

— Вы оттого опять опустили сейчас глаза, подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой,— что вам стало стыдно за меня что я в беса-то верую, но под видом того что не

верую, хитро задаю вам вопрос: есть ли он или нэт в самом деле?

Тихон неопределенно улыбнулся.

— Ну так знайте что я вовсе не стыжусь и чтобы удовлетворить вас за грубость, я вам серьозно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все.

Он нервно, неестественно засмеялся. Тихон с любопытством смотрел на него, но как бы несколько робким, хотя и мягким взглядом.

— В бога веруете? брякнул вдруг Николай Всеволодович.

— Верую!

— Ведь сказано, если веруешь и прикажешь горе сдвинуться, то она сдвинется.... впрочем извините меня за вздор. Однако я все-таки хочу полюбопытствовать: сдвинете вы гору или нет?

— Бог повелит и сдвину, тихо и сдержанно произнес Тихон, начиная опять опускать глаза.

— Ну, это все равно что сам бог сдвинет. Нет, вы, вы, в награду за вашу веру в бога?

— Может-быть и не сдвину.

— „Может-быть“? Ну и это не дурно, хе-хе! А впрочем все еще сомневаетесь?

— По несовершенству веры моей сомневаюсь.

— Как и вы несовершенно веруете?

— Да.... может-быть верую и не в совершенстве, ответил Тихон.

— Вот бы не предположил, на вас глядя!—окинул он вдруг его глазами с некоторым удивлением, совсем уже прямодушным, что вовсе не гармонировало с насмешливым тоном предыдущих вопросов.

Тон впрочем был до странности сериозен.

— Да может-быть я верую не в совершенстве, ответил Тихон.

— Ну всетаки, однако же веруете что хоть с божиею-то

помощью сдвинете, и это ведь не мало. По крайней мере хотите веровать. И гору принимаете буквально. Это всетаки много. Хороший принцип. Я заметил что передовые из наших Левитов сильно наклонены к лютеранству и очень готовы объяснять чудеса причинами естественными. Это всетаки побольше чем très peu[1] одного тоже архиепископа, правда под саблей. Вы конечно и христианин? Ставрогин говорил быстро, слова сыпались, то сериозно, то насмешливо.

— Креста твоего господи да не постыжуся, почти прошептал Тихон, каким-то страстным шопотом и склоняя еще более голову.

— А можно ль веровать в беса, не веруя в бога? засмеялся Ставрогин.

— О, очень можно, сплошь и рядом, поднял глаза Тихон и улыбнулся.

— И уверен что такую веру вы находите всетаки почтеннее, чем полное безверие.... захохотал Ставрогин.

— Напротив полный атеизм почтеннее светского равнодушия, повидимому весело и простодушно, ответил Тихон, но в то же время осторожно и с беспокойством всматриваясь в гостя.

— Ого, вот вы как!

— Совершенный атеист, как хотите, а всетаки, стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой уже веры не имеет, кроме дурного страха, да и то лишь изредка, если чувствительный человек.

— Гм... вы читали Апокалипсис?

— Читал.

— Помните: „Ангелу Лаодикийской церкви напиши“?...

— Помню.

— Где у вас книга? как-то странно заторопился и затревожился Ставрогин, ища глазами на столе книгу,— мне хочется вам прочесть... русский перевод есть?

[1] [очень мало]

— Я знаю место, помню, проговорил Тихон.

— Помните наизусть? Прочтите!...

Он быстро опустил глаза, упер обе ладони в колени и нетерпеливо приготовился слушать. Тихон прочел, припоминая слово в слово:

„И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания божия: знаю твоя дела, ни холоден, ни горячь, о есть ли б ты был холоден или горячь. Но поелику ты тепл, а не горячь и не холоден, то изблюю тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды; а не знаешь, что ты жалок и беден, и нищ, и слеп и наг“....

— Довольно, оборвал Ставрогин. Знаете, я вас очень люблю.

— И я вас, отозвался вполголоса Тихон.

Ставрогин замолк и вдруг впал опять в давешнюю задумчивость. Это происходило точно припадками, уже в третий раз. Да и Тихону сказал он „люблю“ тоже чуть не в припадке, по крайней мере неожиданно для себя самого. Прошло более минуты.

— Не сердитесь, прошептал Тихон, чуть-чуть дотронувшись пальцем до его локтя и как-бы сам робея.

Тот вздрогнул и гневно нахмурил брови.

— Почему вы узнали, что я рассердился, быстро произнес он. Тихон хотел было что-то сказать, но он вдруг перебил его в необъяснимой тревоге:

— Почему вы именно предположили что я непременно должен был разозлиться. Да, я был зол, вы правы, и именно за то что вам сказал „люблю“. Вы правы, но вы грубый циник, вы унизительно думаете о природе человеческой. Злобы могло и не быть, будь только другой человек, а не я... Впрочем дело не о человеке, а обо мне. Всетаки вы чудак и юродивый....

Он раздражался все больше и больше и странно, не стеснялся в словах:

— Слушайте, я не люблю шпионов и психологов. по крайней мере, таких, которые в мою душу лезут. Я никого не

зову в мою душу, я ни в ком не нуждаюсь, я умею сам обойтись. Вы думаете, я вас боюсь? возвысил он голос и с вызовом приподнял лицо;— вы совершенно убеждены что я пришел вам открыть одну „страшную“ тайну и ждете ее со всем келейным любопытством, к которому вы способны? Ну, так знайте что я вам ничего не открою, никакой тайны, потому что совершенно могу без вас обойтись....

Тихон твердо посмотрел на него:

— Вас поразило, что агнец любит лучше холодного, чем только лишь теплого, сказал он,— вы не хотите быть *только* теплым. Предчувствую что вас берет намерение чрезвычайное, может быть ужасное. Умоляю, не мучьте себя и скажите все.

— А вы наверно знали, что я с чем-то пришел.

— Я.... угадал, прошептал Тихон, опуская глаза.

Николай Всеволодович был несколько бледен, руки его немного дрожали. Несколько секунд он неподвижно и молча смотрел, как-бы решаясь окончательно. Наконец, вынул из бокового кармана своего сертука какие-то печатные листики и положил на стол.

— Вот листки, назначенные к распространению, проговорил он обрывающимся голосом.— Если прочтет хоть один человек, то знайте, что я уже их не скрою, а прочтут и все. Так решено. Я в вас совсем не нуждаюсь, потому что я все решил. Но прочтите.... Когда будете читать, ничего не говорите, а как прочтете — скажите все....

— Читать ли? нерешительно спросил Тихон.

— Читайте; я спокоен.

— Нет без очков не разберу, печать тонкая, заграничная.

— Вот очки, подал ему со стола Ставрогин и отклонился на спинку дивана как будто спрашивая. Тихон не смотрел на него и углубился в чтение.

II.

Печать была действительно заграничная — три отпечатанных и сброшюрованных листочка обыкновенной почтовой бумаги малого формата. Должно-быть отпечатано было секретно в какой-

нибудь заграничной русской типографии, и листки с первого взгляда очень походили на прокламацию. В заголовке стояло: От Ставрогина.

Вношу в мою летопись этот документ буквально. Я позволил себе лишь исправить орфографические ошибки, довольно многочисленные и даже несколько меня удивившие, так как автор всетаки был человек образованный и даже начитанный (конечно, судя относительно). В слоге же изменений не сделал никаких, несмотря на неправильности. Во всяком случае явно что автор прежде всего не литератор.

От Ставрогина.

Я, Николай Ставрогин, отставной офицер, в 186— г. жил в Петербурге, предаваясь разврату, в котором не находил удовольствия. У меня было тогда в продолжении некоторого времени три квартиры. В одной из них проживал я сам в номерах со столом и прислугою, где находилась тогда и Марья Лебядкина, ныне законная жена моя. Другие же квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги: в одной принимал одну любившую меня даму, а в другой ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы барыня и девка у меня встретились. Зная оба характера, ожидал себе от этой шутки большого удовольствия.

Приготовляя исподволь эту встречу, я должен был чаще посещать одну из сих двух квартир в большом доме в Гороховой, так как сюда приходила та горничная. Тут у меня была одна лишь комната, в четвертом этаже, нанятая от мещан из русских. Сами они помещались рядом в другой — теснее и до того что дверь разделявшая всегда стояла отворенной, чего я и хотел. Муж длиннополый и с бородой у кого-то был в конторе и уходил с утра до ночи. Жена, баба лет сорока, что-то разрезывала и сшивала из старого в новое и тоже нередко уходила из дому относить что нашила. Я оставался один с их дочерью, совсем ребенком на вид. Ее звали Матрешей. Мать ее любила, но часто била и по их привычке ужасно кричала на нее по-бабьи за все. Эта девочка мне прислуживала и убирала

у меня за ширмами. Объявляю, что я забыл нумер дома. Теперь, по справке, знаю что старый дом сломан, и на месте двух или трех прежних домов стоит один новый, очень большой. Забыл тоже имя моих мещан (а может-быть и тогда не знал). Помню что мещанку звали Степанидой, кажется, Михайловной. Его не помню. Куда теперь делись — совсем не знаю. Полагаю что если очень начать искать и делать возможные справки в Петербургской полиции, то найти следы можно. Квартира была на дворе, в углу. Все произошло в июне. Дом был светло-голубого цвета.

Однажды у меня со стола пропал перочинный ножик, который мне вовсе был не нужен и валялся так. Я сказал хозяйке, никак не думая о том, что она высечет дочь. Но та только что кричала на девочку за пропажу какой-то тряпки, подозревая что та ее стащила, и даже отодрала ее за волосы. Когда же эта самая тряпка нашлась под скатертью, девочка не захотела сказать ни слова в попрек и смотрела молча. Я это заметил и тут же в первый раз хорошо заметил лицо девочки, а до тех пор оно лишь мелькало. Она была белобрысая и весноватая, лицо обыкновенное, но очень много детского и тихого, чрезвычайно тихого. Матери не понравилось что дочь не попрекнула за битье даром, и она замахнулась на нее кулаком, но не ударила; а тут как раз подоспел мой ножик. В самом деле, кроме нас троих, никого не было, а ко мне за ширмы входила только девочка. Баба остервенилась, потому что в первый раз прибила несправедливо, бросилась к венику, нарвала из него прутьев и высекла девчонку до рубцов на моих глазах, несмотря на то, что ей уже был двенадцатый год. Матреша от розог не кричала, вероятно потому, что я был тут, но как-то странно всхлипывала при каждом ударе. И потом очень всхлипывала целый час.

Но прежде того было вот что: в ту самую минуту, когда хозяйка бросилась к венику, чтобы надергать розог, я нашел ножик на моей кровати, куда он как-нибудь упал со стола. Мне тотчас пришло в голову не объявлять, для того, чтобы ее высекли. Решился я мгновенно; в такие минуты у меня всегда

прерывается дыхание. Но я намерен расказать все в более твердых словах, чтоб ужь ничего более не оставалось скрытого.

Всякое чрезвычайно позорное, без меры унизительное, подлое и, главное, смешное положение, в каковых мне случалось бывать в моей жизни, всегда возбуждало во мне, рядом с безмерным гневом, неимоверное наслаждение. Точно также и в минуты преступлений и в минуты опасности жизни. Еслиб я что-нибудь крал, то я бы чувствовал, при совершении кражи, упоение от сознания глубины моей подлости. Не подлость я любил (тут рассудок мой бывал совершенно цел), но упоение мне нравилось от мучительного сознания низости. Равно всякий раз когда я, стоя на барьере, выжидал выстрела противника, то ощущал то же самое позорное и неистовое ощущение, а однажды чрезвычайно сильно. Сознаюсь, что часто я сам искал его, потому что оно для меня сильнее всех в этом роде. Когда я получал пощечины (а я получил их две в мою жизнь), то и тут это было, несмотря на ужасный гнев. Но если сдержать при этом гнев, то наслаждение превысит все, что можно вообразить. Никогда я не говорил о том никому, даже намеком и скрывал как стыд и позор. Но когда меня раз больно били в кабаке в Петербурге и таскали за волосы, я не чувствовал этого ощущения, а только неимоверный гнев, не быв пьян, и лишь дрался. Но еслибы схватил меня за волосы и нагнул за границей тот Француз виконт, который ударил меня по щеке и которому я отстрелил за это нижнюю челюсть, то я бы почувствовал упоение и, может-быть, не чувствовал бы и гнева. Так мне тогда показалось.

Все это для того чтобы всякий знал что никогда это чувство не покоряло меня всего совершенно, а всегда оставалось сознание самое полное (да на сознании-то все и основывалось)! И хотя овладевало мною до безрассудства, или так сказать до упрямства, но никогда до забвения себя. Доходя во мне до совершенного огня, я в то же время мог совсем одолеть его, даже остановить в верхней точке; только сам никогда не хотел останавливать. Я убежден что мог бы прожить целую жизнь

как монах, несмотря на звериное сладострастье которым одарен и которое всегда вызывал. Я всегда господин себе когда захочу. Итак, пусть известно что я ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу.

Когда кончилась экзекуция, я положил ножик в жилетный карман и, выйдя, выбросил на улицу, далеко от дому, так чтобы никто никогда не узнал. Потом я выждал два дня. Девочка, поплакав, стала еще молчаливее; на меня же, я убежден, не имела злобного чувства. Впрочем, наверно, был некоторый стыд за то что ее наказали в таком виде при мне. Но и в стыде этом она, как ребенок, винила, наверно, одну себя. Отмечаю это потому что в расказе важно.

Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли я бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем не знаю от чего. В эти же два-три дня (так как непременно надо было выждать чтобы девочка все забыла) я, вероятно чтоб отвлечь себя от беспрерывной мечты или только на смех, сделал в номерах кражу. Это была единственная кража в моей жизни.

В этих номерах гнездилось много людей. Между прочими жил один чиновник с семейством в двух меблированных комнатках; лет сорока, не совсем глупый и имевший приличный вид, но бедный. Я с ним не сходился, и компании, которая там окружала меня, он боялся. Он только-что получил жалованье тридцать пять рублей. Главное натолкнуло меня что мне в самом деле в ту минуту нужны были деньги (хотя я через четыре дня и получил с почты), так что я крал как будто из нужды, а не из шутки. Сделано было нагло и явственно: я просто вошел в его номер когда жена, дети и он обедали в другой каморке. Тут на стуле, у самой двери лежал сложенный виц-мундир. У меня вдруг блеснула эта мысль еще в корридоре. Я запустил руку в карман и вытащил портмоне. Но чиновник услышал шорох и выглянул из каморки. Он кажется даже видел, по крайней мере, что-нибудь, но так как не все, то

конечно и не поверил глазам. Я сказал что, проходя корридором, зашел взглянуть который час на его стенных. „Стоят-с“, отвечал он, я и вышел.

Тогда я много пил, и в номерах у меня была целая ватага, в том числе и Лебядкин. Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. Было тридцать два рубля, три красных и две желтых. Я тотчас же разменял красную и послал за шампанским; потом еще послал красную, а затем и третью. Часа через четыре, и уже вечером, чиновник выждал меня в корридоре.

— Вы, Николай Всеволодович, когда давеча заходили, не сронили ли нечаянно со стула виц-мундир.... у двери лежал?

— Нет, не помню. А у вас лежал виц-мундир?

— Да, лежал-с.

— На полу?

— Сначала на стуле, а потом на полу.

— Что̀ жь вы его подняли?

— Поднял.

— Ну, так чего же вам еще?

— Да коли так, так и ничего-с....

Он договорить не посмел, да и в номерах не посмел никому сказать,— до того бывают робки эти люди. Впрочем в номерах все меня боялись ужасно и почитали. Я потом любил с ним встречаться глазами, раза два в корридоре. Скоро наскучило.

Через три дня я воротился в Гороховую. Мать куда-то собиралась с узлом; мещанина разумеется не было. Его никогда не было. Остались я и Матреша. Окна были отперты. В доме все жили мастеровые, и целый день изо всех этажей слышался стук молотков или песни. Мы пробыли уже с час. Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной и что-то копалась с иголкой. Наконец, вдруг тихо запела, очень тихо, это с ней иногда бывало. Я вынул часы и посмотрел который час, было два. У меня начинало биться сердце. Я встал и начал к ней подкрадываться. У них на окнах стояло много герани и солнце ужасно ярко светило. Я тихо сел подле нее на полу. Она вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила.

Я взял ее руку и тихо поцеловал, принагнул ее опять на скамейку и стал смотреть ей в глаза. То что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться чтобы заплакать, но всетаки не закричала. Я опять поцеловал ей руку и взял ее к себе на колени. Тогда вдруг она вся отдернулась и улыбнулась как от стыда, но какою-то кривою улыбкою. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей, как пьяный. Наконец, вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел — так это было мне неприятно в таком маленьком существе от жалости. Но я преодолел внезапное чувство моего страха и остался.

Когда все кончилось, она была смущена. Я не пробовал ее разуверять и уже не ласкал ее. Она глядела на меня робко улыбаясь. Лицо ее мне показалось вдруг глупым. Смущение быстро с каждою минутой овладевало ею все более и более. Наконец, она закрыла лицо руками и стала в угол лицом к стене неподвижно. Я боялся что она опять испугается как давеча и молча ушел из дому.

Полагаю что все случившееся должно было ей представиться окончательно как беспредельное безобразие, со смертным ужасом. Несмотря на русские ругательства которые она должна была слышать с пеленок, и всякие странные разговоры, я имею полное убеждение что она еще ничего не понимала. Наверное, ей показалось в конце концов что она сделала неимоверное преступление, и в нем смертельно виновата,— „бога убила“.

В ту ночь я имел ту драку в кабаке о которой мельком упоминал. Но я проснулся у себя в номерах на утро, меня привез Лебядкин. Первая мысль по пробуждении была о том: сказала она или нет? Это была минута настоящего страха, хоть и не очень еще сильного. Я был очень весел в то утро и ужасно

ко всем добр, и вся ватага была мною очень довольна. Но я бросил их всех и пошел в Гороховую. Я встретился с нею еще внизу, в сенях. Она шла из лавочки, куда ее посылали за цикорием. Увидев меня, она стрельнула в ужасном страхе вверх по лестнице. Когда я вошел, мать уже хлеснула ее за то, что вбежала в квартиру „сломя голову", чем и прикрылась настоящая причина ее испуга. Итак, все пока было спокойно. Она куда-то забилась и не входила все время, пока я оставался. Я пробыл с час и ушел.

К вечеру я опять почувствовал страх, но уже несравненно сильнее. Мне главное было то, что я боялся, что я это сознавал. О ничего нелепее и гаже не знаю! Конечно я мог отпереться, но меня могли и уличить. Мне мерещилась каторга. Я никогда не чувствовал страху и, кроме этого случая в моей жизни, ни прежде, ни после ничего не боялся. И ужь особенно Сибири, хотя и мог быть сослан не однажды. Но в этот раз я был испуган и действительно чувствовал страх, не знаю почему, в первый раз в жизни — ощущение очень мучительное. Кроме того вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее до того что решился убить. Главная ненависть моя была при воспоминании об ее улыбке. Во мне рождалось презрение с непомерною гадливостью за то как она бросилась после всего в угол и закрылась руками, меня взяло неизъяснимое бешенство, затем последовал озноб; когда же под утро стал наступать жар, меня опять одолел страх, но уже такой сильный что я никакого мучения не знал сильней. Но я уже не ненавидел более девочку, по крайней мере, до такого пароксизма как с вечера не доходило. Я заметил что сильный страх совершенно прогоняет ненависть и чувство мщения.

Проснулся я около полудня, здоровый, и даже удивился силе вчерашних ощущений. Однако же был в дурном расположении духа и опять-таки принужден был пойти в Гороховую, несмотря на все отвращение. Помню, что мне ужасно хотелось бы в ту минуту дорогою иметь с кем-нибудь ссору, но только сериозную. Но придя на Гороховую я вдруг нашел у себя в комнате Нину Савельевну, ту горничную, которая уже с час

ожидала меня. Эту девушку я совсем не любил, так что она пришла сама немного в страхе, не рассержусь ли я за незванный визит. Но я вдруг ей обрадовался. Она была недурна, но скромна и с манерами, которые любит мещанство, так что моя баба хозяйка давно уже очень мне хвалила ее. Я застал их обеих за кофеем, а хозяйку в чрезвычайном удовольствии от приятной беседы. В углу из каморки я заметил Матрешу. Она стояла и смотрела на мать и на гостью неподвижно. Когда я вошел, она не спряталась как тогда и не убежала. Мне только показалось что она очень похудела и что у ней жар. Я приласкал Нину и запер дверь к хозяйке, чего давно не делал, так что Нина ушла совершенно обрадованная. Я ее сам вывел и два дня не возвращался в Гороховую. Мне уже надоело.

Я решился все покончить, отказаться от квартиры и уехать из Петербурга. Но когда я пришел чтоб отказаться от квартиры, я застал хозяйку в тревоге и в горе: Матреша была больна уже третий день, каждую ночь лежала в жару и ночью бредила. Разумеется я спросил об чем она бредит (мы говорили шопотом в моей комнате), она мне зашептала, что бредит „ужасти": „бога убила". Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: „Бог даст и так пройдет, не все лежит, днем-то выходит, сейчас в лавочку сбегала". Я решился застать Матрешу одну, а так как хозяйка проговорилась, что к пяти часам ей надо сходить на Петербургскую, то и положил воротиться вечером.

Я пообедал в трактире. Ровно в пять с четвертью воротился. Я входил всегда с своим ключем. Никого кроме Матреши не было. Она лежала в каморке за ширмами на материной кровати и я видел как она выглянула; но я сделал вид что не замечаю. Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил и сел на диван. Все помню до последней минуты. Мне решительно доставляло удовольствие не заговаривать с Матрешей, а томить ее, не знаю почему. Я ждал целый час, и вдруг она выскочила сама из-за ширм. Я слышал как стукнули ее обе ноги об пол, когда она вскочила с кровати, потом довольно скорые шаги, и она стала на пороге моей комнаты.

Она стояла и глядела молча. Я так был низок что у меня дрогнуло сердце от радости что выдержал характер и дождался что она вышла первая. В эти дни, в которые я с того времени ни разу не видал ее близко, действительно похудела ужасно. Лицо ее высохло и голова наверно была горяча. Глаза стали большие и глядели на меня неподвижно с тупым любопытством, как мне показалось сначала. Я сидел, смотрел и не трогался. И тут вдруг опять почувствовал ненависть. Но очень скоро заметил что она совсем меня не пугается, а может-быть скорее в бреду. Но и в бреду не была. Она вдруг часто закивала на меня головой, как кивают когда очень укоряют наивные и не имеющие манер и вдруг подняла на меня свой маленький кулачек и начала грозить с места. Первое мгновенье мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог вынести. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице ребенка. Она все махала на меня своим кулаченком с угрозой и все кивала, укоряя. Я встал и подвинулся к ней в страхе, осторожно заговорил негромко и ласковее, но увидел что она не поймет. Потом вдруг она стремительно закрылась обеими руками как тогда, отошла и встала к окну ко мне спиной. Я воротился в свою комнату и сел тоже у окна. Никак не пойму почему я тогда не ушел и остался как будто ждать. Вскоре я опять услышал поспешные шаги ее, она вышла в дверь на деревянную галлерею, с которой и был вход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к моей двери, притворил и успел еще поглядеть как Матреша вошла в крошечный чулан, в роде курятника, рядом с другим местом. Очень любопытная мысль блеснула в моем уме. Я до сих пор не пойму, почему она так вдруг первая пришла мне в голову, значит к тому вело. Я притворил дверь и опять сел к окну. Разумеется мелькнувшей мысли верить еще было нельзя; „но однако“.... (Я все помню, и сердце билось сильно.)

Через минуту я посмотрел на часы и заметил как можно точнее время. Для чего мне нужна была точность времени не знаю, но я в силах был это сделать и вообще в ту минуту я все хотел замечать. Так что замеченное помню и вижу теперь как

сейчас. Надвигался вечер. Надо мной жужжала муха и все садилась мне на лицо. Я поймал, подержал в пальцах и выпустил за окно. Очень громко въехала внизу во двор телега. Очень громко (и давно уже) пел песню в углу двора в окне один мастеровой, портной. Он сидел за работой и мне его было видно. Мне пришло в голову что так как меня никто не повстречал когда я входил в ворота и подымался по лестнице, то конечно не надо чтобы и теперь повстречали, когда я буду сходить вниз, и я осторожно отодвинул мой стул от окна и сел так, чтоб меня не могли видеть жильцы. Взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка на листке герани и забылся. Я все помню до последнего мгновенья.

Я вдруг выхватил часы. Прошло двадцать минут с тех пор как она вышла. Догадка принимала вид вероятности. Но я решился подождать еще ровно четверть часа. Приходило тоже в голову не воротилась ли она, а я может-быть прослышал; но этого не могло и быть: была мертвая тишина и я мог слышать писк каждой мушки. Вдруг у меня стало опять биться сердце. Я вынул часы: не доставало трех минут; я их высидел, хотя сердце билось до боли. Тут я встал, накрылся шляпой, застегнул пальто и осмотрелся в комнате: не осталось ли следов что я заходил? Стул я передвинул ближе к окну так, как он стоял прежде. Наконец тихо отворил дверь, запер ее моим ключем и пошел к чуланчику. Он был приперт, но не заперт; я знал что он не запирался, но я отворить не хотел, а поднялся на цыпочки и стал глядеть в щель. В это самое мгновенье подымаясь на цыпочки я припомнил что когда сидел у окна и смотрел на красного паучка и забылся, то думал о том как я приподымусь на цыпочки и достану глазом до этой щелки. Вставляя здесь эту мелочь хочу непременно доказать, до какой степени явственно я владел моими умственными способностями и за все отвечаю. Я долго глядел в щель, потому что там было темно, но не совершенно, так что наконец я разглядел что было мне надо....

А затем уже решился уйти. Я никого не встретил на лестнице. Никто не мог показать. Часа через три мы все, без

сюртуков, пили в номерах чай и играли в старые карты, Лебядкин читал стихи. Много расказывали и как нарочно все удачно и смешно, а не так как всегда глупо. Был тогда и Кирилов. Никто не пил, хотя и стояла бутылка рому, но прикладывался один Лебядкин. Прохор Малов заметил, что „когда Николай Всеволодович довольны и не хандрят, то и все наши веселы и умно говорят". Я запомнил это тогда же, стало-быть я был весел, доволен и не хандрил. Это с виду. Но я помню что я знал что я низкий и подлый трус совершенно за мою радость освобождения и более никогда не буду благородным.

Но часов уже в одиннадцать прибежала дворникова девочка от хозяйки с Гороховой, с известием ко мне что Матреша повесилась. Я пошел с девочкой и увидел что хозяйка сама не знала, зачем посылала за мной. Она вопила и билась, была кутерьма, много народу, полицейские. Я постоял и ушел.

Меня почти не беспокоили все время, впрочем спросили что следует. Но кроме того что девочка была больна и бывала в бреду, так что я предлагал с своей стороны доктора на мой счет, я ничего не показал. Спрашивали что-то меня и про ножик; я сказал что хозяйка высекла, но что это было ничего. Про то что я приходил вечером никто не знал. А про результат медицинского свидетельства я ничего не слыхал и любопытно что даже не справился.

С неделю я не заходил туда. Зашел когда уже давно похоронили чтобы сдать квартиру. Хозяйка все еще плакала, хотя уже возилась с своим лоскутьем и с шитьем попрежнему. „Это я за ваш ножик ее обидела", сказала она мне, но без большого укора. Я расчитался под тем предлогом что нельзя же мне теперь оставаться в такой квартире чтоб принимать в ней Нину Савельевну. Она еще раз похвалила Нину Савельевну на прощание. Уходя я подарил ей пять рублей сверх должного за квартиру.

Главное мне было скучно жить до одури. Происшествие в Гороховой, по минованию опасности, я бы совсем забыл, как и все тогдашнее, если бы некоторое время я не вспоминал

еще со злостью о том, как я струсил. Я изливал мою злость на ком я мог. В это же время, но вовсе не почему-нибудь и пришла мне мысль искалечить как-нибудь жизнь, но только как можно противнее. Я уже с год назад помышлял застрелиться; представилось нечто получше. Раз смотря на хромую Марью Тимофеевну Лебядкину, прислуживавшую отчасти в углах, тогда еще не помешанную, но просто восторженную идиотку, без ума влюбленную в меня втайне (о чем выследили наши), я решился вдруг на ней жениться. Мысль о браке Ставрогина с таким последним существом шевелила мои нервы. Безобразнее нельзя было вообразить ничего. Но не берусь решить; входила ли в мою решимость хоть бессознательно (разумеется бессознательно!) злоба за низкую трусость, овладевшую мною после дела с Матрешей. Право не думаю; но во всяком случае я обвенчался не из одного только „пари на вино после пьяного обеда". Свидетелями брака были Кирилов и Петр Верховенский тогда случившийся в Петербурге; наконец сам Лебядкин и Прохор Малов (теперь умер). Более никто никогда не узнал, а те дали слово молчать. Мне всегда казалось это молчание как бы гадостью, но до сих пор оно не нарушено, хотя я и имел намерение объявить; теперь объявляю заодно.

Обвенчавшись я тогда уехал в губернию к моей матери. Я поехал для развлечения. В нашем городе я оставил по себе идею что я помешан — идею до сих даже пор неискоренившуюся и мне несомненно вредную, о чем объясню ниже. Потом я уехал за границу и пробыл четыре года.

Я был на Востоке, на Афоне выстаивал восьмичасовые всенощные, был в Египте, жил в Швейцарии, был даже в Исландии; просидел целый годовой курс в Гетингене. В последний год я очень сошелся с одним знатным русским семейством в Париже и с двумя русскими девицами в Швейцарии. Года два тому назад, в Франкфурте, проходя мимо бумажной лавки, я, между продажными фотографиями, заметил маленькую карточку одной девочки, одетой в изящный детский костюм, но очень похожей на Матрешу. Я тотчас купил карточку и, придя в отель, положил на камин. Здесь она так и пролежала с неделю не-

тронутая, и я ни разу не взглянул на нее, а уезжая из Франкфурта забыл взять с собою.

Заношу это именно чтобы доказать до какой степени я мог властвовать над моими воспоминаниями и стал к ним бесчувственным. Я отвергал их все разом в массе, и вся масса послушно исчезала, каждый раз как только я того хотел. Мне всегда было скучно припоминать прошлое, и никогда я не мог толковать о прошлом как делают почти все, тем более что оно было мне, как и все мое, ненавистно. Что же касается до Матреши, то я даже карточку ее позабыл на камине.

Тому назад с год, весной, следуя через Германию, я в рассеянности проехал станцию, с которой должен был поворотить на мою дорогу и попал на другую ветвь. Меня высадили на следующей станции; был третий час пополудни, день ясный. Это был крошечный немецкий городок. Мне указали гостиницу. Надо было выждать; следующий поезд проходил в одиннадцать часов ночи. Я даже был доволен приключением, потому что никуда не спешил. Гостиница оказалась дрянная и маленькая, но вся в зелени и кругом обставленная клумбами цветов. Мне дали тесную комнатку. Я славно поел и так как всю ночь был в дороге, то отлично заснул после обеда часа в четыре пополудни.

Мне приснился совершенно неожиданный для меня сон, потому что я никогда не видал в этом роде. Да и все сны мои всегда или глупы, или страшны. В Дрездене в галлерее существует картина Клод Лорена, по каталогу, кажется „Асис и Галатея“; я же называл ее всегда „Золотым веком“, сам не знаю почему. Я уже и прежде ее видел, а теперь, дня три назад, еще раз мимоездом заметил. Даже нарочно ходил чтоб на нее посмотреть, и может-быть для нее только и заезжал в Дрезден. Эта-то картина мне и приснилась, но не как картина, а как будто какая-то быль. Это — уголок Греческого архипелага; голубые ласковые волны, острова и скалы, цветущее прибрежье, волшебная панорама вдали, заходящее зовущее солнце — словами этого не передашь. Тут запомнило свою колыбель европейское человечество, здесь первые сцены из мифологии, его

земной рай.... Тут жили прекрасные люди! Они вставали и засыпали счастливые и невинные; рощи наполнялись их веселыми песнями, великий избыток непочатых сил уходил в любовь и в простодушную радость. Солнце обливало лучами эти острова и море, радуясь на своих прекрасных детей. О, чудный сон, высокое заблуждение! Мечта самая невероятная из всех какие были, но которой все человечество всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались его пророки, без которой народы не захотят жить и не могут даже и умереть. Все это ощущение я как будто прожил в этом сне; я не знаю что мне именно снилось, но скалы и море и косые лучи заходящего солнца, все это я как будто еще видел когда проснулся и раскрыл глаза, в первый раз в жизни буквально омоченные слезами. Ощущение счастья еще мне неизвестного прошло сквозь все сердце мое даже до боли. Был уже полный вечер; в окно моей маленькой комнаты, сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал меня светом. Я поскорее закрыл опять глаза как бы жаждая возвратить миновавший сон, но вдруг как бы среди яркого-яркого света, я увидел какую-то крошечную точку. Вот так именно это все было и с того началось. Эта точка стала вдруг принимать какой-то образ, и вдруг мне явственно представился крошечный красненький паучек. Мне сразу припомнился он на листке герани когда также лились косые лучи заходящего солнца. Что-то как будто вонзилось в меня, я приподнялся и сел на постель.... (И вот все как это тогда случилось!)

Я увидел перед собою (о, не наяву! Еслибы, еслибы это было настоящее видение! Хоть раз, хоть один раз с тех пор — хоть на миг! хоть на одно мгновение во плоти и живую! которой бы я мог говорить!) я увидел Матрешу, исхудавшую и с лихорадочными глазами, точь в точь как тогда, когда она стояла у меня на пороге и кивая мне головой подняла на меня свой крошечный кулачек. И никогда ничего не являлось мне столь мучительным! Жалкое отчаяние беспомощного существа с несложившимся рассудком, мне грозившего (чем? что могло

оно мне сделать, о боже!), но обвинявшего конечно одну себя! Никогда еще ничего подобного со мной не было. Я просидел до ночи не двигаясь и забыв время. Это ли называется угрызением совести или раскаянием? Не знаю и не мог бы сказать до сих пор. Но мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге с своим поднятым и грозящим мне маленьким кулачком, один только этот ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это киванье головой. Вот чего именно я не могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. Не само оно представляется, а я его сам вызываю и не могу не вызывать, хотя и не могу с ним жить. О, еслибы я когда-нибудь увидал ее наяву, хотя бы в галюсинации!

У меня есть другие старые воспоминания, может быть получше и этого. С одной женщиной я поступил хуже и она от того умерла. Я лишил жизни на дуэли двух невинных передо мною. Я однажды был оскорблен смертельно и не отмстил противнику. На мне есть одно отравление — намеренное и удавшееся и никому неизвестное.

(Если надо я обо всем сообщу.)

Но почему же ни одно из этих воспоминаний не возбуждает во мне ничего подобного? Одну разве ненависть, да и то вызванную теперешним положением, а прежде я хладнокровно забывал и отстранял.

Я скитался после того почти весь этот год и старался заняться. Я знаю, что я бы мог устранить и теперь Матрешу, когда захочу. Я совершенно владею моею волей попрежнему. Но в том все и дело, что никогда не хотел того сделать, сам не хочу и не буду хотеть. Так и продолжится вплоть до моего сумашествия.

В Швейцарии, два месяца спустя, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление, именно совершить двоеженство (потому что я уже женат); но я бежал по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем и даже в том, что совсем не люблю ту, которую так желал, и что никого никогда не

могу любить и что кроме желания нет ничего. К тому же это новое преступление нисколько не избавило бы меня от Матреши.

Таким образом я решился отпечатать эти листки и везти их в Россию в трехстах экземплярах. Когда придет время я отошлю в полицию и к местной власти; одновременно пошлю в редакцию всех газет с просьбой гласности и множеству меня знающих в Петербурге и в России лиц. Равномерно появится в переводе за границей. Я знаю что юридически я может-быть и не буду обеспокоен, по крайней мере значительно: я один на себя объявляю и не имею обвинителя; кроме того никаких или чрезвычайно мало доказательств. Наконец укоренившаяся идея о расстройстве моего рассудка и наверно старание моих родных, которые этою идеею воспользуются и затушат всякое опасное для меня юридическое преследование. Это я заявляю, между прочим, для того чтобы доказать что я теперь в полном уме и положение мое понимаю. Но для меня останутся те, которые будут знать все и на меня глядеть, а я на них. Я хочу чтоб на меня все глядели. Облегчит ли это меня — не знаю. Прибегаю как к последнему средству. Пусть это не имеет смысла, а я все-таки опубликую (т. е. листки).

Еще раз: если очень поискать в Петербургской полиции, то может-быть что-нибудь и отыщется. Мещане может-быть и теперь в Петербурге. Дом конечно припомнят, он был светло-голубой. Я же никуда не уеду и некоторое время (с год или два) всегда буду находиться в Скворешниках, имении моей матери. Если же потребуют, явлюсь всюду.

Николай Ставрогин.

III.

Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и может-быть перечитывал некоторые места по другому разу. Все время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно что оттенок будто нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его все это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какою-то искренностью, что придало ему вид почти

достоинства. Тихон снял очки, помедлил и поднял, наконец, на него глаза и начал первый с некоторою осторожностью.

— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно, ответил Ставрогин.

— Немного бы в слоге.

— Я забыл вас предупредить, быстро и резко произнес он, весь дернувшись вперед, что все слова ваши будут напрасны; я не отложу моего намерения; не трудитесь отговаривать. Я опубликую.

Он покраснел и замолчал.

— Вы об этом не забыли предупредить еще давеча, прежде чтения.

— Все равно, резко перервал Ставрогин, повторяю опять: какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте что этою неловкою фразой или ловкою — думайте как хотите — я вовсе не напрашиваюсь чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать.

— Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваши намерения, и не мог бы. Мысль эта — великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, еслибы только....

— Еслибы что?

— Еслиб это действительно было покаяние и действительно христианская мысль.

— Я писал искренно.

— Вы как будто нарочно грубее хотите в сем вашем документе представить себя чем бы желало сердце ваше... осмеливался все более и более Тихон. Очевидно, „документ“ произвел на него сильное впечатление.

— Представить? повторяю вам, я не „представлялся“ и в особенности не „ломался“.

Тихон быстро опустил глаза.

— Документ этот идет прямо из потребности сердца смертельно уязвленного,— так ли я понимаю? произнес он с на-

стойчивостью и с необыкновенным жаром.— Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите и презираете вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния?

— Стыжусь?

— И стыдитесь и боитесь!

— Боюсь?

— Смертельно. Пусть глядят на меня, говорите вы; ну, а вы сами, как будете глядеть на них. Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией вашею и хватаетесь за каждую мелочь только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это, как не горделивый вызов от виноватого к судье?

— Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица.

Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки.

— Оставим это, резко прекратил Ставрогин.— Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут как мы говорим после этого (он кивнул на листки) и я не вижу в вас никакого выражения гадливости или стыда.... Вы кажется не брезгливы....

Он не докончил.

— Я пред вами ничего не утаю: меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. Что до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, от которых уже пахнет могилой, которые тем же грешат и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени.

— Уж не уважать ли вы меня стали после листков? криво усмехнулся Ставрогин.

— Отвечать прямо о сем не буду. Но более великого и

более страшного преступления как поступок ваш с отроковицей разумеется нет и не может быть.

— Оставим меру на аршины. Я может-быть вовсе не так страдаю как здесь написал и может-быть действительно много налгал на себя, прибавил он вдруг неожиданно.

Тихон смолчал еще раз.

— А эта девица, начал опять Тихон,— с которою вы прервали в Швейцарии, если осмелюсь спросить, находится.... где в сию минуту?

— Здесь.

Опять молчание.

— Я может-быть вам очень налгал на себя, настойчиво повторил еще раз Ставрогин. Впрочем, что же что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы ужь заметили вызов? Я заставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче.

— То-есть злоба в вас вызовет ответную злобу,— их ненависть вызовет вашу и ненавидя вам станет легче, чем еслибы приняв от них сожаление.

— Вы правы; знаете, засмеялся он вдруг,— меня может-быть назовут иезуитом и богомольною ханжей после документа, ха, ха, ха? Так?

— Конечно будет такой отзыв непременно. А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?

— Сегодня, завтра, после завтра, почем я знаю? Только очень скоро. Вы правы: я думаю именно так придется что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть.

— Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне, произнес совсем другим голосом Тихон,— еслиб кто простил вас за это (Тихон указал на листки) и не то чтоб из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча про себя, читая вашу страшную исповедь, легче ли бы вам было от этой мысли или все равно?

— Легче, ответил Ставрогин вполголоса. Еслибы вы меня

простили мне было бы гораздо легче, прибавил он, опуская глаза.

— С тем чтоб и вы меня так же, проникнутым голосом промолвил Тихон.

— Дурное смирение. Знаете, эти монашеские формулы даже совсем неизящны. Я вам всю правду скажу: я желаю, чтобы вы меня простили. Вместе с вами другой, третий, но все — все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю чтобы со смирением перенести...

— А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?

— Может-быть и не мог бы... Зачем вы....

— Чувствую степень вашей искренности и конечно много виноват что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток, искренне и задушевно промолвил Тихон смотря прямо в глаза Ставрогину. Я потому только, что мне страшно за вас, прибавил он,— перед вами почти непроходимая бездна.

— Не выдержу? Не вынесу их ненависти? встрепенулся Ставрогин.

— Не одной лишь ненависти.

— Чего еще?

— Их смеху, как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона.

Ставрогин смутился; беспокойство выразилось в его лице.

— Я это предчувствовал — сказал он.— Стало-быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего „документа“. Не беспокойтесь, не конфузьтесь, я этого ожидал.

— Ужас будет повсеместный и конечно более фальшивый чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю: те ужаснутся про себя и себя обвинят, но они незаметны будут, и потому что будут молчать. Смех же будет всеобщий.

— Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как гадливо, с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин.

— А верите, я более по себе судил, чем про людей! — воскликнул Тихон.

— В самом деле? да неужто тоже есть в душе вашей хоть что-нибудь что̀ вас здесь веселит в моей беде?

— Кто знает, может и есть. О может, и есть!

— Довольно. Укажите же чем именно я смешон в моей рукописи? Я знаю сам чем, но я хочу чтоб указали вы вашим пальцем. И скажите поцыничнее, скажите именно со всею тою искренностью к которой вы способны. И еще повторю вам что вы ужасный чудак.

— Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное... О, не верьте тому, что не победите! воскликнул он вдруг почти в восторге: — даже сия форма победит (указал он на листки) если только искренне примете заушение и заплевание. Всегда кончалось тем что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренне было смирение подвига. Даже может при жизни вашей уже будете утешены!..

— Итак вы в одной форме находите смешное? В слоге может-быть?

— И в сущности. Убьет некрасивость — прошептал Тихон, опуская глаза.

— Некрасивость? Какая некрасивость?

— Преступления. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать картиннее; но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком ужь неизящные...

Тихон не договорил.

— То-есть, подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешною фигуру мою когда я целовал руки грязной девчонки.... Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня что некрасиво, гадливо, нет не то, что̀ гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете что этого-то я всего скорее не перенесу?

Тихон молчал.

— Понимаю почему вы спросили про барышню из Швейцарии здесь ли она?

— Не приготовлены, не закалены, робко прошептал Тихон, опустив глаза — оторваны от почвы, не веруете.

— Слушайте, отец Тихон: я хочу простить сам себе, и вот моя главная цель, вся моя цель! сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах.— Я знаю что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страданья безмерного, сам ищу его. Не пугайте же меня, не то погибну во злобе.

Эта искренность была столь неожиданна что Тихон встал.

— Если веруете что можете простить сами себе и сего прощения себе в сем мире страданьем достигнуть, если такую цель себе поставляете с верой, то вы уже во все веруете! — восторженно воскликнул Тихон — как же сказали вы что в бога не веруете?

Ставрогин не ответил.

— Вам за неверие бог простит, ибо духа святого чтите, не зная его.

— Мне нет от вашего бога прощения. Кстати, Христос простит?— с кривой улыбкой и быстро изменив тон, спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии, как давеча, когда приглашал гору сдвинуть.— Ведь сказано в книге: „если соблазните единого от малых сих“, помните? По евангелию больше преступления нет и....

— Я вам радостную весть за сие скажу,— с умилением промолвил Тихон: — и Христос простит, если только достигнете того что простите сами себе.... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда он простит за намерение и страдание ваше великое.... ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения *всех* путей и поводов агнца „донде же пути его вьявь не откроются нам“. Кто обнимет его, необъятного, кто поймет *всего*, бесконечного!

Углы губ его задергались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись намеренно, он не выдержал и быстро опустил глаза.

Ставрогин взял с дивана свою шляпу.

— Я приеду еще когда-нибудь, сказал он с видом сильного утомления,— мы с вами.... я слишком ценю удовольствие беседы и честь.... и чувства ваши. Поверьте, я понимаю почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у того, которого вы так любите....

— И вы идете уже?— быстро привстал Тихон, как бы не ожидав совсем такого скорого прощания.— А я.... как бы потерялся он,— я имел было представить вам одну мою просьбу, но.... не знаю как.... и боюсь теперь.

— Ах, сделайте одолжение.— Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке. Тихон посмотрел на эту шляпу, на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским и взволнованного, и полупомешанного, дающего ему пять минут для окончания дела, и смутился еще более.

— Вся просьба моя лишь в том что вы.... ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович (так кажется, ваше имя и отчество?) что, если огласите ваши листки, то испортите вашу участь... в смысле карьеры, например, и... в смысле всего остального.

— Карьеры?— Николай Всеволодович неприятно поморщился.

— К чему же бы портить? К чему бы казалось такая непреклонность?.. почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича.

— Я вас уже просил, прошу вас еще: все слова ваши будут излишни.... да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым.

Он знаменательно повернулся в креслах.

— Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете: подвиг ваш, если от смирения, был бы величайшим христианским подвигом, еслибы выдержали. Даже еслиб и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтет господь. Все сочтется; ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно-великое.

Николай Всеволодович молчал.

— Вас борет желание мучительства и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше, и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, свободы достигнете.

Глаза его загорелись; он просительно сложил пред собой руки.

— Как болезненно вы это все принимаете и какую даете цену.... Впрочем, поверьте, что я сумею оценить, вежливо, но как бы брюзгливо проговорил Николай Всеволодович.

— Просто запросто вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отче Тихон, небрежно и с досадой промямлил Ставрогин порываясь встать. Короче вам хочется, чтобы я остепенился, пожалуй женился и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая каждый праздник ваш монастырь. Ну, эпитимья! Не правда ли? А впрочем, вы как сердцевед, может и предчувствуете что это ведь несомненно так и будет, и все дело за тем чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, не правда ли?

Он изломанно усмехнулся.

— Нет, не та эпитимья, я другую готовлю! с жаром продолжал Тихон, не обращая ни малейшего внимания на смех и замечание Ставрогина.— Я знаю одного старца не здесь, но и недалеко отсюда, отшельника и схимника, и такой христианской премудрости что нам с вами и не понять того. Он послушает моих просьб. Я скажу ему о вас все. Подите к нему в послушание, под начало его лет на пять, на семь, сколько сами найдете потребным впоследствии. Дайте себе обет и сею великою жертвой купите все, чего жаждете и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете что получите!

Ставрогин выслушал серьезно.

— Вы предлагаете мне вступить в монахи в тот монастырь.

— Вам не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником, тайным, не явным, можно так, что и совсем в свете живя....

— Оставьте, отец Тихон, брезгливо прервал Ставрогин и поднялся со стула. Тихон тоже.

— Что с вами? вскричал он вдруг, почти в испуге всматриваясь в Тихона. Тот стоял перед ним сложив перед собою вперед ладонями руки, и болезненная судорога казалось как бы от величайшего испуга прошла мгновенно по лицу его.

— Что с вами? что с вами? повторял Ставрогин, бросаясь к нему чтоб его поддержать. Ему показалось что тот упадет.

— Я вижу.... я вижу как наяву, воскликнул Тихон проницающим в душу голосом и с выражением сильнейшей горести,— что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к новому и еще сильнейшему преступлению как в сию минуту!

— Успокойтесь, упрашивал решительно встревоженный за него Ставрогин, я может-быть еще отложу.... Вы правы....

— Нет, не после обнародования, а еще до того, за день, за час может-быть до великого шага, броситесь в новое преступление как в исход и совершите его единственно, чтобы только *избежать* сего обнародования листков!

Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга.

— Проклятый психолог! оборвал он вдруг в бешенстве и не оглядываясь вышел из кельи.

Конец второй части

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

(Офорты Сарры Шор)

Часть I

Часть II

СОДЕРЖАНИЕ

Бесы

Часть первая

Часть вторая

Редактор А. Н. Тихонов
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Лит.-технич. наблюдение
А. Н. Плавильщиков
Техред И. К. Линцер
Наблюдение на производстве
М. И. Козлов

* * *

Сдано в набор 10. VII. 34. Подписано в печать 20. XII. 34. Тираж 5 300. Уполномоч. Главлита В—37913. Заказ тип. № 7993. Зак. «Ас» 83. Инд. А-0. Бум. 62×91—1/16. П. л. 35 75+10 вкл. Авт. л. [illegible]5. Тип. зн. на 1 бум. л. 66816

* * *

Отпечатано на ф-ке книги «Красный пролетарий». Москва, Краснопролетарск., 16

Цена Р. 11—
Переплет Р. 3—
Футляр Р. 1—

